"Вдалеке виднелись башни Кремля.
Медленно, бережно я осенил
крестным знаменьем ту землю,
которую теперь покидал"

В РОССИИ С БОГОМ

УОЛТЕР ЧИШЕК S.J.

В СОАВТОРСТВЕ С
ДЭНИЭЛОМ ФЛЭГЕРТИ S.J.



В России с Богом

Уолтер Чишек, S.J.

в соавторстве с Дэниэлом Л. Флэгерти

With God in Russia

Fr. Walter Ciszek, S.J.

От автора

Только по прибытии в Америку я узнал о том, как много людей великодушно приняло участие в моем возвращении. Прежде всего, считаю, что я в неоплатном долгу перед президентами Дуайтом Д. Эйзенхауэром и Джоном Ф. Кеннеди и перед всеми их сотрудниками в Белом доме, а также перед министром юстиции США Робертом Ф. Кеннеди за проявленную ими заботу обо мне. Я бы также хотел воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить почтенного Тадеуша Махровича, бывшего члена конгресса из Мичигана, и Мэтью С. Шимчака, бывшего управляющего Федеральной резервной системой США, за все, что они для меня сделали.

Разумеется, особую благодарность я должен выразить государственному секретарю, в особенности же г-ну Роберту Мерфи, заместителю заместителя государственного секретаря, который положил начало делу моего освобождения, и представителям Госдепартамента в американском посольстве в Москве и в Вашингтоне, которые, после того, как им стало известно обо мне, восемь лет посвящали свое время и силы тому, чтобы добиться моего освобождения.

Также я в долгу перед моими собратьями-иезуитами: о. Дэниэлом Пауэром, S.J. и о. Эдвардом Макколи, S.J. Именно о. Пауэр первым привлек внимание Государственного департамента к моему делу, а о. Макколи великодушно и самоотверженно посвящал свое время и силы тому, чтобы мое дело двигалось вперед и в конце концов увенчалось успехом.

Я искренне и глубоко благодарен своей сестре Хелен Гиархарт за все те неустанные усилия, которые она предпринимала ради меня в Вашингтоне. Хелен и другая моя сестра, с. Мария Евангелина O.S.F., были для меня постоянным источником поддержки и ободрения, проявляя обо мне сестринскую заботу, о которой красноречиво свидетельствовали их многочисленные письма, и надежду, которую не смогли поколебать долгие годы ожидания, а порой и разочарований.

Наконец, хочу поблагодарить всех моих братьев и сестер, моих товарищей по Обществу Иисуса и многих других священников, сестер-бернардинок и многих других монахинь, а также многочисленных друзей и родственников и всех тех, чьи имена мне пока даже

неизвестны, особенно школьников, чьи молитвы и приношения сделали в конце концов возможным мое возвращение.
Пусть благотворное действие этих молитв продолжает «содействовать благу» множества людей, которым я посвятил многие годы своей жизни в России.

Уолтер Чишек

Предисловие

То, что вам предстоит прочесть на страницах этой книги, может показаться удивительным и странным вымыслом. Но это не вымысел. Это подлинные события, составляющие одну из самых достойных страниц современной истории Общества Иисуса.
В некотором роде уподобляясь евангелистам, я имею честь рассказать вам, как эта история закончилась. Я присутствовал при этом, а на нашу долю нечасто выпадает счастье оказаться поблизости, когда человек воскресает из мертвых. Я могу также немного поведать о том, как эта история начиналась. Затем я должен позволить этим страницам самим полностью развернуть перед читателем рассказ о годах, сокрытых от нас железным занавесом, и, быть может, намекнуть на то, что эта история ждет своего продолжения.
Эта история началась в 1939 году – долгая, запутанная, почти невероятная повесть, охватывающая целое поколение в жизни наших старших современников.
Пока на другом конце земли разворачивались эти события, погибли миллионы людей, отгремела великая война, была изобретена водородная бомба, люди научились выходить на земную орбиту, множество детей родилось, выросло и создало семьи, и четверо Пап сменили друг друга на престоле Рыболова.
Мне выпала огромная удача знать главного героя этой истории за шесть или семь лет до ее начала. Мы вместе бывали в часовне, ходили по коридорам и по тропинкам, огибавшим дом, где мы оба принесли свои

первые обеты в Обществе Иисуса, взбирались на вершину холма в пенсильванской Датч Кантри[1], что к западу от Рединга, Пенсильвания.

Я знал его тогда — стройного юного спортсмена, подающего надежды лингвиста, не щадящего сил в работе, спокойного, но открытого в общении, молодого иезуита, которого явно глубоко вдохновляли идеалы Общества. Еще помню, когда что-то не шло на лад, он всегда умел найти выход.

Тридцать с лишним лет тому назад, одним июньским днем, мой друг спустился с холма, а я остался наверху. Больше мы не виделись до тех самых пор, когда…

11 октября 1963 года в 3.45 дня зазвонил мой телефон.

Голос на другом конце провода принадлежал моему старому другу и учителю, бывшему нашему провинциалу о. Джону Макмэгону из Оризвила, штат Нью-Йорк. О. Макмэгон только что узнал от о. Джона Дэйли, провинциала Мэриленда, который как раз гостил в Оризвиле, что в четыре часа дня Государственный департамент собирается сделать чрезвычайное сообщение.

В обмен на двух российских шпионов, задержанных в нашей стране, Советский Союз решил вернуть на родину двух американских граждан, некоторое время находившихся в советских тюрьмах. В тот же день двое американцев вылетят из Лондона в нью-йоркский международный аэропорт Айдлуайлд.

О. Макмэгон заботился о том, чтобы «Америка» опубликовала эту историю поколения первой.

И это действительно была история поколения. Это была история того отважного молодого иезуита, который покинул наш новициат в Уэрнерзвиле в 1932 году, чтобы продолжить учебу в Вудстоке, а затем в Риме, а по окончании ее стать священником восточного обряда; который в 1939 году отправился в Польшу, чтобы служить там приходским священником; которого унесла затем великая волна Второй мировой; которого – когда волна откатилась на Восток – поглотила *terra incognita* Советского Союза, после чего никто ничего о нем не слышал.

---

[1] Датч Кантри (Dutch country) – местность в штате Песильвания, где живут люди немецкого происхождения, в том числе меннониты и амиши. Они по сей день сохранили свой язык и самобытную культуру, подобно многим российским немцам. Слово «Датч» (что в переводе с английского означает «голландский») в названии этой местности является переосмысленным «дайч» (так на местном диалекте звучит немецкое слово «deutsch» - «немецкий»). *Прим. пер.*

Мы вспоминали об этом на следующее утро, 12 октября, когда готовились к встрече с ним в Айдлуайлде.
В 4.30 утра мы совершили за него богослужения в часовне дома св. Эдмунда Кемпьена – дома персонала «Америки». Потом я и двое моих сотрудников – о. Роберт Грэхем и о. Юджин Калхейн – отправились в предрассветных сумерках в аэропорт.
Когда мы проезжали мимо мрачных теней странных новых незавершенных конструкций Всемирной выставки, кто-то из нас вспомнил последнюю почтовую открытку, пришедшую из Польши в 1940 году; после нее наступила нескончаемая тишина.
Кто-то вспомнил, что в 1947 году он был сочтен мертвым, и, когда его имя было включено в официальный список почивших сынов Общества, мы совершили за него принятые в Обществе богослужения за упокой души товарища по оружию.
Продолжая путь, мы вновь переживали тот день, когда совершенно внезапно, из ниоткуда – с севера Сибири – к нам пришло письмо (почерк казался знакомым), затем еще одно, а потом еще и еще.
Это были письма с просьбой прислать костюм, теплое пальто, пару ботинок. Потом была еще просьба прислать несколько книг.
Все письма были подписаны именем нашего друга.
Мы подъезжали к Айдлуайлду. Мы спрашивали себя: вправду ли это он? Во что превратили его долгие годы работы в сибирских рудниках? Узнает ли он нас? Говорит ли еще по-английски? Не болен ли физически или душевно?
Рейс № 501 компании ВОАС из Лондона прибыл вовремя. Ровно в 6.55 утра большой самолет подкатил к асфальтовой площадке и замер. Мы стояли там вне себя от нетерпения вместе с родителями молодого Марвина Макинена, которого отпустили одновременно с нашим другом, когда к самолету подкатили трап и дверь его открылась.
Двое освобожденных сошли первыми. Они устремились вниз по ступенькам – высокий, со впалыми щеками, двадцатичетырехлетний юноша, студент, который отправился в Советский Союз, получив стипендию Фулбрайта, и был задержан там два года назад по обвинению в шпионаже; за ним – седой, коренастый, невысокий мужчина пятидесяти с лишним лет. Пожилой мужчина был в зеленом пальто поверх серого костюма и синей рубашки. Сходя с самолета, он надел на голову большую, с мягкими полями, русскую фетровую шляпу черно-фиолетового цвета.
Все это произошло в мгновение ока.

Оба репатрианта почти автоматически пошли в ногу с кордоном нью-йоркских полицейских, которые их немедленно окружили, и проворно, как бывалые заключенные, зашагали по направлению к иммиграционному отделу таможни.
В какой-то миг мне подумалось, что этот дюжий русский, должно быть, член какой-нибудь делегации советских колхозников или техников (а вид его решительно говорил именно об этом).
Потом мы поняли. Он уже прошел мимо нас в строю полицейских, когда нас осенило. И уже вошел в таможню, когда по-настоящему осенило его самого, что он снова дома, что это его сестры встречают его вместе со старыми товарищами по ордену, которых он знал двадцать пять - тридцать лет тому назад.
Я воздержусь от любых высказываний по поводу этих не поддающихся описанию первых мгновений, когда он и его родные увидели и узнали друг друга. Все красноречие, которым так искусно владеет Гейб Прессман, не смогло убедить представителей Госдепартамента позволить фотографам заснять эту сцену.
И все же у нас осталось так много воспоминаний о том октябрьском утре: о сумятице в отделе новостей, где пять кинооператоров и еще сорок фотографов толпились вокруг нашего друга, окруженного кинопрожекторами.
Потом был тот долгий разговор в доме персонала «Америки», когда он впервые начал рассказывать своим сестрам и товарищам по ордену о годах, проведенных в России, а под конец вывернул карманы, чтобы показать, что у него еще осталось несколько русских рублей и 74 копейки – сдача, которую ему сдали, когда он покупал чай в московском аэропорту.
После мессы, когда мы сели, чтобы по-американски позавтракать яичницей с беконом, он произнес благословение по-польски. Он сказал, что последний раз сидел за столом с товарищами четыре дня назад, когда его горячо любимые абаканские друзья устроили ему памятный прощальный ужин по-сибирски.
Я также помню, как он сказал, что за все эти годы ни разу, ни дня, не болел.
…И что ему всегда как-то удавалось не прерывать своего служения: то он служил мессу по памяти, над чемоданом, в бараке, то в лесной чащобе, на древесном пне.
Я помню, как он сказал, что никогда не сомневался в своей священнической власти и обязанностях, которые возлагает на него

священнический сан. Он никогда не ставил под вопрос веру, в которой был крещен и рукоположен.
На нашу долю, как я уже сказал, нечасто выпадает счастье быть рядом, когда человек воскресает из мертвых. Мы, его товарищи-иезуиты, испытали такое счастье утром 12 октября, когда наш старый друг, словно новый Колумб, прилетел рейсом № 501 компании BOAC, чтобы заново открыть Америку и начать жизнь свободного человека.
На долю читателей этой книги тоже выпадет эта редкая удача – разделить переживания человека, вернувшегося из долины смертной тени.
Он вернулся к нам из сибирских рудников и лагерей почти поседевший, с руками, искореженными трудом шахтера и механика, но не сломленный и не переубежденный, с сердцем, исполненным сострадания к людям, которым он, как священник, посвятил все свои зрелые годы.
Вне всякого сомнения, он услышит от нас слова похвалы, но не их он ожидает от нас.
Он просит лишь о том, чтобы мы постарались уразуметь значение того, что ему, по благодати Божией, пришлось претерпеть: значение жизни, которая целиком была посвящена свидетельству того, что любовь Христа не знает границ.
Так закончилась эта история. Но закончилась ли? И закончится ли когда-нибудь? Ибо ее из поколения в поколение будут рассказывать и пересказывать «длинные черные ряды» иезуитов. Сегодня где-то в Покипси, в Уэрнерзвиле или в Вудстоке, в тех коридорах, по которым он ходил, на Среднем Западе, на Юге или к западу от Миссисипи, в Риме, в Канаде, в Англии, в Индии, в Австралии, или в Японии общники-новобранцы ждут того дня, когда и у них будет возможность вписать свою главу в историю, которую повесть о. Уолтера Чишека только открывает.
Читая нижеследующее, попробуйте произвести некоторые словесные замены. Углубитесь на 400 лет в историю. Замените слово «Тайберн» на «Лубянку». Имя адресата – Елизавета – замените именем нынешнего главы советского правительства. Вместо «английских студентов» напишите «люди свободного мира».
Затем, читая эту историю о. Уолтера Чишека, вспомните блаженного Эдмунда Кемпьена и заключительные слова того красноречивого свидетельства веры, называемого «Бахвальством Кемпьена», которое

было адресовано Ее Величеству английской королеве почти 400 лет назад…

«Множество невинных рук каждый день воздевают за Вас к небесам те английские студенты, чьи наследники никогда не умрут, которые за морями, накапливая с этой целью добродетель и знания, полны решимости никогда не предавать Вас, но либо завоевать для Вас небеса, либо умереть от Ваших копий.

Что же до нашего Общества, то да будет Вам известно, что мы создали союз – все иезуиты мира, чья преемственность и многочисленность способны преодолеть все деяния Англии – дабы радостно нести крест, который Вы на нас возложите, и не отчаиваться в Вашем исцелении, покуда у нас есть хотя бы один человек, которого Вы можете угостить своим Тайберном, замучить своими пытками или поглотить своими тюрьмами. Расходы подсчитаны; предприятие начато; оно от Бога, ему невозможно противостоять. Так вера насаждалась; так надлежит ее возрождать».

Терстон Н. Дейвис, S.J.,
главный редактор
журнала «Америка»

Глава первая.
Как все начиналось

Не подающий надежд семинарист

С тех пор, как в октябре 1963 года я вернулся в Америку после двадцати трех лет в Советском Союзе, пятнадцать из которых я провел в советских тюрьмах и сибирских лагерях, мне непрестанно задают два главных вопроса: «Как это было?» и «Как Вам удалось выжить?» Поскольку меня так часто об этом спрашивают, в конце концов я согласился написать эту книгу.

Но я не слишком хороший рассказчик. Кроме того, тысячи других людей разделили мою судьбу и выжили, и я всегда отказывался считать свой опыт исключительным. Из уважения к этим другим я постараюсь честно и просто, ничего не скрывая и ничего не подчеркивая, рассказать историю тех лет. Я просто постараюсь описать, как все было.

И все-таки я не знаю точно, способна ли эта история сама по себе дать ясный ответ на более сложный из двух вопросов: «Как Вам удалось выжить?» Для меня ответ прост: Божий Промысел. Но как это объяснить?

Я не только хочу сказать, что Бог заботился обо мне. Я хочу сказать, что Он призывал меня, готовил меня к этому, а потом хранил на протяжении всех лет, что я провел в Сибири. Я убежден в этом, но кроме того, это моя жизнь, и Его десницу я ощущал на каждом ее повороте. Я думаю, для того чтобы по-настоящему понять, как мне удалось выжить, необходимо прежде всего понять, хотя бы приблизительно, что я был за человек и как вышло, что я оказался в России.

Я думаю, например, что необходимо знать, что я родился упрямым. К тому же я был хулиганом – не в милом, шутливом смысле этого слова, но в том, в каком употребляли его в те дни наши соседи в Шенандоа, штат Пенсильвания, когда, качая головой, называли меня «хулиганом». Этим нечего гордиться, но просто хочу по возможности честно показать, что за сырье я представлял собой для Бога.

Я был задирой, уличным атаманом, драчуном - и большинство драк затевал нарочно, просто из озорства. В школе меня интересовал исключительно двор, где можно было драться, бороться или заниматься спортом – каким угодно спортом. Я отказывался допускать, что в этих делах есть хоть что-то такое, в чем я не мог бы догнать или превзойти

всех остальных. Что же до прочих школьных дел, то прогуливал я так много, что даже остался как-то раз на второй год в приходской школе св. Казимира. В сущности, дела были так плохи, что, когда я еще учился в начальной школе, отец отвел меня в полицейский участок и стал настаивать на том, чтобы меня направили в исправительную школу.

Между тем отец мой, Мартин, был добрейший человек. Но он просто зашел в тупик: разговаривать со мной было бесполезно; трепка только лишний раз давала мне возможность проявить свое упрямство. А зная его наследственную гордость и свойственное Старому свету уважение к семье и семейному имени, я понимаю, что подобный шаг он предпринял не столько из гнева, сколько от стыда.

И он, и моя мать, Мария, были из крестьянских семей. Они переехали в Америку из Польши в 1890 году и обосновались в Шенандоа, где отец стал работать в шахте. В семейном альбоме есть фотографии, изображающие его молодым, красивым шахтером, но мне он запомнился как человек среднего роста, с черными густыми волосами и великолепными усами, коренастый и, если не толстый, то, во всяком случае, не такой стройный, как тот молодой шахтер на снимках. К тому времени, когда родился я, седьмой из тринадцати детей (это было 4 ноября 1904 года), он открыл трактир. Отец был не лучшим трактирщиком в мире: уж слишком был мягкосердечен по отношению к другим новоприбывшим иммигрантам.

Не думаю, чтобы мой отец когда-нибудь по-настоящему меня понимал. Мы оба были слишком упрямы, чтобы ладить друг с другом. Он очень хотел, чтобы я получил образование, которое ему самому получить не удалось, и мое отношение к этому его озадачивало. С другой стороны, хотя его стыд и унижение перед полицейскими в тот день, когда они уверяли его, что мой перевод в исправительную школу будет еще большим позором для семьи, произвели на меня глубокое впечатление, я никогда бы не сознался ему в этом: слишком сильно было во мне типично польское упрямство, которое я от него же и унаследовал.

И все же он был прекрасным отцом. Помню, как однажды я поехал с отрядом бойскаутов в другой город и истратил все деньги, которые он мне дал, в парке с аттракционами неподалеку от нашего лагеря. У меня не осталось денег даже на поезд. Поэтому домой я ехал, прицепившись снаружи к одному из вагонов. Я чуть не разбился о стену тоннеля, который мы проезжали по пути, и добрался домой в Шенандоа около часу ночи, продрогший, усталый и очень напуганный. Мой отец, обеспокоенный, все еще ждал меня. Он развел огонь в кухонной печи, а

потом, не тревожа мою спящую мать, своими руками приготовил мне ужин и уложил меня спать. Много лет спустя, в сибирских лагерях принудительных работ, думая о своем отце, я чаще всего вспоминал именно этот случай.

Свое упорство я унаследовал от отца, а религиозное воспитание получил от матери. Она была миниатюрной, светловолосой женщиной. Мама сама была религиозна и строго требовала того же от нас, ее детей. Она научила нас первым молитвам и наставляла нас в вере задолго до нашего поступления в приходскую школу. Две моих сестры ушли в монастырь, но я никогда не мог проявлять набожность внешне. Тем не менее, вероятно благодаря молитвам и примеру моей матери, в восьмом классе я ни с того ни с сего решил стать священником.

Мой отец отказывался в это поверить. В его глазах священники были святыми людьми Божиими; обо мне же можно было сказать все что угодно, только не это. В конце концов, как часто случается, решение приняла мать. Она сказала, что если я хочу быть священником, то должен быть хорошим священником. Поскольку мой отец все еще сомневался, я упрямился и настаивал, а в сентябре того же года отправился в Орчард-Лейк, Мичиган, в семинарию свв. Кирилла и Мефодия, куда еще до меня поступали многие молодые поляки из нашего прихода.

Но я непременно хотел отличаться от остальных. Даже учась в семинарии, я прилагал огромные усилия, чтобы не считаться набожным. И даже откровенно насмехался над набожными. Ночью, когда никто не видел, я прокрадывался в часовню и молился, но никто и ничто не могло заставить меня признаться в этом.

Мне непременно хотелось быть крутым. Я вставал в половине пятого утра, чтобы пробежать пять миль вокруг озера на территории семинарии, а в ноябре – чтобы поплавать в уже почти замерзшем озере. Мне, как и прежде, была невыносима мысль о том, что кто-то может сделать то, чего не могу я, поэтому однажды в Великий пост я не ел ничего, кроме хлеба и воды, все сорок дней, а в другой раз целый год не ел мяса – просто, чтобы убедиться, что мне это по плечу.

В то же время, вопреки всему, что нам непрестанно твердили и советовали, я никогда и ни у кого не просил на все это разрешения и никому об этом не рассказывал. Когда один префект в конце концов заметил, чем я занимаюсь, и предупредил меня, что это может причинить вред моему здоровью, я резко осадил его, сказав, что знаю,

что делаю. Это конечно была неправда: у меня просто была навязчивая идея всегда делать «самое трудное».

И не только физически. Однажды летом я остался в школе на все летние каникулы и работал в полях, принуждая себя терпеть одиночество и разлуку с семьей и друзьями.

Я обожал бейсбол. Я играл в него в школе, а потом, все лето, в Шенандоа Индианз, команде моего родного города, которая состязалась с командами из других шахтерских городов. Я подумал, что мне было бы очень трудно отказаться от этой игры, – и, естественно, от нее отказался. В первый год обучения в семинарии свв. Кирилла и Мефодия я просто бросил команду. У нас как раз намечалась важная игра в городе Анн-Арбор, Мичиган, и мое решение повлекло за собой серьезные трудности для всей команды. Но я был, как всегда, непреклонен, и отказался ехать.

В семинарии я впервые прочитал житие св. Станислава Костки. Оно впечатлило меня невероятно. Мне хотелось разнести вдребезги большую часть тех гипсовых статуй, которые изображают его болезненным, слащавым мальчиком с возведенными к небу очами; я ясно видел Костку крепким, молодым поляком, который был способен пройти – и прошел – на своих двоих от Варшавы до Рима и даже не подумал заболеть, хотя погода по пути встречалась разная. Мало того, он был еще и *упрямым* молодым поляком, который твердо настоял на своем, несмотря на все возражения семьи и преследования брата, когда захотел вступить в Общество Иисуса. Мне это понравилось. Я подумал, что, возможно, должен стать иезуитом. В том же году именно иезуит проводил с нами, семинаристами, ежегодные духовные упражнения. Я не говорил с ним, но после этого стал еще больше думать о том, не вступить ли мне в Общество.

И все-таки иезуитом я быть не хотел. Осенью мне предстояло начать курс богословия; через три года меня ждало рукоположение. Если бы я стал иезуитом, это бы означало, по меньшей мере, еще семь лет учебы. Мне не нравилась идея вступления в монашеский орден и особенно не нравилось то, что я читал об отличительной черте иезуитов – «совершенном послушании». Все лето я пытался себя от этого отговорить. Как обычно, я ни у кого не просил совета. Только молился и боролся сам с собой – и наконец решил: если это так трудно, значит я это сделаю. У Бога, должно быть, особый промысел для таких упрямых, как я.

Но даже это мне непременно нужно было сделать трудным путем. Я написал письмо польским иезуитам в Варшаве, в котором сообщал, что желаю вступить в Общество там. При этом ни в семинарии, ни дома я все еще никому ничего не говорил. Через некоторое время, показавшееся мне вечностью, я получил письмо из Варшавы. Удалившись в свою комнату, я дрожащими пальцами вскрыл конверт. Письмо было написано в чрезвычайно любезном тоне, но суть его заключалась в том, что польские условия и образ жизни, вероятно, покажутся мне слишком непохожими на американские, а потому, если я хочу стать иезуитом, мне следует связаться с провинциалом Общества в Нью-Йорке на Фордем-род.

Вы думаете, я испытал облегчение и успокоился? Нет, я был упрям. Я твердо решил стать иезуитом, а потому однажды утром, не говоря никому ни слова, сел на поезд и поехал в Нью-Йорк. Мне каким-то образом удалось разыскать дорогу на Фордем-род 501, где находился кабинет провинциала иезуитов. Брат-привратник сказал мне, что провинциала нет на месте. Я отказался объяснить ему, что мне нужно, а только спросил, когда вернется провинциал. Он сказал, что настоятель вернется вечером, и я поинтересовался, смогу ли я увидеть его. Брат пожал плечами, и я ушел.

Я еще ничего не ел, а потому нашел какую-то столовую, после чего провел остаток дня, бродя взад-вперед по Фордем-род и страдая от запоздалого приступа внутренней дрожи. В шесть часов провинциала все еще не было; я вышел на улицу и стал ходить по территории Фордемского университета, в то время как напряжение мое росло.

В половине восьмого я вернулся в резиденцию провинциала и спросил, не вернулся ли он. Брат велел мне подождать в приемной. Около восьми о. Келли, провинциал, вошел в приемную и спросил меня, в чем дело. Я объяснил ему, кто я такой, и сказал, что хочу стать иезуитом. Он взглянул на меня, затем сел и спросил, что думают об этом мои родители. Я сказал ему, что мне двадцать четыре года, и я могу принять решение сам. Потом напомнил ему о том, как св. Станислав Костка прошел пешком от Варшавы до Рима, чтобы увидеться с иезуитским провинциалом. О. Келии просто смотрел на меня, поэтому я пустился в дальнейшие разглагольствования, стараясь объяснить ему, что хочу стать иезуитом.

Боюсь, что речь моя была не очень убедительна, потому что я просто упорно повторял, что хочу вступить в Общество. Чуть ли не единственными конкретными сведениями, которые ему удалось-таки из

меня вытянуть, были мои оценки в семинарии. Некоторое время спустя он попросил меня подождать, потом ушел и прислал другого священника, чтобы он продолжил наше собеседование. Это был чудесный пожилой человек, чьего имени я не помнил. Он был глуховат. У него было нечто вроде слухового аппарата, и при помощи крика нам удалось наконец во второй раз добраться до конца моей истории. Я помню, он кричал, что я непременно должен стать иезуитом.

В тот вечер я говорил еще с одним священником, и наконец, около одиннадцати вечера, о. Келли вернулся, чтобы сказать мне, что все, вероятно, будет в порядке, но сейчас я должен ехать домой и дожидаться от него ответа. Мне никогда даже в голову не приходило, что ответ может оказаться отрицательным. Я вернулся домой и стал собирать вещи, счастливый, как никогда. То была не просто радость, то был глубокий, совершенный душевный покой. И это были не просто покой и облегчение, которыми сопровождается разрешение любой эмоциональной проблемы. Это было уверенное и твердое ощущение счастья, сродни тому чувству, которое испытываешь, оказавшись наконец среди своих или достигнув тихой гавани, но более глубокое и дарованное Богом.

Когда письмо от о. Келли наконец пришло, оно оказалось извещением о том, что 7 сентября 1928 года я должен явиться в иезуитский новициат св. Андрея на Гудзоне в Покипси, штат Нью-Йорк. Но отцу я так ничего и не сказал вплоть до утра своего отбытия. Он долго разглядывал письмо о. Келли, словно до него с трудом доходил его смысл, а потом вдруг сказал: «Ничего не выйдет. Ты возвращаешься в семинарию». - «Нет, сэр, - сказал я, - я еду в новициат».

Потом у нас завязался отцовско-сыновний спор, в котором ни один из нас не уступал другому в упрямстве, пока отец, ударив кулаком по столу, не сказал: «В последний раз тебе говорю: ты не поедешь!» Тогда я тоже ударил кулаком по столу и закричал: «Поеду! Ехать мне, а не тебе, и я *поеду* в новициат св. Андрея, даже если мне придется выбирать между тобой и Богом!» С этими словами я взял чемоданы и вышел из дому, не попрощавшись и не получив традиционного отцовского благословения.

И все же, после всего, что мне пришлось претерпеть, чтобы попасть в новициат св. Андрея на Гудзоне, я вовсе не был идеальным послушником. Я не любил демонстративных проявлений набожности и с презрением смотрел на тех послушников (в основном моложе меня), которые относились к своей новой монашеской жизни так ревностно и

самозабвенно, что в своих поступках заставляли себя следовать каждому мельчайшему правилу и предписанию. Я предпочитал оставлять некоторые углы острыми. Поэтому очень скоро о. Вебер, наставник новициев, позвал меня в свой кабинет и сказал мне, что, по его мнению, мне следует оставить Общество.

Я был ошеломлен. Но тут во мне проснулось мое польское упрямство, и я почти вскричал: «Нет!» Теперь пришла очередь поражаться о. Веберу. Он резко встал, обогнул свой письменный стол и подошел ко мне; я обогнул стол в противоположном направлении. «Это еще что такое? - сказал он чуть ли не скептически. – С кем ты, по-твоему, разговариваешь?»

«Я не уйду. Не уйду, и все тут», - сказал я, и тут мое упрямство растворилось в слезах. Я так отчаянно боролся за то, чтобы попасть сюда, я столько сделал, чтобы здесь оказаться, и в конце концов испытал такой покой, а теперь все это уплывает у меня прямо из-под носа.

О. Вебер усадил меня в кресло, затем подождал, пока оба мы немного не успокоились. После этого между нами состоялся долгий, хороший разговор. О. Вебер был со мной откровенен, но я видел, что он относится ко мне с уважением, симпатией и - несмотря на все мои недостатки – с доверием. Он говорил о моих достоинствах и способностях и о необходимости направить их в нужное русло, дабы действительно посвятить их Богу.

В начале 1929 года на одну из своих ежедневных бесед с послушниками о. Вебер принес важное письмо, только что полученное из Рима. Это было послание Папы Пия XI «ко всем семинаристам и в особенности к нашим сынам из Общества Иисуса», призывающее к поступлению в новый открывающийся в Риме русский центр, где молодых священнослужителей будут готовить к возможному служению в России. Далее Папа рассказывал о том, что с 1917 года в Советском Союзе непрестанно ужесточаются гонения на верующих; что всех католических епископов в России арестовали и отправили в концентрационные лагеря; что все семинарии – как католические, так и православные – закрыты или конфискованы; что сотни приходов лишены пастырей; что запрещено обучать религии детей. Святейший Отец особо подчеркивал то обстоятельство, что эта огромная страна будет нуждаться в хорошо подготовленных и очень мужественных священниках. Еще когда о. Вебер читал письмо, что-то во мне всколыхнулось. Я понял, что нашел цель своих долгих исканий. Я был

убежден, что Бог в конце концов решил меня призвать и открывает мне, *чего именно* я так давно желал и *за что* все это время боролся.

Убеждение это было так сильно, что я едва смог дождаться окончания встречи. Я чувствовал такое нетерпение, что почти уже не мог сидеть на месте. Как только встреча закончилась, я прямиком направился в комнату наставника. Он удивился, увидев меня таким раскрасневшимся и взволнованным, и спросил, не случилось ли чего.

«Нет, отец, - ответил я быстро, - но мне нужно с вами кое-что обсудить». Он пригласил меня сесть и стал внимательно слушать. «Знаете, отец, - выпалил я, - когда вы там читали письмо Святейшего Отца, для меня это было почти как призыв, исходящий прямо от Бога. Я почувствовал, что должен вызваться участвовать в русской миссии. Я понял это с самого начала, и, пока вы читали, это чувство росло, пока, к концу, не переросло в твердое убеждение, что Россия – моя судьба. Я знаю, я твердо верю, что Бог хочет, чтобы я там был, и я там буду».

О. Вебер долго смотрел на меня, потом медленно произнес: «Ну что ж, Уолтер, тебе нужно об этом молиться. В конце концов, ты только начинающий послушник. Такие вещи требуют времени и благодати Божией. Не хочу гасить твое воодушевление, поэтому не забывай об этом и молись. Когда принесешь свои обеты, возможно, мы сможем яснее увидеть, хочет Бог от тебя этого или нет».

Затем он отослал меня, не дав никакого определенного ответа. Конечно, теперь я понимаю, что мое поспешное заявление вполне могло быть проявлением минутного душевного подъема и поверхностного стремления к чему-то новому и необычному. Но, идя по коридору из его кабинета, я чувствовал полную уверенность. Ни одно сомнение не посетило меня - ни тогда, ни потом.

Я не мог дождаться дня, когда принесу обеты, хотя до этого, то есть до 8 сентября 1930 года, оставалось еще целых полтора года. Перед этим меня вместе со всеми послушниками первого года направили в новый иезуитский новициат провинции Мэриленда и Нью-Йорка в Уэрнерзвиле, Пенсильвания. Мы были первыми послушниками, принесшими обеты Общества в этом доме. То был великий день для всех нас, но для меня он означал также конец ожиданий и долгожданную возможность вызваться служить в России.

Я тут же написал его высокопреподобию отцу-генералу, прямо заявляя о своем желании участвовать в русской миссии. Время, которое понадобилось, чтобы письмо достигло Рима и чтобы потом через весь Атлантический океан ко мне пришел ответ, показалось мне вечностью.

Но когда ответ все-таки пришел, он был краток и ясен, и радость моя не знала границ. Генерал писал, что он рад моему великодушному предложению включить меня в русскую миссию, но еще больше рад тому, что может это предложение принять и известить меня о том, что отныне я назначен участником русской миссии. Однако пока я должен продолжать обычный курс обучения в Обществе и непрестанно молиться об исполнении своей мечты, когда же придет время, меня призовут в Рим.

Поэтому я учился в Уэрнерзвиле еще два года, пока не завершил курс гуманитарных наук, называемый в Обществе юниоратом. Затем я был направлен в Вудстокскую коллегию в Вудстоке (Мэриленд), чтобы приступить к изучению философии. Однако перед окончанием юниората я снова написал отцу-генералу – просто, чтобы он не забывал меня, и в надежде на то, что, быть может, он сразу призовет меня в Рим, чтобы философию я изучал уже там.

Ответ генерала был кратким, но сердечным. Он заверял меня, что не забыл обо мне, и замечал, что условия в России тяжелы и работать там будет непросто. А потому он вновь призывал меня непрестанно молиться и готовиться к трудным временам обучения в Руссикуме и еще более трудным временам служения в России.

Я не нуждался в чьем-либо воодушевлении. Я все еще, почти набожно, придерживался обычая заниматься гимнастикой по сорок пять минут в день, который завел себе еще в юности, когда старался быть «крутым». Хотя теперь я наконец начинал учиться просить совета и наставления – и делать то, что мне говорят, - все же не оставил привычки отказывать себе в некоторых вещах и делать неприятную работу, просто для того чтобы подготовить себя к трудностям и укрепить волю. В связи с этим и работа моя на соискание ученой степени по философии называлось «О воспитании воли».

К концу второго года обучения в Вудстоке я получил ошеломляющее известие о том, что осенью еду в Рим, чтобы приступить к изучению богословия и начать работу при Русской коллегии. Я отплыл в Рим летом того же 1934 года, очень счастливым молодым человеком.

Как и все иезуиты, изучающие богословие в Риме, я жил в старинном Коллегио Санто Роберто Беллармино на Виа дель Семинарио, а учился в Григорианском университете рядом с Пьяцца Пилота. Одновременно я обучался русскому языку, литургии и истории в Коллегио Руссико, или Руссикуме, на Виа Карло Каттанео, невдалеке от храма Санта-Мария Маджоре.

Годы изучения богословия для нас, студентов Руссикума, были довольно лихорадочными. Однако, в качестве своего рода дополнительного занятия, я изучал в эти годы еще французский и немецкий и овладел этими языками настолько, что, когда три года спустя меня рукоположили, я мог слушать исповеди во французских и немецких приходах в Риме и окрестностях.

В сущности, наибольшую трудность для меня в эти годы представляла восточная литургия. Те из нас, кто числился в Руссикуме, каждое утро посещали мессу восточного обряда, а я терпеть этого не мог. Но поскольку я принял решение служить в России, то уныло продолжал эти занятия, стараясь выучить и полюбить ее.

Человеком, который сделал больше всего, чтобы помочь мне ее полюбить, был медведеподобный малый по фамилии Нестров[2]. Он был уроженец России, обладатель красивого, богатого и глубокого баса, любил и служил эту литургию так, как могут только русские. Мы стали близкими друзьями, не из-за литургии, но из-за общей мечты поехать в Россию, которую оба мы страстно лелеяли. В сущности, в нашей новой Русской коллегии каждый мечтал поехать в Россию, чтобы помогать верующим, которые были теперь, говоря словами нашего Господа, как овцы, не имеющие пастыря.

Эта была очень разнородная, многонациональная группа. Среди нас был бельгиец, о. Поль Мэйо, который ныне возглавляет Центр экуменических исследований имени Иоанна XXIII при Фордемском университете, ранее называвшийся Русским центром. Еще были три англичанина, три испанца, два итальянца, русский (Нестров), поляк и румын. В то время я был там единственным американцем, но несколько американцев было там до меня и многие пришли после меня.

И все же никто из них не был убежден, что должен служить в России, так твердо, как я, и не жаждал этого так, как Нестров. Другие даже

---

[2] Нестров – настоящее имя Новиков Виктор Павлович. Учился в Ягеллонском университете в Кракове и в Григорианском университете в Риме. Во время следствия был вынужден подписать все предъявляемые ему обвинения, так как подвергался жестоким избиениям в Пермской тюрьме. В августе 1941 г. заключен во внутреннюю тюрьму НКВД (Лубянку). В 1942 г. приговорен к 15 годам каторжных работ, но еще год оставался в Бутырке, после чего направлен в Воркутлаг. В 1954 г. освобожден и выслан в Башкирию, где преподавал латинский язык и тайно обслуживал верующих. Умер в 1979 г. Эти сведения приводятся по изданию: Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР. М., 2000. *Прим. пер.*

поддразнивали нас за это; мы просто горели этой идеей. Мы стремились узнать о России все, что только можно: народные традиции, привычки, русский характер и культуру, природу самой страны и ее историю. Мы без конца говорили об этом – к подлинному или напускному унынию наших коллег-богословов, - надеясь, замышляя, планируя, мечтая о России.

Другим почти постоянным нашим товарищем был о. Макар[3], поляк. «Но мама у меня – грузинка», - всегда добавлял Макар, профессиональный бедокур. Мастер разных происков и розыгрышей, он мог часами заставлять всех смеяться, и мишенью его шуток нередко становился большой, благодушный Нестров. И все же вся наша троица так хорошо ладила друг с другом, что нас даже прозвали «тремя мушкетерами».

По прошествии трех счастливых, но лихорадочных лет, 24 июня 1939 года, в Риме, я был рукоположен. Как почти все студенты Руссикума, я был рукоположен в священники восточного обряда, но у нас было также право служить мессу латинского обряда в случае необходимости. Поэтому первую свою мессу я служил по восточному обряду, в базилике св. Павла, у центрального алтаря над гробницей.

Мать с отцом умерли, пока я учился, поэтому после всего, что они из-за меня вынесли, на их долю не выпало утешение посетить первую мессу своего сына-священника. Никто из братьев и сестер тоже не смог приехать в Рим, но они написали мне по случаю рукоположения радостные поздравительные послания. Зато по случаю моей первой мессы со мной был о. Винсент А. Маккормик, S.J., американский ассистент отца-генерала в Риме, и Миссис Николас Брейди, основательница Уэрнерзвила. Мы втроем позавтракали после мессы, и, охваченный радостью по случаю своего рукоположения, я часами

---

[3] Отец Макар – настоящее имя Москва Георгий Иосифович. Родился в 1910 г. в Цюрихе. Выпускник Краковского университета и Григорианского университета в Риме. В 1939 году нелегально прибыл во Львов и устроился рабочим на нефтебазу. В 1940 г. был арестован венгерскими пограничниками при попытке перейти границу. Отправлен в Будапештскую тюрьму, откуда его вызволили иезуиты. Выехал в Рим, где ему было предложено вернуться в СССР для продолжения служения. В 1941 г. арестован советскими пограничниками. В течение нескольких месяцев утверждал, что завербован венгерской разведкой для шпионажа, дабы выгородить Католическую Церковь. 7 июля 1941 г. приговорен как «враг народа» и в тот же день расстрелян. Эти сведения приводятся по изданию: Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР. М., 2000. *Прим. пер.*

говорил с ними о своей мечте отправиться в Россию и о своей уверенности в том, что вскоре там буду.

Отцы Нестров и Макар относились к польской провинции Общества Иисуса, чей центр находился в Варшаве. В последний год курса богословия, уже после рукоположения, им сказали, что въезд в Россию сейчас невозможен, поэтому они вернутся в Польшу, где будут служить католикам восточного обряда. Особенно этой вестью был удручен Нестров. Но я все равно был убежден, что поеду в Россию, и почему-то очень надеялся, что меня пошлют туда со дня на день.

Однажды я получил известие о том, что меня хочет видеть отец-генерал. Я был поражен; я знал, что отец-генерал Ледоховский всегда питал интерес к Русской миссии, с тех пор как Папа Пий XI попросил его найти среди иезуитов добровольцев, желающих совершать это служение, но мне никогда еще не приходилось беседовать с ним лично.

О. Ледоховский, как он запомнился мне в тот день, был человеком небольшого роста и хрупкого сложения с тонким, аскетическим лицом, впалыми щеками, высоким лбом и самым ясным и спокойным взглядом, какой мне когда-либо доводилось видеть. От него просто исходил мир и покой, и он впечатлил меня своей простотой и достоинством. У него была решительная, почти резкая, манера говорить, и все же он был необыкновенно обаятелен, и с ним было легко разговаривать. Он тепло принял меня и внимательно слушал, пока я говорил о своих надеждах и идеалах и о своей мечте трудиться в России.

Мы проговорили больше двадцати минут. Он сказал мне, что очень ценит мои надежды и разделяет мои мечты, но в настоящее время посылать людей в Россию не представляется возможным. Говоря, он встал со стула и стал немного беспокойно ходить по комнате. «Условия, насколько нам известно, там сейчас таковы, что в настоящее время пытаться посылать людей в Россию было бы неблагоразумно. Я знаю, что вы разочарованы, но миссии в Альбертыне, в Польше, нужны люди прямо сейчас, и работа там идет очень плодотворно. Миссия процветает и служит источником многочисленных призваний к священству восточного обряда и обучению в Русской коллегии. Я хотел бы, чтобы вы пока послужили там. Но я хочу, чтобы вы остались верны своей мечте о России и, возможно, однажды Бог соблаговолит исполнить наше с вами общее желание».

Наверное, он просто прочел на моем лице разочарование и был очень добр. Во всяком случае, он попросил меня держать его в курсе, как у меня идут дела в Альбертыне, вновь с любовью говорил о наших общих

надеждах на то, что придет день, и я смогу поехать в Россию, и дал мне свое благословение.

Конечно, я подчинился его решению: до некоторой степени я наконец усвоил тот дух послушания, который делает иезуита иезуитом. Но сказать, что я не был разочарован, было бы весьма нечестно. Я столько мечтал о России, столько отдал, так усердно учился, что мне не удалось справиться с огорчением, когда отец-генерал сказал мне, что возможность попасть в Россию, быть может, представится мне нескоро. Но даже тогда, в минуту разочарования, я ни на миг не усомнился, что однажды все-таки буду в России.

«Весной в России!»

Моя работа в Альбертыне на две трети состояла из пастырского служения и на одну треть из преподавания. Я преподавал этику молодым иезуитам, которые учились там при нашей миссии восточного обряда, и катехизис – детям в школе. Однако в основном я выполнял роль этакого старомодного священника, посещая семьи в Альбертыне и в соседних деревушках, давая советы, болтая со старенькими бабушками и с больными, занимаясь тысячей мелочей, как всякий священник в маленьком городишке. Поскольку наша община в Альбертыне была мала – всего три священника, не считая настоятеля, о. Домбровского, – и поскольку я приехал последним, мне достались все обязанности, которые обыкновенно выпадают на долю самого младшего священника.

Сам город Альбертын был невелик. В сущности, это вообще был не город. Настоящим городом был Слоним на реке Щара, промышленный центр на главной железной дороге, соединяющей Москву и Варшаву. От моста через Щару до деревни Альбертын было около трех миль пути на восток по грязной извилистой дороге. Железная дорога проходила и через Альбертын, но деревня была всего лишь полустанком на этой московской железной дороге, и поезда останавливались здесь только по сигналу. И, пожалуй, единственное притязание Альбертына на историческую славу заключалось в том, что прямо за ним, с северной стороны, имелась широкая лесная просека, называемая Наполеоновским трактом, - остатки дороги, построенной Наполеоном во время похода на Россию.

В Альбертын я приехал в ноябре 1938 года, сразу после Мюнхенского соглашения, раздробившего Чехословакию и гарантировавшего «мир в наши времена», как выразился мистер Чемберлен. Но вскоре после

моего прибытия Гитлер начал свою кампанию за Данцигский коридор. Всю зиму положение ухудшалось; к ранней весне появились даже слухи, будто переодетые немецкие солдаты проникли в Данциг и готовы его захватить, нанеся неожиданный удар исподтишка. Альбертынские крестьяне сеяли рожь и другие весенние злаки, не зная, доведется ли им собрать урожай. К поздней весне о войне говорили повсюду.

21 августа 1939 года Риббентроп и Молотов объявили, что Германия и Россия подписали пакт о ненападении. Вскоре после этого я получил каблограмму из американского посольства в Варшаве, извещавшую меня о том, что вскоре может быть объявлена война и я должен быть готов покинуть Польшу. Я обсудил это с о. Домбровским и сказал ему, что не хочу уезжать. Я приехал в Польшу, чтобы работать в миссии восточного обряда; кроме того, я так и не утратил надежды поехать в Россию, и, быть может, война как раз и даст мне такую возможность. Я ответил посольству, что нужен своему приходу и останусь там, где во мне нуждаются.

Спустя несколько дней, 1 сентября 1939 года, Гитлер вторгся в Польшу. Мы непрестанно слушали радио, и все новости были плохи. Через считанные дни немецкие войска окружили Варшаву и начали осаждать и бомбить город. Остатки польской армии устремились на восток через Слоним и Альбертын по Наполеоновскому тракту. Варшавское радио замолчало, и мы поняли, что судьба Польши предрешена. Что хуже всего, ходили слухи, что на восточной границе сосредоточивают свои войска русские и вскоре они тоже вторгнутся в Польшу.

В конце концов о. Домбровский решил разослать иезуитов-послушников по домам, по крайней мере пока положение не стабилизируется до такой степени, что можно будет строить какие-то планы на будущее. Сам же он поехал к епископу в Вильнюс, чтобы спросить, как поступать с миссией и приходом. Поскольку я не был польским подданным, а гражданином Америки, о. Домбровский решил, что я буду ответственным за миссию, а о. Грыбовский, который отвечал за приход латинского обряда при миссии, и о. Литвинский, другой священник прихода восточного обряда, останутся с семьями в деревне.

В те дни мы все еще полагали, что немцы – или, если на то пошло, русские – с уважением отнесутся к американскому паспорту. В худшем же случае американскому посольству все равно будет известно, где я нахожусь, и оно сможет мне помочь. И случилось так, что я, молодой

американец, был единственным священником в альбертынской миссии в тот день, когда пришли русские.
Первый русский офицер появился утром, сразу после завтрака. Я был во дворе, когда он приехал верхом на лошади, чтобы осмотреть нашу иезуитскую миссию. Это был человек среднего роста в пыльной форме цвета хаки с красными погонами* Советской Армии**. Он мило со мной поздоровался и держался вполне уважительно. Его глаза под козырьком фуражки казались усталыми, когда он честно и, как мне показалось, немного смущенно, объяснял мне, что, возможно, ему придется на несколько дней расквартировать в наших зданиях некоторых своих подчиненных. Он казался таким вежливым, почти дружелюбным, и у меня даже появилась надежда, что условия в Альбертыне, быть может, будут не так уж плохи под русской оккупацией. К сожалению, этого офицера я больше не видел; подозреваю, что в качестве штаб-квартиры как для него самого, так и для его подчиненных ему больше пришлась по душе усадьба графа Пусловского.
В тот же день прибыла колонна русских войск. Ее молодой командир не был ни любезен, ни груб. Он просто вел себя официально. Он объяснил, что у него приказ расквартировать свои войска в семинарии. Он сказал, что мне будет позволено занимать мою комнату на первом этаже и забрать все, что я хочу, из церковных принадлежностей, библиотечных книг и моих личных вещей, но все остальные вещи и помещения заберут они.
Офицер пообещал, однако, что церковь они не тронут. Он даже проложил во дворе тропинку, чтобы люди, идя на службу, не должны были ходить через военные квартиры. Он также распорядился, чтобы вход в церковь из семинарии заколотили, дабы военные не могли входить через семинарию в церковь.
Солдаты стали занимать здание. После многодневного марша они накинулись на семинарию, словно революционеры на Зимний дворец. Во двор въехали грузовики, и люди стали беспорядочно сваливать в них

---

* Неточность. Эполеты окончательно исчезли с русской военной формы Декретом ВЦИК и СНК от 16 декабря 1917 года. В Советской армии в сентябре 1944 год была попытка восстановить ношение эполет, но предложение было отклонено Сталиным. В 1924—1943 основным знаком различия воинских званий служили петлицы. *Прим. ред.*

** Неточность. Лишь 25 февраля 1946 года Рабоче-Крестьянская Красная Армия была официально переименована в Советскую Армию. *Прим. ред.*

вещи из окон библиотеки. Книги летели во все стороны. Солдаты, стоявшие на улице, смеясь и подшучивая, кричали что-то тем, которые кидали из окон книги; из библиотеки отвечали в том же духе. Наконец книги увезли в качестве макулатуры.

Пока все это происходило, к моему ужасу, один из солдат накинул веревку на статую Пресвятого Сердца, стоявшую во дворе, прицепил ее к грузовику и опрокинул изваяние. Оно рассыпалось на части, что вызвало громкие возгласы военных, потом его погрузили в грузовик и увезли. Наблюдая эту сцену, я не мог понять, было ли это сделано по приказу или просто по прихоти солдата.

Та ночь была худшей из моих ночей в Альбертыне. По верхнему этажу, над моей головой, непрестанно сновали военные, и я почти не сомкнул глаз. На следующий день меня вызвали на «личную беседу» с политруком, партработником или сотрудником органов госбезопасности, который сопровождал каждое подразделение Красной Армии. Он хотел выяснить местонахождение прежних польских правителей Албертына. Я их местонахождения не знал и сказал ему об этом. Используя прием, с которым мне предстояло близко познакомиться в дальнейшем, политрук много раз, в разных формах, задавал мне один и тот же вопрос. Он настаивал на том, что, помогая ему, я помогу «народу».

«Моя работа, - отвечал я, - не политическая, а пастырская. Как пастырь, я помогаю народу духовно, а также материально, когда могу». Я рассказал ему несколько случаев, когда мы собирали деньги, чтобы дать детям из бедных семей возможность закончить школу и продолжить свое образование после школы. Это его не интересовало. Он настаивал на том, что я должен помогать «народу» повсюду, открывая имена его врагов и разглашая сведения, которыми располагаю как священник.

«Ну, вы слишком далеко заходите, - сказал я. – Мне, как священнику, доверяют вещи, которые я не имею право говорить кому бы то ни было. Я не могу изменить тайне исповеди. Я бы только навредил и себе, и «народу», разглашая такого рода сведения, которые, в любом случае, не имеют ничего общего ни с «народом», ни с политикой, да и вообще ни с чем таким, что касалось бы вас!»

К тому времени он был в ярости, а я испытывал омерзение. Я сделал шаг, чтобы уйти, но он задержал меня и велел мне сесть. Однако в продолжение нашей «беседы» он вновь был мягок и любезен. Вскоре политрук проводил меня до двери, заметив, что снова пошлет за мной в ближайшее время.

Но через несколько дней за мной прислал не политрук, а командир. Он сказал, что правила запрещают штатским жить в одном доме с военными. Он «предложил» мне переехать в небольшой домик на краю миссионерского садика, который изначально стоял на этом земельном участке. Я переехал в тот же день, и вечером ко мне присоединились отцы Грыбовский и Литвинский. Мы были рады вновь поселиться общиной, но вскоре местный партийный комитет решил, что четырехкомнатный домик слишком велик для трех «буржуев»-священников, поэтому они подселили к нам еще несколько семей. Нам, священникам, была отведена одна комната, две семьи занимали обширную столовую, а третья - отдельную маленькую комнату; кухней мы пользовались поочередно.

Однако несмотря на все неудобства и беспокойства нам удавалось поддерживать почти нормальную работу приходов. У нас была возможность служить мессу каждое утро, а по воскресеньям мы совершали две мессы для прихожан, хотя часть паствы держалась в стороне, опасаясь коммунистов. Солдаты заняли часовню, примыкавшую к церкви, и стали использовать ее в качестве красного уголка и классной комнаты. Во время утренней мессы мы слышали, как они ходят за дверью, и довольно часто, когда мы пели «Господи, помилуй!» на ектеньи первой части восточной литургии, они насвистывали в такт и подпевали: «Господи, Господи!» И все же дверь из этой комнаты в церковь оставалась заколоченной, как и обещал командир, и внутрь солдаты не проникали.

Однажды в воскресенье, после семичасовой мессы, я вышел, чтобы произнести краткую проповедь. Начав говорить, я заметил, что в притворе храма толкутся несколько солдат. Они стояли там, посмеиваясь, с покрытой головой и с хулиганским выражением в глазах. Я разозлился. В гневе я с жаром начал читать проповедь на основе классического текста: «Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога'». Пожалуй, то была самая искренняя проповедь, какую мне когда-либо приходилось читать; каждое слово исходило прямо из моего сердца и било точно в цель. Сначала они были ошеломлены, потом сбиты с толку и стояли там, глуповато поглядывая по сторонам и переминаясь с ноги на ногу, видя, что глаза всех прихожан направлены на них. Они хотели было уйти, но остановились и стояли там, слишком гордые, чтобы отступать, но слишком смущенные, чтобы реагировать, пока я не закончил. Я победил, но уже тогда знал, что эта победа обойдется мне дорого.

Однако, к моему удивлению, солдаты не беспокоили нас во время мессы в следующие несколько дней. Хотя я знал, что мои слова и их собственное унижение должны были вызвать у них негодование, я уже начал надеяться, что на этот раз «пронесло». Затем, однажды, придя утром в церковь служить мессу, я увидел, что дверцы дарохранительницы открыты, алтарные покровы сброшены, а Святые Дары исчезли. Я стоял как громом пораженный. Когда я заметил, что дверь из храма в солдатский красный уголок больше не заколочена, я сразу понял, что произошло и почему.

В тот день я пытался встретиться с капитаном, чтобы подать жалобу, но безрезультатно. Церковь латинского обряда продолжала действовать нормально; в сущности, прихожан было больше, чем когда-либо. Казалось, солдаты с особой неприязнью относились к католикам восточного обряда как к членам Церкви, противостоящей Русской Православной, но католиков латинского обряда они почти не беспокоили, и многие наши прихожане предпочитали посещать мессу там. Поэтому я с неохотой решил закрыть храм восточного обряда. Прежде чем сделать это, я решил в последний раз осмотреть церковь и обнаружил, что военные втихомолку пользовались чердаком вместо туалета. С тех пор для тех немногих, кто продолжал приходить на богослужения, мы служили мессу только в церкви латинского обряда или в нашей комнате в садовом домике.

Примерно в это время я получил очередную телеграмму из американского посольства. Она пришла уже из Москвы, куда посольство переехало, когда Варшаву заняли немцы. Они извещали меня, что я могу приехать либо в Москву, где мне помогут вернуться в Соединенные Штаты, либо в американское посольство в Румынии, если мне так удобнее. Я показал телеграмму другим отцам и обсудил ее с ними. Они считали, что надо ехать. Работа миссии восточного обряда представлялась в тот момент довольно основательно подорванной; здесь я мог сделать мало таких дел, которые не могли бы взять на себя другие. Сотрудник НКВД[4], через чьи руки, конечно, не могла не пройти

---

[4] НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) - органы государственной безопасности, которые, в соответствии с изменениями в кремлевской политике, в разное время именовались также НКГБ (Народный комиссариат государственно безопасности), МГБ (Министерство государственной безопасности), МВД (Министерство внутренних дел) и КГБ (Комитет государственной безопасности).

телеграмма, также «предложил» мне, как американскому гражданину, немедленно покинуть страну. Вопреки подобным предложениям, я считал, что, поскольку меня оставил ответственным за приход и миссию о. Домбровский, я должен оставаться здесь, пока не получу его распоряжений. Поэтому в тот же день я написал в посольство о своем решении оставаться в приходе, за который отвечаю. Я был не намерен покидать свою паству.

Вскоре, однако, меня ждала новая неожиданность. Из Львова явились о. Нестров и о. Макар, изучавшие там богословие. Они привезли с собой послание о. Домбровского, в котором говорилось, что епископ решил временно закрыть миссию восточного обряда в Альбертыне. Без сомнения, для нас, «трех мушкетеров», то была странная встреча - в маленьком домике на краю садика в окружении русских оккупационных войск.

Макар, высокий грузин, был в странно приподнятом настроении. Со своими длинными, волнистыми волосами, орлиным носом и сверкающими черными глазами он казался созданным для приключений, и путешествие из Львова в Альбертын воодушевило его. Нестров тоже был тот еще искатель приключений, хоть и не выглядел таковым. Он был крепкого сложения и почти лысый, а нос картошкой придавал ему сходство с Толстым, правда слегка увеличенным в масштабе. Но мечта служить в России неудержимо влекла его за собой, и в тот вечер он весь горел ею.

Он сказал мне, что, по его мнению, пришло время воплотить нашу общую мечту в жизнь. Русские заняли Польшу, так что, по сути дела, мы уже находимся в России. О. Домбровский косвенно освободил меня от обязанности оставаться в Альбертыне, закрыв миссию. О прихожанах Альбертына и церкви латинского обряда вполне мог позаботиться – и я согласился с этим – о. Грыбовский. Почему бы нам не воспользоваться этой возможностью, чтобы проникнуть в самое сердце России? Нестров и Макар сыпали доводами; мое воодушевление росло. Наконец мы все вместе решили попробовать, если наши настоятели это одобрят.

Мы проговорили всю ночь, и к утру наши планы стали более определенными. Нестров и Макар вернутся во Львов, потом Макар приедет за мной. Поскольку наши настоятели находились во Львове, начинать надо было оттуда. Тем временем я должен был наилучшим образом привести в порядок свои дела в Альбертыне, стараясь, чтобы люди не заподозрили о моем отъезде. До сих пор помню, как я сказал на

прощание Нестрову, когда он уезжал в тот вечер: «Весной будем в России!»

Через неделю Макар вернулся, верный своему слову, и в сумерках мы вдвоем незаметно выбрались из дома и вышли на дорогу, ведущую в Слоним. По расписанию поезда больше не ходили, а на те, которые ходили, невозможно было достать билет, но это едва ли могло остановить моего грузинского товарища. Мы слонялись по слонимской железнодорожной станции, пока не пришел поезд до Москвы, а потом влезли в него без билетов. Поезд тронулся, но никто нас так и не побеспокоил. Альбертын мы проехали, даже не сбавляя ход. У меня был лишь краткий миг, чтобы в последний раз окинуть деревню прощальным взглядом.

Когда кондуктор наконец попросил у нас билеты, Макар начал бранить его за плохое обслуживание и расстроенное расписание поездов. Поначалу кондуктор был несколько ошеломлен, потом стал настойчив. Макар все сильнее негодовал, а кондуктор становился все более непреклонным. Он сказал, что следующая остановка – Барановичи. Там нам придется сойти и купить билеты, иначе он выкинет нас из поезда. Это его последнее слово. Бедняга-кондуктор не мог, конечно же, знать, что Барановичи, железнодорожный узел, соединявший московскую линию с дорогой на Львов, как раз и были нашим пунктом назначения.

Однако даже в Барановичах купить билеты оказалось невозможно. В тот вечер был поезд до Львова, но обыкновенные пассажирские вагоны были забиты, а спальные забронированы для офицеров. Макара такое положение вполне устраивало. Мы прошли по запасным путям к спальным вагонам и забрались в один из них. К нам подошел было сотрудник железной дороги, чтобы сказать, что вагон забронирован для офицеров, но Макар затараторил по-белорусски и убедил его, что мы из некого белорусского комитета, едем во Львов и определенно не желаем, чтобы этой ночью нас беспокоили.

Подобные происшествия были не редкостью для Макара. Помню еще один случай позже, в Львове, когда мы с ним поздно вечером возвращались из поездки, и нас, взяв на прицел, остановил энкаведешник. Макар был в возмущении; но если он и нервничал, это никак не проявлялось. Он начал рассказывать длинную, запутанную историю и отчитал сотрудника органов за то, что тот среди ночи пристает с пистолетом к «членам партии». Наконец, от страха, а, может, от недоумения, энкаведешник нас отпустил. То же произошло и теперь. Железнодорожник нашел нам спальные места, пообещал, что нас не

будут беспокоить, так что до Львова мы ехали по-барски, выспались на славу и приехали хорошо отдохнувшие.

Во Львове условия были ненамного лучше, чем в Альбертыне. Иезуитам разрешалась пользоваться только одной частью здания, предназначенного для проживания общников*, изучающих богословие, так как в остальных частях русские стали селить семьи. Этим они опять же старались дать понять, что все здания – собственность «народа»; они также пытались впечатлить «народ», поселив некоторых его представителей в доме, ранее принадлежавшем Церкви. Поэтому о. Бенько, наш львовский настоятель, сразу решил, что будет лучше, если Макар, Нестров и я найдем отдельную комнату где-нибудь в другом месте. Мы нашли жилье примерно в шести кварталах от иезуитского здания, в квартире, где жили в основном беженцы из Варшавы, среди которых было много евреев.

О. Бенько идеально подходил на роль настоятеля в столь нелегкие времена. Это был высокий худой человек без малого шестидесяти лет, с тонким носом и светлыми волосами. Но первым, что бросалось в глаза, была улыбка, потому что он часто улыбался. Однако за его приятной наружностью крылся трезвый и проницательный ум. Прекрасный богослов, слывущий среди многочисленных товарищей по ордену одним из лучших умов в провинции, он показал себя еще более блестящим администратором и совершенным гением в умении сообразовываться с обстоятельствами.

Многим молодым иезуитам, изучавшим богословие, уже пришлось найти работу, чтобы поддержать общину, ибо все ее денежные средства были конфискованы. Нестров, Макар и я также нашли работу, чтобы кормиться, пока не представится возможность уехать в Россию. Я водил грузовик одной рабочей бригады: нас заставляли возить мебель и прочее имущество, которое русские изымали в городе, и доставлять его на вокзал для отправки в Россию.

Вскоре я понял, что ведется некая двойная игра. У большинства рабочих в моей бригаде были в городе родственники, поэтому многие вещи, которые мы «конфисковали» у этих людей, просто отвозились родственникам в другой части города или в потайное место за городом. Другие люди также платили нам, чтобы мы доставляли их вещи не русским, а их собственным родственникам. Это было рискованно, но имущество изымалось и доставлялось на вокзал в таких количествах,

---

* Т.е. иезуитов. *Прим. пер.*

что никто не мог это проверить. Люди, возившие эти вещи на грузовике, конечно, находили особое удовольствие в возможности обвести оккупантов вокруг пальца.
Не успели мы обосноваться во Львове, как Нестров и я поспешили поделиться с о. Бенько своей мечтой поехать в Россию, чтобы помогать приходским общинам, лишенным священников.
Макара в тот момент отпустить не могли. Но мы настаивали на том, что, быть может, нам никогда не представится более подходящего момента, чтобы сделать этот шаг, чем сейчас, сразу после начала оккупации, когда дороги и города забиты беженцами. Наш план был прост. Русские в огромных количествах нанимали жителей оккупированных территорий для работы на промышленных предприятиях Урала. Казалось, что Сталин не заблуждается насчет Гитлера; русские заводы работали круглосуточно. Мы сказали, что хотим завербоваться на Урал.
Поскольку, как я уже сказал, о. Бенько обладал большой духовной прозорливостью и практическим складом ума, он согласился отпустить нас. Однако сказал, что сперва мы должны заручиться согласием митрополита Шептицкого, львовского архиепископа восточного обряда.
Нестров договорился о встрече с митрополитом, и одним-двумя днями позже мы встретились с ним в резиденции архиепископа на площади св. Юра возле одноименного собора. Архиепископ был тогда уже стар, но люди относились к нему с таким почтением, что коммунисты не могли выступать против него открыто. Он была настолько немощен, что на встречу с нами его принесли в кресле, но взгляд его был светел, а ум совершенно ясен. Он тепло приветствовал нас и выслушал до конца, прежде чем что-нибудь сказать.
Этот проницательный и добрый патриарх знал Россию по собственному опыту. Прежде всего он сказал нам, как высоко он ценит наш энтузиазм, но также предупредил нас о тех трудностях, с которыми нам предстоит столкнуться. Затем, видя, как сильно наше желание отправиться в Россию, он произнес: «Вот что я вам скажу. Предположим, мы предпримем попытку длиною в год. Я дам вам разрешение попробовать въехать в Россию, но вам следует быть предельно осторожными и ни в коем случае не рисковать. Ваша цель должна быть только в том, чтобы разведать обстановку и понять, возможна ли в действительности работа священнослужителей в России. Господу известно, что вы нужны людям».
Затем он начал подробно пересказывать нам те отрывочные сведения, которые слышал от других. Он рассказывал о том, что русские

арестовывают всякого, кто служил в правительстве или полиции, а также учителей, юристов, служащих, представителей дворянства, и даже тех, кто просто живет немного лучше среднего, и посылают их, по слухам, работать на Урал. Безусловно, сказал он, эти люди приняли бы нас как священников, если бы мы только добрались до них. Мы могли бы также расследовать возможности священнической работы среди самих русских.

«Но помните, - сказал он, - это только проба, разведывательная экспедиция. Я хочу, чтобы примерно через год вы вернулись ко мне и рассказали о своем опыте». С этими словами он дал нам благословение и велел нам вернуться за более подробными указаниями, когда мы закончим все приготовления к путешествию. Мы с Нестровым были так взволнованы, что едва слышали предостережения митрополита насчет трудностей, которые ожидали нас в России. «Ну, что я говорил? – сказал я, когда мы шли по коридорам резиденции архиепископа. – Весной – в России!»

Мы тут же начали приготовления к путешествию. Инстинктивно мы сразу устремились к нашему хитроумному грузину, о. Макару, который умел все устраивать, как никто другой. Казалось, он был со всеми знаком и повсюду имел связи. Первым делом нам надо было достать какие-нибудь польские документы. Мы хотели оказаться на Урале в качестве наемных рабочих, а не в качестве ссыльных. Разумеется, мы не сможем въехать в Россию как священники. Кроме того, едва ли русские впустили бы меня в страну с моим американским паспортом и, хотя Нестров был русским, коммунисты пожелали бы узнать, как и почему он покинул страну, что он делал в Польше и почему решил вернуться.

Документы, однако, не представляли ни малейшего затруднения для Макара. Они должны были быть подложными, но не поддельными. Он точно знал, где найти бывших правительственных служащих; у них он достал два набора польских официальных бумаг и принес их домой. Затем мы с Нестровым принялись сочинять себе биографии, которые объясняли бы, почему двое мужчин в одиночку, без семьи едут на Урал, работать на русских. Я превратился во «Владимира Липинского», вдового поляка, чья семья погибла во время немецкого артобстрела. Нестров стал «Куральским». Когда мы были наконец удовлетворены своими выдумками, Макар отнес заполненные бумаги назад к бывшим правительственным работникам. Они, как положено, заверили их печатями и подписями, и наши новые документы были готовы.

С этими бумагами мы и явились в контору Леспромхоза, большого лесозаготовительного объединения, которое нанимало людей для работы в уральском регионе. Им очень нужна была рабочая сила, поэтому нас даже почти ни о чем не стали спрашивать; нас тут же приняли на работу и выдали нам рабочие удостоверения. Они велели нам вернуться через неделю за дальнейшими указаниями, а также за билетами на поезд и авансом в размере 150 рублей ($15), чтобы иметь деньги на еду и путевые расходы.
За неделю собраться было трудно, но нам не терпелось отправиться в путь. Мы в последний раз обсудили ситуацию с о. Бенько. Мы решили оставить мой американский паспорт и российский паспорт Нестрова у иезуитов во Львове, чтобы можно было их забрать по возвращении из России. О. Бенько назначил меня исполняющим обязанности настоятеля в пути, чтобы в том случае, если надо будет принять какое-то решение относительно времени нашего возвращения или рода нашей деятельности, ответственность за эти решения лежала на мне.
Наконец, мы повторно встретились с архиепископом. Мы сообщили ему о своих планах и подготовительных действиях, показали свои удостоверения личности и рабочие удостоверения. Ему не понравились имена, которые мы себе выбрали. Он сказал, что они чересчур польские; по его мнению, нам следовало взять белорусские или украинские фамилии. «Однако, - сказал он, - менять их слишком поздно, так что будем надеяться, что это ни к чему плохому не приведет». Затем он еще раз очень подробно оговорил с нами те ограничения, которых мы должны придерживаться, и род работы, каким мы по возможности должны заниматься.
В качестве последней предосторожности архиепископ вырвал из книги страницу, разорвал ее надвое, затем одну половину страницы отдал нам, а другую оставил себе. Если мы будем посылать кого-то к нему с известием, сказал он, особенно если мы будем направлять к нему с Урала кандидатов на поступление в семинарию, мы должны посылать с ними кусочек этой страницы, так чтобы можно было его сопоставить с той половиной листа, которая осталась у архиепископа, дабы удостовериться, что человек или известия действительно посланы нами.
В конце нашей долгой беседы мы преклонили колени, чтобы получить благословение архиепископа. Прежде чем благословить, он посмотрел на нас долгим взглядом, но ничего не сказал. Затем, немного разрядив обстановку, вошла монахиня, неся огромную, размером с колесо, булку

белого хлеба, которую сестры испекли нам в дорогу. Они также пообещали за нас молиться.
На следующий день, когда мы снова пришли в контору леспромхоза за инструкциями, нам было велено явиться на львовский вокзал утром 15 марта и вместо железнодорожных билетов мы просто получили номера товарных вагонов. Кроме того, денег, которые нам должны были выдать, оказалось не по 150 рублей на каждого, но 150 рублей на двоих. И этого должно было хватить нам до Чусового, а путь мог занять от двух недель до месяца.
Дата отъезда - 15 марта, то есть за неделю до начала весны 1940 года[5] – казалась добрым предзнаменованием. В последний вечер мы пошли на исповедь, чтобы подготовиться к неизвестному, и получили благословение о. Бенько. На следующее утро в часовне мы в последний раз совершили мессу, собрали свои литургические наборы и чемоданы, взяли под мышку огромную булку хлеба и фунт сала и в сопровождении неукротимого Макара отправились на вокзал, откуда нам предстоял путь в Россию.

Он же Владимир Липинский

В товарном вагоне 89725 было два ряда нетесанных деревянных нар вдоль стены (Макар называл их «верхними и нижними полками»), солома на полу и вентилятор под потолком. Из прочих предметов обстановки был только старый дырявый нефтяной бак, служивший печкой, да помойное ведро, заменявшее туалет. Окон не было. Зато щели в боковых стенах были достаточно велики, чтобы сквозь них можно было смотреть, и в вагоне из-за них постоянно сквозило.
В начале путешествия в вагоне было двадцать пять человек. Большинство наших спутников были евреями, бежавшими от нацистского наступления на Польшу. Первым нам представился Франк, варшавский коммунист, едва успевший покинуть город перед тем, как его заняли немцы. Оставшись без крова, он решил перевезти свою семью – жену, десятилетнего сына и племянника – в тот рай, о котором он столько читал в коммунистической литературе.
Франк не был единственным, кто путешествовал с детьми. Люди ехали целыми семьями: здесь были бабушки, дедушки, отцы, матери и дети. Покинув родные края, где из поколения в поколение жили их предки,

---

[5] Американцы считают началом весны день весеннего равноденствия. *Прим. пер.*

они - как все беженцы - несли на себе все свое имущество в новую жизнь в чужой стране. Однако среди путешественников царил дух дружелюбия; казалось, все стараются быть настолько заботливыми и веселыми, насколько это возможно в подобных обстоятельствах.
Путь из Львова на Урал был долгим и трудным. Сперва мы проехали Киев и Винницу, потом, через Брянск и Калугу, направились к северу, в Горький, затем вновь на восток, в Казань и Уфу, и наконец вдоль Уральских гор и реки Чусовая устремились на север к городу Чусовой, расположенному примерно в 50 милях от Перми, которая называлась в то время Молотов. Мы продвигались урывками. Создавалось впечатление, что любой поезд пропускают вперед нашего. Нам случалось простаивать на запасных путях по два дня, прежде чем удавалось продолжить путь.
В некотором смысле долгие остановки были благословением. Они давали нам возможность прогуляться и опорожнить помойное ведро, заменявшее туалет. Мы также по очереди ходили за водой для утоления постоянно мучившей нас жажды и пытались добыть съестные припасы. Но из еды мало что можно было купить. В столовых городов, встречавшихся на нашем пути, нам продать ничего не могли. «У нас едва хватает пищи, - говорили нам, - чтобы прокормить своих собственных рабочих. Мы не можем заботиться еще и о беженцах». Франк пережил настоящий шок, когда обнаружил, что в его рабочем раю может не хватать пищи, но отнес это за счет войны.
Раз в день каждый из нас мог купить в вагоне-складе, который имелся в нашем поезде, маленькую булку хлеба. Иногда можно было купить также около фунта маленьких карамелек. Если удача нам улыбалась, можно было купить даже луковицу или кочан капусты у случайного крестьянина. Но в основном пища наша состояла почти исключительно из того небольшого запаса продуктов, который мы взяли с собой. Мы с Нестровым на двоих питались тем фунтом сала, который взяли в дорогу. Мы ели его сырым, заедая куском купленного в поезде хлеба и запивая водой.
Промозглый, сырой мартовский воздух порождал у нас еще одну огромную потребность: в горючем для отопления вагона. Мы все вскоре научились очень ловко воровать его из угольных куч на станциях, где останавливались, и подбирать куски угля, лежавшие вдоль путей. Иногда мы даже таскали его прямо из паровоза, пока поезд стоял на запасном пути.

Люди в городах, которые мы проезжали, относились к беженцам подозрительно. Однажды, когда мы стояли на подъездном пути где-то между Винницей и Киевом, была моя очередь идти за водой. Ближайшим местом, судя по всему, был соседний колхоз. Сынок Франка, Аарон, к тому времени довольно сильно ко мне привязался и, когда я отправился в колхоз, засеменил рядом со мной. Но как только мы добрались до колонки, из одного дома вышла женщина и принялась бранить нас на чем свет стоит. Она звала нас «поляками», «бродягами» и «грязными беженцами» и кричала, что нечего нам делать у колхозной колонки. Она кричала, что не позволит нам «марать» воду и спустит собак, а потому лучше нам убраться подобру-поздорову.
В тот день мы ехали долго; мы очень устали, и хотелось пить. Ее визг был последней каплей. Я начал отвечать ей в том же духе. Каким-то образом из меня полились слова, которых я не употреблял с тех пор, как был мальчишкой на улицах Шенандоа. Сварливая баба с секунду простояла ошарашенная, потом тихо удалилась в дом. Маленький Аарон ничего не сказал, но, наверно, пересказал все отцу, потому что потом в вагоне Франк украдкой подошел ко мне и сказал, посмеиваясь: «Не думал, что ты можешь так разойтись. Хорошо же, наверно, досталось от тебя этой бабе!» В тот момент я был очень рад, что никто в вагоне не знает, что мы с Нестровым – священники.
Должно быть, в ту же ночь – хотя в моей памяти дни этого путешествия сливаются друг с другом – мы пересекли старую, довоенную границу между Польшей и Россией. Я точно помню, что это было в день св. Иосифа, 19 марта. И еще я хорошо помню, как, слегка подтолкнув Нестрова локтем в бок, я тихо, как некогда в львовской резиденции архиепископа, сказал ему: «Ну вот, весной в России!»
Мы молча посмотрели друг на друга. Невозможно было предвидеть, что готовит нам будущее, но мы наконец-то совершили то, о чем мечтали столько лет. Неважно, что никто в вагоне не знал, что мы священники. Мы-то об этом знали! Пересечение границы привело меня в странное состояние: мне было радостно и в то же время одиноко; это было начало и в то же время конец той жизни, которую мы знали. Я не мог не задаваться вопросом, не будем ли мы призваны, как столь многие священнослужители до нас, отдать свою жизнь за веру. Я помню, что в ту ночь, засыпая, все твердил под стук колес: «Я готов. Я готов. Я готов».
Тряское, прерывистое путешествие от Львова до Чусового по кружной дороге более чем в 1500 миль длиной продлилось больше двух недель.

«Пейзаж» (не считая тех моментов, когда мы стояли на запасных путях или смотрели сквозь щели) был всегда одним и тем же: четыре стены товарного вагона и перемещающийся луч солнечного света, проникающего через вентиляционное отверстие в крыше. Это был наш мир, и мы жили в нем, как могли. Разговоры - по мере того, как часы сливались в дни, а дни в недели - становились довольно однообразными. Семьи беседовали друг с другом о доме и о новых надеждах. Мы вместе обсуждали возможности, которые откроются нам на Урале.

Время от времени на стоянках к нам подсаживались новые пассажиры, тоже полные надежд, тоже едущие работать на Урал, на что каждый из них имел свои собственные причины. Принимали их неоднозначно. Они занимали драгоценное место в вагоне, которого и без того уже было слишком мало; это были лишние рты, а провизия почти вся вышла. Даже в вагоне-складе хлеб продавали уже не ежедневно. Но они также приносили с собой новые темы для разговоров, новые истории, иногда обрывок-другой новостей, и тем разбавляли однообразие нашего путешествия.

После двух недель скучного, изнурительного путешествия мы наконец затормозили в Чусовом, конечном пункте нашего странствия. Сам город тянется по правому берегу реки Чусовая, близ того места, где в нее впадает река Усьва, в предгорьях Урала, примерно в 750 милях к северо-востоку от Москвы. Чусовой, крупный лесозаготовительный центр, где лес, сплавляемый вниз по реке, грузили на поезда и отправляли в Пермь, был тогда очень оживленным уральским городом, производившим каменный уголь и чугун для военных нужд России. По всему берегу реки стояли огромные печи, чтобы изготавливать древесный уголь для плавки руды, и русские усердно разрабатывали богатые месторождения железной руды, обнаруженные в регионе.

Мы приехали, но оставлять нас здесь не собирались. На станции нам сказали, что мы будем работать не в Чусовом, а на лесных складах в Теплой Горе, другом активном промышленном городе примерно в 50 милях на восток. Затем нас передали нашему провожатому - или надзирателю - высокому, суровому, с бегающими глазами судье. Он велел нам выгрузиться из товарного вагона, предъявить документы, а также пересчитал нас, дабы никто из «добровольцев» не сбежал по пути.

Судья, казалось, сразу заподозрил в чем-то нас с Нестровым, двух мужчин, путешествующих вдвоем, без семьи. Мне пришлось

пересказать ему трагическую историю о том, как в какую-то долю секунды я лишился жены и детей во время немецкого артобстрела. Мы переходили дорогу, сказал я, когда прямо у наших ног разорвалась бомба. Моя жена, сын и две дочери погибли на месте; меня отбросило на другую сторону улицы. Когда я дополз до воронки, то увидел свою жену, лежащую поперек тела нашей младшей дочери. Обе были мертвы. От двух других детей не осталось и следа. Я понял, что жизнь моя кончена, а потому решил начать новую жизнь на лесных складах Урала, где, как говорили, неплохо платят и почти ни о чем не спрашивают.

Судья не проявил ко мне ровно никакого сочувствия. Однако больше он нам ничего не говорил, если не считать нескольких невнятных замечаний да косых взглядов, которые он бросал на нас время от времени. Тем не менее я решил, что надо бы отточить свою речь, чтобы сделать историю более трогательной, когда кто-нибудь в очередной раз возьмется меня допрашивать. Убедившись, что все мы учтены, судья перешел к своим указаниям. Говорил он так, словно перед ним подсудимые.

Ни при каких обстоятельствах, сказал он, мы не должны покидать вагон без его разрешения, пока не приедем в Теплую Гору. Представителю каждого вагона разрешено будет отправиться в Чусовой за пищей: он предположил, что мы, наверно, проголодались, пока ехали из Львова (из всего, что нам когда-либо приходилось от него слышать, этот саркастический комментарий более всего напоминал человеческую речь). Нас поселят, продолжал он, в бараках в Теплой Горе. Нам будут платить минимальное жалование. Будет ли нашего заработка достаточно, чтобы кормиться и одеваться, будет зависеть от того, как мы будем работать и какие премии будем зарабатывать. Мы хотели работать, вот и будем работать; Урал – не лагерь летнего отдыха. Затем он добавил, так, словно это только что пришло ему в голову, что уклоняющихся от работы будут сурово наказывать. Другим недопустимым преступлением было пьянство. Родители должны позаботиться о том, чтобы их дети вели себя хорошо.

В общем это был тот еще прием для бригады рабочих, добровольно вызвавшихся трудиться на чужой земле. Франк, со своими мечтами о рабочем рае, был поражен. Но нам, по крайней мере, дали поесть, а мы умирали с голоду. Когда судья отпустил нас, мы забрались обратно в вагоны, разделили друг с другом свои скудные запасы пищи и поели так хорошо, как не ели уже две недели. Это была ошибка, но мы никак не могли знать, что простоим на этих запасных путях три дня, прежде чем

отправимся в Теплую Гору. В это время у нас оставалось уже совсем мало денег на еду. Чтобы прокормиться, некоторые семьи даже закладывали те вещи, которые они так бережно хранили на протяжении всего путешествия из Львова.
Тремя днями позже, смертельно голодные, мы под проливным дождем добрались до Теплой Горы. Судья препоручил нас другому партийцу и нескольким представителям леспромхоза, поэтому нам пришлось стоять под дождем, пока нас снова пересчитывали, чтобы убедиться, что все, бывшие в Чусовом, добрались и до Теплой Горы. Когда с формальностями было наконец покончено, нам сказали погрузить свои вещи в телеги, чтобы отвезти их на лесозаготовки, которые находились на горных склонах далеко за городом.
Под проливным дождем мы с Нестровым помогали Франкам и другим семьям погрузить вещи в телеги. Немощеные дороги превратились в потоки грязи, и лошадям пришлось нелегко, когда они пытались одолеть милю-другую до лесозаготовок. Нам приходилось постоянно выскакивать из телеги и перетаскивать ее через ухабы на дороге или наоборот вытаскивать из глубокой канавы, стоя по колено в грязи, в то время как из-под копыт в нас летели комья земли.
На лесозаготовках бараки были новые и нетесаные. Большие участки стен, где дерево покоробилось, были заполнены грязью и чем-то вроде штукатурки. Перегородки между комнатами были сработаны грубо; через щели между плохо пригнанными друг к другу досками видно было каждое движение людей в соседней комнате, поэтому уединиться было довольно трудно, но большинство семей, по крайней мере, имели отдельную комнату. Нас с Нестровым, поскольку семьи у нас не было, разместили в общей спальне.
На кроватях – соломенных матрацах, расстеленных на досках, - были чистые постели, и полы были вымыты. Здесь были также столы из грубо обтесанных досок, а в каждой части барака имелось по печке для отопления. Готовить полагалось на другой печке, в конце коридора, разделявшего комнаты, и все пользовались ею по очереди. Большинство жильцов нашего барака были старожилами, попавшими сюда во время коллективизации 1930-х. Они приняли нас тепло и немного шумно, выделили нам кровати и рассказали о заведенных здесь порядках. Однако в первый день или два новички не работали. Мы знакомились с лагерем и проходили собеседования.
Нестрова распределили в контору. Мне повезло меньше. Все то лето 1940 года вплоть до октября я, как неквалифицированный рабочий,

работал в смешанной бригаде (то есть такой, где были и мужчины, и женщины), таская бревна с реки и укладывая их штабелями примерно в два метра высотой и тридцать метров длиной. Это была тяжелая работа. Ряды бревен были выше меня, поэтому, укладывая последние бревна, приходилось поднимать их над головой. У меня не было перчаток, и я работал голыми руками, пока от жесткой коры руки не начинали кровоточить.

Размер заработка зависел от того, сколько кубических метров древесины мы укладывали за день. В первый месяц или около того я зарабатывал очень мало. Довольно часто меня ставили в начало конвейера, где я работал по пояс в воде, подавая бревна другим членам бригады. Иногда приходилось нырять и под воду, чтобы достать затонувшее бревно, а ворочать эти насквозь промокшие бревна в два метра длиной и, наверное, более полуметра шириной, скользя по илу и грязи, было смертельно опасно.

Мы с Нестровым сбрасывались на еду, но, поскольку в конторе он был новичком, он тоже зарабатывал мало. Иногда нам хватало только на булку черного хлеба. Случались вечера, когда мы и этого не могли себе позволить, потому что нужно было платить еще за проживание в бараке, и эта сумма удерживалась из нашей зарплаты прежде, чем мы успевали увидеть ее. На второй неделе пребывания там все наши деньги вышли. В конце концов я продал шубу, которую привез с собой, чтобы добыть денег на пропитание.

Старожилы по отношению к нам были настроены довольно дружелюбно, но за перевыполнение нормы давали премии, и они не видели ничего дурного в том, чтобы обманывать новичков, которых жизнь тоже вскоре научила уму-разуму. Если мы были невнимательны, то уложенные нами бревна могли к концу дня приписать кому-то другому. Я приучился всегда быть поблизости, когда составлялись отчеты, и тщательно проверять, действительно ли проделанная мной работа зачтена именно мне. Постепенно руки мои окрепли, и я изучил все ходы и выходы этого мира. Старожилы барака вскоре приняли нас с Нестровым.

Однако, памятуя наказ митрополита Шептицкого, поначалу мы были очень осторожны. Мы никогда не разговаривали с людьми на религиозные темы, но внимательно прислушивались к ним, стараясь понять, что они думают. Среди нас было много атеистов и коммунистов, которые время от времени заговаривали на тему религии, и мы наблюдали за различными реакциями окружающих. Старожилы

были в основном крестьянами, держащимися за религию, как и за другие воспоминания о былом. В трудные времена они восклицали: «Господи! Господи!» - перемежая эти возгласы ругательствами, от которых волосы вставали дыбом. При этом одни возгласы значили ничуть не больше, чем другие, и они никогда не проявляли свою религиозность открыто, потому что то был коммунистический лагерь, а религия была «опиумом для слабых».

Однако иногда, после того как кто-то из атеистов высмеивал религию, мы садились в уголок с несколькими другими и пытались выяснить, что они по этому поводу думают. Поначалу мы были очень осторожны. Нас послали с тем, чтобы мы выяснили, возможна ли здесь работа священников, а не с тем, чтобы мы выдали свою собственную причастность к духовенству.

Разумеется, служить мессу в бараке было невозможно. Тем не менее время от времени в свободные от работы часы мы с Нестровым шли в лес, чтобы совершить мессу там. Алтарем нам служил большой пень, и пока один из нас служил мессу, другой караулил на дороге. Этого переживания я не забуду никогда. В бархатной тишине густого леса слышно было, как бегают бурундучки и как собираются над головой птицы. В такие моменты чувствуешь вдруг необычайную близость к природе и Богу. Все кажется прекрасным и каким-то таинственным, а все опасности становятся на время очень далекими.

Кроме того, иногда, если на какой-нибудь час мы оставались одни, но не могли покинуть лагерь, чтобы совершить мессу, мы по очереди читали и заучивали литургические молитвы, пока не запоминали их наизусть. Мы никогда не забывали о том, что литургический набор могут найти, и тогда мы потеряем книгу и облачение, но мы твердо решили, что, пока у нас будет хлеб и вино, мы будем стараться служить мессу.

Такие высокие идеалы и минуты близости к Богу не заслоняли от нас действительности. Жилищные условия в бараках, постоянный, гнетущий страх разоблачения, пропагандистские антирелигиозные выступления руководства на многих рабочих собраниях, кажущееся равнодушие соседей по бараку – от этого наша «миссия», наша мечта казалась тщетной. Легко было впасть в уныние и предаться размышлениям о невозможности чего-либо достигнуть.

И все же многие – мы знали это – были верующими в душе. И втайне молились. Многие, по меньшей мере, говорили, что хотели бы, чтобы у них была церковь, чтобы можно было крестить детей. (Мы рассказали

им, как можно крестить детей самостоятельно.) Во времена уныния мы с Нестровым утешались мыслями о Промысле и всемогуществе Божием. Мы предавали себя и свое будущее в Его руки и продолжали идти вперед.

В сущности, наш труд должен был стать нашей молитвой. С кривой усмешкой мы порой напоминали друг другу о том, что мы и вправду стали «созерцателями в действии», совершающими все свои дела ради вящей славы Божией, как говорит св. Игнатий в «Духовных упражнениях». Мы работали не только ради того, чтобы прокормиться или чтобы нас принимали окружающие, но и потому, что на тот момент в труде заключалось наше «призвание», наше «служение». Мы были тружениками.

«Стахановцем» нашей бригады был могучий молодой русский парень лет двадцати пяти, который все время старался побить свой собственный рекорд ради «великой революции». Слово «стахановец» происходит от имени Алексея Стаханова, донбасского шахтера и героя труда начала 30-х годов, который известен тем, что за одну смену выполнил 14 норм добычи угля. В Советском Союзе его воспевают и увековечивают в легендах, подобно тому, как лесорубы на северо-западе Америки превозносят Пола Баньяна, а сталепрокатчики под Питтсбургом – Джо Мэгэрэка. И я решил, что если он способен на такое во славу коммунизма, то тем более я способен на это ради славы Божией.

Конечно, такой паренек, как я, не мог по-настоящему тягаться с этим молодым русским великаном. Однако я в долгу не оставался. Неделю за неделей он устанавливал лагерные рекорды, укладывая 58, 59, 60 кубических метров древесины за смену, а Владимир Липинский значился в списках сразу за ним: 53, 54, 55 кубометров за смену. Это соревнование стало постоянным поводом для шуток в нашем бараке, и старожилы все подбивали меня обогнать русского здоровяка.

Моя рабочая репутация, однако, не ослабила подозрений нашего приятеля-судьи. Однажды ночью где-то в миле от нашего барака загорелся сарай. Еще прежде, чем до нас дошла весть об этом, судья пришел узнать, не отлучались ли мы с Нестровым тем вечером. Он был уверен, что поджог устроили мы. И только опросив людей в нашем бараке и узнав, что мы и шага не сделали за порог, он наконец рассказал нам о пожаре и приказал идти его тушить.

Когда лето 1940 года сменилось осенью, я попытался устроиться водителем грузовика. К тому времени я уже пользовался всеобщим

доверием как хороший работник (не доверял мне разве что судья) и заслуживал повышения, поэтому меня послали в Чусовой сдавать на водительские права. Экзамен я выдержал блестяще, и даже получил звание «водителя первого класса», высшее из всех возможных. Так что по возвращении в Теплую Гору мне дали грузовик. Это оказался старый, сломанный пикап, который мог вдохновить еще Генри Форда на создание «модели Т»[6], и мне еще предстояло натерпеться с ним немало бед. Нестров также заслужил повышение и был переведен в диспетчерскую. Кроме того, на основании наших новых должностей мы также получили отдельную комнату, которую делили еще с двумя водителями, русскими из Магнитогорска.

Примерно в это же время мы получили русские паспорта. По вечерам в бараках обычным делом были выступления разных партийцев на тему нашей работы, политики, коммунизма или атеизма. Один из них сказал однажды, что нам, добровольцам, хорошо было бы иметь русские паспорта. Он сказал, что с ними мы сможем свободнее перемещаться по стране, имея же только рабочие удостоверения, мы должны будем все время находиться по месту прописки. Кроме того, он утверждал, что с русским паспортом нам будет проще найти работу, куда бы мы ни поехали.

Мы с Нестровым обсудили это. Русские документы могли затруднить нам выезд из страны. С другой стороны, если с ними проще путешествовать, значит они могут облегчить нам возвращение во Львов. Когда мы наконец решили получить их, это оказалось очень легко. Мы просто сдали свои удостоверения личности и рабочие удостоверения, заполнили анкеты и где-то через полчаса получили паспорта.

В это же время мы также составили отчет для митрополита Шептицкого и написали письмо Макару. Макар ответил почти немедленно. Он писал, что надеется присоединиться к нам весной. К тому времени мы также стали смелее заговаривать о религии. Я подружился со многими детьми в лагере и время от времени спрашивал их, что им говорили о Боге в школе. И все же мы должны были быть осмотрительны: однажды один комсомолец услышал, как я разговариваю с детьми о Боге, а потом велел им держаться от меня подальше. Он сказал им, что, если они будут разговаривать о подобных вещах, это может плохо кончиться.

---

[6] «Модель Т» - первый массовый дешевый автомобиль, запущенный в производство Генри Фордом в 1908 г. *Прим. пер.*

Я обнаружил, что особенно интересуются религией подростки. В школе она обсуждалась и высмеивалась так часто, что им хотелось узнать о ней побольше. Мы делали вид, что идем собирать грибы или чернику, а сами по вечерам, после работы, устраивали в лесу встречи. Там, укрывшись за каким-нибудь холмиком или в каком-нибудь лесном провале, мы часами говорили о Боге и об отношениях человека с Богом и с другими людьми. Они были полны любопытства и забрасывали меня вопросами. Однако под конец каждой такой встречи они брали с меня обещание никому не говорить, о чем мы беседовали, и мы возвращались в лагерь разными тропинками.

Зима на Урале, как и почти по всей России, наступает рано. С приходом зимы жизнь на лесозаготовках стала еще тяжелее, чем прежде. Нередко температура опускалась до 40° ниже нуля (по Фаренгейту), но холод еще можно было выносить, если не было ветра. Работа не прекращалась даже в снегопад.

Однажды, в ночную смену, примерно в 2 часа ночи, мой грузовик застрял в лесу: у меня забился топливопровод. Мне оставалось либо наладить его, либо замерзнуть насмерть. Стояла кромешная тьма, и у меня не было инструментов, однако я открыл капот и стал работать на ощупь. Я нашел топливопровод и возился с соединением голыми руками, пока они не заболели. Наконец у меня получилось.

К тому времени руки мои онемели от жгучего ветра и холодного металла. Снег был по щиколотку, а на мне были всего лишь ботинки. Прежде чем отсоединить топливопровод, я потоптался на месте, чтобы до некоторой степени восстановить кровообращение в ногах, и помахал руками, чтобы кровь вновь прилила к занемевшим пальцам. Наконец я отсоединил топливопровод и вставил в отверстие палец, чтобы топливо не пролилось на землю. Я пытался согреть топливопровод руками, прежде чем сунуть его в рот, чтобы выдуть из него то, что мешало проходить топливу. Просто от отчаяния я дул и пыхтел, пока не почувствовал, что помеха сдвинулась с места.

Теперь мои руки онемели снова. Мне никак не удавалось снова вставить топливопровод в клапан топливного бака. Некоторое время я с ним боролся, топливо между тем все лилось мне на руки, пока они не побелели и не замерзли. Потом мне пришлось снова заткнуть большим пальцем отверстие топливного бака, а другую руку засунуть в рот, чтобы пальцы оттаяли настолько, чтобы можно было продолжать работу. Казалось, прошли часы, прежде чем мне удалось совместить резьбу на соединении.

Мои пальцы полностью утратили чувствительность. Я уже начал думать, что отморозил их по-настоящему; когда же они начали согреваться, мало-помалу я стал ощущать в них покалывание, затем пульсирующую боль. Я потоптался на месте и похлопал себя руками по телу, чтобы можно было завершить работу, прежде чем все топливо вытечет из бака. Наконец больными пальцами я закрутил соединение, закрыл капот и заполз в кабину. Мотор залило. Не оставалось ничего, кроме как дать ему высохнуть. Когда я наконец вернулся в гараж, уже рассвело.

Мне повезло куда меньше, когда грузовик сломался в следующий раз, и я не смог его наладить. Мне пришлось просидеть на обжигающем морозе, без пищи сорок восемь часов, прежде чем подошел другой грузовик. К тому времени обе мои щеки были отморожены. Правая сторона моего лица оттаяла, но левая, которая была обращена туда, откуда дул ветер, долго еще была воспалена от глаза до челюсти. Постепенно, когда с нее сошла короста, больное место уменьшилось до размеров пятикопеечной монеты, но только на четвертый год моего тюремного заключения щека исцелилась полностью.

Я начал думать, что, возможно, изъявленное мною желание водить эту жестянку Лиззи[7] было одной из величайших ошибок в моей жизни. Однако в других отношениях грузовик был весьма удобен. Я часто возил материалы рабочим отрядам в лесах, где работало много призывников, и у меня была возможность поговорить с рабочими, пока они разгружали грузовик. Во время таких поездок я также пользовался случаем, чтобы заглянуть в крестьянские дома на холмах возле лагеря. Там жили в основном старые ссыльные белорусы или украинцы, сосланные сюда в 1937 году в самый разгар коллективизации. Они ютились в лачугах на холмах и влачили скудное существование, возделывая землю или работая на лесозаготовках или на чугунном заводе, когда им удавалось получить работу.

Они были люди простые, с ними легко было разговаривать. В отличие от людей на лесозаготовках и в бараках, они свободно разговаривали о Боге, молитвах и о том, как им хотелось бы, чтобы у них была церковь и священник. Однако, поскольку я все еще только прощупывал почву и хорошо помнил предостережения архиепископа, то не говорил им, что я - священник.

---

[7] Жестянка Лиззи (Tin Lizzy) - народное название «модели Т». *Прим. пер.*

Пожалуй, о том, что я священник, знали только больные чусовской больницы, которых я навещал время от времени. Я думал, что, если сказать им, что я священник, то это утешит их и придаст больше значения обещанным мною молитвам за их выздоровление. Поначалу я также надеялся, что, быть может, смогу исповедовать умирающих, но в этой больнице принимать посетителей разрешалось только в приемной, которая всегда была переполнена, поэтому тяжелобольных и умирающих я не видел, а пытаться преподавать таинства другим было бы слишком опасно.

Однако подозрения на нас все равно, похоже, пали. В январе 1941 года нас с Нестровым неожиданно вызвали в Чусовой без всяких объяснений. У нас едва было время собраться, после чего нас просто посадили на поезд и отправили работать на лесные склады в Чусовом. Вероятно, за этим стоял наш старый друг-судья, поскольку трудно найти иное объяснение тому обстоятельству, что это коснулось именно нас с Нестровым.

На чусовских лесных складах Нестров снова работал в конторе, а я вновь был в рабочей бригаде и укладывал древесину в печи для выжигания угля. И все же в этой перемене были свои положительные стороны. Так, когда средства позволяли, можно было покупать еду в городе. Кроме того, несмотря на подозрительные обстоятельства нашего перевода в Чусовой, казалось, мы стали намного свободнее.

В бараке мы делили комнату с евреем по имени Валерий и двумя поляками. Один из поляков, Фухс, был худой, истощенный человек с черными волосами и тонкими губами. На узком носу он носил пенсне, за которым глаза его, казалось, все время косили, как у карикатурного ученого. На самом деле он был бывшим железнодорожным чиновником из Вильно, а теперь работал бухгалтером в одной с Нестровым конторе.

Валерий, еврей, был крупный, общительный малый, душа любой компании и прекрасный собеседник. Он был еще молод, лет двадцати четырех, и все вспоминал свою театральную жизнь и те времена, когда был актером. Он бежал из Варшавы, когда к ней подступали немцы, и приехал в Чусовой, но не для того, чтобы работать. Он и Яноч, второй поляк, были самыми находчивыми «плутами» в лагере. Они исчезали на несколько дней кряду, хитростью добывали себе пропитание, выменивая на еду все, что только могли, избегая работы любой ценой. В барак они возвращались, только проголодавшись, или тогда, когда им требовались деньги. Яноч был маленьким человечком с каштановыми

волосами и прежде, по его словам, был дельцом в Варшаве, но о том, в чем заключалось его дело, всегда высказывался весьма туманно.
Валерий и Яноч также разнюхали, как в Чусовом можно выпить. В стоимость комплексного обеда входило сто граммов водки. Однако в первые полчаса после открытия комплексный обед мог включать картошку, компот, несколько бобов, запеканку на десерт и кусок мяса, если повезет. В остальное время комплексный обед подразумевал тарелку супа, капусту, тарелку каши и - время от времени - кусок карамели или запеканки на десерт. В субботу вечером, где-то через час после открытия столовой, Валерий и Яноч давали мне денег и посылали меня в город. Я заказывал обед, съедал кашу, а водку выливал в бутылку. Потом я шел в другую столовую, снова заказывал обед, выливал водку в бутылку, и так до тех пор, пока деньги мои не заканчивались, а бутылка не наполнялась доверху. Сам я пил редко, а потому они не боялись доверять мне как деньги, так и водку.
В обмен на это Валерий и Яноч (если они были на месте), а также Фухс каждый день отстаивали очередь в военный магазин и покупали нашу дневную пайку хлеба. Пока их не было, мы с Нестровым служили в нашей комнате мессу. Пока я служил, он караулили за дверью на случай, если кто-нибудь придет, потом мы менялись местами. В Чусовом мы прятали свой литургический набор в комнате уборщицы. Она была все время дома и могла позаботиться о том, чтобы саквояж не трогали. Мы подружились в тот день, когда я рассказал ей о том, как я потерял жену и детей во время артобстрела. Она заплакала, выслушав мою историю, и я почувствовал себя немного виноватым, но рассказывать ей что-то другое о своей жизни или о том, кто я такой, было уже поздно. После этого, когда я приходил домой по вечерам, слабый от перепадов температуры (на улице было холодно, а в печах жарко), у нее уже была готова для меня теплая вода для умывания, а также чашка горячего кофе или тарелка супа, а иногда - немного каши. Взамен я учил ее сынишку читать и писать.
В Чусовом рабочих на лесозаготовках тоже призывали в армию. Все говорили, что война между Германией и СССР неизбежна. Три-четыре раза в неделю по вечерам, после работы мы должны были являться на учения. Мы обучались обращению с оружием, проходили обычную строевую подготовку и учились обороняться в окопах, потому что нам предстояло служить на ленинградском фронте. Военной формы у нас не было, так что на учения мы приходили прямо в рабочей одежде.

Строевая подготовка могла длиться до часу или до половины второго ночи.
Первая рота была направлена с чусовских лесозаготовок в Ленингард в начале июня. Ленинград был одним из городов, которые нужно было отстоять любой ценой в случае, если придут немцы. Мне сообщили, что моя рота отправится в Ленинград 19 июня.[8] Впервые стало ясно, что нам с Нестровым придется расстаться, поскольку его еще не мобилизовали. Мы не знали, как именно следует поступить. В конце концов, решение пришлось принимать не нам.
Несколькими ночами позже, в три часа пополуночи, наши бараки окружили сотрудники органов. Нас с Нестровым, а также наших соседей по комнате – Фухса, Валерия и Яноча – арестовали как немецких шпионов. Сколько еще народу было арестовано в лагере в ту ночь, мне неизвестно, но во всяком случае, много.
Молодой энкаведешник, который был у них за старшего, держал нас на прицеле, пока его подчиненные обыскивали комнату. В комнате они нашли две бутылки литургического вина, полфунта купленного мною зубного порошка, моток ваты и несколько листочков бумаги, на которых сынок уборщицы учился писать буквы. Эти предметы были тут же опознаны как «две бутылки нитроглицерина» (вино было белое), «порох и набивка для изготовления бомб» и условные знаки секретного «кода». Это и по сей день кажется смехотворным, но в ту ночь, в три часа пополуночи, под дулом пистолета, в сумятице, царившей в бараке, нам было не до смеха. Нам разрешили собрать кое-какие вещи, а затем строем отвели в чусовскую тюрьму.

В лапах НКВД

Сначала меня держали в чусовском изоляторе для малолетних преступников, старом восьмикомнатном доме, который теперь служил местом предварительного заключения. В ту ночь в лагере арестовали так много народу, что обычные тюрьмы были переполнены. Мое имущество исследовал главный надзиратель и тщательно занес его в книгу учета. Затем меня сфотографировали – в фас и профиль – и отвели в камеру. В сущности, камера представляла собой просто одну из комнат старого дома площадью, должно быть, около десяти квадратных футов, в которую уже было втиснуто двадцать пять -

---

[8] Германия вторглась в СССР 22 июня 1941 г.

тридцать подростков в возрасте приблизительно от десяти до семнадцати лет.
В этой маленькой комнатке было удушающе жарко, и большинство мальчиков были в одних трусах. Я чувствовал себя среди них довольно глупо, но нужно было использовать ситуацию наилучшим образом. «Здравствуйте!» - сказал я, осторожно улыбнувшись в ответ на их подозрительные взгляды. Потом я предложил старшим мальчикам две пачки махорки, которые завалялись у меня в кармане. Они их радостно приняли.
«Ты здесь за что, старик?» - прорычал низенький, коренастый мальчонка лет семнадцати с горящими глазами. «Говорят, что я немецкий шпион», - сказал я и стал рассказывать им о своем аресте. К тому времени, как они закончили хохотать над историей про «нитроглицерин» и над идеей изготовления «бомб» из ваты и зубного порошка, мы были уже друзьями. Крепыша с черными волосами и блестящими глазами, который назвал меня «стариком», они, кажется, держали за главного. Его звали Ваня и его, похоже, больше всех позабавила история моего ареста. Он дал понять мальчишкам, что кто посмеет меня трогать, будет иметь дело с ним.
На самом деле, они были вполне дружелюбны и даже устроили небольшое представление в мою честь. Каждый рассказал какую-нибудь историю или анекдот (были среди них и неприличные), а потом они спели несколько непристойных песенок. Я воспринял это как знак того, что они меня приняли. В обед они отдали мне первую тарелку каши, прежде чем разделить остальное между собой, а вечером выделили мне самое лучшее место для сна.
На следующий день рано утром меня вызвали и под строгим конвоем отправили поездом в пермскую областную тюрьму. Там меня снова сфотографировали, коротко остригли мне волосы, вывели вшей и наконец отвели в большую камеру, где-то 30 на 30 футов. Когда я вошел туда утром, там сидело пять человек; к вечеру там было уже больше сотни.
Из-за нападения немцев русские, казалось, брали всякого, кто вызывал у них хоть малейшее подозрение. Насколько мы могли судить, сравнивая свои истории, они работали на основании списков, подготовленных уже очень давно. Среди нас были учителя, простые рабочие, мелкие государственные служащие, юристы, несколько солдат – казалось, почти все, кого только можно было заподозрить в неблагонадежности или кто, ведая об этом или нет, до такой степени впал в немилость, что

его имя оказалось в списках НКВД. Например, Мартын был человеком среднего возраста, занимавшим очень ответственную должность на пермском автомобильном заводе. Однако в 1930-е годы он сочувствовал Троцкому и теперь за это расплачивался.

День тянулся, толпа все росла, и камера постепенно превращалась в настоящий бедлам. Заключенные, что вполне объяснимо, были нервны и раздражены; драка могла разгореться только оттого, что кто-нибудь нечаянно толкнул соседа локтем в бок. Поздно вечером в камеру втолкнули рыжеволосого юношу, который заявил, что он татарин. Он нес две булки хлеба. Когда он отказался поделиться с другими, несколько человек стали вырывать у него хлеб силой. Он поднял шум. Чтобы утихомирить его, кто-то набросил ему на голову одеяло, и его соседи нещадно били его до тех пор, пока он не перестал кричать. Никто ему не сочувствовал. Стоявшие рядом люди говорили ему, что он получил по заслугам: в тюрьме надо делиться.

В первый день нам не давали есть, потому что аресты производились настолько стремительно, что никаких распоряжений по питанию заключенных отдать не успели. Потом нас стали кормить по три раза в день. Утром нам выдавали по 600 граммов хлеба, немного кипятку и по два кусочка сахару. В полдень мы получали по пол-литра супа, а вечером – по две-три ложки каши. Таков был паек, однако свою долю получить удавалось не всегда. Надзиратели просто впихивали еду в камеру в котлах, а заключенные уже сами должны были разделить ее между собой.

В этой камере я пробыл почти два месяца. Переполнена она была всегда, но заключенные все время менялись. Мы не знали, что происходит с теми, кого уводят, но постоянным предметом разговоров среди заключенных, вызывавшим у них непрестанный ужас, были массовые казни. Однажды днем, вернувшись с допроса, троцкист Мартын протолкнулся ко мне и отдал мне кусок хлеба, который припрятал еще за завтраком. «Это тебе, - сказал он. – Если когда-нибудь выберешься отсюда, попытайся разыскать мою жену. Я знаю, что меня расстреляют». В ту ночь его вызвали из камеры. Назад он так и не вернулся.

Разумеется, ни о каком уединении здесь не могло быть и речи – даже для отправления естественных потребностей. Каждый вечер нас толпами отводили в тюремную уборную, но в другое время нам приходилось пользоваться парашей в нашей камере. В помещении стояла омерзительная вонь. Каждый день в послеобеденные часы нас

также группами выводили в тюремный двор на двадцатиминутную зарядку. В остальное время мы толпились, как селедки в бочке, не имея даже места, чтобы вытянуться и уснуть. Уединиться можно было, только уйдя в себя, что многие и делали, или вступив в беседу с двумя-тремя соседями и стараясь игнорировать все, что происходит в остальной части комнаты.

Периодически надзиратель называл какое-нибудь имя и кого-то из заключенных уводили. Иногда он не возвращался; чаще его просто вызывали на допрос. Некоторые возвращались в слезах, другие в гневе, третьи подавленные, четвертые избитые до синяков. Те, кто сидел в тюрьме во время предыдущих чисток, охотно советовали, как себя вести и что говорить на допросе. Однако вскоре я понял, что советы эти мало помогают, когда входишь в кабинет следователя. Можно было выйти оттуда, не сказав им не слова, но никогда нельзя было вернуться довольным собой.

Именно в Перми меня впервые серьезно и долго допрашивали. На второй день надсмотрщик вызвал меня из камеры и провел по коридору в небольшой кабинет. Кабинет не был ни особо внушительным, ни устрашающим. Там просто стоял стол следователя, пара стульев и железный шкаф для хранения документов. Следователь был высоким черноволосым мужчиной с тонкими чертами лица, которого можно было бы принять за ученого. Он был спокойным и собранным, точным в выражениях и явно тщательно подготовился к допросу. В то же время он был способен браниться с такой злобой, что я никак не мог к этому привыкнуть; это всякий раз заставляло меня вздрагивать, как бы часто мне ни приходилось это слышать.

Он предложил мне сесть, затем углубился в чтение каких-то бумаг. Наконец он поднял на меня глаза и тихо произнес: «Кто вы?» Я начал рассказывать историю Липинского. Он махнул рукой, словно хотел отмахнуться от всякого притворства. «Нет, нет, нет, - сказал он, - вы не Липинский, вы не русский и не поляк. Вы священник, фамилия ваша Чишек и вы немецкий шпион. Почему бы вам не рассказать нам об этом?» Я был потрясен. Я задавался вопросом, как давно они это знают, как долго за мной следят. О том, что я священник, они могли узнать от одного поляка в чусовской больнице, но как им стало известно мое имя? Возможно ли, что они нашли какой-то способ заставить говорить Нестрова? Если так, то как много они знают?

Достигнув желаемого эффекта, следователь улыбнулся. «Как видите, нам о вас все известно. Так что, полагаю, вы скажете мне правду». -

«Хорошо, - сказал я, - правда в том, что никакой я не немецкий шпион». Вместо ответа он встал и подошел к шкафу с документами. Из верхнего ящика он вынул две бутылки вина, мешок зубного порошка, моток ваты и исписанные листочки, обнаруженные во время обыска нашей комнаты в чусовском бараке. Он стал молча многозначительно выкладывать эти предметы на стол один за другим.

Если он хотел нанести мне этим сокрушительный удар, его ждало разочарование. Теперь настала моя очередь улыбаться. «Отрицаете ли вы, что эти вещи принадлежат вам?» - сказал он наконец. «Нет, они мои». – «Тогда как вы можете отрицать, что вы – немецкий шпион и диверсант?» Я все рассказал ему с начала до конца: о том, как я купил зубной порошок в Чусовом, чтобы чистить зубы, как я учил маленького мальчика в лагере письму и алфавиту. Я сказал, что, если следователю хочется думать, что в комбинациях букв на этом листочке есть что-то таинственное, это его дело, но кто угодно мог бы подтвердить, что это – буквы, написанные ребенком. «Что до нитроглицерина, - сказал я, - можете его выпить. Это литургическое вино».

Ни слова не говоря, он спихнул предметы на край стола и продолжил допрос. Кто мои сообщники? Какого рода сведения я поставлял немцам? Если я не шпион, то почему путешествую под чужим именем? Кто такой Нестров? (Итак, они о все-таки *знали* о нем). Относятся ли Фухс, Валерий и Яноч к нашей шпионской группировке? Куда я ездил, когда водил грузовик в Теплой Горе? Как я получал сообщения из Германии? Что мне известно о немецких планах вторжения на советскую территорию?

Он, должно быть, не меньше часа задавал одни и те же вопросы, как собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Время от времени он делал заметки на лежавшем перед ним листке. Наконец я сказал ему раз и навсегда, что я - не немецкий шпион и что если моя история ему не нравится, он может придумать свою собственную, раз у него есть все «факты». Тогда он ударил рукой по столу и закричал, вызывая стоящего за дверью надзирателя. У меня мелькнула паническая мысль, что меня, быть может, расстреляют, но он приказал отвести меня назад в камеру. Допрос окончился. Однако, мне о многом нужно было подумать.

Так начался цикл допросов, который продолжался все время, пока я был в Перми. Иногда меня вызывали дважды в день, иногда не вызывали вовсе. Допрос мог продолжать сколько угодно – от часа до целого дня. Вопросы были всегда одинаковы. Иногда меня заставляли час за часом

сидеть выпрямившись на краешке стула, а иногда, если следователю не нравился мой ответ, он так бил меня по лицу, что я падал на пол.
Два или три раза за то время, пока я был в Перми, следователь вызывал пару охранников и отводил меня в соседнюю комнату с густыми коврами на полу и обитыми толстым войлоком стенами. Там меня колотили резиновыми дубинками по спине и голове, а когда я пытался опустить голову, то получал сокрушительный удар в лицо. Это было болезненно, но никогда не продолжалось дольше нескольких минут. Цель, казалось, была не столько в том, чтобы заставить меня говорить – судя по тому, что в это время никаких вопросов мне не задавали, - сколько в том, чтобы обработать меня, дабы позже, отвечая на вопросы следователя, я легче шел ему навстречу, боясь новых побоев.
Также несколько раз, вместо того чтобы вернуть меня в большую камеру, меня отводили в маленькую, темную комнатку, похожую на ящик, - настолько темную, что я буквально не мог разглядеть собственную руку, держа ее перед глазами, и очень душную. Меня могли продержать там час или всю ночь. Мне приказывали подумать над вопросами и своими ответами и решить, не могу ли я вспомнить еще какие-нибудь детали «правды».
Во время всех этих допросов стало ясно, что они знают, что я американский священник, иезуит из Львова, учившийся в Риме и въехавший в Россию с польским паспортом. То, что мои польские документы были подложными, их, кажется, почему-то не интересовало. Они редко упоминали об этом. Когда же это обстоятельство все-таки всплывало, они от него отмахивались. Они продолжали утверждать, что я немецкий шпион (предположительно, в деле может быть некоторым образом замешан Ватикан), и требовали деталей моего шпионажа. Ничто другое их не интересовало и ничто другое не могло их удовлетворить.
Однажды, ранним августовским утром, в камеру вошел надзиратель и выкрикнул мое имя. Я кивнул головой, ожидая очередных бесполезных расспросов, и ответил: «Здесь!» - «За мной! - рявкнул он. – Со всеми вещами!» Я был удивлен. Насчет «всех вещей» было чем-то вроде шутки, потому что у меня был только пиджак, то, что было на мне, да грязный, маленький кусочек хлеба, который я приберег за завтраком.
Меня тут же окружили старожилы. «Это значит, что тебя отпустят, - говорили они. – Вот повезло!» Потом они начали просить меня пойти по такому-то адресу, связаться с женой или родными или просто дать людям знать, где они находятся и что они все еще живы. Я пообещал

сделать все, что смогу, и направился к двери, пораженный привалившим мне счастьем и лишь наполовину веря, что такое может случиться со мной.

Надзиратель повел меня по коридору, а затем вниз, в подвал, и запер меня в так называемом «боксе», небольшой каморке, с окошком в верхней части двери, где заключенных временно держали до распределения по камерам, а также перед выходом из тюрьмы. Перед тем как закрыть дверь, он задал два обычных вопроса: «Ваше имя?» («Липинский Владимир Мартынович») и «Дата рождения?» («4 ноября 1910 года», вымышленная дата рождения Липинского). Он закрыл дверь, но через несколько минут вернулся, неся булку хлеба – целую булку, около двух с половиной фунтов – и шесть кусков сахара в бумажном кульке. Я был ошеломлен таким количеством хлеба за один раз и сразу принялся поедать его, даже не поинтересовавшись, что все это значит.

Я съел уже почти полбулки, когда дверь открылась снова и вошли трое – молодой черноволосый лейтенант в форме НКГБ (особого отдела «госбезопасности», отделившегося от НКВД в 1941 году после начала войны)[*] и двое рослых молодых конвоиров в простой форме цвета хаки. Лейтенант вновь задал мне обычные вопросы: «Ваше имя?» - «Липинский Владимир Мартынович». - «Дата рождения?» - «4 ноября 1910 года» - «Статья?» - «58:10:2».[9] «Пройдемте», - приказал он. И я в последний раз вышел из пермской тюрьмы. Лейтенант указывал путь; двое дородных конвоиров шли за моей спиной.

---

[*] Неточность. Народный комиссариат государственной безопасности СССР был создан 3 февраля 1941 г. путём разделения Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД СССР) на два наркомата: НКГБ СССР и НКВД СССР. В ведение НКГБ СССР передавались подразделения, непосредственно занятые вопросами государственной безопасности (разведка, контрразведка, охрана правительства и т. д.). В ведении НКВД СССР остались войсковые и тюремные подразделения, милиция, пожарная охрана и ряд других. 20 июля 1941 г. НКГБ и НКВД были вновь объединены в НКВД СССР. 14 апреля 1943 года состоялось повторное создание НКГБ СССР. *Прим. ред.*

[9] Эти цифры означают статьи и пункты уголовного кодекса, служащие основанием обвинения, осуждения или приговора. Цифры «58:10:2» означают «агитация, содержащая призыв к свержению Советской власти» (Полностью название статьи звучит так: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». *Прим. ред.*).

Они отвели меня в воронок, ожидающий в тюремном дворе. Он был без окон, с проходом посредине и с металлическими клетками по бокам такого размера, что в них еле могло уместить по одному человеку. В клетках едва хватало места, чтобы стоять, а сесть было уже невозможно. Грузовик завелся и поехал, трясясь и раскачиваясь на дорогах и кидая меня внутри клетки от стены к стене, словно бильярдный шар. Ехали мы минут пятнадцать, затем резко остановились, отчего меня с силой ударило о переднюю стенку. Слышны были голоса конвоиров и лейтенанта, которые кому-то о чем-то докладывали.
Наконец дверь открылась, и лейтенант снова задал мне все положенные вопросы: имя, дата рождения, статья, - проверяя на этот раз мои ответы по бумагам. «Ну ладно, - сказал он, отпирая дверцу клетки. - Вылезай!» Я проследовал за ним по небольшому проходику и выпрыгнул через заднюю дверь фургона. Двое конвоиров тут же заняли свои места за моей спиной, и лейтенант повел нас на платформу пермского вокзала. «Следовать за мной! – рявкнул он. – И не оглядываться!» Мы прошли до края платформы. К моему удивлению, там стоял мой чемодан. Мы остановились. «Сядьте на багаж, - сказал лейтенант. – Молчать, - вновь прибавил он, - и не оглядываться».
Я сел на чемодан, судорожно вцепившись в свой хлеб и сахар. Услышав, что кто-то быстро к нам приближается, я невольно повернул голову и мельком увидел человека, которого спешно вели мимо. Это вполне мог быть Нестров. Конвоир тут же закричал: «Не оглядываться!» Я выпрямился и стал рассматривать пути. На платформе были и другие люди. Они с любопытством глядели в мою сторону, но встретившись со мной взглядом, отводили глаза. По приказу лейтенанта один из конвоиров ушел отдать все необходимые распоряжения. Я понятия не имел, куда меня везут и почему, и, честно говоря, единственной моей заботой в тот момент была моя булка хлеба и шесть кусочков сахару.
Когда к платформе подошел поезд, мои конвоиры подтолкнули меня к двери вагона все с тем же приказом «не оглядываться». Вагон, куда мы сели, был обычным пассажирским вагоном с отдельными купе европейского типа, и все купе, кроме последнего, были заняты полностью. В последнем же было только две девушки. «Стой!» - сказал лейтенант, когда мы приблизились к этому купе. Он вошел и приказал девушкам найти место в другом купе. Они схватили сумки и торопливо ушли. В те дни с НКГБ не спорили.
Лейтенант приказал мне сесть в углу, около окна. Один из конвоиров забросил мой чемодан на полку. Я опустился на сиденье возле окна,

обнимая свою драгоценную булку хлеба. Один из конвоиров сел рядом со мной, а другой - на угловое сиденье напротив; лейтенант остался в коридоре. Поскольку никто вроде бы не возражал, я стал смотреть в окно. Это было мое первое соприкосновение с внешним миром за долгое время, пусть даже через окно поезда, и в этом было что-то нереальное, как будто смотришь кино.

Дважды выпустив пар, поезд тронулся. Я не понимал точно, в каком направлении мы едем, потому что полностью потерял ориентиры. Местность была незнакомая, поэтому ясно было, по крайней мере, то, что мы не едем на восток, в сторону Чусового. Названия городов, встречавшихся по пути: Краснокамск, Верещагино, Кез, Балезино, Глазов, Яр, - были мне смутно знакомы, но лишь когда на следующий день мы прибыли в Киров, я понял, что едем мы на запад, в сторону Москвы.

Некоторое время спустя я склонил голову к окну, делая вид, что сплю, и стал молиться. Именно такая внутренняя молитва и поддерживала меня до сих пор; благодаря ей я никогда не терял мужества. В пермской тюрьме, как и на лесозаготовках Чусового и Теплой Горы, где спать было иногда невозможно, молитва была моим укреплением в долгие бессонные ночные часы. Я вновь стал думать о лесозаготовках, о том, другом, поезде, который привез меня на Урал. Эти мысли напомнили мне о том, зачем я здесь, о моей решимости совершать все свои дела ради одного лишь Бога, каковы бы ни были последствия. Он поддержит меня. Теперь эта мысль – о том, что, как бы я ни был одинок, на самом деле я никогда не остаюсь один, - вновь придала мне мужества.

Лейтенант в основном находился в коридоре. Когда мы останавливались в каком-нибудь городе, он выходил из поезда, чтобы прогуляться по платформе, а затем купить бутерброд или чашку кофе в вокзальном киоске. Конвоиры также по очереди носили друг другу еду с платформы, но мне ничего не давали. До меня начало доходить, что булка хлеба и сахар были выданы мне в качестве провизии, и их должно было хватить мне до самого пункта назначения. Теперь я сожалел о том, что съел полбулки в пермском боксе. Я решил распределить то, что осталось, как можно разумнее.

Когда наступили сумерки, я съел маленький кусочек хлеба, потом снова прислонился к окну, на этот раз, в надежде уснуть. Конвоиры чередовались: пока один спал в купе, другой оставался начеку; лейтенант нашел спальное место где-то в другой части поезда. Перед наступлением ночи мы переехали речку, наверно, Чепцу, где-то к западу

от Кеза. Потом ландшафт растаял в темноте. Наконец я уснул под неровное покачивание поезда и ритмичный стук колес.

На следующее утро один из конвоиров разбудил меня и отвел в уборную, прежде чем остальные пассажиры начали просыпаться и ходить по вагону. Я съел еще один кусочек хлеба, а потом стал, изнывая от голода, смотреть, как конвоиры завтракают молоком, грудинкой и белым хлебом, который купили на последней остановке. Ближе к полудню мы прибыли в Киров, и двое рослых конвоиров принялись за новую чудовищную трапезу, состоявшую из жареной рыбы, черники, хлеба и молока. Они опять не поделились со мной, но, несомненно, так им было приказано. Однако то, что в дороге они постоянно перекусывали, еще усугубляло мой голод. Я стал время от времени пощипывать свою булку хлеба вопреки норме, которую сам же для себя установил.

В тот вечер, несмотря на все свои благие намерения, я доел свою булку хлеба: начав ее есть, я просто не смог остановиться, настолько я оголодал. Я также доел последний кусочек сахара и облизал кулек, чтобы собрать последние несколько крупиц. На следующее утро я умирал с голоду. Один из конвоиров принес с вокзала завтрак, состоявший из черного хлеба, масла, сыра и нескольких чашек кофе. Благоухание было настолько неотразимым, что слюни потекли вниз по моему горлу с такой силой, словно кто-то включил у меня во рту кран. Я не мог оторвать взгляд от еды все время, пока они ели, и отдал бы все на свете за единственный кусочек.

Когда мы прибыли в Урень, один из конвоиров резко встал, чтобы выйти из поезда. При этом он выбил кусок хлеба с маслом из руки лейтенанта. Кусок упал на пол, недоеденный, маслом вверх. Лейтенант обозвал конвоира неповоротливым быком, пнул недоеденный хлеб под сидение и вышел вслед за конвоиром из купе.

Искушение было слишком велико. Остаток дня я не переставая шарил ногой под сидением, стараясь делать это как можно незаметнее, чтобы конвоир, сидящий напротив, не увидел. Когда он отворачивался, чтобы выглянуть из окна или из купе, я начинал шарить ногой еще неистовее, так что в конце концов ее начало сводить. Этот кусочек хлеба теперь занимал все мои мысли; весь день я пытался найти его. Думаю, мне никогда в жизни не приходилось так тяжело зарабатывать себе на пропитание.

Наконец я нащупал хлеб большим пальцем ноги и подтолкнул его вперед. Потом, когда конвоир отворачивался, я нагибался, пытаясь

поднять его. Когда же он вновь поворачивался ко мне, я притворялся, что чешу лодыжку, подтягиваю носок или завязываю ботинок. Наконец, он быстро обернулся и увидел, как я тянусь к хлебу. Я встретился с ним взглядом и в отчаянии проговорил: «Пожалуйста!» Он не сказал ни «да», ни «нет», только посмотрел на меня, поэтому я подхватил кусок с пола.

Как раз в этот момент в купе вошел лейтенант. Я зажал этот кусок хлеба с маслом в одной руке, спрятал его под локтем другой и постарался принять безразличный вид, одновременно задаваясь вопросом, что же скажет конвоир. Он молчал. Когда лейтенант вышел снова, а конвоир обернулся ему вслед, я втиснул весь недоеденный кусок хлеба с маслом в рот и покончил с ним одним глотком. Наконец-то я поел.

В тот вечер мы прибыли на горьковский вокзал. В соответствии с особыми военными мерами предосторожности, здесь на поезд сели военные, все огни были потушены, и мы медленно поехали в сторону Москвы в полной темноте. На рассвете мы были уже на пригородных сортировочных станциях. Насколько хватало глаз, пути были заполнены составами с боеприпасами, воинскими эшелонами и грузовыми поездами, груженными танками, грузовиками, бронированными машинами всех сортов, бульдозерами и всевозможной боевой техникой.

Как только мы остановились, меня вывели – опять с приказом не оглядываться – и тут же перевели в воронок. Это был просто большой, пустой грузовик со скамейками, отгороженным отделением в задней части и местом для вооруженного конвоира. Не успели мы отъехать, как воронок снова затормозил. В первый момент ничего не происходило, но я слышал, как снаружи разговаривают, а потом кричат, отдавая команды, солдаты. Двери фургона распахнулись и внутрь впихнули около тридцати молодых людей. Хотя на всех едва хватало места, я был несказанно рад их видеть, просто потому что с ними можно было поговорить.

Толпа, как мне показалось, состояла из ребят и девушек из колхозов в возрасте где-то от пятнадцати до двадцати с небольшим лет. Нас, сидевших в фургоне, кидало из стороны в сторону, пока воронок ехал по городу, кренясь то вправо, то влево. Тем не менее я ухитрился познакомиться с некоторыми из ребят. Пятеро парней сказали мне, что их арестовали, за то что они «забили козу». Других арестовали за похищение цыплят; несколько девушек сказали, что их арестовали за кражу пшеницы. В фургоне была такая толпа, что сидеть было

невозможно, поэтому мы болтались по всему фургону, врезаясь друг в друга, толкая друг друга локтями и коленями и наперебой разговаривая.
Вдруг грузовик, пошатнувшись, остановился. Двери открылись, и конвоир начал по одному называть наши имена. Когда все молодые ребята выкарабкались из фургона, я все еще оставался внутри. Конвоир захлопнул дверь, и я слышал, как водитель закричал: «Давай, залезай! Я трогаю!» Машина с треском завелась, и мы вновь сорвались с места. Снова я сидел на скамейках в полном одиночестве. Через некоторое время была внезапная остановка, затем – ничего. Я слышал, как разговаривают конвоиры, потом они, как мне показалось, ушли, и больше я не слышал ничего, кроме обычного уличного шума. В Москве в сентябре бывает иногда очень холодно; конвоиры в воронке были уже в зимних шинелях. Отопления в фургоне не было, и металл был таким холодным, что при касании обжигал. Наконец я встал и начал приплясывать, чтобы не замерзнуть в своей тонкой одежде.
Должно быть, примерно через час я услышал звук выпускаемого пара и металлический скрежет тормозящего поезда. Двери открылись снова, и вновь целую толпу народа загнали внутрь фургона. Эти люди были старше, тридцати-сорока с чем-то лет, и снова мы обменялись обычными приветствиями и уже знакомым вопросами: «Тебя за что взяли?» В основном это были крестьяне, арестованные за кражи или за уклонение от призыва в армию. Некоторых, как и меня, взяли по обвинениям в политических преступлениях. Снова мы двинулись с места, потряслись некоторое время по дорогам, остановились и дали задний ход. Снова конвоир открыл дверь и стал выкрикивать имена; снова назвали всех, кроме меня. Я уже начал думать, что обо мне забыли.
Воронок вернулся на вокзал. На этот раз свистки и лязг паровозных колоколов доносились издалека. День уже близился к концу и я страдал от холода и голода - сильнейшего голода. С тех пор как днем раньше мне удалось стащить кусочек хлеба с маслом, я так ничего больше и не ел. На этот раз, когда открылись двери, я увидел, что на улице уже смеркается. В воронок втолкнули кучку солдат; кто-то был в форме, кто-то в шинели. Большинство из них арестовали за дезертирство, хотя они утверждали, что просто заблудились или были разлучены со своей частью во время перевозки. Один или два, однако, признали, что нарочно отстали, когда их подразделение двинулось на фронт.
Мы снова поехали, остановились, дали задний ход. Конвоир снова назвал все имена, кроме моего. Двери с лязгом захлопнулись, и я снова

остался один в этом железном холодильнике. Потом двери распахнулись, и конвоир крикнул мне: «Как вас зовут?» - «Липинский Владимир Мартынович». – «Дата рождения?» - «4 ноября 1910 года». - «Статья?» - «58:10:2». - «Выходите!» - сказал он. Когда я выпрыгивал из воронка, мои одеревеневшие ноги подвели меня. Я споткнулся и едва не упал. Я почувствовал, как удар ног о землю пронзил мои замерзшие ступни и лодыжки. Конвоир повел меня в какой-то подвал, хотя я и понятия не имел, где нахожусь, и запер меня в «боксе». Это явно была тюрьма. Лишь много позже я узнал, что это была Лубянка.

Глава вторая. Москва
Годы тюрьмы

Страшная Лубянка

Прошел, по меньшей мере, час, прежде чем конвоир вернулся, чтобы отпереть дверь «бокса», задать мне три обычных вопроса и увести меня оттуда. Мои волосы снова коротко постригли, меня вновь сфотографировали в фас и профиль, затем сняли отпечатки пальцев. Вернули в «бокс». Прошло еще какое-то время. Меня вызвали, зарегистрировали, снова заперли в «бокс». Еще позднее меня вывели, приказали раздеться и произвели обычное медицинское обследование. К этому надо было еще привыкнуть, поскольку большинство врачей в тюрьмах, как и вообще в России, - женщины. Но к делу они подходили с деловым спокойствием и даже со скукой, поэтому вскоре я научился воспринимать их обследования, постукивания и похлопывания моего тела как всякий другой медосмотр.

После медицинского обследования мою одежду бросили в дезокамеру и пекли в течение часа при такой высокой температуре, что от сильного жара она потемнела. Между тем меня отвели в душ, затем, нагишом, отправили назад в бокс, где я ждал, пока мне вернут одежду. Медосмотр и другие обычные процедуры происходили с большими паузами, во время которых меня держали в «боксе», и за этими делами прошла вся ночь. Было уже почти утро, когда по длинному коридору и по нескольким лестницам меня повели наверх, в камеру.

Я называю ее «камерой», потому что здание это было тюрьмой. Но на самом деле она больше походила на гостиничный номер. В этой комнатке, маленькой, аккуратной и чистой, был блестящий деревянный пол, беленые стены и потолок, освещенный висящей посредине лампой без абажура. Зарешеченный радиатор в одной из стен давал, казалось, не особенно много тепла. В одном углу стояла кровать с чистым постельным бельем, одеялом и подушкой. Помимо этого, единственным предметом обстановки в комнате была параша (помойное ведро с крышкой) в углу около двери. Единственное окно в комнате было обычного для гостиничного номера размера – позже оказалось, что прежде Лубянка и впрямь была гостиницей, - но оно было полностью зарешечено и закрыто жестяным листом. Единственным, что можно было через него увидеть, если подойти совсем близко к окну, был

маленький кусочек неба, проглядывающий через «намордник»[10] наверху, где жесть была отогнута от оконной рамы. В двери был круглый глазок, чтобы надзиратель мог через него наблюдать. Снаружи он закрывался крышкой на шарнирах, чтобы заключенный не мог в него выглядывать.
Через несколько минут, когда я осмотрелся и немного сориентировался, меня охватила сильная вялость. Хотелось спать и есть, и несмотря на слабое тепло, исходящее от радиатора, мне было холодно. Я просто никак не мог согреться. Я стал ходить взад-вперед по этой маленькой комнатке 6 на 10 футов, от стены к кровати и обратно. Время от времени, я слышал, как часы отбивают время; позже я узнал, что то были большие часы самого Кремля.
Затем, когда часы пробили семь, я уловил движение в коридоре. Вдруг я услышал, что к моей двери подошел надзиратель. Это была женщина, как и большинство надзирателей на Лубянке, и она принесла мне то, что показалось мне пищей богов: 400 граммов хлеба, полтора кусочка сахара и кружку кипятку. Таков был завтрак на Лубянке, и он никогда не менялся. К тому времени я не ел уже более полутора суток. Я сел на кровать и набросился на хлеб, разрывая его на куски и хищно разжевывая.
Позже я научился более скупо и неторопливо наслаждаться утренними деликатесами Лубянки, но сейчас я умирал с голоду. Между кусками хлеба я откусывал кусочки сахару и проглатывал их запивая кипятком; смесь получалась сладкая и тепло стекала в желудок. Позже я узнал также, что можно получить даже больше одной кружки кипятку, если постучать ею о дверь и попросить у надзирательницы добавки. Но в то утро я доел хлеб и кусок сахару, допил кипяток и на этом остановился. Я все еще был голоден, но согрелся и впервые более чем за два дня почувствовал себя почти человеком.
Однако, чтобы быть до конца честным, должен признаться, что первой моей мыслью после окончания завтрака была мысль об обеде. Я задавался вопросом, как долго придется ждать. После того, как надзирательница пришла и забрала кружку, я вновь стал бесконечно сновать по комнате туда-сюда, отчасти для того чтобы согреться, отчасти же для того чтобы чем-нибудь себя занять, хоть что-нибудь

---

[10] Намордник – так на тюремном жаргоне называется непрозрачный щит, установленный за окном камеры таким образом, что заключенные могут видеть лишь полоску неба. *Прим. пер.*

делать. Днем спать не разрешалось. Если заключенный пытался прилечь, надзирательница замечала это почти немедленно и приказывала подняться. На Лубянке было всего пять-шесть камер на коридор, и надзирательница постоянно проверяла их. Я вновь и вновь пытался понять, почему я здесь и что им от меня нужно. Я все еще ощущал усталость и был несколько ошеломлен, поэтому я просто ходил по камере взад-вперед, бесконечно – и довольно безрезультатно – размышляя над этой загадкой и слушая, как часы отбивают каждую четверть часа.

Никто не трогал меня, и только через некоторое время после того, как часы пробили полдень, я вновь услышал шум в коридоре, грохот посуды. И мой рефлекс слюноотделения стал работать, как у собаки Павлова. Наконец надзирательница открыла дверь моей камеры и вручила мне жестяную миску супа и алюминиевую ложку. Суп был чрезвычайно жидким, с несколькими зернышками крупы, которую мы называли «магарой»[11], - маленькими и круглыми, с виду напоминающими птичий корм. Суп пах рыбой, и на донышке миски лежало несколько рыбьих костей. Поскольку в пермской тюрьме мне говорили, что рыбьи кости полезны и придают сил, я съел и кости. Я просто перемолол их зубами в порошок и съел, запив ложкой супа. Едва я досуха облизал миску, как сразу начал думать об ужине.

В тот день была еще двадцатиминутная зарядка, когда надзирательница вывела меня в тюремный двор на прогулку. Время зарядки постоянно менялось: день на день не приходился. Она могла быть и в восемь утра и в шесть вечера, в зависимости от того, откуда начинали надзиратели: с верхних или с нижних этажей тюрьмы. Выход во двор не доставил мне удовольствия, потому что я только что согрелся, а воздух в тюремном дворе был сырым и холодным. Кроме того, на мне по-прежнему не было ничего, кроме легких штанов и телогрейки – одежды, которую я носил еще со времен Чусового.

Ужин был в шесть вчера. Где-то после пяти тридцати я услышал звон посуды в коридоре и стал с нетерпением ждать звука шагов, скрежета ключа в замочной скважине и грохота массивного засова с наружной стороны двери. Наконец надзирательница вручила мне все ту же жестяную миску, в которой на этот раз лежало три ложки каши. Словом, меню на Лубянке ничем не отличалось от того, которое было в Перми, да и вообще русский тюремный паек редко бывает другим. Две-три

---

[11] Магара – разновидность проса. *Прим. пер.*

ложки каши составляли наш вечерний рацион. Я научился поедать их медленно, наслаждаясь почти каждой крупинкой, потом проводить пальцем по стенкам миски и вылизывать ее дочиста, до тех пор, пока в ней не оставалось ничего, кроме ее блестящих стенок.

Примерно через час после ужина надзирательница начала по одному водить заключенных своего коридора в уборную. Как и к медосмотру, к этой процедуре надо было привыкнуть, потому что тюремные надзирательницы наблюдают за заключенным в глазок, даже когда он в туалете. Сам туалет представляет собой дыру в полу, два углубления для ног по обе стороны и стену, чтобы на нее опираться. Каждый, кому приходилось бывать в Европе, поймет, о чем я говорю; в таком туалете не было ничего необычного, кроме ощущения, что за тобой все время подглядывают. В уборной были краны, чтобы можно было умыться, и большое сточное отверстие в углу для опорожнения параши, которую заключенный приносил с собой. Для полноты картины нужно добавить, что там была еще жестянка дезинфицирующего средства.

Все нужно было делать быстро. Если я проводил в туалете более двух минут, то надзирательница стучала по двери и приказывала мне поторопиться. Потом я возвращался в камеру и бесконечно сновал взад-вперед вплоть до отхода ко сну в десять часов вечера. Свет на ночь не выключали, разве что надзиратель или следователь давали заключенному особое разрешение выключить верхний свет, оставив включенной только небольшую круглосуточную синюю лампочку над дверью. Однако в ту, первую, ночь я уснул без труда, потому что не спал уже более сорока восьми часов. Когда был дан сигнал к отбою, я нетерпеливо разделся, забрался в постель и набросил на себя тонкое одеяло. Матрас был тонким, настолько тонким, что металлические прутья кровати отчетливо ощущались спиной и врезались в ребра, когда я поворачивался на бок, пытаясь устроиться поудобнее.

Я сотворил вечерние молитвы, потом некоторое время лежал, переполненный мыслями. Прежде всего, я задавался вопросом, что со мной теперь будет. Мне не верилось, что я настолько важен, что потребовалось везти меня в саму Москву после нескольких месяцев изнурительного следствия в Перми. Я искал причину, которая бы объяснила такое особое обращение со мной, и не мог найти. Я вновь и вновь прокручивал в уме допросы в Перми. У меня заболела голова, но я так и не смог разрешить эту загадку. Наконец я опять нашел прибежище в мыслях и Промысле Божием. Я углубился в размышления о Его защите – и уснул.

Следующий день начался в 5:30 утра. Пронзительно заверещал звонок, и несколько мгновений спустя надзирательница открыла дверь, чтобы прокричать: «Подъем!» Если в ответ заключенный не шевелился, она орала снова, потом приходила проверить еще раз. Вскоре нас по одному сводили в туалет, потом вернули в камеры ожидать завтрака. Опыт научил меня тому, что завтрак – так же, как обед, ужин и прогулка, - может быть в разное время. Завтрак приносили от семи до восьми тридцати утра в зависимости от того, с какого конца тюрьмы его начинали разносить. Опыт также научил меня желать, чтобы завтрак принесли как можно позже, потому что тогда придется меньше ждать обеденного времени.

Несколько дней прошло без всяких событий. С течением времени мне все сильнее хотелось узнать, что я здесь делаю и что со мной будет. Поскольку надзирателям не полагалось разговаривать с заключенными, выяснить это не было никакой возможности, и оставалось только ждать, слоняясь по камере, молясь или бесконечно обдумывая один и тот же вопрос, вспоминая допросы в Перми в поисках какого-нибудь намека или ключа к тому, что может последовать далее. В конце концов, после всех своих размышлений и тревог я знал все равно только то, что знал, покидая Пермь: я – политзаключенный, обвиняемый в подрывной деятельности по статье 58:10:2.

После нескольких дней такого тревожного ожидания однажды ночью, когда я крепко спал, меня внезапно разбудил резкий грохот засова. Полагаю, что все это - часть психологического воздействия, потому что это моментально ставит человека в оборонительную позицию. Каждому, кого когда-либо резко будили среди ночи, знакомо это ощущение. Надзиратели носят специальную матерчатую обувь, так что шаги их не слышны, пока они не окажутся почти у самой двери; когда спишь, то первым делом слышишь грохот отодвигаемого засова. Просыпаешься в сильнейшем напряжении и замешательстве.

В ту ночь надзирательница снова задала мне три обычных вопроса: имя, дата рождения, статья, - потом сказала: «Собирайтесь». Я торопливо оделся, стараясь собраться с мыслями и наилучшим образом подготовиться к тому, что меня ждет, что бы это ни было. Однако я был дезориентирован и совершенно сбит с толку. Надзирательница вывела меня из камеры и, как это обычно и делается, сразу заставила встать лицом к стене с руками за спиной и стоять так, пока она запирает дверь. Потом мы очень быстро пошли по коридору, минуя множество дверей. И у каждой двери меня вновь заставляли встать лицом к стене. Если по

коридору шел кто-то еще, меня тут же прижимали к стене или запихивали в угол с предупреждением не оглядываться, пока он не пройдет.
Миновав множество коридоров и несколько лестничных маршей, мы пришли в следственный отдел. Хотя была ночь, в приемной работало два-три секретаря. Время от времени мимо проходили сотрудники НКГБ и безучастно смотрели на меня. Надзирательница ввела меня в комнату за приемной, среднего размера, довольно приятную, с ковром посреди до блеска начищенного пола. В комнате было два прикрытых ставнями окна, а посреди ковра высился большой, гладкий стол, за которым сидел следователь. Когда я вошел, он просматривал какие-то бумаги. Там было также несколько мягких стульев, бюро возле одной из стен, а в углу, как обычно, стояло три зеленых шкафа для документов.
Следователь был человек средних лет в форме НКГБ, с суровым лицом, в тот момент довольно напряженным и усталым, и с темными волосами, уже поредевшими на висках. Он вяло поприветствовал меня так, словно все это обычная, дневная, работа, и попросил меня сесть. Я сел, но расслабиться не мог. В начале любого допроса подобного рода психологическое напряжение очень велико. Тело напряжено, ладони начинают немного потеть, когда пытаешься взять себя в руки и взбодриться в ожидании неизвестных вопросов. По выражению его лица, по внешнему виду комнаты я догадался, что этот следователь – профессионал, знаток своего дела.
Весь допрос он говорил тихо и довольно сухо, словно менеджер по персоналу, проводящий собеседование с желающим поступить на работу. Он начал как обычно: имя, дата рождения, статья, - затем детально разобрал всю мою историю до настоящего времени. Он небрежно предупредил меня, прежде чем начал подробный допрос, что уже располагает всеми деталями моих прежних допросов, как и результатами нескольких независимых расследований. Он откровенно заявил мне, что уже знает обо мне все, что только возможно, что это допрос предварительный и что все пойдет куда более гладко, если я просто буду говорить правду.
Я начал было с того, что я «Липинский Владимир Мартынович, родился 4 ноября 1910 года, обвиняюсь по статье 58:10:2». Он взглянул на меня с легким налетом раздражения, словно человек, которого отвлекли от посторонних раздумий. «Послушайте, - сказало он уныло, но без злости, - вы – о. Уолтер Чишек, священник-иезуит из Альбертына, родились в Америке 4 ноября 1904 года. давайте просто отбросим всякое

притворство и заполним пробелы в вашей биографии без лишней суеты, договорились?»
Я снова стал рассказывать все с самого начала. Однако он то и дело прерывал меня и спрашивал о таких вещах, что мне и в голову не приходило, что им о них может быть известно, так что мой рассказ постепенно свелся к его вопросам и моим ответам. Он один за другим задавал мне вопросы о деталях, я же отвечал «да» или «нет», стараясь по возможности ничего не объяснять.
Следователь особенно не настаивал; на меня он производил впечатление человека, который просто выполняет свою работу и был бы признателен, если бы я ему немного помог. Было похоже даже, что в эту ночь у него на уме было нечто совсем другое, и он просто выполняет привычную процедуру. Он записал мой рассказ, пункт за пунктом, сверяя его время от времени с какими-то отчетами, лежащими на его столе, и выясняя некоторые детали. Когда мы покончили с основными биографическими сведениями и его подробными расспросами, было уже утро; я видел, что сквозь оконные ставни за его спиной пробивается свет. Когда он наконец закончил, то велел мне вернуться в камеру и обдумать все то, что он записал. Он прибавил, что скоро меня опять вызовут, и тогда у меня будет возможность восполнить все упущенные детали.
Уже в камере после завтрака я все утро провел, ломая голову над этим допросом. Было просто поразительно, каким количеством сведений обо мне они располагают. Я не мог понять, откуда им все это известно. Это выяснилось лишь много позже. Один из следователей потом сказал мне, что многие сведения они почерпнули от о. Макара, которого арестовали при попытке проникнуть в оккупированную Польшу через венгерскую границу, в то время когда мы с Нестровым работали в Чусовом (этим объяснялось и то, что Макар так и не присоединился к нам вопреки обещанию; этим также, несомненно, объяснялась постоянная слежка, которой мы, по всей вероятности, подвергались перед арестом). В качестве доказательства этот следователь показал мне фотографии Макара, сделанные после ареста. Я едва узнал беспечного грузина: лицо его было исхудавшим и искаженным, и сам он казался сильно похудевшим. Но это был Макар; на этот счет не могло быть никаких сомнений.
Все это, как я сказал, я узнал намного позже. А пока, в то утро и в последующие дни, я чувствовал себя весьма озадаченным. Я думал, что, быть может, это Нестров проговорился, или что, возможно, еще со

времен Альбертына за нами следили, а мы и не подозревали об этом. Узнать это мне было неоткуда. В свете последующих допросов все стало намного яснее, но в то утро я был потрясен до глубины души.

Я думал, что меня снова вызовут в тот же вечер, но ничего не произошло - ни в тот день, ни на следующий день, ни через день. Дни уже начали сливаться в недели, а меня так никто и не вызывал. Поэтому я начал организовывать свои дни так, как будто я у себя дома в иезуитской общине, и составил для себя распорядок дня. Встав поутру, я сразу же совершал «Утреннее приношение», затем, после утренней оправки, час отводил на медитацию. Подъем здесь был в половине шестого, а завтрак в семь, что очень напоминало распорядок дня в большинстве иезуитских домов, где мне приходилось жить, и дни начали обретать упорядоченность.

После завтрака я по памяти совершал мессу, то есть творил все ее молитвы, потому что, разумеется, я не мог по-настоящему совершать евхаристию. Утром, в полдень и вечером, когда кремлевские часы обивали соответствующее время, я читал молитву «Ангел Господень». Перед обедом я совершал свой полуденный *examen* (испытание совести); вечером, после отбоя, совершал вечерний *examen* и обдумывал темы для утреннего размышления, следуя «Духовным упражнениям» св. Игнатия.

Каждый день пополудни я трижды читал молитвы розария: раз по-польски, раз по-латыни и раз по-русски, - взамен литургии часов. После ужина я проводил вечера, повторяя по памяти молитвы и гимны или даже напевая их вслух: “Anima Christi”, “Veni Creator”, “Salve Regina”, “Veni, Sancte Spiritus” и прежде всего – “Dies irae” и “Miserere” – все, что мы учили в новициате, когда были послушниками, все гимны, которые мы пели в Обществе, все молитвы, которые я учил дома еще мальчиком.

Иногда я часами силился припомнить выпавшую из памяти строчку, вновь и вновь повторяя ее, пока мне не начинало казаться, что я пою ее правильно. В это молитвенное время я также придумывал свои собственные молитвы, разговаривая с Богом непосредственно, прося Его о помощи, но прежде всего принимая Его волю, доверяясь всецело Его Промыслу, Который будет хранить меня, что бы ни ждало меня впереди.

После утренних молитв и в долгие послеполуденные часы я также читал по памяти те стихи, которые помнил: «Нас семеро» Вордсворта, «Оду западному ветру» Шелли или стишок Бернса к полевой мыши, который

находил забавно подходящим к моей нынешней ситуации и который всегда был одним из моих любимых. Иногда я произносил импровизированную проповедь или речь на ту или иную тему, просто неся, что взбредет в голову, и разговаривая вслух, чтобы не сойти с ума. Я также развлекался, пробуя себя в сочинении анекдотов вроде тех, которые были в то время популярны в России, например: Сталин приезжает в колхоз. Я старался выдумывать невообразимо глупые вопросы и ответы, лишь бы только заставить себя смеяться. Я представлял себе, как крестьяне просят у него хлеб, или тракторы, или молоко и рассказывают ему, как они голодают. Потом я воображал себя «дядей Джо» и сердито отвечал им, что они не в первый раз голодают или что надо лучше работать, и через пять лет все у них будет хорошо, и тому подобное. Это было глупо, но помогало победить депрессию.

В эти недели почти каждую ночь в сумерках выли сирены, завывая тем долгим, жутким воплем, которым всегда сопровождаются артобстрелы, и надзирательницы бегали, выключая свет и включая красные и синие круглосуточные лампы над дверями. Но нам все равно не разрешали ложиться спать, пока не подадут сигнал к отбою. Некоторое время спустя я услышал выстрелы противовоздушного артиллерийского орудия. Часть орудий находилась, вероятно, прямо на нашей крыше, потому что от выстрелов вибрировали стены. В промежутках между звуками разрывающихся снарядов я слышал гудение немецких самолетов над головой, потом более громкие взрывы: это разрывались падающие на город бомбы. Время от времени слышался тонкий, высокий свист падающей бомбы, после чего здание сотрясалось от громкого гула взрыва, который раздавался, казалось, прямо за окном, но на самом деле был, несомненно, вдалеке.

И только в самом конце сентября меня снова вызвали на допрос. Не успел я сесть на стул, как всегда, в напряжении, как завыли сирены. Следователь подскочил, не сказав мне ни слова, и схватил телефонную трубку. Не успел он набрать номер, как на крыше, прямо над нами начала стрелять противовоздушная батарея; вся комната вибрировала. Шум оглушил меня, а потом вдруг погас свет. В этот момент вошла надзирательница, вытолкнула меня из комнаты и быстро повела вниз по лестнице и по коридорам, заполненным темными фигурами, освещенными призрачным красно-синим светом, в некое помещение, которое, судя по влажному, затхлому запаху, было плохоньким подземным бомбоубежищем.

Там меня посадили в один из маленьких, темных «боксов», как назывались временные камеры для заключенных. Я ждал в темноте, прислушиваясь к приглушенным звукам обстрела. Мой сосед постучал по стене и привлек мое внимание. Я напряг слух и услышал громкий шепот: «Кто там?» Я ответил почти неосознанно: «Липинский Владимир Мартынович», и мы с моим соседом начали перешептываться в темноте. Время от времени подходила надзирательница и приказывала нам молчать; некоторые слова и предложения тонули в глухих звуках взрывов. Я не смог узнать ничего, кроме того, что здесь, в подвальных боксах, нас много и что нахожусь на Лубянке. Но в этой темноте, среди разрывающихся бомб, мы чувствовали себя в ловушке, и было утешительно иметь собеседника.

Прошло уже, наверно, много часов, но вдруг атака прекратилась. Я слышал, как где-то далеко с навязчивым воплем замирают сирены. Потом наступила полная тишина, густая и черная, такая беззвучная, что, казалось, она давила на барабанные перепонки в этой кромешной тьме бокса. Вскоре после этого нас по одному отвели обратно в камеры и приказали ложиться спать.

В первую неделю октября нас гоняли вниз, в бомбоубежище каждую ночь. Обстрелы становились все более яростными, и мы поняли, что немцы совершают решительное наступление на Москву. Бомбежка теперь почти не прекращалась; даже днем периодически совершались налеты. Однажды днем я сидел во время обстрела на своей кровати и вдруг услышал очень близко от себя высокий свист падающей бомбы, который стремительно становился громче. Не успел я отреагировать, как бомба разорвалась. Стена моей камеры тряслась так неистово, что меня подкидывало на кровати. Я подскочил и начал тревожно озираться, пытаясь определить, не треснула ли стена, не оторвало ли от окна жестяной лист, но нет, не повезло. Почти немедленно дверь отворилась, и надзирательница быстро увела меня вниз.

Рано утром 6 октября нас начали эвакуировать из тюрьмы. В коридорах царила страшная суматоха и толкотня; надзирательницы кричали на нас, чтобы мы не оглядывались, не разговаривали, двигались одной колонной и, ради Бога, побыстрее! Нас всех собрали в каком-то большом подвальном помещении. Хотя разговаривать было строго запрещено, все говорили наперебой, а надзиратели были слишком заняты другими делами, чтобы следить за исполнением правила.

От одного заключенного там, в полусвете подвала, я узнал, что, как сообщают, немцы уже всего в 110 километрах (менее 70 миль) от

Москвы. Все утро бомбежка не прекращалась, и мы весело и с какой-то надеждой разговаривали о том, как нас освободят немцы. Казалось, что в подвале праздник; каждый делился с соседом любыми сведениями, а заодно и крохами пищи, которые ему удалось припрятать в карманах.

В то утро там, внизу, я познакомился с русским, который прежде работал в американском посольстве в Москве. Я столкнулся с ним довольно случайно – и узнал, что именно он посылал мне телеграмму в Альбертын. Он поведал мне о том, как посольство старалось не терять из виду моего местонахождения и как потом оно посылало телеграммы в Альбертын и во Львов, но не получало ответов.

В подвале также было несколько офицеров-красноармейцев, арестованных бог весть за что, которые рассказали нам все, что знали о ходе войны. Немцы наступали молниеносно; германские передовые части теперь располагались на линии, пролегающей через Москву от Ленинграда на севере до Сталинграда на юге. Украина, житница России, была взята; немцы заняли Одессу и теперь двигались на Крым; Ростов пал, и весь Кавказ под угрозой. Там был и шофер из немецкого посольства, который дополнил рассказ известными ему подробностями, и три бывших директора русских фабрик, которые рассказали мне о решительном отпоре, который Россия дает немцам. Стояли самые черные дни похода на Россию, и люди в той комнате, возбужденно разговаривая, разрывались между верностью родине и надеждой на освобождение.

Наконец нас всех построили группами человек по двадцать, вывели из подвала на первый этаж и на улицу. Я думал, что нас погрузят в воронки, но вместо этого нас повели пешком, так быстро, что иногда нам даже приходилось переходить на трусцу, по московским улицам по направлению к вокзалу. По пути нас все время стерегли солдаты и специально обученные собаки – дополнительная мера предосторожности, потому что на улицах царил хаос. Бомбежка все не прекращалась, и временами улица почти перекрывалась высокой волной булыжника, накрывавшей ее поперек. По улицам бежали немногочисленные люди, вероятно, в поисках убежища и не имея времени смотреть на нас.

Шум был оглушительный, темп ходьбы выматывающий, и я смертельно замерз. На мне, как и прежде, было только легкое пальто, а в Москве в том октябре стояла уже глубокая зима. На вокзал мы не пошли, а отправились по короткой дороге, спотыкаясь о булыжники, прямо на сортировочные станции. Там нас посадили в обыкновенный

столыпинский*, или пассажирский, вагон – русскую версию европейского пульмановского вагона, с маленькими, примерно 5 на 10 футов, купе и с коридором сбоку вдоль всего вагона.

Даже в гуще бомбежки и всеобщей неразберихи (разумеется, сортировочные станции были важнейшей мишенью немецких самолетов) все делалось строго упорядоченно. Нас разместили по купе, зачитывая наши имена по списку. В одно купе площадью 5 на 10 футов запихивали по двадцать-двадцать пять человек; нам едва хватало места, чтобы стоять; в купе была такая давка, словно в трамвае или метро в час пик. Те, кого впустили в вагон первыми, заняли сидячие места, а некоторые из пришедших позже вскарабкались на верхние полки. Таким образом мы могли, по крайней мере, дышать, не врезаясь ребрами в локоть соседа.

Поскольку это были обыкновенные пассажирские поезда, по обе стороны вагона были окна, через которые можно было наблюдать за хаосом и бомбежкой, пока было светло. Ночью же видны были вспышки противовоздушных снарядов и далекие огни взрывов в городе, напоминающие внезапный мерцающий свет летней зарницы.

---

* Неточность. «Столыпинский вагон» - вагон для перевозки арестантов, названный так по имени П. И. Столыпина (1862-1911), царского министра внутренних дел и председателя совета министров.

«Первоначально создан для перевозки крестьян-переселенцев во время аграрной реформы Столыпина (1906-1911), затем - видимо, еще в царское время - стал использоваться для перевозки арестантов. Еще один известный неологизм, связанный с именем Столыпина (он был одновременно премьер-министром и министром внутренних дел) - "столыпинский галстук" (виселица). Вообще, вагоны для арестантов были разные. Собственно советский "столыпин" - это вагон на основе обычного пассажирского, с купе, отделенными от коридора металлической сеткой <…> Такой вагон цепляли к обычным пассажирским составам. При этапировании больших масс заключенных в период ГУЛАГа, их везли отдельными составами в товарных вагонах: с нарами в несколько рядов или просто с деревянным полом. Зимой они обогревались печкой - охапка дров на день (этого было мало, и если не удавалось каким-то путем получить больше топлива, то вагоны вымерзали - были случаи, когда "этап не дошел" - то есть все погибли по дороге). В годы войн в таких товарных вагонах - теплушках - перевозили войска. При необходимости этапируемых могли везти и в обычных пассажирских вагонах - это редкость, но об этом также вспоминали бывшие зэки ГУЛАГа». По материалам http://elzbetta-m.livejournal.com/91850.html. *Прим. ред.*

В моем отделении было больше дюжины высокопоставленных офицеров, обвиненных в государственной измене, подрывной деятельности или даже дезертирстве, член Верховного Совета СССР, русский, работавший прежде в посольстве Китая, несколько директоров фабрик, пара химиков и юристов, инженер, двое студентов и преподаватель. В общем и целом общество подобралось довольно интеллектуальное, и большинство из нас, не считая нескольких офицеров, были политзаключенными в узком смысле этого слова. Первые часы мы посвятили знакомству друг с другом, которое время от времени прерывалось грохотом падавших вблизи бомб, который сотрясал вагоны: один раз мы даже подумали, что вот-вот перевернемся.

Затем один из старших армейских офицеров, старый генерал, решил, что пора как-то организоваться и установить распорядок дня. Он разработал разумную систему обмена полками и сидениями, в которой пожилым людям отводилось больше времени на сидячих и лежачих местах, а молодым – немного меньше. Дабы мы с пользой провели время, он также решил, что каждый в вагоне ежедневно будет читать лекцию по своей специальности; он сам начал эти «столыпинские курсы» лекцией о стратегии. Он очень подробно объяснил, каким образом Гитлер осуществил свое наступление и что линия фронта сейчас образует большую дугу от Ленинграда до Сталинграда с Москвой посредине.

«Но Гитлер проиграет, - сказал он, - потому что слишком растянул свои войска, и его пути снабжения тоже чрезмерно растянуты. Он может продержать города до конца зимы, но ему постоянно угрожает опасность, что его тылы перережут партизаны в сельской местности. Его истинная цель – не Москва, но кавказские нефтяные месторождения под Баку, и нам это известно. Это элементарное правило: механизированным дивизиям нужно топливо, и теперь, когда его танки проникли так глубоко в Россию, он может обеспечить их только топливом, добытым в самой России. Поэтому мы ударим от Сталинграда в направлении Ростова, отрежем Кавказ и тем самым обратим его фланги на север, изолируем месторождения нефти и, если повезет, окружим и уничтожим целые дивизии».

Чрезвычайно любопытно было слушать эту лекцию там, в этом ледяном спальном вагоне, в глубине московских сортировочных станций, между тем как над нашей головой выбрасывали свой смертоносный груз немецкие самолеты. С 6 по 9 октября мы оставались на этой станции.

Возможно, были заблокированы пути, потому что время от времени наш вагон перебрасывали с одного пути на другой, но вперед мы не двигались. Мы проезжали ярдов 150, потом останавливались давали задний ход, перемещались на другой путь, проезжали еще ярдов 500, останавливались, ждали, а час спустя все опять начиналось с начала.
В эти три дня немцы бомбили Москву днем и ночью, и станция была одной из их главных мишеней. Каким-то чудом ни одна бомба не упала ни на нас, ни даже поблизости от нас, и все же это казалось невероятным, потому что бомбы сыпались на округу, словно дождь. Несколько бомб разорвалось так близко, что из нашего вагона было видно, как взлетает на воздух булыжник и куски рельсов, но в нас ничего не попадало – хотя иногда мы горячо молились, чтобы попало! Нам казалось, что если в нас попадет немецкая бомба, то так или иначе мы будем свободны: или умрем и таким образом спасемся от русских, или нам повезет настолько, что мы выберемся из бомбардируемого поезда и убежим.
Около 8 октября поезд совершил бесплодный рывок до самых Песков (один из офицеров в нашем вагоне сказал, что это пригород Москвы). Там мы простояли большую часть ночи, а на следующий день вернулись задним ходом на сортировочные станции Москвы. То место, где поезд стоял днем раньше, теперь представляло собой груду булыжников и товарных вагонов, нагроможденных друг на друга, словно в игре в городки. Там и сям из груды, наподобие гигантского штопора, торчал искореженный рельс.
Наконец, 8 октября, мы начали очень медленно двигаться вперед. Днем мы стояли на запасных путях, потому что немцы обязательно сбрасывали бомбу на все, что движется. Ехали мы только ночью. Пока поезд стоял на подъездных путях, мы продолжали свои «столыпинские курсы». Старый генерал, служивший в армии еще при царе, каждое утро и каждый вечер читал нам лекции о военной стратегии. Один из директоров фабрик прочел нам долгую, исполненную технических подробностей лекцию о том, как с производства сигарет он переключился на производство пуль. Другой директор фабрики и инженер кратко рассказали нам о ходе военных действий, о дефиците практически всех необходимых для войны материалов, о необходимости высочайшей производительности, в то время как производить не из чего. Один из директоров сказал даже, что его арестовали именно за то, что он не выполнил норму. Никаких объяснений от него не приняли. Большинство из них были настроены

пессимистично по поводу способности русских противостоять нападению немцев в плане боевой техники, и единственную возможность выиграть войну для своей родины видели только в ее человеческих ресурсах и в поддержке Соединенных Штатов.

В первые три дня, пока мы стояли на сортировочных станциях, нам выдавали хлебный паек. Потом хлеб закончился. В свете существующего положения ничего поделать с этим было нельзя: даже конвоиры не получали своих обычных пайков. Любая система поставки продуктов была бы полностью нарушена бесконечными бомбежками. Проведя без пищи двадцать четыре часа, в последующие несколько дней мы получали в качестве пайка три-четыре маленьких селедки, натвердо замороженных. Мы разогревали их в руках, пока они не становились мягкими, а затем попросту съедали их сырыми от начала до конца без всякого разбору: хвост, голову, кости, плавники и все прочее.

Мы ели их, потому что умирали с голоду. Но воды нам не давали тоже, а потому рыба только усиливала нашу жажду. Через день-два мы почти уже бесились от жажды. Некоторые люди в вагоне стали неистово орать, едва не лишаясь рассудка от потребности чем-нибудь утолить жжение во рту и в глотке. Ситуация начала полностью выходить из-под контроля, и ходили даже слухи (один из наших офицеров слышал это от часового), будто, чтобы решить проблему, нас могут и расстрелять.

Бомбили все еще сильно, и поезд мог только крадучись передвигаться по ночам, не зажигая огней, в надежде на то, что рельсы на его пути все еще на месте. Однажды ночью, пройдя некоторое расстояние, поезд внезапно замер посреди леса. Мы решили, что час пробил. В тусклой ночной полутьме видно было, как вокруг поезда прогуливаются конвоиры: их силуэты с пулеметами в руках вырисовывались на фоне белого снега. Часы тянулись бесконечно, пока мускулы в наших пустых желудках не свело от напряжения, пока мы не начали потеть несмотря на мороз. Энкагебешники сновали взад-вперед с собаками, которых они привезли с собой на поезде. Было очень похоже на то, что они собираются загнать нас в лес. Однако наступило утро, а ничего так и не произошло.

На следующее утро мы прибыли в Рязань, где впервые за два дня получили хлеб и воду. В следующий раз мы увидели хлеб только через два дня. Мы вновь кормились селедкой, и вновь некоторые заключенные начали сходить с ума. Наконец мы прибыли в Тамбов, один из главных железнодорожных узлов. Сортировочные станции

были забиты воинскими эшелонами и составами с боеприпасами: все пути были полны. Но бомбежка все продолжалась. Ведь мы все время двигались почти параллельно немецкой линии фронта, тянувшейся от Москвы до Сталинграда. В Тамбове нас перевели на запасный путь, чтобы можно было отправить на фронт необходимые боеприпасы.

Несмотря на свое собственное жалкое положение, мы с сочувствием смотрели, как горожане (некоторые из них даже разбили палатки возле сортировочных станций) выпрашивают пищу у военных в воинских эшелонах. Там, в Тамбове, мы простояли на запасном пути два дня и наконец получили немного хлеба. Нам сказали, что его должно хватить до Аткарска, до которого оставалось 150 километров; при такой скорости передвижения невозможно было предсказать, когда мы там будем. Однако, когда мы наконец поехали, путешествие заняло всего два дня; конечно же, хлеб наш давно иссяк. Что же до хлеба, который нам обещали выдать в Аткарске, мы стояли на запасном пути и ждали – и ничего не происходило. Некоторое время спустя заключенные начали кричать, проклиная конвой и требуя, чтобы нас накормили.

Наконец мы дождались. К поезду принесли большие корзины черного хлеба, и каждый получил по полбулки. Это был изумительный, деревенский, домашний хлеб. Опять же нам сказали, что его должно хватить до Саратова, но аромат был такой чудный, что соблазн оказался сильнее нас, и мы съели его в один присест. Никогда в жизни я не ел такого вкусного хлеба, как тот толстый, черный ржаной хлеб в Аткарске. Там нас также вдоволь напоили, и мы наполняли свои желудки этим хлебом и водой, пока они не раздулись и мы не перестали чувствовать спазмы голода.

До Саратова мы добрались 18 октября. Нам понадобилось почти тринадцать дней, чтобы проехать расстояние, которое обычный пассажирский поезд преодолевает, как правило, за полтора дня. Когда мы приехали, шел проливной дождь. Но, дождь или не дождь, нас все равно заставили стоять строем на улице, пока чиновники пересчитывали нас и один за другим проверяли наши документы. Больше всего нас беспокоили маленькие кусочки хлеба, которые мы припрятали: мы старались не дать им промокнуть. Потом нас набили в воронки и отвезли в старую государственную тюрьму в Саратове.

Саратовская интерлюдия

Доставив в тюрьму, нас снова выстроили под проливным дождем, где устроили очередную проверку, затем наконец отвели в подвал со

старыми каменными стенами, почерневшими от времени. В очередной раз мы прошли все обычные процедуры: у нас сняли отпечатки пальцев, нас сфотографировали, постригли и побрили, осмотрели и дезинфицировали. Пока наши вещи были в дезокамере, нас согнали в душ. После двух без малого недель в тесноте железнодорожных вагонов мы были рады вновь помыться. Сами души в Саратове были грязными, потому что эту часть тюрьмы давно не использовали; стены душевой были сырые, испачканные, покрытые нечистотами. Но мы помылись, как смогли, и почувствовали себя лучше.

После всех этих процедур меня вместе с другими снова поместили в воронок и повезли через весь город в старое здание школы. Тюрьма не вмещала толпы людей, прибывающих с Лубянки, поэтому спешно пустили в дело и школу. Кабинеты очистили от всей мебели, кроме каких-то помостов посреди каждой комнаты, на которых мы сидели и спали, по крайней мере, те из нас, кому удалось занять на них место. Нас было человек сто пятьдесят в комнате, в которой в свое время умещалось, наверное, пятьдесят, от силы шестьдесят учеников.

Наша группа главным образом состояла из политзаключенных с Лубянки и в целом представляла собой культурное, интеллектуальное общество, поэтому вскоре мы усвоили распорядок дня, подобный тому, какой старый генерал установил в поезде. Там, в школьных кабинетах, преподаватели читали лекции, а некоторые артисты выступали: пели, танцевали, произносили импровизированные монологи и ставили сценки, - лишь бы чем-то занять время. Остальные часы мы посвящали обычным тюремным развлечениям, исследуя происхождение друг друга, выискивая общие интересы, которые позволяли нам коротать часы в долгих беседах, сравнивая рассказы о допросах на Лубянке, и так далее. Как обычно, нужно было воспринимать эти истории с большой долей недоверия, потому что каждый приукрашивал свой рассказ, стараясь себя защитить. Никто никому не доверял до конца. Всегда существовала опасность, что кто-нибудь из нас на самом деле - шпион или стукач.

Так, однажды ночью, когда мы были в Саратове, я проснулся в испуге от звука громких голосов и большого смятения. К тому времени, когда я достаточно пробудился ото сна, чтобы понять что происходит, в комнате уже были надзиратели, которые несли окровавленное тело. Тут же пришли тюремщики, выстроили нас в ряд и потребовали, чтобы мы признались, кто убил этого человека. Разумеется, этого не делал никто: все спали крепким сном. Выяснение продолжалось более часа.

Тюремщики угрожали, что, если потребуется, оно продлится всю ночь, и никто не будет спать. Но так ничего и не добившись, они наконец махнули на нас рукой. Прежде чем мы снова легли спать, в возбужденном гуле голосов я услышал, что жертва была стукачом, которого разоблачили и убрали. Возможно, так оно и было, возможно, это была очередная тюремная история; быть может этого человека попросту убили в драке за махорку или кусок хлеба.

В конце месяца группы заключенных в старом школьном зале поделили снова, и меня опять отправили в главную саратовскую тюрьму. Там камеры были маленькими, примерно 7 на 12 футов, с грязными стенами и одним маленьким окошком, расположенным очень высоко в стене. Камера всегда была темной, в ней стоял сырой, затхлый запах, настолько резкий, что я так и не смог к нему привыкнуть. В эти коморки впихивали до семнадцати человек, но в нашей было всего двенадцать.

Но все равно места было очень мало, так что передвигаться по камере было почти невозможно. По ночам мы все тесно скучивались на нетесаных нарах. Если кто-то переворачивался во сне, он мог разбудить всю толпу. С другой стороны, кормили здесь немного лучше среднего. Хлеб, которым нас кормили на завтрак (выдавали 400 граммов хлеба и кипяток), был великолепен. В полдень мы получали обычные пол-литра супа, но вечером вместо каши нам давали по три замороженных окуня и немного кипятку. Кроме того, мы заключили джентльменское соглашение – в таком малом коллективе это возможно – не есть между завтраком, обедом и ужином. Таким образом мы избегали распространенного тюремного испытания, когда вид едящего человека раззадоривает аппетит.

Тогда же нас снова начали по одному вызывать на допросы, которые начинались где-то после завтрака. Поэтому первым нашим ежедневным занятием были размышления о том, кого же вызовут сегодня. Потом мы придерживались распорядка дня, который уже вошел у нас в обычай: лекции, монологи и скетчи, чтобы чем-то занять время – по крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не вернется с допроса. Когда же это происходило, все прекращалось, и мы посвящали все свое внимание выяснению того, как все прошло, какую линию следователи разрабатывали на этот раз, есть ли какие-то новости.

Здесь, в главной саратовской тюрьме, у нас было еще оно средство повседневного общения: азбука Морзе. Тюрьмы была построена в форме пустого квадрата с двориком в середине. На втором этаже, где находились мы, по всем четырем сторонам квадрата тянулось около

тридцати камер. Каждый день, пока один человек стоял у двери, следя, не идет ли надзиратель, мы пускали в ход свой «телеграф». Заключенные отбивали по стене сообщения, передавая их из камеры в камеру.

Так мы пытались выяснить, не поступили ли в тюрьму новички и какие новости они с собой принесли, мы спрашивали, сколько человек в каждой камере и кто они такие. Первые сообщения каждого дня касались того, кто за прошедшую ночь умер (в основном от дизентерии) и кто в других камерах болен. По телеграфу махорку выменивали на еду, иногда – в случае крайней необходимости – на одежду. Телеграфисты отбивали условленное время и место (обычно туалет), где будут спрятаны вымениваемые вещи и откуда их позже можно будет забрать.

Однажды утром раздался взволнованный стук в стену. Со сверхъестественной быстротой по всему этажу разнеслась весть о том, что в одной из камер повесился Стеклов, бывший редактор «Известий». Он провел в Саратове почти год, все больше впадая в депрессию; тюремная жизнь и лишение свободы довели его наконец до этого акта саморазрушения. Из-за его прежнего положения и репутации эта новость стала лакомым куском для тюремного телеграфа и весь день была предметом долгих обсуждений.

Примерно на второй неделе моего пребывания в этой камере меня вызвали на допрос. Как обычно, я напрягся от этого совершенно особого чувства отвращения, которое испытывал всегда, когда начинался очередной допрос. Все это казалось таким пустым и бесполезным. Я знал, что ничего плохого не сделал, и все же они вели себя так, словно я попросту что-то скрываю. Конечно, я въехал в Россию с подложным паспортом, что могло караться максимум двумя-тремя годами тюремного заключения, но этот вопрос вообще не получал никакого серьезного рассмотрения. Это обстоятельство было им известно, но само по себе, казалось, нимало их не беспокоило, разве что постольку, поскольку могло подтвердить их подозрение, что я въехал в СССР с целью какой-то подрывной деятельности.

В то утро меня отвели в комнату, где сидела целая группа следователей. Я напряженно сел, и они начали со всех сторон забрасывать меня вопросами о моей жизни и «шпионской» деятельности. «Вы, священники, - сказал один из них, - приезжаете в Россию как агитаторы под предлогом религии и вызываете волнения в массах! Почему бы вам не признаться в этом прямо?» - «Я такой же “шпион”, как и вы! -

огрызнулся я. – Вы же знаете, что вы – не шпион, верно? Вот и я знаю, что я не шпион, и именно это пытаюсь вам объяснить».

В общей сложности это был очень невразумительный допрос. Сложно было сохранять спокойствие и точность в ответах, потому что вопросы поступали пулеметной очередью от разных следователей и не всегда на одну и ту же тему. Позже, когда я рассказал это своим сокамерникам – по крайней мере то, что смог припомнить, - мы так и не смогли понять, к чему же они клонили. Хотя нельзя сказать, что камера представляла собой хорошую и бесстрастную экспертную комиссию в этих вопросах.

Три дня спустя меня вызвали снова, на этот раз – среди ночи. Мой следователь был высокий блондин с мальчишеским лицом и сидел там один. Мне не понадобилось много времени, чтобы заподозрить, что в своем деле он новичок; мне приходилось иметь дело с профессионалами на Лубянке. Он выглядел таким юным и в то же время так хотел казаться суровым, что я не мог не развеселиться. Вместо детального перекрестного допроса, к которому я научился относиться с почтением и даже ужасом, он позволял себе восклицания вроде: «Что?! Что вы хотите этим сказать? Что вы такое говорите? Как это понимать?» Один раз я улыбнулся и ответил: «А что вам нужно? Скажите мне сами!» - «Эй! – сказал он. – Да с кем вы разговариваете?» Он встал, безуспешно пытаясь выглядеть устрашающе, и потряс кулаком у меня перед носом. «Видите этот кулак? Смотрите у меня!» Я опустил глаза и попытался напустить на себя почтительный вид, но едва смог удержаться от смеха.

Весь допрос он требовал, чтобы я сидел выпрямившись на краешке стула. В то же время сам он едва мог держать голову прямо: он без конца клевал носом. К раннему утру следователь стал засыпать чуть ли не через каждые тридцать секунд. Он был не в состоянии полностью записать ни одного предложения на лежавших перед ним бумагах. Наконец, швырнув карандаш на стол, резко встал и сказал: «Ну, ладно! Теперь отправляйтесь в свою камеру и обдумайте все это, а завтра, - тут он опять попытался напустить на себя суровый вид, - для вас же лучше решиться рассказать нам всю правду!»

На следующий день поздним утром меня снова вызвали на допрос. Все тот же парнишка. Усаживаясь на стул, я посмотрел на него очень серьезным взглядом, но, честно говоря, не мог принимать его всерьез, таким новичком он казался в своем ремесле. Юнец явно совершенствовал свою технику и на этот раз решил взять новый курс. Когда мы все еще ходили кругами вокруг обычных предварительных вопросов, вошла молодая девушка с подносом, на котором были

бутерброды, чай, хлеб и масло, и поставила его на стол. Когда она вышла, следователь поставил передо мной чашку чая и бутерброд. «Ешьте», - сказал он. Я покачал головой. «Нет, нет, - сказал он, - не стесняйтесь, ешьте». - «Не буду», - сказал я. «Ну же, - сказал он, - я знаю, что вы голодны. Ешьте». - «Не хочу», - ответил я. Конечно же, я хотел есть, но трюк был такой прозрачный, что я просто отказался играть в эту игру. Поэтому бутерброд и чашка чая так и простояли на краю стола весь допрос. Казалось, его это беспокоило больше, чем меня, потому что он то и дело нервно на них поглядывал, а потом отводил глаза снова.

Узнав, что я был «водителем первого класса», он стал подробно экзаменовать меня по технике и автомеханике: «Для чего нужен этот болт? Где находится этот клапан? Куда вставляется этот проводок?» - «Не знаю, - говорил я, - не помню». – «И вы еще называете себя водителем первого класса? А я думал, у американцев способности к технике. Да я бы вам и шину сменить не доверил!»

Некоторое время он все ходил кругами вокруг проводочков, клапанов и болтов; потом до него дошло, что мы занимаемся бессмыслицей. «Сколько раз вам повторять, зачем вы здесь находитесь? Вам бы лучше уже начать отвечать мне прямо». Наконец встреча закончилась без каких-либо особых достижений. «Слушайте, - сказал он, - завтра у вас будет последняя возможность сказать нам правду. Подумайте об этом». Но на следующий день меня не вызвали и потом долго еще не вызывали.

Между тем в нашей камере обсуждалась в основном битва за Москву. Новые люди поступали в тюрьму ежедневно, и их рассказы распространялись по тюремному телеграфу. Даже и в нашей камере появился новый человек, офицер из саратовского гарнизона, который рассказал нам, что немцы близко. Он сказал, что в самом Саратове со дня на день ожидается сражение, и в городе полно солдат.

В том, что немцы приближаются, сомневаться не приходилось. Саратов бомбили почти ежедневно. Во время обстрелов мы стали даже в голос «болеть» за немцев, надеясь, что они сбросят одну из своих бомб прямо в наш тюремный двор. Как и в поезде по пути в Саратов, мы много времени проводили, планируя свой побег в случае, если немцы будут так любезны, чтобы снести тюремные стены.

Близость войны имела еще одно, более ощутимое последствие. Пища, которая поначалу была относительно неплохой, становилась все хуже; бывали дни, когда нас и вовсе не кормили. В самом городе еды не

хватало, заключенных теперь было слишком много, и тюремная кухня была просто не приспособлена к тому, чтобы справиться с подобным наплывом. Однажды вечером, когда нашу камеру повели на оправку, я заметил, что в углу, в коридоре валяется большая кость. Когда надзиратель отвернулся, я быстро поднял ее и спрятал в пальто. В туалете я, как смог, отмыл ее под краном и положил в карман. Весь остаток дня я сидел в камере, откусывая от нее кусочки, зубами перемалывая ее в порошок и проглатывая. Я разломал ее и предложил кусочки другим, но их зубы были недостаточно крепки, чтобы разжевать ее.

Однажды вечером, в конце января 1942 года меня снова вызвали на допрос. Это снова был мой блондин с мальчишеским лицом, но он казался странно молчаливым и угнетенным. Следователь нервно мерил шагами комнату, пока держал свою предварительную речь. Он сказал, что это мой последний шанс сказать правду, поэтому на сей раз мне лучше все обдумать и прямо во всем сознаться. Он сел, очень озабоченный. Он начал задавать мне вопросы, но все время нервно двигал по столу какие-то предметы, и в конце концов беседа окончательно сошла на нет.

Мы просто сидели, пока вдруг не зазвонил телефон. Он схватил трубку, послушал и тут же изменился в лице. Швырнул трубку на рычаг, с криком подскочил и выбежал из комнаты. Я слышал, как в приемной толпятся и шумят другие чиновники. Неожиданно дверь отворилась и в комнату вошли три других чиновника вместе с моим следователем, возбужденно разговаривая и похлопывая друг дружку по спине. В конце концов один из них заметил меня. Он позвал надзирателя и велел ему отвести меня назад в камеру. Мне же не терпелось поскорее вернуться туда и распространить весть: из обрывков разговора я понял, что русские отвоевали Можайск – ворота в Москву. Немцы отступали. Москва была вне опасности.

В камере новость произвела сенсацию. Все стали в один голос обсуждать ее; вскоре тюремный телеграф уже тоже отстукивал ее по стенам. Мы слышали шум на всем этаже, и даже надзиратели в ту ночь включились во всеобщую неразбериху, подтверждая новость. Реакция на победу Красной Армии среди заключенных была неоднозначна. В основном они были русскими, многие из них служили в армии; их гордость и патриотизм заставляли их радоваться этому успеху. Но затем они вспоминали – или им напоминал кто-нибудь другой, - что с поражением немцев рушатся и наши надежды на скорейшее

освобождение из тюрьмы, и на некоторое время это их отрезвляло. В конце концов, патриотизм побеждал. В общем и целом это была еще одна бессонная ночь.

Утром 23 января меня снова вызвали, как я полагал, на допрос к моему светловолосому дилетанту, чтобы дать мне «последний шанс». Однако на самом деле меня повели в подвал и заперли в бокс. Некоторое время спустя надзиратель принес из камеры мои личные вещи и дал мне булку хлеба и три чайных ложки сахару в бумажном кульке. Я понял, что снова отправляюсь в путь. Наконец двое конвоиров вывели меня во двор и посадили в воронок. Они сели туда тоже, и грузовик, подпрыгнув, покатился на саратовский вокзал. Толпы на вокзале совершенно изменились; счастье светилось на каждом лице. Вся атмосфера была оптимистической, люди ликовали. Даже у солдат, заполонивших станцию, спины, казалось, стали прямее, а походка - радостнее.

Я и мои конвоиры сели на поезд, направляющийся на север, и разместились в одном из пассажирских купе. На этот раз мы добрались до Москвы всего за пятнадцать часов. Однако я бережно хранил свой хлеб и сахар, потому что никак нельзя было предсказать, сколько продлится путь и куда меня в конце концов привезут. На всем пути я видел вор***о***нки от бомб и разрушенные дома – следы худших дней немецкого наступления. Но бомбежек на этот раз не было, пути, казалось, были вполне в исправном состоянии, и мы добрались до Москвы без происшествий.

Седов добивается «признания»

Где-то среди обширных материалов МВД должна храниться целая галерея портретов, на которых изображен я – худой, еще худее, совсем худой, - потому что снова прошел весь изнурительный процесс поступления на Лубянку. Меня опять сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, постригли, осмотрели, помыли и заставили ждать, пока продезинфицируют мою одежду. В конце концов меня отвели в маленькую комнатку в подвале, где уже было пять-шесть человек, но я пробыл там всего несколько дней, а потом меня снова перевели наверх в одиночную камеру. Я был разочарован тем, что снова оказался в одиночестве. Я также начал задаваться вопросом, почему меня без конца переводят туда-сюда и почему из всех людей именно я представляю такой интерес для Москвы. Это скоро выяснилось. Через два-три дня, в девять часов вечера, меня вызвали, и так начался период,

который оказался для меня временем самых интенсивных допросов, когда меня допрашивали почти ежедневно.
Кабинет следователя состоял из нескольких помещений. В тот – первый - вечер, войдя в него, я увидел приятного на вид молодого человека, смуглого и черноволосого. Он сидел за столом в первой комнате и работал над какими-то документами. Когда я проходил мимо, он посмотрел на меня с любопытством, но я совершенно не узнавал его. Войдя во вторую комнату, я быстро осмотрелся. В тюрьме быстро привыкаешь моментально составлять представление о вещах и довольно много замечать краем глаза.
Это была большая, с высокими потолками, комната с двумя большими окнами во внешней стене и блестящим дубовым полом. Вдоль одной стены стоял диван, несколько больших, очень мягких стульев и целый ряд зеленых шкафов для документов. Огромный стол красного дерева в середине, заваленный высокими стопками бумаг, делал комнату еще внушительнее, так же, как и портьеры на окнах и картины на стенах. Я сразу понял, что достиг высочайшего уровня.
Мой новый следователь был серьезным, спокойным, уравновешенным человеком лет тридцати пяти, хорошо сложенным, с каштановыми волосами, зачесанными набок и периодически спадавшими ему на глаза. Говорил он тихо, но хорошо владел свои голосом; на протяжении всех наших многочисленных допросов он всегда оставался джентльменом. Он знал свое дело и проявлял в работе чисто деловой подход – без тени вражды, и все же чрезвычайно профессиональный. Следователь велел мне сесть, взял из стопки на столе листок бумаги и сказал: «О. Уолтер Чишек, американец, иезуит, учился в Риме, родился в Америке 4 ноября 1904 года?» Я кивнул. Последовала долгая пауза, после чего он поднял глаза от листка и тихо спросил: «Итак, готовы ли вы сотрудничать и открыто подходить к делу?» - «Конечно, - сказал я. – Я всегда так и подхожу. Вы только скажите, что вы хотите знать. Мне скрывать нечего».
«Хорошо, - сказал он и встал. – Прежде чем мы начнем, я хотел бы вас кое с кем познакомить».
Он подошел к двери и пригласил темного молодого человека, сидевшего за столом в другой комнате. «Этот человек, - сказал он, - один из моих подчиненных. Приходилось ли вам его видеть?» - «Не думаю», - ответил я. «Что ж, - сказал он, - перед вашим арестом его послали в Чусовой, чтобы расследовать ваше дело. Он готовил ваше досье, когда началась война, и тогда его призвали обратно в Москву. Вы

понимаете?» Я опять кивнул. Второй человек не говорил ничего, только стоял и смотрел на меня, пока следователь не отослал его.
Закрыв дверь и направляясь к столу, следователь сказал мне: «Теперь, когда вы должным образом предупреждены, думаю, у нас не будет проблем, - и думаю, вы скажете правду». Он сел, пододвинул стул поближе к столу и сказал: «На каком языке вы желаете говорить?» Сказать по правде, мой русский был тогда не очень хорош. Я вставлял в свою речь довольно много польских выражений, прежде всего, специальных терминов, которых не знал по-русски. На Урале мы говорили с чиновниками в основном по-польски, а между собой – по-украински; я слышал куда больше украинского, чем русского. В Москве и Саратове я мог беседовать по-русски с русскими заключенными, особенно с политическими, которые говорили на правильном и понятном русском. Но мой собственный запас слов и выражений был весьма ограниченным, и для серьезных целей моих знаний русского было явно недостаточно.
«Если вы хотели бы говорить по-польски, - сказал следователь по-польски, - пожалуйста. Я понимаю этот язык». Это было не совсем так. Его активный словарный запас в польском, как потом выяснилось, был ненамного богаче моего в русском. Как бы то ни было, я начал рассказывать о себе по-польски. Он делал подробные записи, иногда вновь и вновь переписывая какую-нибудь часть, пока не оставался доволен, решив, что у него есть все детали. Эта история продолжалась почти до пяти утра; на меня навалилась огромная усталость, как будто меня выжали.
После этого меня допрашивали ежедневно. В первую неделю мы снова и снова выясняли все детали моей жизни в Америке. Особенно его интересовало, как я установил связи с американским правительством (разумеется, не существующие). Время от времени он вставлял небольшие замечания типа: «Вы разве не понимаете, что мы теперь с Америкой и Англией союзники?» Наверно, это должно было побудить меня говорить о моих несуществующих связях с американским правительством более свободно.
В такие моменты я становился скрытным; на его вопросы я отвечал, но сопротивлялся искушению стать циничным. Я не представлял, к чему он клонит, и, хотя и знал, что мне нечего таить, по своей инициативе не открывал ему ничего, обычно ограничиваясь простыми «да» и «нет». Он, в свою очередь, непрестанно сетовал в своей джентльменской манере на то, что я не сотрудничаю с ним в полной мере; он не видел

причин, почему должен прилагать столько усилий, чтобы вытянуть из меня такие скудные сведения.
Этот человек был одним из немногих следователей, чье имя стало мне известно. Однажды, когда он пошел к шкафам с документами, чтобы взять еще одну папку, я взглянул на его паспорт*, лежавший на столе: Александр Седов.
После той первой недели мы перешли к подробностям моей жизни в семинарии, затем в Альбертыне, моей поездки на Урал и моей работы в Теплой Горе и в Чусовом. Он был просто не в состоянии понять, почему я вызвался поехать работать на Урал. Или, быть может, вернее было бы сказать, что его явно не удовлетворяли мои объяснения. Мои попытки объяснить ему духовные мотивы, подвигшие меня последовать такому призванию, он выслушивал очень терпеливо, слегка насмешливо, недоверчиво приподнимая брови.
Исследование и прощупывание всех этих деталей заняло почти месяц. По истечении этого времени Седов сказал: «Полагаю, вас можно поздравить. Вы не сказали мне ничего». - «Я сказал вам все», - ответил я. «Вы не сказали ничего!» - резко возразил он, впервые изменяя своему любезному тону. «Ваша беда в том, - сказал я, - что вы думаете, будто знаете мою жизнь лучше, чем я сам!» - «Смотрите! – сказал он. – Не забывайтесь! Я не так наивен, чтобы думать, что вы рассказали мне все; я понимаю, что к чему. Даже из документов видно, что вы что-то скрываете. Об этом говорит ваш допрос в Перми». – «Не верьте в это, - сказал я. – Они заставят человека сказать все, что угодно, если захотят, но это еще не означает, что все это правда».
«Заставят? – сказал он. – Что значит “заставят”? В СССР не применяются американские третьеразрядные методы». – «Что ж, - сказал я, - возможно, в теории это так, но там, в Перми, меня швыряли, словно мячик». – «Неправда», - сказал он. «Правда, - сказал я, - и это делали со мной, а не с вами!» Некоторое время он смотрел на меня, но ничего больше не сказал. Допрос на этом закончился. То, что я затронул эту тему, явно ему не понравилось. Я не знал, каковы могут быть последствия этого упоминания, но – законно это было или нет – меня действительно избивали.
Когда я вернулся в камеру, этот вопрос стал терзать меня меньше, чем заключительные замечания Седова, будто из документов видно, что я что-то скрываю. Я, хоть убей, не мог понять, что он имеет в виду. Как

* Скорее всего, это было служебное удостоверение или пропуск. *Прим. ред.*

обычно, он не дал мне никаких намеков. Каким бы уравновешенным он ни казался, в моей истории явно было нечто, сбивавшее его с толку, и он был полон решимости добраться до сути этого явления. Возможно, причиной всему было то, что следователь просто недооценивал религиозные побуждения. Остаток дня я провел, пытаясь в этом разобраться, но тщетно.

На следующий день, перед наступлением полудня, меня вызвали снова, что было слегка необычно, поскольку допросы проводились, как правило, вечером. Когда я вошел в кабинет Седова, в одном из кресел сидел не кто иной, как мой черноволосый следователь из Перми, имевший очень тревожный вид. Я был поражен. Почему я для них так важен, что им потребовалось так срочно вызывать его из Перми?

Седов сразу перешел к делу: «Известно ли вам, кто это такой?» - «Да, - сказал я, - конечно». – «Это он, как вы сказали, применял силу во время допроса в Перми?» Я кивнул. Следователь из Перми побелел. В это мгновения я ощутил приступ сочувствия к нему. Это был просто человек, возможно, человек семейный, исполняющий порученную ему работу, порой, возможно, срезающий некоторые углы, чтобы добиться наилучшего результата в кратчайшие сроки. Оправдать его я не мог, но, с другой стороны, я не видел причины сажать за решетку его самого. Там и так уже было слишком много людей.

«Что ж, - сказал Седов, - давайте перейдем к фактам. Расскажите мне все». – «Ну, - сказал я, - это следователь из Перми, который вытянул из меня признание, если вам угодно так это называть. Он был очень оскорбителен в своих выражениях, и его поведение, как я сказал ему еще тогда, совершенно не соответствовало его ответственному положению образцового представителя советского народа. Никто не станет уважать человека, который сыпет такими оскорбительными бранными выражениями, и никто не станет говорить с ним откровенно».

«Да, да, - сказал Седов, - но вы сказали, что он применял силу». – «Ну, - сказал я, - когда он понял, что не может добиться желаемого, он вызвал другого человека, чье имя мне не известно, такого коренастого, хорошо сложенного парня, который хватал меня за шею и с размаху бил по лицу, если я давал не тот ответ, которого от меня ждали». – «Ну!» – сказал Седов. Он повернулся лицом к следователю из Перми и спросил: «Кто этот человек?» - «Не знаю, – промямлил он, побледнев пуще прежнего. «Знает, - сказал я. – Он должен знать, а я не знаю». – «Ну, - сказал следователь из Перми в свою защиту, - это делалось потому, что он укрывал от нас факты, как я и написал Вам в своем отчете».

После этих слов Седов сделал ему знак головой, и они вышли из комнаты. Человек из Перми последовал за Седовым с потрясенным видом. Я вновь ощутил прилив сочувствия к нему. Минут через пять Седов вернулся. Он больше не упоминал об инциденте, и я не имею представления, что сталось со следователем из Перми, но, как бы то ни было, часть загадки теперь стала мне ясна. В документах, отправленных из Перми в Москву, просто говорилось, что я что-то скрываю. Это единственное замечание и послужило причиной моего перевода в Москву для усиленных и более квалифицированных допросов, а также всего того недоверия, которое с самого начала стали мне выказывать мои лубянские следователи.

Этим допросом закончился первый месяц моих встреч с Седовым. Теоретически, согласно уголовному кодексу, заключенного вообще не положено допрашивать дольше одного месяца. По истечении этого срока ему должны либо предъявить обвинение, либо отпустить его (по крайней мере, так объясняли мне старожилы Лубянки и Саратова). Однако в крайних случаях следствие разрешалось продлить еще на месяц. Мое продлили на два.

В эти последующие два месяца Седова больше всего интересовали мои отношения с Шептицким и поручение, которое я от него получил. Вновь я прилагал все усилия, чтобы объяснить, что миссия, которую поручил мне митрополит, ничем не отличалась от миссии любого приходского священника или миссионера и заключалась в одном: служить людям. Я был их духовным служителем, только и всего; к политике это не имело никакого отношения. Седов не мог этого понять, так же как и прежние мои следователи. Они, так же как и он, всегда утверждали, что миссия была лишь прикрытием для какого-то политического поручения. Разумеется, он никогда не выражал эту мысль подобным образом, но она всегда подспудно присутствовала в его вопросах.

Седов все выспрашивал, как живет архиепископ, кто живет с ним, кто у него бывает и каковы его «связи». Снова и снова я повторял, что только дважды нанес митрополиту короткий визит в его резиденции. Я просто не располагаю сведениями о жизни архиепископа и о его правлении епархией. Почему-то у меня сложилось впечатление – хотя об этом опять же ни разу не заявлялось прямо, – что они пытаются связать архиепископа Шептицкого и мою уральскую миссию с каким-то пронемецким заговором.

И вновь бесконечные вопросы о том, почему я хотел поехать на Урал. И вновь я пытался объяснить, что многие украинцы и белорусы, бывшие частью моей паствы в Альбертыне или архиепископского диоцеза во Львове, вызвались работать на Урале, и, как священник, я желал быть с ними и служить им. Интерес и настойчивость Седова объяснялись тем, что уральский регион был одним из важнейших центров советской оборонной промышленности. Мои следователи были убеждены, что я выбрал Урал с целью какой-то диверсии. Я отрицал это.

«Тогда почему вы так хотели попасть именно в Тулу?» - говорил Седов. «В Тулу?» - сказал я. В ходе наших дальнейших схваток выяснилось, что в Туле, городе, расположенном примерно в 60 милях от Москвы, одном из важных оборонительных узлов, на которых было сломлено немецкое наступление, имеется завод, выпускающий пулеметы. Я ничего не знал о существовании этого завода, но о Туле кое-что слышал. Нестров всегда хотел, чтобы мы туда попали, потому что это недалеко от Москвы. Поэтому упоминание о Туле окончательно убедило меня в том, что они уже допрашивали Нестрова во всех подробностях. Изнурительный круг допросов все продолжался. Поскольку никакой шпионаж и никакой диверсионный заговор места не имели, доказать они ничего не могли, но упорно настаивали на своем. Как бы ни был я утомлен этой темой, я столь же упорно настаивал на том, что единственные побуждения, заставившие меня приехать в Россию – как и в конкретные ее города, - были чисто духовными и ничем не отличались от побуждений всякого священника.

За все эти три месяца хуже всего мне пришлось тогда, когда Седов обыскал мой кошелек и нашел обрывок страницы, который дал мне митрополит Шептицкий. Следователи и прежде натыкались на нее, но не придавали ей значения. Но Седов был профессионал. Он обнаружил нечто, еще не получившее объяснения, и это его обеспокоило. Я попытался втолковать ему, что это средство доказывать подлинность наших с Нестровым посланий митрополиту – нечто наподобие колец с печаткой, которые использовались в прежние времена. Седов покачал головой.

Я сделал еще одну попытку. «Посылая письмо Шептицкому, - сказал я, - мы должны были вкладывать в конверт кусочек этой бумажки. Он мог сопоставить его с остатком страницы, который остался у него, и убедиться, что это письмо действительно от нас». – «Понятно, - сказал он, - какой-то код». Я понимал, что мне не удается донести до него свою мысль, но в подобные минуты мой бедный русский язык и его слабое

владение польским подводили нас. Я не мог донести до него ни на одном языке идею различия между знаком, который используется просто для установления подлинности чего-либо, и знаком, который является ключом к шифру или средством сообщения какой-либо информации, отличной от него самого.

Однажды Седов привел с собой переводчика с английского. То был пожилой человек, вероятно, русский, однако он в совершенстве владел английским – британским английским. Он задавал мне по-английски те же серии вопросов, что и прежде. Я снова попытался растолковать и предназначение этого конкретного кусочка бумаги, и мотивы своего приезда в Россию с целью работы среди людей. Все это он перевел Седову, довольно точно, насколько я мог судить, а также записал. Впервые я ощутил, что достиг некоторого успеха в своих попытках разъяснить собственную позицию и донести ее до следователей. По крайней мере, так мне тогда показалось. Вернувшись в камеру, я почувствовал уверенность и покой, каких не испытывал уже давно.

Весь этот длительный процесс утомительных допросов уже начинал на меня действовать. Меня впервые так долго и много допрашивали, и я просто никак не мог привыкнуть к такому тщательному проникновению во все самые интимные подробности. Больше всего меня беспокоило полное отсутствие уважения к духовным лицам и к сфере духовного. Это было целое измерение, которого они были просто не в силах понять и понимать не хотели. Но вся их позиция настолько расходилась с моими собственными убеждениями, моим воспитанием и всем, чему меня учили, что следствие вызывало у меня все большее отвращение и неприязнь. В тот вечер я молился, чтобы этот допрос по-английски действительно оказался таким успешным, каким показался.

С допросом по-английски истекли три месяца моих встреч с Седовым. После этого некоторое время не происходило ничего. Я начал надеяться, что мы чего-то добились, что, быть может, он начинает мне верить – или, по крайней мере, верить в мою искренность. Ибо в его неверии заключалось самое худшее. Однажды Седов прямо сказал мне, что не может понять: то ли я скрываю что-то, то ли говорю искренне и являюсь просто жертвой обмана вышестоящих. Это был один из тех доводов, один из тех совершенно непробиваемых предрассудков, которые всегда заставляли меня возвращаться в камеру с чувством полного поражения и отчаяния.

Потом надзиратель однажды вызвал меня из камеры с вещами. На мгновение во мне затеплилась надежда, что допрос по-английски

действительно к чему-то привел и что на этот раз меня, конечно, освободят. Не тут-то было. Меня просто перевели в другую часть Лубянки и посадили в камеру побольше. Помимо кровати, в этой камере был даже стол, хотя стула при нем не было. Кроме того, окно там было намного больше, что, конечно, не имело особого значения, поскольку на нем все равно была обычная решетка и жестяной лист, который позволял увидеть лишь узкую полоску неба. Но я был озадачен переменой и задавался вопросом, что же теперь будет.

Вскоре после этого меня снова позвал Седов. Он сообщил мне, что мое дело обладает такой исключительной важностью, что следствие официально продлили еще на три месяца. Итак, весь изнурительный цикл вопросов и ответов начался сначала. Он предупредил меня, что это мой последний шанс "раскрыть все карты", потому что через три месяца мне, несомненно, вынесут приговор, и он будет зависеть от моих ответов и от моего сотрудничества.

«Знаете, - сказал Седов – от ваших самодовольных ответов у меня порой создается впечатление, что вы считаете, будто вы чем-то лучше нас. Забудьте это!» - «Да нет, - произнес я устало, - я не считаю, будто я лучше кого бы то ни было, и понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но единственное, что я могу сделать, это сказать вам правду, что и делал с самого начала. Мне жаль, если мои слова кажутся самодовольными. Но правда есть правда; что тут еще скажешь?»

И снова, период за периодом, пункт за пунктом, мы разобрали всю мою историю. Время от времени он приглашал «специалистов» в какой-нибудь области, чтобы они помогли ему в перекрестном допросе. На этот раз намеки были немного смелее: они, казалось, клонили к тому, что за моим шпионским поручением стоял сам Ватикан. То обстоятельство, что я учился в Риме, что иезуиты всегда были «известными заговорщиками» и правой рукой Папы, они приводили в качестве доказательства причастности Ватикана к моей шпионской деятельности. Им казалось невероятным, что за все годы, прожитые мною в Риме, я видел Папу Римского только в Соборе св. Петра или на балконе, стоя внизу, на площади св. Петра, и никогда не подходил к нему ближе, что никогда в жизни не входил ни в Папский секретариат, ни в какую-либо иную службу Римской курии.

Допросы все тянулись, и постепенно Седов становился очень прямым и откровенным и, поскольку допросы, казалось, ни к чему не вели, довольно напряженным. Однажды, совсем потеряв терпение и швырнув ручку в кучу бумаг на столе, он приказал мне покинуть кабинет. В

первый раз мне довелось увидеть, как он теряет самообладание. Я боялся, что меня посадят в карцер (что-то вроде одиночной камеры), о котором я слышал от других заключенных, но меня просто отвели назад в камеру.

По мере того как вторые три месяца этого чрезвычайного следствия подходили к концу, как ему, так и мне становилось все яснее, что все это ни к чему не ведет. Несмотря на все мои доводы и заверения в собственной искренности, следователь явно не в силах был поверить, что я ничего не скрываю. С другой стороны, я рассказал ему все, что знал наверняка, и какими бы напряженными ни становились порой наши встречи, я не был намерен сочинять небылицы или соглашаться с его вымыслами только для того, чтобы разрядить обстановку.

В самом конце чуть ли не целая неделя прошла без вызовов на допрос. Наверно, Седов собирал воедино все свои сведения, потому что на несколько наших заключительных встреч он приносил с собой толстый том подшитых страниц – результат всех наших допросов, который мы вместе читали. Читать было трудно, потому что в основном это было написано от руки на основании тех заметок, которые он делал во время наших бесед. Когда мы закончили, Седов попросил меня все это подписать. Насколько я мог судить, это была точная запись его обвинений и вымыслов плюс честная передача всех моих возражений, поэтому я не видел причин не подписывать.

После этих нескольких заключительных встреч, в ходе которых мы читали записи, Седов сообщил мне, что допросы окончены, и в ближайшее время мне следует ожидать обвинительного заключения. Я не имел ни малейшего представления, каково будет это заключение, но к тому времени я уже оставил почти всякую надежду на чудо. Тем не менее для меня было облегчением узнать, что допросы закончились. Однако обвинительное заключение отложили.

Неделю не происходило ничего. Затем однажды надзирательница принесла в камеру еще одну кровать, а немного позже привела еще одного заключенного. Это был молодой польский офицер из армии генерала Андерса, которого арестовали и недавно перевели из Саратова на Лубянку. К тому времени я жил один уже более пяти месяцев, поэтому был очень рад иметь хоть какого-нибудь собеседника, помимо следователя. Я тепло приветствовал его и мы стали болтать с ним по-польски. Он пересказал мне весь свой опыт, потом я поделился с ним своей историей, не укрыв от него и того, что я священник. Как только я сказал это, он переменился в лице.

Он встал с кровати и стал нервно ходить по камере, потом долго стоял у двери, прислушиваясь к шагам надзирательницы. Наконец он вернулся и очень тихо заговорил со мной. «Скажу вам правду, - сказал он. – Я католик и я ужасно чувствую себя в этом положении. Я должен сказать вам, что меня посадили сюда для того, чтобы вы рассказали мне все о своей деятельности в России. Мои родители, жена и дети живут на тех польских землях, которые захвачены русскими. Если я выясню то, что они хотят о вас знать, меня воссоединят с семьей. Если нет – ну, чтобы не быть многословным, они просто намекнули мне, что я больше не увижу их живыми никогда. Ну вот, я с вами честен. Вы должны помочь мне. Расскажите мне то, что я должен сказать им».

К этому времени он был настолько возбужден, что моей первой задачей было как-то его успокоить, чтобы можно было хотя бы приступить к обсуждению этой ситуации. Я пытался объяснить ему, что энкагебешники не могут ожидать от него большего, нежели то, что им уже удалось получить от меня. Если мы выдумаем какую-нибудь историю, то, как бы точно ни отвечала она подозрениям НКГБ, они все равно будут держать его здесь, пока будут проверять нашу историю. Так уж они работают. Когда же они не смогут ее подтвердить, поскольку это будет ложь, ему придется еще хуже, чем сейчас. С другой стороны, если русские действительно намерены отпустить его, то у него будет не меньше шансов обрести свободу, если его попытки поколебать мою историю окажутся не более успешными, чем их собственные.

«Скажите им правду, - сказал я. – Расскажите им мою историю точно так, как я рассказал ее вам, когда вы сюда пришли. Это та самая история, которую я рассказываю им с тех пор, как меня взяли. Если они станут требовать от вас деталей, которых я не упоминал, скажите, что я осторожен, как всякий заключенный, и не говорю о себе много – только то, что рассказал вам сразу».

Несмотря на свое волнение, он понял мою мысль. И он согласился попробовать. Мы просидели вместе всего дня четыре или пять, и его несколько раз вызывали. То, что он рассказал, им не понравилось, но его они не винили и только говорили ему не оставлять попыток. Офицер сказал мне, что чувствует себя гораздо лучше, и совесть его не мучит, поскольку он говорит правду. Он также считал, что его шансы увидеть своих родных ничуть не меньше, чем прежде: следователи больше не повторяли своих угроз, возможно, потому что полагали, что он с ними сотрудничает. После того, как его вызвали на пятый день, надзирательница унесла из камеры его кровать, и больше я его не видел.

Несколько дней спустя, около двух ночи, надзирательница постучала в мою дверь и вошла. Она приказала мне быстро одеться. Я спал так крепко, что не мог прийти в себя. Я спросил ее, что происходит, но она только сказала: «Поторопитесь! Поторопитесь!» Я одевался медленно, пытаясь сообразить, в чем дело, и она вновь постучала в дверь. Когда я подошел к двери, она открыла ее и повела меня вниз, в кабинет Седова. Я помню, что в то утро было тихо; слышно было, как в кабинетах, мимо которых мы шли, разговаривают люди. Было воскресное утро, и мало что происходило.

Я все еще ощущал сонливость, когда мы подошли к кабинету Седова; он и сам казался усталым. Следователь извинился за то, что вызвал меня, но сказал, что в эту ночь он дежурит и просто хочет снова пройтись по моему делу, чтобы скоротать время. На нем была рубашка, галстук и свободные брюки, но пиджака не было. Когда я сел, он поднял телефонную трубку и вызвал одну из девушек. «Вам, наверное, хочется есть?» - спросил Седов. Я не ответил. «Как вы себя чувствуете?» - спросил он. «Устал». – «Да, - сказал он, - я вас понимаю».

Когда девушка вошла, он, понизив голос, сказал ей несколько слов, и она вышла снова. Седов откинулся на спинку стула, сложив руки за головой. Он казался расслабленным и начал рассказывать наобум о том, как жил на Украине, когда она еще входила в состав Польши. Он рассказал мне небольшой эпизод о своем учителе-поляке, который пытался приобщить его к вере. «Ничего у него не вышло, - сказал Седов, - потому что у меня были свои собственные убеждения. Но все же, знаете ли, в детстве я некоторое время веровал».

Девушка вернулась, неся поднос с бутербродами, кусочком торта и двумя стаканами горячего чаю. Она поставила его на стол, отпустила мимоходом какую-то шутку и вышла снова. Седов предложил мне бутерброд. «Небольшое угощение, - сказал он, - чтобы снять усталость». Я подошел, взял бутерброд и начал его есть. Я действительно был очень голоден. Седов начал рассуждать о копченой колбасе и о том, как трудно достать мясо, когда такое творится на фронте. «Возьмите вот чаю», - сказал он. Он пододвинул ко мне стакан, бросил туда большой кусок сахару и (как мне показалось) что-то еще. И все же я ничего не заподозрил, таким любезным и расслабленным казался он в то утро.

«Пейте, пока не остыл, - сказал он, - и добавьте лимона». Я выжал в чай немного лимонного сока и размешал его маленькой ложечкой. Чай был такой горячий, что я поставил стакан на блюдце и начал отпивать маленькими глотками. Я выпил с полстакана и доел бутерброд. Седов

предложил мне второй. Я потянулся к бутерброду, прикоснулся к нему – и вдруг почувствовал, что скулы мои свело, а рука бессильно упала на стол. Я был не в силах проглотить кусок бутерброда, который все еще был у меня во рту. Я снова опустился на стул.

Я туманно помню, как Седов посмотрел на меня с тревогой, а потом я сразу же отключился. Когда я пришел в себя, то лежал уже на диване. Рядом со мной кто-то сидел, должно быть, врач. Кто-то был рядом с доктором, а Седов стоял в ногах дивана. Я широко открыл глаза. «Примите вот это!» - сказал врач, протягивая мне пилюлю. Я отключился снова.

Когда я очнулся в следующий раз, я стоял на ногах. Кто-то поддерживал меня, а на моей голове был какой-то тесный аппарат наподобие футбольного шлема[12]. Я смутно помню чувство тупого, неприятного пульсирующего давления в голове. Седов поддерживал мою голову и поднимал мои веки, глядя мне в глаза. Он смотрел пристально, и глаза его сверкали, словно у дьявола во плоти. Такое впечатление – чего-то дьявольского, явно нечеловеческого - произвели на меня его пристальный взгляд и всклоченные волосы. Я невольно затрясся и подскочил. Потом потерял сознание.

Туманно вспоминаю, как потом, меня дергали за шею, к которой были присоединены какие-то резиновые шнуры, и быстрые, острые токи пробегали от них по спине и жалили шею. Кто-то дергал меня и за запястья, и токи пробегали по рукам.

Потом я помню себя за столом. Меня поддерживают. Седов кричит на меня во все горло, тряся мое лицо: «Как вас зовут? Как вас зовут?» Я пытался отвечать - и не мог. Я все пытался, но звука не получалось. Седов твердил: «Липинский, Липинский, Липинский». Наконец он вложил мне в руку перо и стал им двигать. Что я с ним делал, не знаю. Возможно, я подписывал лежавшие на столе бумаги, но я этого просто не помню.

Я очнулся снова, мне дали еще таблеток и воды. Когда я окончательно пришел в сознание, чувствовал себя совершенно выдохшимся. Там был только Седов. Он повел меня в уборную. Я чувствовал себя так, словно меня спустили с десяти лестниц. Потом помню, как сидел на стуле в его комнате. Ко мне подходили другие следователи. Они качали головами и смеялись. Я просто сидел там, уставившись в одну точку и не обращая

[12] Имеется в виду американский футбол, в который играют в шлеме. *Прим. пер.*

на них никакого внимания. Был день, в комнате было светло, но я не мог сосредоточиться.
Наконец, меня отвели в «бокс». Я сел и забился в угол. Когда я открывал глаза, мне казалось, что все валится на меня, а стены и потолок давят. Все горело и было огненно-красного цвета. Я протер глаза, но падающие стены так и остались огненно-красными. Мне было страшно. Я обхватил руками голову и закричал; я помню, что все кричал и кричал. Я ощущал опасность, угрозу. Я забился поглубже в угол; потом я уснул.
Когда я проснулся, все кругом было черно. Меня обуревало чувство глубокого негодования – почти ненависти – к Седову, чувство предательства, смешанное с неверием, которое поднимается во мне и сейчас, когда я вспоминаю тот случай. Никогда в жизни я не испытывал подобного чувства ни к кому. Это ощущение было почти телесным.
Наконец надзирательница отвела меня назад в мою камеру. На столе лежали две порции хлеба, супа и каши. Есть я не мог, но понял, что, стало быть, отсутствовал в камере, по меньшей мере, сорок восемь часов. Я просто сидел на одном месте, уставясь в одну точку, ни о чем не думая и ничего не чувствуя. Я был просто опустошен. Такое состояние продолжалось дня два, потом я снова ожил и почувствовал голод. Однако к Седову я испытывал чувство обманутого доверия и впредь всегда был начеку.
Я никогда больше не давал себя одурачить, никогда больше не доверял ни одному советскому чиновнику никакого звания. После этого каждый вечер и каждое утро я молился: «Господи, избавь меня от врагов моих и от их козней». То был искренний отклик и прочувствованная молитва: теперь я буду уповать на одного лишь Бога. С тех пор во мне окрепли сила и покой. Какая бы опасность мне ни угрожала, я всегда ощущал Его поддержку и растущее доверие к Нему.
Прошло несколько недель. Потом, однажды ночью, около двух часов меня разбудил звук отодвигаемого засова. В небывалом напряжении я сел. Надзирательница велела мне собраться и следовать за ней. Пока мы шли по темным коридорам, я вновь и вновь твердил свою молитву о защите и избавлении. Однако на этот раз меня отвели вниз, в «бокс». Это меня удивило. Я сидел там почти полчаса, силясь разобраться, что же все это означает. Переводят ли меня в другую тюрьму? Или, может быть, в суд, чтобы вынести приговор?
Затем я услышал где-то в коридоре звук открывшихся и снова закрывшихся дверей, смех и приближающиеся шаги. Дверь отворилась.

Вошел комиссар с начальником тюрьмы, оба немного пьяные, очень разговорчивые и румяные. Комиссар вручил мне бумагу и велел прочесть. Это был простой документ, не судебный приговор, а так называемое «административное взыскание». Там просто говорилось, что Уолтер Дж. Чишек признан виновным по статье 58:6 Советского уголовного кодекса. Статья 58:6 - это шпионаж. Это была довольно серьезная перемена: ведь арестовали меня за подрывную деятельность - статья 58:10:2.

«Понятно?» - спросил комиссар. Я кивнул. «Согласны?» - спросил он. Взыскание, как гласил документ, заключалось в пятнадцати годах тяжелых принудительных работ. Я посмотрел на него и криво усмехнулся. «У меня ведь все равно нет выбора, не так ли?» - сказал я. Обоим моя реплика показалась потрясающе смешной. Потом комиссар сказал: «А вы, знаете ли, легко отделались». Поскольку у меня «не было возражений», он велел мне подписать документ, чтобы подтвердить свое согласие с приговором. Я подписал; комиссар забрал у меня бумагу. Он и начальник тюрьмы вышли и пошли по коридору, смеясь и обмениваясь комментариями, которых я уже не мог расслышать. Судя по дате на подписанном мною «обвинительном заключении», было 26 июля 1942 года.

Лубянский «университет»

Вернувшись в камеру после ознакомления с приговором, я не мог уснуть. Я провел бессонную ночь, оглядываясь на прошлое, задаваясь вопросом, что было бы, согласись я с некоторыми их обвинениями, и не был ли мой вердикт предрешен уже тогда, когда меня взяли. Я начал воображать себе, какими окажутся лагеря; я слышал рассказы других заключенных и всевозможные слухи. По крайней мере, думал я, снова увижу людей. И пусть работа будет тяжела, я буду хоть чем-то занят, а не заперт на ключ в камере, как здесь. Теперь, после вынесения приговора, мне очень хотелось устремиться куда-нибудь, что бы ни сулило мне будущее. Я знал, что Бог обо мне позаботится. И, конечно, мне и в голову не приходило, что пройдет еще почти четыре года, прежде чем я увижу Сибирь.

Два дня прошло без всяких событий. На третий день утром в мою камеру пришла молодая женщина. Она мило со мной поздоровалась и спросила: «Не желаете ли что-нибудь почитать, товарищ?» Это был тюремный библиотекарь. «Что? – сказал я. – Ах, конечно, конечно!» - «Хорошо, брать можно по одной книге за раз, а я буду приходить

каждую неделю, чтобы заменить вам книгу, если пожелаете. Если закончите книгу раньше, просто скажите надзирательнице, чтобы она сообщила мне, и я приду, чтобы дать вам новую. Вам не обязательно ждать целую неделю».

Так начался период, который я называю своей «докторантурой» в «Лубянском университете». В надежде усовершенствовать свой русский я начал читать русскую литературу. Я начал с Толстого и прочел почти все его сочинения. Я установил для себя новый распорядок дня: до полудня – духовные дела, потом, до обеда, чтение. До обеда я совершал полуденное испытание совести и читал молитву «Ангел Господень», когда кремлевские часы били двенадцать. После дневного приема пищи я трижды читал розарий – по-польски, по-русски и по-латыни, - затем снова принимался за книги и читал до прогулки или оправки. После ужина я по памяти совершал вечерние молитвы и пел гимны, а потом снова возвращался к книгам, пока не наступало время отбоя.

Таков был мой распорядок дня, и никто не трогал меня больше года. Если не считать начальника тюрьмы, который навещал меня время от времени, да тех, кто еженедельно приходил производить медосмотр и проверку на паразитов, я не видел никого, кроме надзирателей. В сущности, я превратился в отшельника, уединившегося в чтении и молитве. Я едва не разучился разговаривать! Иногда, когда я пытался говорить с врачом или начальником тюрьмы в его нечастые посещения, у меня с трудом поворачивался язык.

Я старался вести подвижный образ жизни, для чего помимо ежедневных двадцатиминутных упражнений дважды в день начищал пол. На Лубянке от заключенных это в любом случае требовалось делать ежедневно, но в то время как другие заключенные делали это спустя рукава, я исполнял эту работу добросовестно, ибо уже само движение доставляло мне радость. Полы на Лубянке были солидные, дубовые и, когда их начищали, обретали отменный блеск. Для начала я протирал пол мягкой тряпкой, потом начищал его воском, который выдавали большими брусками, а потом проходился по нему тяжелым утюгом, замотанным в тряпку – при этом собирая кучу воска на локти, - чтобы начистить его до блеска.

Теперь, когда у меня было столько свободного времени, я также взялся за починку одежды, которую не менял со времен ареста в Чусовом. Теперь она уже порядком поизносилась. Иглы, ножи и другие предметы подобного рода в тюрьме были строго запрещены, но иногда я приберегал рыбьи кости покрупнее, которые встречались в супе, и

точил их о металлические перекладины кровати, превращая во вполне пригодные для дела иглы. С помощью этих игл и собственных ногтей я ослаблял одну из скрепок в переплете книги, которую в тот момент читал, вынимал ее, точил о кровать и протыкал ею в рыбьей кости ушко. Потом из рубашки, белья или носков я вытягивал нитку и начинал упражняться в работе швеи. Когда иголки обнаруживали, их, разумеется, отбирали, особенно во время общей проверки, которая происходила раз в две недели. То обстоятельство, что в таких случаях мне редко удавалось скрыть как в камере, так и на собственном теле нечто столь мелкое, как рыбья кость, наглядно демонстрирует эффективность лубянских проверок.

Таким образом, в период моего четырехгодичного «обучения» в «Лубянском университете» я делал упор не только на духовной стороне жизни, но и на физической. Каждый день я делал, по меньшей мере, сорокапятиминутную гимнастику, чтобы тело мое было столь же активно, как и разум, занятый чтением. Я, как мог, поддерживал свое тело, одежду и жилище в чистоте и порядке. Я был решительно настроен даже в условиях этого долгого, принудительного безделья сохранить человеческий облик и живость ума и не позволить тюремной повседневности меня уничтожить. Я был, как выражались в тюрьме, «нем, но счастлив». Я не знал почти ничего о событиях внешнего мира, но вел счет времени и дням, стараясь помнить церковные праздники и отмечать их особыми молитвами, которые помнил или сочинял сам.

Кроме того, я вовсю изучал русскую литературу. Помимо Толстого, я читал Достоевского, Тургенева, Гоголя, Лескова, а кроме того множество сочинений Джека Лондона, Диккенса, Шекспира, Гете и Шиллера – и даже «Камо грядеши?» - и все по-русски. Я также прочел довольно много книг по русской истории и совершенно новую биографию Наполеона старого русского историка Тарле, который написал эту книгу, когда сам сидел в тюрьме. Самой поразительной чертой этой книги, насколько я помню, было то, что все религиозные эпизоды жизни Наполеона – коронация, заупокойная служба после его смерти, венчания и прочее - были не просто опущены, но не обозначались даже намеками. Я только подивился подобной ловкости. Я также начал понимать, что имеют в виду, когда говорят, что нужно переписать историю для пролетариата, и как можно устроить так, чтобы молодежь вообще ничего не слышала о Боге.

Еще одна книга, которую я прочел в то время, оставила у меня аналогичное впечатление. Это было большое, пространное

исследование деятельности Православной Церкви в России, изданное по случаю избрания нового Патриарха Московского и всея Руси митрополита Сергия, первого патриарха начиная с 1925 года. Возможно, цель была в том, чтобы опровергнуть немецкую пропаганду о подавлении религии в Советском Союзе. В книге было полно цветных фотографий, изображающих разные храмы, красочные иконы, иллюстрирующих знаменитое искусство восточной литургии.

Однако завершалась книга очерком, написанным якобы православным иерархом, который представлял собой откровенные нападки на фашизм, выдержанные в тоне, способном вызвать ненависть и жажду мести. Ознакомившись с сим произведением, я был так поражен, что не мог поверить в его подлинность. Я был просто не в силах примирить идеал священнического призвания и главную тему Евангелия: «Дети мои, да любите друг друга!» - с ненавистью, источаемой этим очерком. Для меня это было ужасным ударом.

Когда я стал лучше понимать по-русски, то принялся поглощать литературу с огромной скоростью, прочитывая почти по книге в день. Я читал непрерывно и, хотя у меня не было очков, мои глаза никогда не доставляли мне ни малейших неприятностей. По совету библиотекаря я прочел также ленинскую философскую энциклопедию. В ней я обнаружил поразительно простое определение коммунизма, которое выучил наизусть. Затем, во время одной из своих неформальных схваток со следователем, которыми перемежались напряженные допросы, я процитировал ему ленинское определение идеального коммунистического государства. Некоторое время он смотрел на меня безучастно, потом улыбнулся. «Да, - сказал он, - но когда это будет? Мы с вами до этого явно не доживем. Может, это наступит через сотню лет, если не позже». И, неопределенно махнув рукой, он отмел эту тему.

Все это время, помимо еженедельных медосмотров да регулярных обысков камеры, ничто меня не беспокоило – за исключением голода. На самом деле, после приговора мой паек увеличили. Теперь я получал стандартный тюремный паек: 600 граммов хлеба утром, пол-литра супа на обед и тарелку каши вечером, а иногда еще и кусок селедки или картофелину. Формально я уже не был заключенным Лубянки. Я был уже заключенным лагеря, временно содержащимся в тюрьме. В результате я получал больше пищи, чем когда-либо, но по той или иной причине я и думал о еде тоже больше, чем когда-либо.

Порой, когда сновал по комнате, читая книгу, я вдруг переключался на мысли об обеде или ужине. Я начинал нервно прислушиваться к бою

часов, силясь определить, сколько еще осталось до еды. Я был не в силах перестать об этом думать. Я усердно пытался сконцентрироваться на чтении или подумать о чем-нибудь другом, но эти попытки, казалось, только сильнее приковывали мое внимание к голоду. Единственным выходом было переключиться на какую-нибудь физическую работу – в моем случае, как правило, начистить пол, – причем взяться за нее так ревностно и методично, чтобы забыть и о еде, и о времени.

И вдруг однажды утром, через год и два месяца, меня неожиданно вызвали и повели в отдел следствия. Я почувствовал омерзение. Мысль о новых допросах, в то время как я полагал, что все кончено, была мне невыносимо отвратительна. Кроме того, я стал уже привыкать к жизни отшельника, и меня возмутило это нарушение моего покоя.

Это был уже другой следователь, человек с мягкими манерами, лет сорока пяти, с темно-каштановыми волосами и угловатыми чертами лица, одетый в штатское. Он был довольно любезен, но напорист; он всегда поражал меня своей настойчивостью. В начале допроса я, как всегда, испытывал психологическое напряжение и омерзение, но потом стал совершенно безразличен и отвечал на его вопросы «да» и «нет» почти механически.

Это его сердило. «Вы ведь можете и лучше! – сказал он. – Я что, должен каждое слово из вас вытягивать?» - «Зачем? – ответил я. – Вам и так уже известно все, что я имею сказать. Это написано на бумагах, которые я подписал. Процесс закончен, приговор я подписал, так зачем?» - «Ну, - сказал он, - это нужно нам. Это не допрос в строгом смысле слова, а всего лишь попытка добыть некоторые дополнительные сведения». Тем не менее он начал заново вытягивать из меня всю историю с самого начала. Было очевидно, что означают «дополнительные сведения»: им казалось, будто я до сих пор что-то скрываю.

Иногда он менял курс и пытался спорить со мной на религиозные темы, приводя все обычные атеистические доводы. Такие споры мне были не интересны; в глубине я знал, что ему они не интересны тоже. Однажды я попытался осечь его такими словами: «Подумайте: нас ведет за собою вера, а что ведет вас? Ничего!» - «Но у нас тоже есть свои идеалы, - сказал он. – У нас есть цель, к которой мы стремимся, и идеалы, в которые мы верим. Не вера, но нечто иное». Спорить с ним было бесполезно. Я понимал, что он просто пытается развязать мне язык, и сказал ему об этом.

В последующие четыре года меня вызывали давать такие «дополнительные» показания регулярно. Эти допросы были столь же

бесплодны, как и все предыдущие и с каждым разом вызывали во мне все большее отвращение. В отношениях между мной и следователем царил дух полнейшего недоверия. После Седова я не верил уже никому; следователь же не верил мне. В сущности, несколько раз он прямо говорил мне, что я, должно быть, принес какую-то присягу, особый обет Папе Римскому, а может быть, даже дал клятву хранить «тайну исповеди», что и мешает мне рассказать ему все. Это, говорил он, явствует из моего отказа сотрудничать с ним. «Это смешно! - сказал я. – Однако, раз я не могу убедить вас в своей честности, думайте, что хотите. Если не можете принимать мои слова за чистую монету, мне дела нет до того, что вы думаете!»

Иногда он приходил с перечнем имен: кардиналов, епископов и священнослужителей. «Что вы знаете о таком-то?» - спрашивал он. «Ничего. Впервые о таком слышу». – «Вы разве не жили в Риме?» - «Жил, но этого человека не встречал. А он что, в Риме?» Однажды, когда я сидел у него в кабинете, он дал мне почитать одну книгу. Это была откровенно коммунистическая история Церкви, содержащая множество скандальных подробностей о кардиналах пятнадцатого века. «Вот это - то, что нам нужно, - сказал он. – А теперь напишите все, что вы знаете об этих людях». С этими словами он вручил мне список епископов, кардиналов и других церковнослужителей. Я взял список и написал то немногое, что знал о тех людях, чьи имена были мне знакомы. Когда я закончил, он разорвал мои записи. «Вы что, смеетесь надо мной?» - сказал он.

В другой раз он часами расспрашивал меня о Руссикуме и его людях. Многие имена были мне не знакомы. О людях, чьи имена я узнал, я рассказал ему то, что мне было известно: «Это хороший монах. Очень ревностный. Он читает хороший курс русской истории. У него прекрасный голос». Следователь приходил в ярость. «Вы знаете, что мы не это хотим знать!» - «Простите, - говорил я, - но это единственное, что знаю я». Несколько раз он расспрашивал меня о митрополите Шептицком. Я пытался убедить его в том, что видел этого человека лишь дважды. В ответ на все эти вопросы я очень учтиво рассказывал то, что знал. Однако, что до остального, я сказал ему прямо, что не стану выдумывать истории, чтобы угодить ему.

Время от времени на допросах у него возникали ко мне «предложения». Ванда Василевская организовывала армию для сражения на фронтах Советского Союза. Следователь сказал, что в эту армию вступают многие поляки, чтобы сражаться с немцами, и им нужен капеллан. Он

спросил меня, не хотел ли бы я занять эту должность. Я знал, что Ванда – коммунистка. Мне не думалось, что коммунистов могут так уж заботить капелланы – разве что тут какая-то ловушка. «Нет, спасибо, - сказал я. – Меня это не интересует». – «Что же, - сказал он, - подумайте над этим; если передумаете, помните, что предложение остается в силе».

Однако в следующий раз, когда он вызвал меня, у него уже была готова другая вариация на ту же тему. Вместо вступления в армию Ванды Василевской он предложил мне вступить в армию генерала Андерса в Англии, армию вольных поляков, формируемую для сражения на запланированном втором фронте. Я покачал головой. «На эту сделку я тоже не согласен», - сказал я.

«Сделку? – сказал он. – А ни о какой сделке речь и не шла». – «Слушайте, - сказал я, - я сел в эту тюрьму не вчера. Я приговорен к пятнадцати годам тяжелого принудительного труда, и вам пришлось бы отменить приговор, чтобы послать меня в Англию, либо вы ожидаете, что я некоторым образом отбуду наказание в армии генерала Андерса. Если ваш приговор оказался ошибкой, и вы таким образом пытаетесь избавиться от меня, просто отпустите меня на свободу. А играть в ваши игры я не намерен».

С тех пор он каждый раз предлагал мне что-нибудь новенькое. Как-то раз он предложил дать мне русский православный приход, в случае если я порву с Папой, который, как сказал следователь, находится на стороне фашистов, Муссолини и Гитлера и явно вмешивается в политику. Он хотел, чтобы в определенный день я выступил по радио с речью на эту тему. «Чушь!» – сказал я. «Уже два года, - сказал он, - вы пытаетесь убедить нас в том, что приехали в Россию только ради того, чтобы служить людям. Вот ваш шанс». – «Да, - сказал я, - но не такой ценой!» - «Ну, я вас просто не понимаю». - «Разумеется, вы меня не понимаете, - сказал я. – Это очевидно. Вы никогда меня не понимали. Но я здесь нахожусь уже достаточно долго, чтобы понимать вас. Я понимаю к чему вы клоните и не заинтересован ни в каких сделках. Давайте просто забудем об этом».

Но он не сдавался. В другой раз он предложил мне поехать в Рим, чтобы заключить конкордат между Папой и Советским Союзом. Я рассмеялся: «А кто даст мне такие полномочия?» - сказал я. – «Ах, мы это устроим», - сказал он. Однако они хотели, чтобы прежде я прошел курсы радио и телеграфа. «Зачем?» - спросил я. «Как зачем? Чтобы посылать нам сведения из Рима», - сказал он. Я рассмеялся снова и прервал его. Он

продолжал время от времени возвращаться к этой теме, но я говорил ему, что не стану это даже обсуждать.
За все это время я видел Седова только раз. Однажды утром меня отвели в его кабинет. Он казался нервным и чем-то озабоченным. Он велел мне принять ванну и приказал выдать мне чистую рубашку и штаны: меня будет допрашивать сам Берия. Я был поражен. Однако Седова это тревожило еще больше, чем меня. Он сам не знал, в чем дело. Он предупредил меня, чтобы я не говорил ничего такого, что не содержится в подписанных мной бумагах.
Когда я помылся и надел чистую одежду, присланную Седовым, надзирательница опять повела меня по коридорам, а затем, этажом выше, через анфиладу приемных, пока наконец мы не оказались в большой, богато обставленной комнате с тяжелыми красными портьерами и массивным полированным столом красного дерева. Когда мы вошли, в комнате никого не было. Я с беспокойством и, честно говоря, не без любопытства ждал встречи со всемогущим главой органов госбезопасности. Однако, когда занавес открылся, вошел не Берия. Это был один из его заместителей, человек крепкого сложения на шестом десятке с седыми волосами и торжественным, выразительным лицом, одетый в элегантно сшитую униформу. Он извинился за то, что самого Берию неожиданно вызвали в Кремль на какую-то встречу.
Вскоре оказалось, что наша встреча имела мало общего со мной лично. Некий епископ из Англии, прежде капеллан польской армии, приезжал в Россию с какой-то британской комиссией для наблюдения за ходом войны и условиями жизни людей на отвоеванных у немцев территориях. Вернувшись в Англию, епископ написал книгу, в которой говорилось, что в каком-то лагере в России умерло сто тысяч поляков, или, возможно, это было в зоне советской оккупации. СССР отрицал это и беспокоился о воздействии, которое эти сведения могли оказать на его военный союз с другими странами.
Мне была не совсем ясна ситуация, а помощник Берии не потрудился вразумительно мне ее описать. Он был куда больше заинтересован в том, чтобы выяснить, что об этом инциденте известно мне, а также в любых деталях, которые я мог ему поведать, особенно по поводу епископа.
С точки зрения Кремля, эта ситуация была, надо полагать, серьезна, раз они сочли нужным, чтобы меня допросило высшее звено НКГБ, но я не мог сообщить ему абсолютно ничего. Я впервые слышал как об обвинении, так и о самом происшествии и не был знаком с этим

епископом. Когда помощник Берии наконец в этом убедился, он сразу прервал допрос. Меня, сбитого с толку и озадаченного, отвели назад в камеру, и больше я ни слова об этом не слышал.

К весне 1943 года тюремная пища стала постепенно ухудшаться из-за войны. Иногда тема питания всплывала в моих разговорах со следователем, причем весьма неприятным образом. Он напоминал мне, что тысячи людей убивают на фронте и миллионы умирают с голоду дома. Свое выступление он завершал словами: «Мы слишком снисходительны к вам. Наши люди невыносимо страдают, а вы, враг народа, живете здесь, в тюрьме, припеваючи: вас тут кормят, одевают, а вы ничего не хотите сделать, чтобы помочь нам или оправдать подобное отношение». Когда же в самом конце меня вызвали и велели подписать документ, подтверждающий окончание следствия, он сказал мне, недоверчиво покачав головой и тяжело вздохнув: «Уж не знаю, как это вы до сих пор живы».

В Бутырке

В июне 1944 года меня перевели в Бутырку, другую московскую тюрьму. Как всегда, перевод был внезапным, неожиданным и необъяснимым. Однажды, читая в своей камере, я услышал, что в тюремных коридорах и во дворе какой-то переполох. Мне стало, конечно, любопытно, но я давно уже оставил всякие попытки понять, что происходит на Лубянке. Вдруг в дверях возник надзиратель и велел мне собирать вещи. Поскольку я недавно подписал документ, официально подтверждающий окончание моего следствия, мне сразу пришла в голову мысль, что я еду в лагеря.

Когда надзиратель повел меня к двери, я увидел, что коридоры забиты толпой военнопленных в форме. Надзиратель немедленно втолкнул меня назад в камеру и велел ждать: мне не полагалось их видеть. Через час или позже надзиратель вернулся. По совершенно другим коридорам он повел меня вниз, в подвал, а потом на улицу, где стоял воронок. Воронок был уже полон заключенных и, как только я влез, мы сразу уехали.

Я спрашивал у своих спутников, куда мы едем, но никто не знал. Мы ехали с полчаса, потом остановились. Слышно было, как конвоир с кем-то переговаривается. Воронок проехал еще ярдов 150 и остановился снова. «А, - сказал один из заключенных, - другая тюрьма. Мы остановились у ворот, чтобы предъявить пропуск, и теперь либо к нам кого-то подсадят, либо прикажут выгружаться». Двери открылись, и

нам приказали выходить. Конвоир повел нас в подвал на обычные процедуры, которые проходит заключенный при поступлении в тюрьму. «Бог ты мой, Бутырка!» - сказал один из старожилов.

Бутырка, в отличие от Лубянки, была тюрьмой старого образца, из темного, крупного камня, всегда влажная и неотапливаемая. После обычных процедур меня отвели в большое помещение на втором или третьем этаже, битком набитое заключенными. Самым ярким моим впечатлением был запах: моча и пот, табачный дым и сырой, затхлый запах старых каменных стен – все смешалось в этой невыносимой вони. Камера была настолько переполнена, что проходить было уже некуда, поэтому я так и остался стоять у дверей. Один из заключенных, дневальный камеры, подошел и начал спрашивать меня, кто я такой, давно ли сижу, в чем меня обвиняют, и так далее. Наконец он сказал: «Что ж, добро пожаловать в Бутырку! Чувствуйте себя как дома. Найдите себе местечко для ночлега и знакомьтесь с ребятами».

Бутырские камеры представляли собой крупные помещения, где-то 30 на 30 футов, с темно-зеленой или желтой штукатуркой поверх каменных стен, которые были неизменно сырыми. Воздух тоже был вечно влажным и спертым от дыхания. Высоко, под потолком, было два маленьких окошка, которые позволяли увидеть клочок неба, но почти не пропускали свет; огромная камера всегда оставалась полутемной. От дверей начинались сплошные нары из нетесаных досок, которые шли вдоль всех четырех стен. В центре комнаты имелось квадратное возвышение, тоже из нетесаных досок, возвышавшееся примерно на 2 фута над полом. Оно также служило нарами. Между центральным возвышением и рядом нар вдоль стены имелся проход, ширины которого едва хватало, чтобы ходить. Но камера была настолько переполнена – в ней было около 120 заключенных, - что никто особенно не ходил.

Приняв приглашение дневального, я стал пробираться по проходу влево. Не успел я сделать и трех шагов, как один из заключенных на нарах подозвал меня: «Эй, товарищ! Ты откуда? Садись!» При помощи локтей и пары тихих ругательств, он заставил своих соседей подвинуться и расчистил немного места для меня и моего узелка. Я взобрался на нары. После столь затяжного одиночества на Лубянке для меня было настоящим наслаждением вновь оказаться среди друзей.

Мой новообретенный товарищ был поляком. «Ты ведь тоже поляк», - сказал он. «Откуда ты знаешь?» - спросил я. «Я понял это по тому, как ты сказал “здравствуйте”», - засмеялся он. Это был молодой парнишка

лет, должно быть, двадцати пяти. Звали его Гриша и он был юрист. Он учился в Москве и там же выдержал свой экзамен на право адвокатской практики – только для того, чтобы попасть под арест по подозрению в антисоветской деятельности. Это был тихий, темноволосый человек среднего роста со спокойным лицом, большим, округлым носом и толстыми губами. Он рассказал мне о своей учебе и об аресте и о том, как его жена теперь работает, чтобы прокормить двоих детей. Другие наши сокамерники были так плотно к нам прижаты, что оказались невольными нашими слушателями.

Я изголодался по новостям и общению. Но не успел я начать взволнованно обмениваться вопросами и ответами со своим собеседником, как дверь шумно распахнулась и до нас донесся слабый запах баланды (супа на тюремном жаргоне). Тут же всякое общение прекратилось. Послышался звон мисок и грохот ложек, и все заключенные выстроились в очередь, присев на край нар и возвышения в середине. Все глаза были прикованы к котлу с баландой. Чтобы не было путаницы – и чтобы никому не досталось две миски супа, - никому не разрешалось передвигаться по камере, кроме помощников дневального, которые ходили по проходу, раздавая баланду. Еще один помощник стоял подле дневального, внимательно следя, чтобы никому не досталось две порции. В этом деле ему помогали почти все находящиеся в комнате, потому что каждому хотелось получить свое.

Дневальный же между тем взял черпак и окунул его глубоко в суп. Он медленно перемешал его и начал разливать по мискам. Его помощники стали разносить баланду, двинувшись по узкому проходу вправо. Тут же раздались возгласы протеста: «Мы были первыми вчера! Сегодня начинайте слева!» Помощники остановились и двинулись влево. Сидевшие слева тут же начали протестовать тоже. С обеих сторон раздались крики; обе стороны с равной непреклонностью требовали начать раздачу с противоположного конца.

В конце концов некоторые заключенные пустили в ход кулаки. Тогда старшие сокамерники вмешались, чтобы замять драку. «Тише, тише! - говорили они. – Давайте разберемся. У нас есть порядок. Сегодня первыми получают правые». Этот поступок в стиле Альфонса и Гастона[13] ничего общего не имел с альтруизмом. Несмотря на то, что

---

[13] Альфонс и Гастон – персонажи одноименного комикса Фредерика Б. Оппера (ум. 1937), отличающиеся чрезмерной вежливостью и часто произносящие фразы типа: «Только после вас, дорогой Гастон», или: «Только после вас,

дневальный предварительно размешивал баланду, на дне котла, куда оседали все ошметки рыбы и зерен, суп всегда оставался более густым. Сверху же суп был самым жидким и наименее питательным.

Я был просто заворожен наблюдением за тем, как разные люди в камере обходятся со своим супом. Некоторые ели очень медленно, пользуясь ложкой и наслаждаясь каждым глотком. Другие выпивали его почти что залпом, а потом сидели, возбужденно высматривая, не осталось ли чего на дне котла, чтобы в случае чего оказаться в очереди первыми. Каждый научился старому тюремному приему: проводить пальцем по внутренней стороне опустевшей миски, чтобы собрать последние драгоценные капли и вылизать ее досуха. Я заметил, что некоторые достают кусочки хлеба, припасенные с завтрака, и смешивают их с баландой, добавляя порой щепотку соли из грязного лоскутка в кармане. Другие катали сухой хлеб между ладоней, чтобы он раскрошился, кидали крошки в суп, отставляли миску в сторонку и не прикасались к ней. Это для меня было ново.

Раздача супа шла своим чередом. Я получил свою миску баланды, постной, водянистой жидкости, в которой плавало несколько зерен крупы. Все мои соседи, как обычно, заглянули в мой суп, чтобы проверить, насколько он густ, а потом сверили его со своим. Все это было частью игры, призванной не позволить дневальному раздать всем жидкий суп сверху, а жижу погуще приберечь на дне для себя и своих помощников, которые ели последними.

Когда раздача закончилась, все на секунду прекратили есть, чтобы пронаблюдать за дневальным и четырьмя его помощниками. Они поставили свои миски на стол, наклонили котел и вычерпали оттуда по два черпака на нос. В ответ послышался единодушный ропот: «Да хватит с вас! Хватит уже! Раздайте, что осталось!» Завязалась новая драка по поводу того, кто должен получить остатки супа. И снова вмешались старшие заключенные, сказав, что остатки получат те, кому достались первые, а значит, самые жидкие порции. Потом, когда переломный момент раздачи супа был позади, все принялись есть со смаком, совершенно поглощенные этим удовольствием и отрешенные от всего происходящего вокруг.

дорогой Альфонс». В Америке эти имена стали нарицательными. Так называют людей, проявляющих преувеличенную вежливость и учтивость по отношению друг к другу. *Прим. пер.*

Потом двери вдруг отворились, надзиратель забрал котел из-под супа и принес другой большой котел – с кипятком. Дневальный и помощники тут же начали разливать его черпаками по кружкам, по пол-литра на человека. Это было для меня также ново: прежде я никогда не видел, чтобы кипяток раздавали в какое-нибудь время, кроме завтрака.

Тут я заметил, что те, кто отставил свой суп в сторонку, - это люди, которым всеми правдами и неправдами удалось раздобыть лишнюю миску или старую консервную банку. Получив свои пол-литра кипятку, они смешивали его с прибереженной баландой. В результате у них получалось две миски очень жидкого супа. Другие наблюдали за ними с завистью. Те, кто уже съел свой суп, просто пили кипяток маленькими глотками, а некоторые только теперь доставали свои кусочки хлеба, растирали их между ладоней и бросали крошки в воду, размешивая все варево в жидкую кашицу. Другие доставали из карманов тряпицы, в которые была завернута соль, и бросали в кипяток несколько щепоток. Если и не получалось похоже на суп, то, по крайней мере, было уже не так похоже на воду.

После еды стало немного спокойнее. Некоторые заключенные свернулись на нарах, чтобы соснуть, другие вернулись к своим прерванным беседам. Те, что сидели ближе ко мне, снова навострили уши, с нетерпением ожидая моего рассказа. Но при первых же признаках того, что в коридоре появилась еда, маленькие кучки беседующих по всей камере снова забеспокоились и засуетились: «Где моя ложка? Кто взял мой хлеб? Дай мне вон ту миску!»

Надзиратель открыл дверь и втолкнул в камеру большой котел каши. Двое заключенных живо подхватили его, проявив при этом такую резвость, которую они никогда не обнаруживали в других ситуациях, и ворочали этот тяжелый, дымящий котел так, словно он легок, как перышко. Все заключенные опять выстроились, присев на края нар, пока дневальный готовился к раздаче каши. Опять послышался всеобщий возглас протеста: «Скажи вертухаю (надзиратель на тюремном жаргоне), пусть принесет кипяток!» - «Нет! – заспорили другие. – Сначала кашу!»

Те, кто требовал, чтобы кипяток дали сразу, хотели смешать его с кашей и сделать суп. Они одержали победу. Полдюжины людей у двери начали колотить по ней своими мисками. Грохот стоял оглушительный; дверь сотрясалась; вертухай прибежал бегом. Он сказал, что кипятка придется подождать, но двое помощников дневального нагло

проскользнули в коридор вслед за ним и возвратились, шумя и смеясь, с котлом кипятку.
Каждому досталось по 200 граммов каши (около трех столовых ложек) и по пол-литра кипятку. Некоторые заключенные налили кипяток в кашу, которая и без того была уже достаточно жидкой, и у них вышло нечто вроде овсяного супа. Другие опять полезли в свои тряпицы за солью, добавили несколько щепоток в кипяток и стали запивать им кашу. Все ели кашу по капельке, с кончика ложечки, чтобы продлить удовольствие ужина насколько возможно. Все, кроме уголовников – профессиональных преступников – и жуликов, которые находились в любой камере. Они съедали свою еду так быстро, как могли, обтирали миски изнутри пальцами и начинали возбужденно озираться, ища возможности получить добавку.
После еды в Бутырке непременно курили. Поскольку здесь людям иногда разрешалось получать передачки, махорка имелась всегда. Ее, конечно, всегда было мало, но все же она была. В камере каждый знал, кто получил передачу с куревом, у кого есть надежно припрятанная пачка папирос или кисет махорки, и после еды их окружала толпа в надежде на затяжку. Человек в центре толпы всегда негодовал, но в такой обстановке невозможно было приберечь нечто столь ценное, как папироса, для себя самого. Если несколько частичек табаку осыпалось с бумаги на пол, пока человек скручивал цигарку, к ним сразу устремлялось две-три дюжины беспокойных рук, пытающихся «спасти» драгоценные частички. Нашедший их тем самым получал право затянуться цигаркой.
Ни спичек, ни кремня у заключенных не было, но у них был свой собственный остроумный способ зажигать папиросы. Паренек по имени Вася был в этом деле мастер непревзойденный. Он особенно дорожил своим талантом, потому что взыскивал по две затяжки с каждой папиросы, которую зажигал. Он брал кусочек ваты, набивки из подушки или из телогрейки, распушал его, вытягивал в очень тонкую ниточку и туго скручивал. Затем он помещал вату между двумя дощечками и все быстрее и быстрее яростно тер их друг об друга, иногда целых пятнадцать минут, в то время как по лицу его струился пот, а вокруг его подбадривали болельщики.
«Давай, давай! Быстрей, быстрей! Есть, есть!» Почуяв запах дыма, Вася вытягивал скрученную вату, рвал ее в том месте, где она тлела, и принимался нежно на нее дуть, пока она не начинала пылать. Затем, в то время как он бережно заслонял пламя своей рукой, все у кого были

папиросы, возбужденно толпились вокруг него, чтобы получить огоньку. Вася первым дважды затягивался каждой папиросой, так глубоко вбирая воздух в легкие при каждой затяжке, что казалось, он вот-вот лопнет, удерживал дым как можно дольше и наконец выдыхал его – в чей-нибудь рот. Камера вдруг вся наполнялась дымом, и на нее снисходил блаженный дух полного удовлетворения и довольства.

Следующим важным мероприятием был поход в уборную. При том, что в камере было 120 человек, после еды параша непрестанно находилась в действии. Где-то через час ее уже необходимо было выносить; дневальный звал надзирателя. Люди выполняли эту работу по очереди, а в награду получали лишнюю порцию баланды на следующий день. Конечно, если кто-то был слишком брезглив, чтобы выполнять такую грязную работу, свою очередь можно было и пропустить – но вместе с этим приходилось пропустить и лишнюю порцию супа. Поэтому брезгливых отыскивалось не много.

Единственным развлечением за весь день была, как обычно, двадцатиминутная разминка во дворе. Для нее не было никакого определенного времени. Оно зависело от того, с какого конца здания надзиратели начинали выводить заключенных и в каком порядке. Однако, когда надзиратель наконец открывал нашу дверь и объявлял, что пора идти на прогулку, в камере воцарялся настоящий хаос. С этими заключенными никакая строгая дисциплина была немыслима, разве что всех их расстрелять. Едва оказавшись за дверью, они начинали озираться в поисках сигаретных бычков и обрывков бумаги, которые могли бы пойти на цигарки. Некоторые отправлялись в туалет, другие переговаривались через дверь с заключенными других камер, когда проходили мимо. Все это было строго запрещено, но все это делалось – и делалось каждый день.

Внизу, во дворе, полагалось ходить гуськом по кругу и молчать. Опять же, ни о какой строгой дисциплине не было и речи; заключенные бесчинствовали как могли. Кое-что они делали с определенной целью, а кое-что так, из озорства. Надзиратели не могли за всем уследить; как только они останавливались, чтобы прикрикнуть на одного заключенного, пятьдесят других сразу начинали отбиваться от рук: выискивать кусочки жести и обрывки бумаги, царапать старым гвоздем на каменных стенах записки, оставлять в условленном месте какой-нибудь бартер в обмен на папиросу.

Каждый день, когда надзиратель объявлял конец прогулки, отовсюду раздавались возгласы протеста: «Двадцать минут еще не прошло!»

Каждый день надзиратель силился объяснить среди всей этой суматохи, что двадцать минут отсчитываются с того момента, когда мы покидаем камеру, и до того момента, когда мы в нее возвращаемся – а не с того времени, когда выходим на двор, до того времени, когда уходим с него. Но и на следующий день, и через день разгорался все тот же спор, словно никто не мог понять это правило до конца.

В тот вечер я лег спать не очень-то рано. Честно говоря, я чувствовал себя в этой ситуации неловко. Кроме того, все происходящее вокруг меня так завораживало, что я твердо решил ничего не пропускать. Без сомнения, этот интерес к людям, эта способность понимать и сочувствовать были в числе тех качеств, которые помогли мне выстоять в долгие годы тюремного заключения. Раз или два я пытался прилечь, но я был настолько стиснут другими телами, а камера тем ранним летом была такая жаркая и липкая, что я просто не мог спать. Камера была так переполнена, что на нарах нам приходилось лежать, так сказать, нос к носу, тесно прижавшись друг к дружке.

Старик, лежавший рядом со мной, отсидел уже много лет, и зубы его гнили. Его дыхание было настолько зловонным, что я просто не мог не обращать на это внимания. Как правило, недоедание и физические упражнения так утомляли меня, что я засыпал, как только касался головой подушки. Однако в ту ночь я был взвинчен новой обстановкой. После нескольких лет на Лубянке мне было непривычно спать в толпе. Как ни старался, я не мог забыть о вони или уснуть.

В конце концов очень тихо, так, чтобы никого не потревожить, я встал, сел в углу камеры и начал просто смотреть по сторонам. Людское море, высящееся на нарах, было незабываемо, издаваемые им звуки – неописуемы. Стоял громогласный, трескучий храп и прерывистое дыхание, которое в темноте напоминало сдавленный смех. Я слышал хрип и посвистывание всех видов и мастей, какой-то шепот в противоположном углу камеры. Время от времени кто-нибудь вскрикивал или громко вопил во сне.

Время шло. Около часу ночи я услышал, как кто-то встал и начал продвигаться в мою сторону. Это был Гриша. Он подошел ко мне и шепотом сказал: «В чем дело, Володька?» - «Ни в чем, - сказал я. – Просто не спится». – «Понимаю, понимаю, - сказал он. – В первую ночь здесь всегда трудно, но ты привыкнешь. И лучше тебе попытаться хотя бы отдохнуть».

Я последовал за ним вдоль стены обратно на наше место на нарах, и в конце концов мне удалось задремать. Но мне показалось, что едва я

уснул, как надзиратель уже прокричал: «Подъем! Подъем!» Мало-помалу люди начали распрямляться и слезать с нар, готовясь пойти в уборную на утреннюю оправку, куда нас водили группами по двадцать человек. Потом завязались все те же старые беседы, послышались все те же истории и каждодневные шутки, которые уже стали частью тюремного быта.

Затем вдруг по коридору проплыл аромат свежеиспеченного хлеба. Мы услышали, как по коридору тащат плетенные корзины. Дверь отворилась, надзиратель проверил наш паек по табелю, и четверо наших чемпионов ринулись за дверь, чтобы втащить в камеру корзину с хлебом. Немедленно все глаза оказались прикованными к корзине. «Не трожь! Не трожь хлеб!» - «Погодите, возьмите сначала кипяток!» - «Он еще не готов!» - «Ладно! Тогда руки прочь от хлеба!»

Вскоре надзиратель пришел за корзиной и заорал на дневального: «Зачем задерживаете? Нам нужны корзины». Тогда дневальный и некоторые заключенные расчистили место на центральных нарах. Все пристально смотрели, как на этом возвышении раскладывают пайку. Некоторые кусочки хлеба не весили ровно 400 граммов, тогда на кухне к ним при помощи зубочистки прикрепляли довесок. Сто двадцать пар внимательных глаз пристально следили, чтобы дежурные не отцепили эти довески, вынимая хлеб из корзины, и не припасли их на дне корзины для себя.

Когда корзина опустела, люди столпились вокруг, высматривая, не осталось ли чего на дне. Если там что-то находилось, они сносили стены, если нет – обыскивали дежурных, чтобы проверить, не засунули ли они чего в рукав, пока вытаскивали хлебные булки. «Вы, вшивые кровососы, - слышался боевой клич. - Это же все, чем мы живы. Вы воруете нашу кровь!»

Наконец дневальный закричал: «Довольно! Довольно! По местам! Не начнем раздачу, пока не будет порядка!» Все тут же расселись по краям нар – точно по краям, прямой линией, без всяких зигзагов. Прежде всего в сторонку было отложено пять горбушек – для дневального и четверых его помощников. Горбушки были всегда лучше средней части булки: они гораздо ощутимее жевались. Затем началась раздаточная игра.

Дневальные старались сделать так, чтобы их друзьям достались горбушки. Толпа наблюдала за ними орлиным взором. Куски хлеба разносили по два. Если помощник дневального видел, что его приятель не следующий в очереди, а через одного, то, беря со стола куски хлеба, он скрещивал руки так, чтобы горбушка досталась его другу. Тогда

толпа начинала вопить подобно болельщикам на футбольном матче, освистывая и матеря раздатчика. Напряжение в камере становилось на уровень выше.

Когда раздача наконец закончилась, к хлебу никто не притронулся. Все ждали, когда вернется надзиратель с большим котлом кипятку, и они получат свою утреннюю пол-литровую пайку. Наконец каждый разрезал свои 400 граммов хлеба на четыре части: одну часть они съедали сразу, вторую приберегали на обед, третью на ужин, а четвертую – на полдник или же, зачастую, чтобы выменять на затяжку папиросой.

После завтрака последовал утренний ритуал высечения огня и первой за день папиросы; затем все затихало, и начинался утренний цикл историй и разговоров. Я же начал ходить по камере и знакомиться, слушать истории и жадно подхватывать любой обрывок новостей, которых я не слышал все годы одиночного заключения на Лубянке. Начальник грузовой станции рассказывал о своем аресте:

«Моя работа состояла по большей части в том, чтобы распределять груз, который предстояло отправить на фронт. В разгар же немецкого наступления темп работы был лихорадочным. Однажды на станцию прибыл поезд с пятью вагонами пшеницы в открытых ларях, закрытых сверху плетеными крышками. Я тут же поставил вокруг вагонов часовых, потому что именно я нес ответственность за то, чтобы пшеница была доставлена на фронт. Но горожане проведали, что у нас есть пшеница, и хлынули на станцию толпами. Я умолял диспетчера отправить поезд, но ответа так и не получил. Пшеница была влажная и уже подгнивала. Ну я и не выдержал. Собрал всю свою бригаду и продал зерно голодающим горожанам, пока она все еще была съедобна. Разумеется, не успел я продать ее, как тут же пришел приказ отправить ее на фронт. Меня и всю мою бригаду арестовали и посадили. Мне дали двадцать пять лет».

Молодой рядовой рассказал о том, как день за днем он сидел в окопах, тревожась за жену. Она была очень больна, когда он ушел на фронт. Ему так хотелось увидеть ее снова, что однажды, когда его части дали опасное задание, с которого он бы, скорее всего, не вернулся, он сунул палец в дуло своего ружья и отстрелил его. С сильнейшей болью его отвезли в госпиталь; пока его лечили, он в бреду выдал, что сам же и отстрелил себе палец. Когда рану вылечили, его тут же отправили в тюрьму: десять лет. «Что ж, - пожал он плечами, - теперь я, наверно, хотя бы жив останусь».

Затем, перед полуднем, когда мы уже считали минутки, оставшиеся до обеда, дверь с грохотом отворилась. В коридоре послышались громкие голоса. Вдруг в камеру бодро вошел молодой солдат, отдал честь и гаркнул: «Здравствуйте, товарищи!» Этот деревенский парнишка лет семнадцати выглядел так, словно ему место в начальной школе. На нем была солдатская меховая шапка, которая явно была ему слишком велика, армейская шинель, доходившая ему до пят, с воротником, который был велик размеров на пять, и рукавами, скрывавшими даже его ладони. И все же он был веселым, беззаботным мальчишкой, которого не тревожило ничего, даже предстоящая жизнь в тюрьме.
Позже я поболтал с ним немного и узнал, что он из Подмосковья. Паренек был на самом деле солдат запаса и никогда не участвовал в боях. Весь их взвод арестовали в один день, когда они пришли в недавно отвоеванную у немцев деревню и обнаружили, что селяне грабят оставленное немцами продовольствие. «Не знаю, - сказал он, - что мы должны были делать, но мы решили, что нам тоже можно поживиться. Так и сделали. Меня потрясло, насколько немецкие пайки лучше наших, ну я и сказал это». «Дали десять лет за подрывные разговоры», - засмеялся он.
Послеобеденные минуты всегда были самыми лучшими. Когда все заканчивали курить, на камеру с общего согласия нисходила тишина. Многие заключенные дремали, я же обычно сидел у двери, наблюдая за людьми. Например, у окна лежал ряд больных. Мы укладывали их там в надежде на то, что окно частично рассеет зловоние, потому что бедняги умирали от дизентерии. От некоторых остались только кожа да кости. Запах стоял настолько омерзительный, что другие заключенные иногда жаловались медсестре, навещавший этих несчастных раз в день. «Знаю, знаю, - говорила она, - но сделать ничего не могу. В больнице мест не осталось».
Им она могла помочь только тем, что давала каждый день какую-то жидкость, но многим из них было уже поздно оказывать какую-то помощь. Иногда я просыпался среди ночи от громкого вскрика, за которым следовал тот специфический вздох, который зовется предсмертным хрипом. Тогда в камеру в спешке вбегали врачи и быстро уносили кого-то в темноту. В тихий час после обеда я время от времени разговаривал с больными, стараясь ободрить их, насколько возможно. Но им уже мало чем можно было помочь. Я же мог помочь – и помогал многим из них - отпущением грехов, а иногда просто сидел рядом, нашептывая молитвы за умирающих. Я могу лишь надеяться, что это

утешало их так же, как меня утешала возможность вновь исполнять священническое служение. Это также постоянно напоминало мне о том, что я должен быть благодарен Богу за прекрасное здоровье, которое я сохранял все эти годы. Я понимал, что без Его защиты эта болезнь может в любую минуту поразить и меня, ибо она заразна.

В этой бутырской камере я провел семь месяцев. Затем, в один прекрасный день, в январе 1945 года меня вызвали и повели в маленькую комнатку на пятом этаже. Она была чиста и опрятна, с темно-зелеными стенами, высоким окном, покрытым, как обычно, жестяным листом, и – чудо из чудес! – с настоящей кроватью. Не знаю, почему меня удостоили такого особого обхождения. Помнится, я думал, что, быть может, меня наконец готовятся отправить в лагеря. Час спустя дверь открылась, и в камеру вошел… Нестров!

Мы просто глазам своим не поверили! Теперь, когда мы наконец снова были вместе, здесь, в камере на пятом этаже Бутырки, мы просто не знали, что и думать и что сказать друг другу. Мы, запинаясь, выкрикивали приветствия, хлопали друг друга по спине, полусмеясь, полукрича и чуть не плача. Потом просто стояли, улыбаясь друг другу и не зная с чего начать.

Наконец мы принялись сравнивать свои истории. Нестрова тоже допрашивал на Лубянке Седов. Его тоже приговорили к пятнадцати годам тяжелого принудительного труда. Некоторое время мы пункт за пунктом обсуждали свои допросы, сравнивая то, что сказал он, и то, что сказал я, и пытаясь понять, как все происходило. Единственным важным различием в подходе ко мне и к нему, было то, что, допрашивая Нестрова, они делали упор на его русском происхождении, играя на его патриотический чувствах и подчеркивая, что на его родине – война, чтобы добиться его сотрудничества.

Наша встреча была чудесным переживанием в эти тяжелые годы, и мы постарались извлечь из нее как можно больше пользы. Мы с Нестровым образовали маленькую иезуитскую общину в самом сердце Москвы. Прежде всего, после долгих лет, проведенных без таинств, мы исповедались друг другу и совершили отчет совести. Потом мы установили для себя распорядок дня, примерно такой же, как и во всякой иезуитской общине. Мы поднимались в 5.30 – как и вся тюрьма, - совершали утреннее размышление и служили мессу (то есть творили ее молитвы) перед завтраком. Потом мы беседовали или трудились, пока не приходило время испытания совести и полуденной молитвы «Ангел Господень».

После обеда мы вновь вместе творили молитвы, в том числе молитвы розария. В шесть, перед ужином, мы снова читали молитву «Ангел Господень», а после ужина совершали свои вечерние молитвы и давали друг другу пункты для утреннего размышления. Утром и днем между молитвами мы тоже не сидели сложа руки. Некоторое время мы посвящали совместному повторению курса богословия; произносили импровизированные проповеди или читали лекции, критиковали друг друга, а затем принимались смеяться, вспоминая похожие случаи или замечания в наши прежние студенческие годы.

Иногда мы прибегали к более легким развлечениям и сценкам-экспромтам. Комиком был обычно я, Нестров же играл серьезного человека. Например, я был Сталиным, а Нестров колхозником, может быть, даже «героем труда», которого «дядюшка Джо» вызвал в Москву, чтобы наградить медалью. После награждения я вел его к себе в кабинет на экскурсию, чтобы поразить его славными достижениями коммунизма. Однако бедный колхозник хотел лишь одного: булки хлеба. Но каждый раз, едва он открывал рот, чтобы попросить хлеба, как «Дядя Джо» пускался в новую хвалебную речь о великой революции и патриотические призывы к борьбе с врагом.

В конце концов я отсылал его обратно к его гордым сотрудникам, с нетерпением ожидающим его в колхозе. Как только я отворачивался, гордое выражение сразу исчезало с его лица и с лица его сотрудников, и они окружали его, взволнованно вопрошая: «Ну что? Ну что?» Нестров же только пожимал плечами и вскидывал руки в выразительном крестьянском жесте: «Ой, ну чего ж вы хотели? Как раньше было, так и дальше будет. Кремль, как был Кремль, так Кремль и остался».

Возможно, все это звучит глупо, но так и было задумано. Ничто лучше шутки не могло вывести нас из состояния той скуки, почти транса, которая иногда вкрадывается даже в самую активную жизнь, если эта жизнь протекает в тюрьме. В любой группе заключенных, в которой мне приходилось бывать, всегда имелись свои постоянные шутки или любимые выражения, которые почти всегда вызывали если не смех, то хотя бы улыбку. Это отражалось даже на тюремном жаргоне. Не все выражения что-нибудь значили; они рождались из какой-нибудь ситуации тюремной жизни, например, кто-нибудь в момент стресса перепутал в какой-нибудь фразе слова. Эта фраза моментально превращалась в крылатый оборот, своего рода лозунг, призыв, способный сплотить заключенных в минуту уныния.

Так было и с нами. Мы с Нестровым были приговорены к тяжелому принудительному труду, но у нас не было причин унывать. Мы были снова вместе; пока нас не трогали. И мы были намерены воспользоваться ситуацией сполна и хорошо провести время. Кое-какие трудности, конечно, были, например, махорка. Нестров в тюрьме начал курить, чтобы снять напряжение, но здесь, на пятом этаже Бутырки махорки у него не было, а передач нам никто не посылал. Однако у нас был веник, поэтому мы открыли производство своего собственного табака.

Веник применялся для уборки камеры. Надзиратель ежедневно выдавал его нам, потом возвращался, чтобы забрать его и передать в следующую камеру. У меня был ножик, сделанный из старой жестянки, которую я подобрал во дворе и наточил о каменную стену. Каждый день я отрезал от веника где-то восьмую часть дюйма и нарезал ее мелкими кусочками. Нестров заворачивал этот суррогатный табак в бумажку, а я испытывал тюремный метод добывания огня из кусочка ваты. Первые несколько раз у меня не получалось, но в конце концов мне удалось извлечь из кусочка ваты достаточно огня, чтобы зажечь «папиросу» Нестрова. Я чувствовал себя, словно доисторический человек, который первым «изобрел» огонь.

Дым, который порождал наш «special blend» из веника, был чрезвычайно едким. Даже у меня он вызывал кашель, хоть я и не курил его. Нестров же затягивался им так, словно у него в руках изысканнейшая гаванская сигара. Однажды наша очередь подметать пол подошла поздно вечером, непосредственно перед сменой надзирателей. Когда новый надзиратель пришел забрать у нас веник, мы сказали, что прежний надзиратель уже забрал его. Так он его и не нашел. Мы же, с нашим шестидюймовым веником, почувствовали себя настоящими табачными миллионерами. Когда веник вышел, мы принялись за соломенный матрац.

Другой проблемой была еда. Из-за войны нас кормили все хуже и хуже. Но однажды мы получили нежданное угощение: суп из яичного порошка. Когда надзиратели принесли суп в здание, по всей тюрьме разнесся острый серный запах, доходивший даже до пятого этажа. Мы с Нестровым почуяли его и начали гадать, что же это такое. Когда суп принесли, а вонь стала просто невыносимой, мы решили, что это, должно быть, яичный суп. Голод в тюрьме с едой церемониться не позволяет; поэтому, несмотря на серные пары, мы оба сказали: «Какая неожиданность! И полная миска! Столько раньше никогда не давали».

Запах был воистину тошнотворным. Однако отказаться от полной миски супа в таких обстоятельствах было бы преступлением. И мы принялись за еду, ели и радовались, вначале потягивали суп с ложечки, а потом стали пить его прямо из миски. Съев где-то полмиски, я ощутил тошноту. Я засомневался, следует ли мне доедать суп. Однако голод взял верх над осторожностью, и я выпил суп до дна. Прежде чем последний глоток достиг моего желудка, первый уже рвался назад с такой силой, что вырвавшись из моего рта забрызгал всю стену. Нестров последовал сразу за мной. В конце концов, вся тарелка вышла наружу, и камера завоняла неимоверно.

Мы и эту историю сберегли в копилке тюремного фольклора: иногда лучше голод, чем рвота. Нужно следить за тем, что ешь, как бы ни мучил голод. Позже мы узнали, что этот яичный порошок испортился при транспортировке, но повар решил сварить из него суп, надеясь, что это его некоторым образом обеззаразит. Позже мы также узнали, почему нам выдали такие большие порции: бывалые люди этажом ниже суп не взяли.

Пока мы сидели в одной камере с Нестровым, я решил написать очередную петицию к Сталину (я уже написал две на Лубянке во дни моих «универститетов»). Нестрова эта мысль рассмешила, но терять мне все равно было нечего. Сам процесс был весьма прост: нужно было просто сказать надзирателю, что хочешь написать петицию. «Кому?» - говорил он. «Сталину», - отвечал я. Потом он просил меня подождать, пока он узнает у начальника тюрьмы, можно ли мне написать такую петицию. Мне никогда не отказывали. Надзиратель возвращался с ручкой, бумагой и чернилами и стоял за дверью, пока я писал петицию. Вот и все, что для этого требовалось.

Содержание петиции тоже было очень просто. Я писал генсеку, что я – Уолтер Чишек, священник, американец, и просил его сообщить обо мне в американское посольство, дабы оно могло, в свою очередь, сообщить моим родным в Америке, что со мной все в порядке. Только и всего. Я не просил ни о каких милостях и не предъявлял обвинений; это была только просьба соблюсти дипломатический этикет. Что случалось с петициями, после того как я отдавал их надзирателю, не знаю. Некоторое время спустя, так и не получив ответа, я бросил писать.

Мы с Нестровым провели вместе два приятных месяца. Потом, однажды вечером, когда мы ждали ужина, надзиратель велел нам собирать вещи. Мы поняли, что, стало быть, нас куда-то переводят. За несколько минут, пока не вернулся надзиратель, мы в последний раз исповедались друг

другу. Мы благословили друг друга и пожали друг другу руки. Мы не могли найти лучших прощальных слов, чем просто «с Богом».

В сумрачный коридор первым увели Нестрова, а я остался ждать в камере. Когда надзиратель вернулся за мной, я стал озираться, высматривая в коридоре Нестрова, но его нигде не было видно. Внизу меня посадили в маленький, темный бокс. Я прождал недолго: надзиратель вскоре вернулся, задал три обычных вопроса и повел меня во двор, где ждал воронок. Это была модель с одиночными боксами, где едва хватает места, чтобы стоять.

Как только меня заперли, воронок тронулся; я счел, что я здесь один. Однако, когда мы, сотрясаясь, выехали из тюремного двора, я услышал, как кто-то позвал: «Липинский!» Это был Нестров. «Я тут», - отозвался я. Мы пытались разговаривать, перекрикивая шум мотора и грохот грузовика, но я не многое мог расслышать. Да и сказать особенно было нечего, разве что гадать, куда нас везут.

Где-то через полчаса мы остановились, и двери открыли. Одно за другим надзиратель выкрикивал имена заключенных; я был удивлен, поняв, что воронок, который я счел пустым, на самом деле был полон людей. Нестрова вызвали раньше, чем меня. Наконец подошла и моя очередь. Я выпрыгнул из воронка с руками, сложенными за спиной, как и полагалось. Мы вернулись в мою *alma mater* – на Лубянку.

При поступлении на Лубянку всегда строго соблюдались все положенные процедуры, поэтому, когда со всеми вопросами, медосмотром, купаньем, стрижкой, дезинфекцией и фотографиями было покончено, было уже 3 или 4 утра. Потом надзирательница повела меня наверх по знакомым коридорам с их зелеными панелями, белеными стенами и запахом, который я не спутал бы ни с одним другим. Честно говоря, все было таким знакомым, что мне казалось, будто я вернулся домой.

Я шел за надзирательницей по коридору и тайком озирался. Я вычислил, что это, должно быть, четвертый этаж, но этого отделения Лубянки я прежде никогда не видел. Когда мы наконец пришли в камеру, я увидел, что эта камера большая – на восемь коек. Там уже было семь человек. Когда я вошел, они тут же все как один посмотрели в мою сторону, и в их глазах был извечный вопрос. «Здравствуйте!» - сказал я с улыбкой. Они тепло приветствовали меня, показали мне мою койку, мою кружку и деревянную ложку; в этом отделении тюрьмы столовые приборы разрешалось хранить прямо в камере.

Первым мне представился Никита, молодой строитель с острова Сахалин, но русский по происхождению. Он был низкорослый и кривоногий, худой и смуглый, с большим носом и сверкающими глазами, дружелюбный и чрезвычайно разговорчивый. Следующим был Порфирий, долговязый, светлокожий русский, с маленькой головой и тонкими чертами лица. Будучи атеистом и членом партии, он, по сути дела, изучал богословие, чтобы писать пропагандистские атеистические очерки для партии. Другие пятеро были просто молодые солдаты с фронта, которые заботились только об одном: есть столько, чтобы можно было выжить и вернуться домой.

Поскольку было почти четыре утра, после обмена несколькими короткими фразами мы решили поспать Однако на следующий день общество это оказалось весьма оживленным: они хотели знать обо мне все. Конечно, когда подошло время завтрака, всякому общению пришел конец. Завтрак в этой части тюрьмы был лучше среднего. Нам давали положенную пайку хлеба плюс котел кипятку, где было с четыре кварты, так что каждый мог пить, сколько душе угодно.

После завтрака я заметил, что стол в камере завален книгами, шашками, шахматами и домино. «Откуда у вас все это?» - спросил я. «А, - сказал один из солдат, - мы же здесь ненадолго. Мы уже отбыли свой срок, и скоро нас посылают обратно на фронт». Никите тоже сказали, что скоро его пошлют в Варшаву заведовать восстановлением мостов и зданий. Порфирий сказал, что ему, возможно, вернут его должность в партии. Казалось, в этом отделении все только ждали уведомления об очередной перемене места. Возможно, скоро я отправлюсь в лагеря.

Когда они стали расспрашивать обо мне, я сказал, что в июле 1942 года меня приговорили к пятнадцати годам принудительных работ. «Но прошло уже почти три года, - сказал я, - а ничего так и не случилось. Меня только без конца переводят из тюрьмы в тюрьму и вызывают на дополнительные допросы». Никиту это очень позабавило. Он пустился в долгую тираду о системе вообще и о тюремной бюрократии в частности, и вскоре уже все мы смеялись до слез. Когда Никита расходился, он был превосходным комиком, с которым не могла бы соперничать ни одна книга или кино.

Однако через некоторое время все мы немного присмирели. Солдаты принялись играть в шашки и домино, остальные же стояли вокруг, давая непрошеные советы. Никита решил сразиться с одним молодым солдатом в шахматы, а поскольку я немного знал эту игру, я подошел и стал наблюдать. Никита в мгновение ока поставил ему мат. То же он

сделал и со вторым солдатом, потом засмеялся и позвал: «Следующий!» Солдаты показались мне отъявленными дилетантами, поэтому теперь за игру сел я. Однако не успел я сделать и пять ходов, как он поставил мне мат. Никита рассмеялся.

За три минуты я проиграл еще две игры, к огромному удовольствию Никиты, и сказал ему, что в этой игре он настоящий мастер. «Нет, товарищ, - сказал он, - это вы все играть не умеете. Никто из вас не знает шахматной теории. Подходите сюда, братцы, я покажу вам, как это делается». С этими словами он принялся читать нам лекцию по теории шахматной игры. Если я правильно помню, он сказал, что есть шестьдесят четыре основных хода, которые следует знать наизусть. Зная эти ходы, никогда не проиграешь обычному сопернику.

«Ну что, поняли? – сказал он. – Теперь вот что. Соберитесь вокруг стола и подумайте над своим ходом; я буду играть один против семерых. Думайте над ходами столько, сколько нужно. Не торопитесь. Я пока лягу, почитаю. Как будете готовы, просто объявляйте положение фигур, и я буду говорить вам ответный ход».

Никита устроился с книжкой на койке и стал читать, пока наш «мозговой трест»[14] совещался. Когда мы объявляли свой ход, он отрывался от книги и почти мгновенно называл ответный. До пятнадцатого-шестнадцатого хода все шло хорошо. Потом, когда Никита назвал свой ход, мы поняли, что нам крышка. Поэтому мы изменили его ход, а ему ничего не сказали. На следующем ходу он сказал: «Шах!»

«Какой шах? – сказали мы. – Ничего подобного!» - «Должен быть шах, - сказал он с улыбкой, - а на следующем ходу – мат. Тут уж ничего не поделаешь!» Не вставая с кровати, он описал положение всех фигур на доске. «Нет, - сказали мы, - там нет твоего слона. Так что никакого шаха». – «Что ж, значит, тут что-то не так», - сказал он и, все так же не вставая с кровати, стал восстанавливать игру по памяти, ход за ходом, фигура за фигурой.

Однако, как бы ни было приятно наше общество, в этой камере оказалось намного труднее молиться или выполнять другие духовные обязанности, которые я для себя установил. Например, для того чтобы

---

14 «Мозговой трест» - группа интеллектуалов, выступающих в качестве советников, обычно при правительстве. Первоначально термин обозначал группу советников президента США Ф.Д. Рузвельта (1882-1945). Здесь употреблен в насмешливо-ироническом смысле. *Прим. пер.*

совершить размышление, мне приходилось брать книгу, садиться на кровать и, время от времени переворачивая страницы, притворяться, что я читаю, а на самом деле молиться. Потом, после обеда, я совершал молитвы розария, слоняясь по камере с руками в карманах и отсчитывая молитвы по пальцам.

Однажды наш атеист, Порфирий, попросил меня побеседовать с ним о Боге. Он знал, что я католик, но не знал, что я священник. Эта беседа практически превратилась в семинар, регулярно проходивший после обеда. Порфирий по памяти цитировал все кажущиеся библейские противоречия, которым научили его на курсах атеистической пропаганды. Я терпеливо пытался объяснить их, подчеркивая истоки и контекст этих библейских отрывков и приводя все аргументы, которые помнил из собственного курса богословия.

В некотором смысле это занятие было полезным и побуждающим к действию - оно заставило меня вспомнить почти все библейское богословие, - но удовлетворения оно не приносило. Я думаю, Порфирий пытался обратить меня, а может, просто оттачивал свою технику. Как бы то ни было, стоило мне ответить на одно возражение или почти убедить его согласиться со мной в каком-нибудь частном вопросе, как у него тут же находилось новое. Он умел ловко отвечать на возражения, немедленно переключаясь на совершенно иную проблему. «Что ж, говорил он, - в этом ты, может быть, и прав, но как насчет вот этого?…»

Потом, как-то в апреле 1945 года мне велели собирать вещи. Я думал, что, быть может, настало время отправлять меня в лагеря, однако моим надеждам скоро пришел конец. Меня просто перевели в другую часть Лубянки. Здесь, на первом, как мне показалось, этаже, я был один. Я вновь вернулся к своему обычному распорядку дня, к чтению и молитвам, стараясь изо всех сил снова привыкнуть к жизни отшельника. Трудно было снова быть одному. Я все время был чем-то занят, но знал, что просто убиваю время. Меня уже больше года не допрашивали. Почему же меня до сих пор еще не отправили в лагеря?

Здесь мне мало приходилось общаться с кем бы то ни было. На допросы меня не вызывали; надзирательницам с заключенными говорить не полагалось. Я снова стал испытывать знакомое чувство безвременья и - что страшнее - бесцельности, оттого что дни все тянулись один за другим, ничем не отличаясь друг от друга. И все же я никогда не забывал о Промысле Божием. Я знал: ничто в жизни не является слишком незначительным и малым, если смотреть на нее с точки зрения воли Божией. По крайней мере, я старался помнить об этом. Лубянка

была трудной, но хорошей школой. Там я усвоил урок, который позволил мне выстоять в последующие годы: вера, молитва и любовь к Богу не меняют действительности, но наделяют ее новым смыслом. На Лубянке я стал еще тверже верить в то, что *все*, что происходит в жизни, - не что иное, как отражение Божией воли обо мне. И Он защитит меня.

Одним майским вечером, около половины девятого, когда я совершал свои вечерние молитвы, я вдруг с удивлением услышал ликующие возгласы толпы. Я поспешил к окну. Видна была только чернота неба, но я старался разобрать, что говорят в толпе. Вдруг где-то очень близко послышались пушечные выстрелы. Совсем низко над головой заревели самолеты, а потом, к моему изумлению, послышался салют! Я видел разноцветные отражения на своем клочке неба. Я стоял у окна пораженный. Я был также удивлен тем, что надзирательница не вошла и ничего не сказала мне по поводу того, что я стою у окна так долго. Я подумал, что, быть может, одержана какая-то большая победа.

Вдруг воцарилась тишина. Эхо толпы, все еще раздававшееся в тюремном дворе, медленно замерло. Затем я расслышал громкий голос, эхом отдающийся в ночи, к которому примешивался особый металлический звон громкоговорителя. Голос обращался к людям приподнятым и благодарным тоном. Но слова раздавались так громко, что искажались своим собственным эхом, и я ничего не мог разобрать. И все же я понимал, что шум доходит с Красной площади, и чувствовал все большее волнение и любопытство. Когда же в темноте наконец воцарилась тишина, я долго лежал в постели сбитый с толку, гадая, что же произошло, и не мог заснуть.

Около полуночи я услышал, что в коридоре сменились надзиратели. Вскоре после этого молодая девушка, которая была на нашем этаже новенькой, пришла в камеру и спросила меня, все ли в порядке. «Я за вами наблюдаю, - сказала она, - вы все ворочаетесь. Может, вам нужен врач?» - «Нет, я не болен, - сказал я, - просто мне любопытно, что там за толпы были на улице. Я лежу и пытаюсь понять, что происходит». – «Вы разве не знаете?» - воскликнула она возбужденно. Я покачал головой. «Товарищ! Война кончилась! Немцы сдались! Это объявили сегодня вечером!»

Потом она стала рассказывать мне, как перед дежурством была на улице и смотрела парад на Красной площади. Она подробно описала мне, как праздновали победу. Я знал, что наша беседа против правил, и был ей благодарен. В первый раз кто-то из надзирателей отнесся ко мне тепло и

по-дружески (они не были жестоки, просто сухо делали свое дело), - но и в последний.

Я гадал, что же будет теперь, когда война позади. На освобождение я не смел и надеяться. Я знал, что осужден как ватиканский шпион, а не как немецкий; это обвинение, как и приговор, несомненно, не отменят. Но, подумал я, быть может, атмосфера в тюрьме изменится к лучшему. Но ничего не изменилось. Шли дни. Май сменился летом, лето – осенью. В тюремные стены снова вселился холод.

Перемена наступила только в октябре. Однажды вечером, прямо перед ужином, надзирательница велела мне собирать вещи. Меня повели с первого этажа на другой, более высокий, и отвели в камеру в середине коридора. Там уже было два человека, один из них был Нестров! На этот раз я неожиданно вошел в его камеру, как некогда он вошел в мою в Бутырке. И снова мы были вне себя от радости.

После первых, волнующих минут Нестров представил меня своему сокамернику. Это был француз по имени Шампон, талантливый писатель и кандидат Французской академии, который сразу произвел на меня впечатление своим благородным поведением и аристократическими манерами. Человек среднего роста, немного выше меня, он обладал тонким носом, твердым подбородком и тонкими, ясно очерченными губами. Его голова с длинными светлыми волосами, среди которых встречалось и несколько рыжих прядей, уже начинала лысеть на висках. У него были изящные руки французского аристократа, длинные, сужающиеся к концу пальцы и маленькие ступни.

Шампон очень любил разговаривать. Он сидел в тюрьме уже около года, и история его была странной. Как и меня, его обвинили в шпионаже. На самом же деле, по его словам, он путешествовал по Китаю и другим странам Востока, чтобы сделать снимки пейзажей для фильма по мотивам одного из его собственных романов, который он снимал. Француз сказал нам, что ему дали полмиллиона долларов за права на фильм, из коих НКГБ конфисковал четыреста тысяч, когда он был арестован. Шамон возвращался во Францию через Россию, чтобы не ехать кружным путем через Африку.

Это был потрясающий рассказ, но мне он показался не вполне правдоподобным. Шампон сказал, что у него была советская виза всего на две недели, между тем по-русски он говорил отменно. Это заставило меня отнестись к его истории с некоторым подозрением, но я так и не задал ему напрашивающегося вопроса. В тюрьме таких вопросов не задают.

В этой камере нам выдавали дополнительный хлебный паек в 150 граммов. По утрам мы также получали вместе с кипятком два кубика сахару, да еще иногда дважды в неделю три сырых рыбки в дополнение к ужину. Дополнительная пища нас, безусловно, радовала. Я почувствовал себя несколько сильнее и намного бодрее. Кроме того, эта часть тюрьмы гораздо лучше отапливалась: камера оставалась относительно теплой всю зиму 1945-1946.

Чтобы чем-то занять время, мы стали устраивать дискуссии. Шампон читал нам лекции по этимологии (он знал несколько языков, помимо русского и французского), о живописи и кинематографе. Нестров читал лекции по философии, восточной литургии и славянским языкам. Я концентрировался на английской и – после курса в лубянском «университете» - русской литературе. Одним из языков, которых Шампон все же не знал, был английский, поэтому мы начали давать друг другу уроки. Я учил его английскому, а он совершенствовал мой французский; каждый день мы проходили по двадцать новых слов. Поскольку все это делалось без карандаша и бумаги, наша память получала хорошую тренировку, по мере того как наш словарный запас увеличивался.

Все это время мы также аккуратно исполняли все свои духовные обязанности – еженедельную исповедь, утреннюю и вечернюю молитву, воскресную проповедь. Шампон был добрый католик и с искренней радостью примкнул к нашей «иезуитской общине», как он шутя называл ее. «Я много слышал и читал об иезуитах, - говаривал он, - и вот мне привелось некоторое время пожить иезуитской жизнью».

В таком приятном общении прошла зима и наступила весна. Потом, в конце мая, Шампона однажды вечером вызвали на допрос. Вернувшись, он был странно уклончив и не говорил о допросе ничего определенного. Я тут же заподозрил, что его расспрашивали о нас. В тот же вечер вызвали Нестрова. Он вернулся подавленным. «Что случилось?» - спросил я. Он посмотрел на Шампона, покачал головой и не хотел об этом говорить.

Прошел день или два, и Нестрова вызвали снова. На этот раз он вернулся еще более подавленным. Он мимоходом сказал мне, что на него оказывают сильное давление, предлагая различные сделки и пытаясь играть на его патриотических чувствах к России. Поскольку там был Шампон, он не пожелал говорить ничего более. Я чувствовал, что происходит нечто странное. Атмосфера в камере переменилась полностью; Шампон стал молчалив, а Нестров погрузился в тягостные

раздумья. А когда Нестров, этот русский, впадал в уныние, требовался бульдозер, чтобы вытянуть его из этого настроения. Я пытался ободрять его общими словами, но поскольку и понятия не имел, что ему предлагают, то посоветовать ему ничего не мог.

На следующий день, перед наступлением полудня, вызвали меня. Ясно помню то особое чувство, которое охватило меня после столь долгого перерыва в допросах: смесь напряжения и невыразимого отвращения. Следователь был человеком сурового вида, на пятом десятке, в очках в золотистой оправе и с проседью в волосах. Прежде мне его видеть не приходилось, но он начал допрос словами: «Что ж, это ваш последний шанс. Не передумали?» Дело Чишека было явно ему знакомо. «Я сказал вам правду, - ответил я. – Как я могу передумать?»

Не говоря больше ни слова, следователь снял трубку, вызвал надзирателя, и медленно повесил трубку снова, словно это был некий заключительный жест. Когда надзиратель явился, он просто сказал: «Уведите его». И меня увели, но не назад в камеру, а вниз, в бокс. Что же дальше?

На мне были только толстые носки, а цементный пол в подвале был холодным. Надзиратель вернулся с моим чемоданом и другой маленькой сумкой. Я сразу понял, что это не перевод из одной камеры в другую; меня вновь переводили, как минимум, в другую тюрьму. Поэтому я сказал надзирателю, что у меня нет обуви. Ту, что я носил еще со времен Чусового, наконец-то забрали в ремонт на Лубянке. «Ладно», - сказал надзиратель и удалился. Вскоре он вернулся с полной миской супа, потом пошел разыскивать мою обувь. Вернувшись, он сказал, что ее нет ни в мастерской, ни в моей камере. Он сделал все, что мог, но так и не нашел ее.

Пока я сидел там в ожидании, гадая, что же будет дальше, я поспешно съел суп, чтобы управиться с ним, прежде чем за мной придут. Но мои мысли постоянно обращались к Нестрову. Честно говоря, я был за него не спокоен; я никогда не видел его таким подавленным. Там, в боксе, я помолился, чтобы с ним все было в порядке. Больше я его не видел. Некоторое время спустя дверь отворилась, надзиратель задал три обычных вопроса и приказал мне следовать за ним. Вот так, с сумкой в руке и в одних носках, я вышел из здания Лубянки в последний раз.

Глава третья. Норильлаг

Дорога в Сибирь

Я последовал за надзирателем в воронок. Был час дня, и для московского июня было довольно жарко. По крайне мере, в тот момент отсутствие обуви для меня проблемы не составляло. Когда я залез в воронок, там уже сидели люди. Вопреки указаниям надзирателя, мы сразу начали разговаривать. Затем в воронок вскарабкались три молодых женщины с младенцами на руках, и беседа оборвалась. Мы тут же встали, чтобы уступить им место, и все столпились вокруг женщин, чтобы взглянуть на младенцев.

Женщины отнюдь не казались встревоженными. Они охотно с нами разговорились. Детям, как они сказали, было всего по несколько месяцев, и они появились на свет уже в тюрьме. Мы не стали вдаваться в подробности. Однако детям толпа и суматоха совсем не понравились. Они выражали свой протест довольно звучно, рыдая так сильно, что их личики покраснели от напряжения. Их матери вынули бутылочки с молоком, приготовленные тюремными врачами, и все мы счастливой толпой заговорщиков принялись наблюдать за ними, а младенцы удовлетворенно затихли.

К тому времени воронок уже долго стоял в тюремном дворе. Солнце накаляло крышу, а в забитом фургоне уже нечем было дышать. Было очень душно. Мы сильно вспотели, а у некоторых заключенных, слабых от долгого пребывания в тюрьме, закружилась голова. Мы начали колотить в дверь и звать конвоиров, чтобы они открыли ее и впустили немного воздуха или принесли воды. Они не сделали ни того, ни другого, но несколько минут спустя воронок, шатаясь, тронулся в путь.

Мы поехали на московский вокзал и остановились возле длинной вереницы вагонов. Вперед мне посмотреть не удалось, но я насчитал по меньшей мере десять вагонов за тем, в который посадили меня. Это были вагоны для заключенных. Здесь, как и в европейских пассажирских вагонах, были купе, но без окон, а двери, ведущие из купе в коридор, заменяли простые железные решетки. Конвоиры, по большей части, молодые военные, располагались в обоих концах каждого вагона.

Меня поместили в купе, где уже было более двадцати человек. Когда я вошел, из моей руки выхватили чемодан и сумку; мне велели сесть в углу. Это произошло так быстро, что я не успел отреагировать. Я посмотрел по сторонам и сразу понял, кто достался мне в попутчики:

молодые воры и уголовники со своим собственным законом и порядком, для которых все прочие заключенные были желанной добычей. Однако, примостившись в углу, я увидел, что мой чемодан и узелок тоже лежат там.

В основном воры и уголовники, которых мне довелось видеть, заметно отличались от политзаключенных, которых они презирали. Они давно научились извлекать из любой ситуации всю мыслимую пользу. Уголовники проявляли мало уважения к кому бы то ни было, особенно к конвоирам, которых непрестанно травили и от которых не терпели ничего, не отплатив им тем же. Однако в своей собственной среде они подчинялись приказам всякого, кто был достаточно силен, чтобы главенствовать над другими.

В частности, главарь этой шайки был низкорослым темноволосым человечком с бегающими, черными, как уголья глазами. На нем были только штаны и майка и нечто вроде пеньковых сандалий на ногах. Его руки, плечи и даже грудь там, где она была видна из-под майки, были сплошь покрыты татуировками. Он никого не боялся и с наслаждением травил конвоиров. На каждой станции он колотил по решетке и требовал воды или махорки или какой-нибудь еды. Он даже уточнял, какое именно меню он предпочитает. Если конвоиры игнорировали его, он не унимался, пока ему наконец не удавалось вызвать хотя бы какую-нибудь ответную реакцию.

Я тихо сидел в уголке и стерег свой багаж. Воры непрестанно на меня глазели, и в конце концов двое дружков главаря подсели ко мне. Потом они сказали мне сесть в другом месте, потому что для всех здесь места не хватает. В этом воровском логове я был единственным политическим заключенным, поэтому я пересел. Они тут же открыли мой чемодан, все осмотрели и отложили несколько вещей в сторонку. Бросая на ходу какие-то замечания для развлечения толпы, они отобрали свитер, несколько рубашек, кое-что из нового белья. Наконец они закрыли чемодан и сказали мне сесть на место.

Награбленное они отнесли главарю, тот подмигнул им, встал и принялся колотить в дверь. Когда конвоир подошел, главарь высунулся и что-то прошептал ему. Конвоир покачал головой. Сквозь стук колес, посвисты и крики уголовников я не расслышал, что они говорят, но понял, что главарь пытается заключить с конвоиром какую-то сделку: обменять мою одежду на еду. «Какая чистая работа среди бела дня!» - подумал я. Но жаловаться конвоиру было без толку: в этом купе мне

предстояло провести не один день, и одному Богу известно, как могли мне отомстить уголовники.
Наконец конвоир ушел, казалось, не убежденный. Однако некоторое время спустя к двери подошли двое других конвоиров и главарь протянул им связку моих вещей. После следующей остановки он начал тревожно озираться, просовывая голову между прутьев, и, с усилием вертя ею, высматривал в обоих концах коридора тех двух конвоиров, с которыми заключил сделку. Наконец они пришли с полными охапками хлеба, копченой колбасы, рыбы, махорки, несколькими пачками папирос и маслом.
Тут же, чудесным образом, из ниоткуда явились чистые пиджаки и рубашки, которые расстелили по скамье, чтобы не запачкать пищу. Главарь уселся, вынул ножик (строго запрещенный) и принялся резать хлеб на определенного размера кусочки, присовокупляя к каждому из них немного рыбы, масла и колбасы. Себе он, естественно, взял львиную долю всего этого. В мою сторону никто и не смотрел; казалось, будто меня нет вовсе.
Пожрав все, что было в их поле зрения, они начали кричать, требуя ведро воды. Конвоир принес воду. Сам главарь взял жестяную кружку, которую принесли вместе с ведром, а ведро пустил по кругу, чтобы все пили прямо из него. Потом некоторые уголовники достали карты и стали играть, разделившись на небольшие кучки. Закуривая папиросу, главарь ненароком взглянул сквозь огонек на меня. Затем, как будто верша великий акт милосердия, он взял кусочек черствого хлеба и передал его мне через посредника со словами: «Дай это вон тому грязному фашисту!» К тому времени я был уже так зол, что с радостью бы отказался, но я был так же предельно голоден. Я взял хлеб и довольно жадно его съел. Все засмеялись, а потом напрочь обо мне забыли.
Уже потихоньку темнело, и я сидел в углу, глядя на тусклый, сумеречный свет. Отчасти я был зачарован новизной происходящего, однако чувствовал себя неловко рядом с этой шайкой уголовников. Разрываясь между страхом и любопытством, гадая, что будет дальше, я начал молиться. Я вновь возложил все свое упование на Бога. В конце концов я задремал, усталый и голодный после дня, исполненного непривычных событий, в то время как воры все не унимались, продолжая громко крыть друг друга матом за карточной игрой.
На следующий день ранним утром поезд остановился на какой-то сортировочной станции. Мы сидели, вслушиваясь в лязг и звон поездов,

в пронзительный свист паровозов и пневматических тормозов, в неуемную станционную суматоху. И вдруг мы услышали отчетливый топот солдат, марширующих гусиным шагом на немецкий манер. Воры сразу поняли, где мы находимся. «Вот он, вологодский конвой[15]!» - сказали они.

Отряд медленно приближался. Солдаты были в щегольской форме цвета хаки с особыми знаками отличия, в высоких кожаных сапогах и круглых фуражках с синим верхом и красным околышем. Мгновение спустя они были уже в поезде, и один из офицеров заговорил строгим, приказным тоном: «Приготовиться к высадке. Соблюдать порядок, и никаких разговоров! Вас поведут под конвоем, и любое нарушение этих правил в дороге будет сурово караться!»

Нас строем по одному вывели из поезда и повели через всю станцию, пока мы не приблизились к другому кордону вологодского конвоя, стоящему с винтовками и пулеметами наготове на привокзальном дворе. Пока нас строили, заключенный из другого вагона заметил, что я босиком. Он сунул мне пару пеньковых шлепанцев и прошептал: «На вот, надень!» Пока я их завязывал, была дана команда «марш». Дорога была неровная, особенно рядом с вокзалом, и я был благодарен за шлепанцы. Нас увели почти бегом, и конвоиры, из коих некоторые вели на поводках собак, не давали нам замедлить шаг вплоть до знаменитой вологодской пересылки[16], старого здания в городе, который и сам по себе очень стар.

При поступлении в вологодскую пересыльную тюрьму процедуры были иными, нежели в московских тюрьмах. Вологодские конвоиры были полностью в себе уверены. Взяв на себя группу заключенных, они никогда их снова не пересчитывали; они просто передавали заключенных и документы тюремщикам. Как гласит тюремный фольклор, этот конвой ни разу не упустил ни одного заключенного. Многие пытались бежать, и были либо затравлены собаками, либо застрелены. Поэтому вологодский конвой с его сноровкой и профессиональными методами был притчей во языцех среди заключенных. Вологодские конвоиры не были жестоки, просто ревностно держались за свою репутацию и поддерживали ее.

---

[15] О жестокости вологодского конвоя среди заключенных ходили легенды. Существовала даже поговорка: «Вологодский конвой шутить не любит». *Прим. пер.*

[16] Старая пересыльная тюрьма на пути в Архангельск и на Соловки. *Прим. пер.*

Вологодская пересыльная тюрьма состояла из больших подвальных камер, темных и сырых, со слизистыми, толстыми стенами, словно в темницах старых голливудских фильмов. Когда нас привели в подвал, наши данные проверили по документам, которые конвоиры передали тюремщикам. У нас спрашивали имя, фамилию, год и место ареста, статью, сколько дали лет, кто вынес приговор, был ли это судебный приговор или просто административное взыскание. Затем нас спрашивали, есть ли у нас какие-нибудь жалобы: по поводу процесса, приговора, того, как с нами обращаются и так далее. Потом нас спросили, хотим ли мы пройти медосмотр. Здесь, в Вологде, медицинское обследование производилось только по просьбе заключенного: имя заключенного записывали, а потом его вызывали на медосмотр.

После индивидуальной регистрации нас отправили в другую комнату и разделили на группы. Как только набиралось двадцать человек, их сразу отсылали в камеру. Камеры были большие, должно быть 100 футов в длину и 30 в ширину, с шестью окнами, снабженными, как обычно, металлическими решетками и щитами и расположенными высоко в стене напротив двери. В камере была только одна дверь. В середине двери было зарешеченное отверстие, но оно тоже было закрыто жестяным щитом. Тюрьма представляла собой весьма мрачное место с полом из шатающихся досок, которые скрипели и прогибались под ногами.

В центре комнаты имелись четыре огромных деревянных колонны, которые поддерживали поперечные балки высоченного потолка. Стены были заштукатурены и сплошь покрыты выцарапанными и написанными поверх штукатурки каракулями вплоть до того места, куда уже не могла дотянуться рука человека. Здесь были имена тех, кто был тут прежде, даты их прибытия, даты отбытия. Были и небольшие трогательные послания: «Увидите такого-то и такого-то, передайте, что видели мое имя»; «Попадете туда-то, найдите такого-то и скажите ему, что здесь был его сын». К этому, последнему, посланию было другим почерком приписано: «…и его дочь». Стена, в сущности, представляла собой этакую доску нестираемых объявлений для заключенных. Практически все по дороге к своему уделу рано или поздно на некоторое время попадали в Вологду. Поэтому здесь оставляли и послания вроде: «Такой-то умер на Лубянке», - чтобы как-то сообщить об этом друзьям и родственникам покойного.

Когда наша группа попала в камеру, в ней уже было более 150 человек, сидевших или лежавших на полу, потому что нар в камерах не было. В Вологде заключенные всех родов и видов ожидали, когда их отправят куда-нибудь еще. В нашей камере были в основном политзаключенные, но было также сорок-пятьдесят уголовников, как обычно, скучившихся в одном конце камеры. Фактически, наша большая камера представляла собой совокупность маленьких гетто. Каждая национальность толпилась в одном каком-нибудь углу, а новички обходили всю камеру, пока не встречали должный прием: литовцы - у литовцев, русские - у русских, кавказцы, поляки и латыши – у своих земляков.
Здесь, в Вологде надзиратели занимались нами мало. Мы были всего лишь этапниками, ожидающими очередного этапа, поэтому дисциплина была не слишком строга. Группы этапируемых могли находиться здесь от одного дня до шести месяцев в зависимости от времени прибытия. Потому что именно здесь, в Вологде, формировались этапы, или рабочие отряды, для различных лагерей и регионов. Иногда, если набирался какой-нибудь особенный этап, для его формирования требовалось много времени. С другой стороны, этап могли сформировать и за день.
Подобные условия постоянной текучки и нестрогой дисциплины были словно созданы для воров и уголовников, у коих имелась своя собственная организация, в которой им были рады повсюду. Через полчаса после нашего прибытия пятеро татуированных головорезов из дальнего конца камеры произвели обход помещения. «Что там у тебя? Дай-ка, посмотрим», - говорили они, осматривая новичка и заставляя его предъявить багаж, словно они какие-нибудь таможенники. Если на ком-то была хорошая одежда, они приказывали ему снять ее и обменять на старую. Но если на новичке была старая одежда, они требовали, чтобы он показал им содержимое сумки.
В тюрьме было жарко, и все стояли раздетые по пояс, в одних штанах или трусах, стараясь избежать любого усилия. Жара и проистекающее из нее нежелание большинства людей предпринимать какие-либо действия еще более облегчали дело уголовникам. Когда они приблизились ко мне, я стал озираться в поисках помощи; мои соседи смотрели в другую сторону. Поэтому «комиссия» забрала то, что не забрали уголовники в поезде, а к концу своего обхода они набрали уже целую гору вещей, некогда принадлежавших новичкам.
Однако в тот день их ждал сюрприз. Коренастый молодой парень встал по-солдатски посреди камеры и внушительным тоном призвал:

«Братцы! Давайте вспомним, кто мы и кем были! Я был майором танковой дивизии, не боялся ни бомбежки, ни вражеских пуль, ни других опасностей. Теперь я здесь, но я по-прежнему человек! Вы, большинство из вас - солдаты, сражавшиеся на фронте. И вы позволите этим ворам, этим бандитам испугать себя? Все, кого ограбили эти шакалы и кому хватает мужества, за мной! *Вперед!*»

В едином стихийном порыве толпа ринулась вслед за ним в угол, где толпились воры, и приперла уголовников к стенке. «А теперь давайте, - кричал солдат, - разбирайте свои вещи!» Тут воры кинулись спасать награбленное, и завязалась драка. Воздух наполнился криками, проклятиями и воплями боли, и тут же в камеру ворвались вооруженные надзиратели с оружием на взводе, затем еще надзиратели и наконец сам начальник тюрьмы.

Когда порядок был восстановлен, начальник тюрьмы приказал всем построиться у стены. Когда он спросил, что произошло, майор принялся неистово и горячо рассказывать, какой прием встретили новички со стороны уголовников. Другие заключенные поддакивали. К чести начальника тюрьмы, он тут же отобрал главарей уголовников и вывел их вон. Под наблюдением майора вещи, конфискованные уголовниками, были возвращены владельцам. Наконец главенство над камерой перешло от уголовников к майору и другим политзаключенным.

Все мы от этого выиграли. Прежде на раздаче пищи, как правило, верховодили уголовники и забирали себе львиную долю еды. Так, судя по рассказам заключенных, происходило везде. Воры, всегда организованные, терроризировали неорганизованных политзаключенных в любой ситуации, если их не останавливали.

Здесь, в Вологде, больше, чем где бы то ни было, самым обычным занятием были разговоры и обмен новостями. Поскольку заключенные здесь постоянно менялись, каждый надеялся, что если сам он не встретит своих друзей в пункте назначения, то хотя бы кто-то из сокамерников сможет принести им весть о его местонахождении. Однако одним из самых общительных был офицер по имени Булатов, который служил в армии генерала Власова, сражавшегося при обороне Ленинграда и перешедшего на сторону Гитлера со всей своей армией. Булатов с утра до вечера курил трубку, и, чем больше он дымил, тем страшнее становился его рассказ. Когда он начинал говорить, все кто находился в пределах слышимости, замолкали и слушали его.

Он рассказал нам, как однажды, после того как власовская армия перешла на сторону Гитлера, они обратились к Гитлеру с просьбой

предоставить им полную свободу действий в борьбе с Россией. Гитлер не соглашался. Вместо того он послал власовские отряды в Польшу, Чехословакию и балканские государства как карателей для подавления восстаний пленных. Их также использовали в качестве палачей в концлагерях, в основном чтобы казнить евреев.

Однако конца булатовских страшных историй мы так и не услышали. Они, как и все наше пребывание в Вологде, были прерваны объявлением о том, что мы должны подготовиться к этапу. Тут же каждый собрал свои пожитки и завязал их в узелок. Все торопились сказать друг другу последние прощальные слова и передать послания другим заключенным. Мы не знали, куда нас везут, но все знали, что путь будет долгим. Многим никогда не суждено было вернуться.

Надзиратели вывели нас во двор, где мы смешались с заключенными других камер, ища знакомые лица, надеясь услышать вести от друзей. Я надеялся услышать во дворе вести о других священниках, бывших в Вологде, но тщетно. Зато я нашел несколько поляков и как раз говорил с ними, когда ко мне обратился русский офицер. Он казался дружелюбным, но его интересовал не столько я, сколько мой чемодан. Он прямо спросил меня, не продам ли я его. Этот чемодан подарил мне мой друг-иезуит, когда в 1934 году я отправлялся в Рим, но он все еще был в отличном состоянии.

Поляки вокруг меня тут же принялись тараторить по-польски, давая советы: «Чемодан хороший. В дороге ты получишь за него много хлеба. Не продавай его сейчас». Русский терпеливо дождался паузы в нашем польском совещании и сказал: «Ну так что же?» Я был благодарен за совет, и был большой соблазн приберечь чемодан на будущее, чтобы получить за него хлеб в долгом пути на восток, но я не забыл и о дороге в Вологду, когда воры в поезде отняли у меня сумку и узелок и обыскали их. Я знал, что подобное вполне может повториться, и в следующий раз мне, возможно, повезет меньше, и чемодан мне не вернут. «Но если я вам отдам чемодан, - сказал я русскому, - куда я положу свои вещи?» - «Это мы устроим, - сказал он. – Подождите минутку».

Он исчез в одном из тюремных зданий и вернулся, неся холщовую сумку с холщовыми же ручками. «Эта подойдет?» - спросил он с надеждой в голосе. «Что ж, ладно», - сказал я. «Прекрасно, - сказал он, - сколько я вам должен?» Я понимал, что русский мог просто отобрать у меня чемодан, если бы захотел, поэтому я был тронут его вопросом. «Он ваш, - сказал я. – Вы ничего мне не должны. Вероятно, я все равно

потерял бы его». – «Не хотите денег?» - спросил он. «Нет, на что мне деньги? В лагере у меня все равно их отберут!» - «Погодите! – сказал он, подняв руку. – Обождите здесь минутку». Он снова ринулся с чемоданом в здание и вернулся с целой булкой хлеба. Он извинился, что ему не удалось достать больше, затем поблагодарил меня за щедрость. Так в Вологде мой американский иезуитский чемодан вступил в ряды Красной Армии; с тех пор я путешествовал налегке.

Вместо того чтобы приберечь хлеб на дорогу, я разломал его на кусочки и раздал их своим товарищам-полякам. Они приняли мой дар довольно радостно, но убеждали меня, что чемодан я отдал слишком дешево. «Зачем ты это сделал? – говорили они. – В дороге ты мог бы выручить за этот чемодан, по меньшей мере, полдюжины таких булок». – «Что ж, - говорил я, - что сделано, то сделано. Теперь не надо будет волноваться, что его украдут».

Сразу по прибытии в Вологду я обратился с просьбой выдать мне пару ботинок. И только теперь, когда мы уже собирались уезжать, мне их принесли. Они были старые, на три-четыре размера больше, чем нужно, но все-таки ботинки. Когда я наклонился, чтобы зашнуровать их, я услышал, как конвоир кричит: «Становись!» Шеренга уже уходила, и кто-то протянул мне мою холщовую сумку, когда я бросился догонять остальных. Мы уходили, махая на прощание тем, кто еще оставался в пересылке: они высовывали головы и руки из окон, чтобы помахать нам и прокричать слова ободрения. Нас снова сопровождал вологодский конвой, и снова нас погнали трусцой по вологодским улицам к станции.

От края до края запасного пути протянулась череда товарных вагонов. Было видно, что передние вагоны уже загружены, потому что вокруг стоял конвой и двери были закрыты. Нас построили вдоль запасного пути и велели ждать, пока нас не распределят по вагонам. Была середина июня, и солнце палило нещадно; жарко стало даже собакам. Они стояли подле конвоиров, высунув языки, тяжело дыша и пуская слюни, но все равно настороже. Если заключенный наклонялся, чтобы поставить на землю багаж или переступал в строю с ноги на ногу, собаки тут же начинали вертеться на поводке и смотреть на него. Наконец пришли чиновники и стали вызывать нас из строя по имени и распределять по вагонам. По очереди мы подбирали свои бесценные узелки со сменой одежды и корками хлеба и забирались в вагоны.

Это были специальные вагоны для заключенных, которые использовались для перевозки этапников из Вологды в Сибирь. Собственно, это были обычные товарные вагоны с прибитыми по обоим

концам вагона балками, на которых крепились доски, служившие нарами. Нары были расположены в два яруса, один над другим, и нужно было быстро решить, хочешь ли ты верхнюю полку, чтобы выглядывать в одно из четырех маленьких расположенных под потолком окошек, или нижнюю, поближе к полу, чтобы можно было передвигаться свободнее. Вдоль стен, по обе стороны от дверей, также были двухъярусные нары, но они были гораздо уже. В середине вагона имелась маленькая печка с трубой, уходящей сквозь крышу, что было явно лишним в июньскую жару. Помимо этого единственным предметом обстановки была параша подле одной из дверей. По обе стороны вагона, за пределами отделения для заключенных, имелись маленькие площадки для конвоиров, которые сопровождали эшелон на всем продолжении пути.

В вагонах заключенные размещались, стараясь, по возможности, найти товарищей и знакомых и получше устроиться, ведь впереди их ждал долгий путь. Из тридцати человек, которых набили в вагон, десять были обычными уголовниками, остальные – политическими. Но дневальным нашего вагона конвоиры назначили уголовника по фамилии Волков. Воры всегда были классом привилегированным – по крайней мере, в том смысле, что умели сбивать с толку и держать в благоговейном страхе охрану, - поэтому им почти всегда удавалось стать хозяевами положения.

Волков ознакомил нас с полученными им предупреждениями: если кто-то попытается бежать или в вагоне будет замечен любой знак готовящегося побега: расшатанные доски, расшатанные решетки на окнах, какие-то повреждения двери, - виновные будут наказаны. Каково будет наказание, указано не было, но, вероятно, имелся в виду дополнительные срок в тюрьме или лагерях принудительных работ. Остальные слушали его безучастно: подобные предостережения звучали настолько часто, что едва ли нуждались в повторении.

Весь этот знойный день поезд простоял на запасном пути. Однако, погрузив нас в вагоны, двери сразу же закрыли, и теперь в вагоне было удушающе жарко. Вскоре люди сидели уже до разной степени раздетые. Я избрал место на верхнем ярусе в конце вагона, противоположном тому, где расположились уголовники. Моими попутчиками были трое молодых солдат, арестованных в Германии за самовольную отлучку.

Я представился им как американец, и они не переставая забрасывали меня вопросами об Америке. Они были как раз из тех частей Красной Армии, которые объединились в Германии с американцами; они бесконечно пели хвалу американским солдатам и не могли наслушаться

про жизнь в Америке, которая поражала и завораживала их. Другие тоже столпились вокруг, чтобы послушать про Америку, и вскоре я уже беседовал более чем с половиной вагона.

Как всегда, воры считались только с собственным законом. Молодые льнули к Волкову, словно цыплята к матери-курице, чистили его нары, подметали полы, мыли за ним посуду и выполняли все его приказания. В основном они были народ довольно буйный. Их шумные игры в карты и в кости обычно заканчивались дракой, которую мог унять только Волков; его решения не оспаривались. Если молодым они не нравились, им устраивали небольшую взбучку, поэтому, как правило, они соглашались с его решениями молча.

Несмотря на то, что нам было обещано трехразовое питание, кухня находилась в конце эшелона, и пищу приносили только тогда, когда поезд стоял достаточно долго, чтобы можно было разнести пищу по вагонам. Иногда нам выдавали двойную порцию хлеба и говорили, что этого должно хватить нам на два дня. Как правило, баланду и кашу подавали вместе, под вечер, и мы понимали, что ужина не будет, потому что вечером не будет остановок. Воду тоже приносили только один раз в день, поэтому все пили, сколько могли. У некоторых солдат еще сохранилась походная посуда, и они наполняли ее, и одно ведро воды оставалось в вагоне на весь день.

Разумеется, о гигиене, даже в самом элементарном смысле слова, не могло быть и речи. Чистить зубы не было никакой возможности, а чтобы грязь не застревала под ногтями, мы их обкусывали. Когда приносили воду, мы зачерпывали ее пригоршнями прямо из ведра и промывали ею глаза, чтобы ослабить жжение от дорожной пыли и своего собственного соленого пота. В таких путешествиях паразиты кишели кишмя; после нескольких дней пути каждый начинал непрестанно рассеянно чесать ту или иную часть своего тела. Мы также страдали от боли в ногах, спине и ягодицах, потому что в вагоне не было места, чтобы размяться, а наружу из вагона никогда не выпускали.

Уголовникам откуда-то стало известно, что путь мы держим в Красноярск, большой город на реке Енисей, где-то на полпути через широкие сибирские просторы, через которые пролегает Транссибирская железнодорожная магистраль. По прямой линии от Москвы до Красноярска, должно быть, миль 1800, но по железной дороге это более 2500 миль. Пассажирские поезда доезжают от Красноярска до Москвы менее чем за четверо суток. Примерно такое же расстояние между Чикаго и Лос-Анджелесом, и дорога занимает примерно столько же

времени. Однако нам потребовалось свыше двух недель, чтобы проделать тот же путь. Если учесть, что Вологда недалеко от Москвы, а Красноярск находится ближе к Тихоокеанскому побережью России, чем к Уралу, то можно получить приблизительное представление о необъятных просторах СССР.

Выяснив, что нас везут в Красноярск, мы попытались определить, какие города на Транссибирской железнодорожной магистрали нам предстоит миновать: Киров, Пермь, Свердловск, Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Томск, Ачинск и Красноярск. Те, кто знал что-нибудь об этих городах, описывали их, чтобы мы их узнали, когда будем проезжать мимо, да и вообще, чтобы о чем-то поговорить. Подолгу мы стояли на нарах и, вытянув шеи, пытались разглядеть через маленькие окошки под потолком окружающую природу. У окошек все время кто-то стоял, даже ночью.

Часами ничего не было видно, кроме пустынной местности, в основном болотистой, с толстыми, жесткими травяными кочками, тайги, совершенно ровной, но где-то вдалеке переходящей в горы. Там и сям виднелись хибарки железнодорожников, которые обслуживали эту единственную и жизненно важную артерию, соединявшую Восток с Западом. Городов почти не было. Те, что были, находились практически всегда либо на самой железной дороге, либо на какой-нибудь реке или водоеме, которые сплошь оплетают эту часть страны. Если не считать бесчисленных болот, Сибирь 1946 года выглядела так, как, должно быть, выглядел великий американский Запад, когда там только начинали прокладывать первые железнодорожные пути.

Города состояли, как правило, из единственной улицы, очень грязной, с типично русскими избами – из бревен или нетесаных досок со штукатуркой в щелях. Возле каждой избы был огород, а вокруг, во все стороны, простиралась земля, но возделанной было совсем мало. Мы останавливались только в городах побольше. На этих остановках нам и выдавали еду, иногда весь дневной паек сразу: 600 граммов хлеба, пол-литра супа и 200 граммов каши.

Волков руководил раздачей и заставлял своих «мальчиков» выдавать пайки. Каждому вагону выдавалось всего около десяти мисок и деревянных ложек и три жестяных кружки. Мы пользовались ими по очереди. Волков всегда обслуживал политзаключенных первыми, выравнивая каждый половник еды при помощи ножа, чтобы не было горок. То, что оставалось в котле после его тщательного отмеривания, доставалось, разумеется, ему и «мальчикам». Политические

воспротивились. Они хотели, чтобы он чередовал порядок раздачи, начиная то с политических, то с уголовников. Волков отказался.
Конфликт достиг своего апогея во время одной остановки на обед. Политические протестовали так яростно, что завязалась драка. Волков и его «мальчики» взялись за ножи; другие заключенные принялись отрывать от нар доски. Однако во время разноса еды двери были открыты, поэтому скоро вмешались конвоиры. После этого случая порядок раздачи чередовался, и мы жили, можно сказать, в ситуации вооруженного перемирия.
Монотонности местности, по которой мы ехали, вторила и монотонность самого путешествия. Делать было нечего, вагоны были неудобны, и через несколько дней все темы для обсуждения иссякли. Все чувствовали себя пыльными и грязными, всем было жарко. Двери плотно не закрывались; между досками стен и полов тоже имелись щели. Когда мы приехали в Красноярск, все были черны от грязи и копоти. На лицах были только белые дыры, из которых выглядывали красные глаза.
В начале июля мы достигли последнего отрезка пути. Местность стала холмистой, вокруг высились склоны, поросшие густым и высоким сосновым лесом, хвойными растениями и болиголовом. По пути встречалось множество тоннелей. В Красноярске мы прибыли рано утром, и все столпились у четырех маленьких окошек, чтобы краем глаза увидеть город на реке Енисее. В сущности, река делила город на две половины, и до прошлого года железнодорожный мост был единственным связующим звеном между берегами. С берега на берег переплавлялись на лодках или на пароме. Сам город, важный железнодорожный узел в верховьях Енисея, тянется по обоим берегам, подобно тому, как Сент-Луис тянется по берегам Миссисипи, а Канзас-Сити – по берегам Миссури.
На нашей станции в Красноярске мы простояли почти час. Было слышно, как впереди выгружают заключенных, лают собаки, солдаты отдают распоряжения. Наконец, открыли и нашу дверь, стали делать перекличку, и мы, один за другим, принялись спрыгивать на землю. От недостатка движения ноги мои ослабли; когда нас построили рядами по четыре человека, мне казалось, что ноги у меня сделаны из резины. Вологодский конвой, сопровождавший нас до самого Красноярска, снова погнал нас уже знакомой трусцой. Мы ковыляли так быстро, что один ботинок свалился у меня с ноги. Я попытался поднять его, но

конвоир заорал, чтобы я не останавливался, да еще мне помешал мой собственный узелок, так что ботинок я потерял.
К пригородной пересыльной тюрьме мы шли не по городу, но окольным путем. Это было просто большое скопление бараков в чистом поле, окруженное двойной оградой из колючей проволоки. Сквозь тюремные ворота нас провели на открытую огражденную площадку между бараками, где велели сидеть группами и не смешиваться с другими заключенными. После такой пробежки и двух недель почти полной неподвижности мы были рады возможности вытянуться на земле.
Пока я сидел там, упиваясь свежим воздухом, ко мне подполз другой заключенный с моим ботинком. Он подмигнул мне и пробормотал: «В следующий раз крепче завязывай», - потом шмыгнул назад, в свою группу. За свой поступок он получил от конвоя выговор, и я был тронут.
Здесь нас наконец вымыли и постригли. Потом мы стояли вокруг голые, но вновь чувствующие себя людьми, пока нашу одежду выпаривали и дезинфицировали. Заключенных было много, так что это занимало довольно много времени, но по окончании дезинфекции каждая группа получала котел баланды. Но ложек и мисок не было, так что некоторые заключенные вынули из узелков старые консервные банки, которые подобрали в мусоре на вокзалах, и мы по очереди стали есть из них. Они были ржавые и протекали, но каждый протирал свою банку рукавом или шапкой, а доев, вылизывал ее дочиста и передавал следующему.
Один поляк в нашей группе, беззаботный малый по имени Андрей, отдал мне свою банку, когда доел. Когда я вернулся со своей порцией, он сказал, чтобы я доедал, как можно быстрее, и шел за ним. Он обошел нашу группу, снял бушлат, вынул из узелка другую рубашку и отправился за новой порцией. Жадно проглотив ее, он снова отдал мне банку, но я боялся следовать его примеру. Узелок я оставил в группе, поэтому другой одежды у меня не было. «Давай, - сказал Андрей, - здесь все новые, они нас не различают».
Я был так голоден, что решил попытаться - невзирая на возможные последствия. Когда я протянул свою банку, дневальный наполнил ее, даже не взглянув в мою сторону. Я был так поражен, что едва не выронил жестянку. Когда я доел, Андрей пошел и проделал весь трюк снова. Однако баланды в котле оставалось уже мало, и дневальный становился все более подозрителен. Я подумал, что не стоит испытывать судьбу и рисковать снова.

После еды на открытой площадке поставили несколько длинных столов. «Комиссия» - служащие пересыльной тюрьмы и представители северных лагерей, приехавшие «нанимать» рабочую силу, - стала вызывать нас по одному и подзывать к столу, чтобы задать обычные вопросы и окинуть беглым взглядом. На площадке было очень жарко, и многие заключенные поснимали рубашки, чтобы насладиться солнцем. Наблюдая за перекличкой, я был поражен тем, какими худыми и изможденными были все этапники; я едва мог отличить их друг от друга. Однако эксперты за столом знали, чего ищут, и сообщали о своем выборе представителям тюрьмы.

Внезапно я услышал голос начальника тюрьмы: «Липинский!» Я подошел к столу; мне велели назвать имя и фамилию. «Липинский, - сказал я, - Владимир Мартынович». – «А что здесь еще за имя?» - спросил начальник. «Чишек», - сказал я и попытался объяснить. Он спросил, в каком году я был арестован, когда был приговорен и по какой статье обвиняюсь. Когда я сказал: «58:6», - он снова посмотрел в бумаги. «А, ватиканский шпион, - сказал он. – Вон туда».

Я предстал перед столом, где секретари заполняли разные документы. Это тоже были заключенные, в основном бывшие учителя и бухгалтеры. Вместо того чтобы посылать их в лагеря, их оставили здесь, в Красноярске, чтобы они помогали с бумажной работой, которая представляла собой серьезную проблему в этом центре, где заключенных распределяли в северные лагеря. Один из секретарей, который слышал, как начальник тюрьмы назвал меня «ватиканским шпионом», смотрел на меня с любопытством. Записывая в своих бумагах мои данные, этот молодой львовский еврей исподтишка заговорил со мной по-польски.

«Вас распределили на тяжелые работы в Норильск, - сказал он. – Вы не священник?» Я кивнул. «Слушайте, - сказал он, - вам предстоит медосмотр, и один из главных врачей – поляк из Лиды (городка недалеко от Альбертына). Доктор Баровский. Вы его знаете?» Я покачал головой. «Что ж, запомните это имя и постарайтесь попасть к нему, когда будете проходить медосмотр. Дайте ему знать, что вы священник. Возможно, ему удастся помочь вам получить работу полегче или даже остаться здесь в Красноярске, вместо того чтобы ехать на север. Наверно я вас еще увижу здесь, в лагере, но удачи!»

Теперь к его столу уже направлялся следующий этапник, так что мне пришлось отойти. Конвоиры немедленно втолкнули меня в очередь на медосмотр, который проходил в палатке, представлявшей собой

своеобразное полотняное продолжение больничного лагпункта. Вход в палатку был открыт, но ветерок был очень слаб, и воздух в палатке был пропитан едим запахом спирта и эфира. Большинство врачей были также заключенными, которых оставили здесь, в Красноярске, потому что они были нужны.

Каждый врач, освободившись, принимал следующего в очереди пациента. Я пытался определить, кто же из них поляк из Лиды. Наконец, я спросил у одного из ассистентов: «Кто здесь доктор Баровский?» Я посмотрел туда, куда он мне указал, затем стал пытаться попасть к нему в очередь. Когда он отпустил следующего пациента, человек, стоявший в очереди прямо передо мной, направился в его сторону. Но я обогнал его и первым скользнул в кабинку Баровского. Когда я пролез вперед него, он тихо выругался, но я даже не потрудился взглянуть в его сторону. Просто пошел своей дорогой к доктору.

Доктор Баровский посмотрел на меня и сказал по-русски с сильным акцентом: «Что беспокоит?» Хотя врачи были из заключенных, они находились под надзором русских женщин-врачей, а рядом стояла охрана, поэтому нужно было держать ухо востро. «С сердцем плохо», - сказал я. Доктор Баровский принялся простукивать мою грудь и слушать меня стетоскопом. «Здесь болит? – спрашивал он по-русски. – А здесь?» - «Нет, - сказал я по-польски, - вот здесь».

Доктор окинул меня быстрым взглядом, потом посмотрел по сторонам, чтобы проверить, кто стоит поблизости. Когда он снова посмотрел на меня, я добавил по-латыни: «Polonis sacerdos»[17]. Он кивнул в знак понимания. Потом приступил к долгому, трудоемкому осмотру, обследуя меня сантиметр за сантиметром. При этом он тихо, себе под нос, непрестанно приговаривал что-то по-польски, так, чтобы казалось, будто он говорит сам с собой, но достаточно громко, чтобы я мог его слышать. Он спросил меня, откуда я. Я ответил: «Из Альбертына». Он сказал, что жил недалеко оттуда, в городке Лида.

«Я вам пропишу кое-какие лекарства, - сказал врач, - так что отправляйтесь с моим секретарем в аптеку». Я проследовал за секретарем в аптеку. Для начала он дал мне три или четыре стакана холодной воды, потому что я начал ослабевать от палящего солнца во дворе и от духоты медпункта. Он также дал мне кое-какие витамины, чтобы я запил их водой. Быстро, чтобы наше долгое пребывание в аптеке не вызвало подозрений у конвоира, он рассказал мне, что он

---

[17] Польский священник (лат.). *Прим. пер.*

тоже священник и по просьбе доктора был назначен его помощником в лагере.

«Доктор, - сказал он, - постарается оставить и вас. Удачи!»

Как только я вышел из аптеки, конвоир сразу отвел меня в большой временный барак, где было мало окон и рядами стояли двухъярусные нары. Здесь размещали этапных на время формирования групп для отправки в северные лагеря. Немногочисленные окна барака были наглухо закрыты, воздух был спертый, стояла духота и отвратительная вонь. С испугом я понял, что я – один из немногих политзаключенных в бараке. Остальные были в основном молодое хулиганье и шпана, разбавленное одним-двумя уголовниками постарше, которых молодые превозносили и слушались.

Не прошло и нескольких минут, как один из воров отнял у меня весь хлеб, который мне удалось сберечь, рубашку и пару носков из моей полотняной сумки. Я был в ярости. Я принялся объяснять всем, кто мог меня слышать, что считаю этот постоянный грабеж недопустимым и что уголовники – худшие враги заключенных. Один из главарей услышал, как я неистовствую, и неторопливо приблизился. «Что ты сказал?» - произнес он с самодовольной ухмылкой. Я ответил: «Нет ничего хуже, чем повстречаться с уголовником».

Он был в игривом настроении и стоял передо мной притопывая ногами и перекидывая что-то из руки в руку. «Ах, вон как, - сказал он, - так, по-твоему, уголовникам надо головы поотрубать, а?» - «Нет, но я просто хочу, чтобы они знали, кого грабят!» Он посмотрел на меня искоса. «Ты что, особенный?» Его отношение разъярило меня еще больше. «Нет, я не особенный. Я просто заключенный, такой же, как все. В том-то и дело. Все мы здесь заключенные! Мы все в одинаковом положении! Если хотят грабить, пусть грабят тюрьму, пусть грабят русских. Но зачем грабить заключенных? У нас и так достаточно проблем, а мы еще будем грабить друг друга!»

Он перестал ухмыляться и на минуту уставился на меня, потом пожал плечами и отошел. Он слонялся среди молодых воров, останавливаясь поговорить то с тем, то с этим. Я боялся, что надвигается какая-нибудь серьезная беда, но через несколько минут он, улыбаясь, вернулся с моей одеждой: хлеб давно съели. Отдавая ее мне, он сказал с ухмылкой: «На твоем месте я бы изменил свое мнение об уголовниках!» Я ничего не ответил, просто взял одежду и посмотрел на него без улыбки. Наконец он снова пожал плечами и пошел восвояси. Но больше в этом бараке меня не трогали.

В тот вечер после ужина надзиратель вызвал меня, отвел в санчасть и провел в одну из небольших кабинок. Сам он остался снаружи. Доктор Баровский сидел за столом; вместе с ним в кабинке за другим столом сидела молодая медсестра, глядевшая на меня с подозрением. Доктор знаком велел мне молчать, потом попросил раздеться до пояса. После короткого осмотра он велел медсестре приготовить какое-то лекарство. Мне он сказал присесть и стал мерить давление.
Когда медсестра ушла в кабинет готовить лекарство, доктор Баровский прошептал: «Мне не удалось оставить вас здесь. Я пытался пустить в ход кое-какие связи, но это оказалось просто невозможно. Думаю, у них уже возникли какие-то подозрения, потому что я задерживаю здесь слишком многих. Я вызвал вас сегодня, чтобы сказать вам, как обстоит дело. Мне очень жаль». Тут вошла девушка с лекарством. Она дала мне несколько таблеток и бутылочку, которую нужно было взять с собой. Под ее наблюдением я проглотил таблетки и удалился.

В трюме буксира «Сталин»

На следующий день рано утром во всех бараках объявили, что формируется этап для отправки в Норильск. Нам было велено собрать вещи и явиться на открытую площадку посреди тюрьмы. Вся площадка была битком набита заключенными. Многие провели здесь месяцы, ожидая, пока в Красноярск привезут достаточно заключенных, чтобы их доставка по реке в Норильск была «экономной». Наш эшелон, должно быть, как раз восполнил недостающее количество людей, потому что в Норильск мы отправились через два дня после приезда.
И снова во двор были выставлены длинные столы для комиссии. Нас начали вызывать поименно и распределять по группам. Наконец довольно неровным и беспорядочным строем мы направились к Енисею. Уже на берегу я оглянулся. По дороге двигалась целая армия заключенных. Более 200 заключенных влачилось в сторону реки с узелками за спиной или через плечо. На реке вдоль берега выстроилась вереница барж. Сходни спускались с берега прямо в трюм. Когда вся армия узников достигла реки, мы выстроились группами вдоль берега и стояли в окружении конвоиров, ожидая своей очереди на посадку.
Нас опять стали вызывать поименно, и каждый подходил к столу, где лежали бумаги, по которым еще раз проверяли его имя, фамилию, пункт назначения (Норильск), статью и приговор. Затем, группами по десять-двадцать человек конвоиры вели заключенных по берегу к сходням и сажали их в трюмы. Конвоиры с собаками сопровождали людей до

самого трюма, чтобы они не сбежали – или не утонули, – спрыгнув в реку.
Я просидел там весь день, наблюдая процесс. Меня вызвали только вечером. Затем меня проверили и включили в особую группу, которая стояла по одну из сторон стола. Нас отвели не на баржу, а на буксир «Сталин», который должен был тянуть все баржи по реке. По сходням мы взошли на палубу, потом через маленький люк нас всех согнали в корабельный трюм.
На «Сталине» было два больших трюма: один перед машинным отделением, а другой в кормовой части. Нашу группу погрузили в задний трюм. Это был большой, темный подвал с закругленными деревянными стенами, обшитыми снаружи железными листами. Второе дно из необработанных досок возвышалось над килем и простиралось примерно на 10 футов с каждой стороны от вала винта. У стены доски заканчивались, и изогнутые деревянные балки поднимались на 3-4 фута по изгибу корпуса: на дне между ними скапливалась трюмная вода. Вдоль переборки машинного отделения у подножья люковой лестницы проходила длинная платформа из необработанных досок, укрепленная на некотором расстоянии от пола. Такая же платформа шла и вдоль кормы. По центру трюма проходил ряд толстых стоек, поддерживающих палубу. К обеим сторонам этих колонн также крепились дощатые платформы. Это были наши нары.
Когда мы спустились в люк, мы, поляки, собрались у подножья лестницы, возле передней переборки. Как обычно, каждый старался держаться рядом со своими знакомыми; еще на берегу мы договорились, что тот, кто первым спустится в люк, постарается занять места для остальных. Уголовники тоже держались вместе; они заняли нары вдоль кормы. Другие заключенные заполнили центральные нары, а некоторые даже решили расположиться вдоль наклонных стен корпуса. Конвой остался на палубе. Двое конвоиров караулили прямо у выхода, возле люка, а над кормовой частью трюма в палубе имелся люк, через который конвоиры могли наблюдать за заключенными. Там стояло еще двое конвоиров.
Было 2 июля. Солнце палило нещадно, и находиться в трюме вскоре стало просто невыносимо. Древесина корпуса была покрыта какой-то смолой, распространявшей едкий запах. Воздух мог поступать только через люк, смотровое отверстие над кормой и практически бесполезные иллюминаторы высоко под потолком трюма. Почти все разделись, и

воздух в трюме стал таким спертым, что смрад пота, смешанный с вонью табачного дыма и смолы, ощущался скорее на вкус, чем на запах.
В том, что мы попали на «Сталин», хорошо было одно: здесь же находился и камбуз. Поэтому кормили нас вовремя и без перебоев. Между семью и восьмью утра мы завтракали: 600 граммов хлеба и кипяток. Между двенадцатью и часом обедали: пол-литра баланды. Затем, в шесть часов вечера, был ужин. На «Сталине» каша была особенная: это была так называемая пшенная каша, широко известная в России, имеющая желтый цвет и приготовляемая скорее из кукурузы, чем из крупы.
В трюм впихнули 400 человек, так что там практически невозможно было пошевелиться, не повалившись на своего соседа. На 400 человек выдавали пятьдесят мисок. Ели мы по очереди. И, как всегда, ответственными за раздачу пищи конвой назначил уголовников. С нашего местечка у подножья лестницы очень удобно было наблюдать за процессом раздачи у кормы. Мы заметили, что, когда главарь нарочито взбалтывает баланду черпаком, чтобы показать, как он тщательно все перемешивает, черпак всегда остается, по меньшей мере, на фут от дна. И самый густой суп лежит на дне нетронутый. Разумеется, политические всегда получали первые, то есть самые жидкие порции.
Первые два дня мы сидели в жарком трюме и ждали. Палубы «Сталина» и барж грузили машинами, рельсами, металлическими изделиями, скотом и продукцией, которую предстояло отправить вниз по реке. Когда погрузка была завершена, стало видно, что палубы барж находятся почти в уровень с поверхностью воды, а трюмы полностью скрылись под водой. На третий день двигатели «Сталина» заработали. Они были прямо за нашей переборкой, и шум стоял необычайный. Кроме того, стоял невыносимый запах машинного масла и угольной гари, а вибрация была такой сильной, что я не мог сфокусировать зрение - перед глазами все расплывалось - и говорил гортанным голосом, который вибрировал в такт кораблю.
От жары и угара у нас вскоре начала не переставая болеть голова. Переборка стала невыносимо горячей. Мы были вынуждены сползти с нар и лечь на пол, чтобы подышать более прохладным воздухом на досках. В результате говорили мы мало. Все толпились на полу, стараясь не обращать внимания на жару, на шум, на вибрацию – и на то, что голова раскалывается от боли.

Когда корабль плыл по реке, его непрестанно качало. Речное течение подхватывало баржи и носило их из стороны в сторону, и «Сталин» постоянно кренило буксирным тросом то вправо, то влево.
К концу первой недели политические, которых было больше чем уголовников, организовались. Однажды, когда в трюм принесли суп, несколько политзаключенных приблизились к уголовникам и велели им присесть. «Теперь для разнообразия вы можете понаблюдать за нами, чтобы мы не сделали чего не так, но разливать баланду сегодня будем мы». Уголовники сказали им идти, откуда пришли. Политические не сдвинулись с места. «Мы хотим, чтобы баланда раздавалась честно и поровну, - сказали они. – Эта пища – единственное, чем мы живы, а вы, кровососы, забираете себе все самое лучшее, а нам отдаете одну воду. А теперь отойдите!»
Тут главарь уголовников врезал говорившему все это политзаключенному по лицу и повалил его на пол. Почти одновременно с этим он выхватил нож. Начался настоящий мятеж. Политические со всего трюма устремились в сторону кормы, прижимая уголовников к стенке. Я видел, как в руках у уголовников засверкали ножи, а некоторые из политических принялись отрывать доски от пола и с разбегу бросаться на воров. Крики мятежников смешивались с воплями раненых. Кровь брызгала на доски и заливала лица мятежников. Если кто-то падал, его просто растаптывали.
Через считанные секунды конвоиры были уже внизу и кричали, чтобы мы прекратили драку, или они откроют огонь. Это было бесполезно. Из-за шума двигателя и криков толпы их слов просто не было слышно. Вниз по лестнице сбежал офицер и тоже принялся кричать, но тщетно. Тогда он отдал приказ, и солдаты, взяв пулеметы, открыли стрельбу от бедра. Пули ударялись о доски прямо над головами мятежников, отскакивали рикошетом от стены и кружили по трюму. Не замешанные в драке тут же бросились на пол и прижались к доскам.
Когда первая пулеметная очередь ни к чему не привела, солдаты взяли ниже. Пули перестали барабанить о стену и стали с глухим звуком входить прямо в человеческую плоть. Люди падали как подкошенные. Целая шеренга мятежников полегла, словно кукурузные стебли под косой. Это остановило мятеж. Солдаты сошли с лестницы на пол и заставили всех встать с поднятыми руками лицом к стене.
Затем вниз через люк устремились санитары, чтобы вытащить из трюма мертвых и стонущих раненых. Мне неоткуда было узнать, сколько человек они вынесли, ведь мы стояли лицом к стене под дулом

пулемета. Убрав с пола тела, санитары принялись смывать с досок кровь и посыпать стены и пол дезинфицирующим средством. Наконец конвоиры велели нам разойтись по местам в полном молчании. Сами они простояли на лестнице всю ночь с пулеметами наготове, не позволяя никому двигаться с места и разрешая только по одному ходить на парашу.

Примерно через час в трюм пришла комиссия, состоявшая из корабельных офицеров и некоторого количества конвоиров. Вопросов они задавали очень мало. Они прохаживались перед нарами, озирая толпу, и время от времени грубо приказывали кому-нибудь из заключенных: «Встать!» Отобрав таким образом некоторое количество заключенных, они повели их наверх, на допрос, а потом перевели до конца пути на одну из барж.

В сущности, это происшествие бросало тень на самих офицеров; им предстояло ответить за заключенных, которых они потеряли. В Красноярске им доверили определенное количество этапников, и то же количество они должны были доставить в Норильск – или убедительно обосновать недостачу. Этих заключенных приговорили к тяжелым работам; их везли через всю Россию и все это время кормили, и они должны были возместить эти расходы собственным трудом там, где их ждут. Расстрел такого количества рабсилы не мог не отразиться на карьере как конвоиров, так и офицеров. Им предстояло доказать, что они прибегли к оружию только тогда, когда все остальные средства были уже исчерпаны.

В ту ночь мало кто из нас спал. Слишком свежи были воспоминания о кровопролитии; сцены резни и свист пуль, с глухим звуком погружающихся в человеческую плоть, слишком живо стояли перед глазами, чтобы можно было о них не думать. После этого, однако, пищу распределяли честно. Теперь нас сильно поубавилось, и пищи хватало даже на то, чтобы каждый мог получать добавку хотя бы раз в два дня. Несколько дней конвоиры оставались на лестнице, но потом вернулись на палубу. Жизнь снова вошла в свою обычную колею: монотонно шумел двигатель, корабль качало из стороны в сторону, мы же целыми днями боролись с головной болью от шума и угара.

В Дудинку мы прибыли 22 июля. В то время весь город умещался на берегу, вдоль которого тянулись дома и вдающиеся в реку причалы. Позже заключенные построили там большой порт, но в то время река в этом месте была такой мелкой, что «Сталин» даже не мог пристать к берегу, чтобы выпустить нас на причал. Мы даже не поняли, когда

именно мы прибыли. О конце пути мы догадались только по замедлившемуся рокоту мотора и по громыханию цепей на берегу. Пронзительно заскрипели лебедки, послышался громкий всплеск опускаемого якоря. Моторы заработали было быстрее, чтобы опустить якорь, но тут же, закашлявшись, замолкли.

Мы тут же ощутили холод. Как только перестала работать топка, трюм «Сталина» превратился в огромный холодильник. В ожидании мы надели на себя всю одежду, какая только у нас нашлась, и сидели в трюме, прислушиваясь к отдаваемым на берегу командам и плеску воды о борт корабля. Некоторое время спустя мы услышали плеск весел о поверхность воды и громогласное приветствие «Сталину». В конце концов мы услышали треск опускаемых сходней и, наконец, неровный и приглушенный, но пронзительный свисток «Сталина» - сигнал к разгрузке.

К люку приблизился отряд солдат, затем они спустились до середины лестницы и выстроились на ней с обеих сторон. По лестнице между рядами солдат спустился офицер и сказал нам: «Это Дудинка! Сейчас вы построитесь и по очереди покинете судно малыми группами по десять человек. Становись! Становись! Любой признак беспорядка или попытки бежать повлечет за собой немедленную смерть. Моим солдатам приказано стрелять в каждого, кто по той или иной причине выбьется из строя!»

Когда, щурясь от солнечного света, мы вышли на палубу, то, к своему удивлению увидели, что идет снег! Всего две недели назад, когда мы покидали Красноярск, там стояла изнурительная жара. На ничем не защищенной от ветра палубе было так холодно, что мы начали задыхаться, ловя ртом воздух, и принялись нагромождать на себя всю одежду, какая еще осталась в наших узелках. Царила страшная неразбериха, потому что каждый старался встать с подветренной стороны от другого. «Боже мой, - сказал мой сосед, - да тут зима! Что ж делать-то?»

Вода в Енисее была мутная и неровная; над водой поднимался холодный воздух. Это был особый, жалящий холод, который проникал через всю нашу одежду и пронизывал нас насквозь. Солдаты были уже одеты в длинные шинели по самую щиколотку и подняли воротники, чтобы защититься от ветра. Небо было облачным и почему-то выглядело очень, очень далеким, и крапчато-серый свод у нас над головой казался бесконечно высоким.

В первый раз знаменитая Сибирь открылась мне с палубы буксира «Сталин». Местность, простирающаяся вдаль от берега, была ухабистой и холмистой, но сама земля была совершенно голой, лишь там и сям встречались островки, поросшие утесником и кустарником. На другом берегу реки, которая в этом месте была более 2 миль шириной, можно было различить только синие контуры холмов. На нашей стороне реки, где-то вдалеке от берега виднелось нечто похожее на красноярский пересыльный лагерь: скопление бараков, окруженное черными штрихами колючей проволоки.

Сама Дудинка представляла собой просто длинную вереницу бревенчатых изб, которые казались жалкими и запущенными на фоне серо-голубого пейзажа и, переваливая через холм, беспорядочно тянулись вдоль реки. Единственное большое здание в городе располагалось на холме над рекой. Это было портовое управление, которое управляло причалами и железнодорожной станцией. Севернее, ближе к морю, на якоре стояли большие пароходы, а вдоль берега к северу тянулась огромная черная гора угля, который предстояло погрузить на корабли. Группами по десять человек мы спускались по сходням в гребную шлюпку. Мои ноги снова затекли от недостатка движения и онемели от холода. Это было все равно что пытаться ходить, когда ноги спят. Нас отвозили к берегу, выгружали, и шлюпка тут же возвращалась за новой группой, непрестанно снуя туда и обратно. Прибывающих на берег встречали конвоиры, отводили по берегу ярдов на 200 и велели сесть.

Снег уже почти перестал, но дул холодный северный ветер. Дудинка находится далеко за Полярным кругом; речные берега и холмы по обеим сторонам Енисея образуют канал, по которому поступает сюда полярный ветер. Когда ветер дует с севера, поднимается настоящий полярный ураган. Чтобы на шлюпках переправить на берег 2000 заключенных, перевозя десять человек за раз, требуется много времени. После разгрузки «Сталина» начали разгружать баржи. И все это время мы толпились на берегу на пронизывающем холоде. И это было 22 июля!

Углепогрузчик в Дудинке

Я смотрел, как выходят из шлюпок и неуклюже взбираются на берег заключенные. Конвоиры заставляли их держаться ровными рядами, и они, ежась и крепко прижимая к себе свои узелки, чтобы согреться, шли, опустив глаза, в жалобном молчании. Потом вдалеке, на дороге к

городу, я заметил большие колонны заключенных, которые двигались в нашу сторону. Некоторое время я наблюдал за их приближением, гадая, откуда они прибыли и куда идут, новые это заключенные или они здесь уже давно. Между тем буксиры подтягивали разгруженные баржи к берегу.

Когда мы уже были готовы двигаться, колонны заключенных прошли мимо нас. Это шли на работу рабочие бригады. Увидев нас, они сразу оживились, а подойдя ближе, стали приветствовать нас, крича: «Вы откуда? А такой-то там был? Есть кто-то из Москвы, из Ленинграда? Что вы за заключенные?» Мы стали что-то кричать им в ответ. Конвоиры принялись ругаться и запретили нам переговариваться, но лагерники пропустили это мимо ушей. «Когда будете в лагере, найдите такого-то! Куда вас отправляют? Удачи!»

Те же вопросы звучали снова и снова каждый раз, как мимо нас проходила очередная бригада. В стеганной одежде, с грубыми, несколько дней не бритыми, поросшими седой щетиной лицами, они выглядели, как самые настоящие подонки общества. Я впервые видел людей, проведших некоторое время в лагерях, и, должен признаться, они показались мне довольно причудливым сборищем.

Наконец и нас самих построили и повели прочь по берегу реки. Конвою было холодно даже в шинелях, поэтому они задали нам жесткий, быстрый темп. Сначала было трудно, но потом стало приятно, потому что от движения кровь вновь стала циркулировать и тело согрелось. До Дудинского лагеря было около двух миль. Это было скопление поврежденных бурями бараков, окруженных двумя рядами колючей проволоки.

В лагерь мы не входили. Нас обвели вокруг лагеря по маленькой тропинке и повели вверх по холму к большому, ветхому, почерневшему от погоды сараю из некрашеных досок. Это, как мы узнали позже, был дудинский распределительный пункт. Мы вошли в зону, окруженную колючей проволокой, прошли через ворота. За воротами нам велели сидеть прямо во дворе и ждать, хотя дул пронизывающий ветер.

Здесь, во дворе, лагерный чиновник проверил один за другим наши документы. Затем нас распустили, чтобы мы нашли себе места в почерневшем сарае. Внутри был только земляной пол и длинные ряды досок вдоль стены. Доски не были прибиты, а просто свободно лежали на каких-то поперечных балках; это были нары. В потолке и стенах зияли дыры, и в сарае было, казалось, холоднее, чем снаружи. Это и была Дудинка: мы приехали!

Первым делом нужно было отыскать своих. Быть одному в лагере было невозможно; либо у человека были друзья, которые поддерживали его, либо он не выживал. Я нашел своих друзей-поляков, и мы вместе выбрали место у стены, где доски примыкали друг к дружке поплотнее, и сквозило чуть меньше. Мы оставили одного человека караулить наши вещи, а остальные пошли что-нибудь узнать и найти пропитание. В сущности, пища занимала главное место в мыслях каждого. Последним, что мы ели, был хлеб, который нам выдали еще утром на корабле. С тех пор минуло уже много часов.

Мы вышли из сарая в поисках дудинских дневальных, работавших в распределительном пункте. Мы сразу поняли, что они прошли через многое. Их большие, слезящиеся глаза казались вылезшими из глазниц; они были небритые, их зубы были в плохом состоянии, почти гнили. Они были одеты не по размеру, их ботинки свободно болтались на ногах при ходьбе. Носков у них не было; вместо носков они наматывали на ноги тряпки, завязывая их веревками, обмотанными вокруг щиколоток и голеней. Некоторые из них, несмотря на холод, были без шапок, а волосы их были острижены так коротко, что они казались почти бритыми.

«Аборигены» нам очень обрадовались, и им не терпелось узнать, что творится во внешнем мире. «Расскажите нам хотя бы, - говорили они, - что происходило, когда вас арестовали. Мы слышали, война закончилась. Это правда? Как там люди живут, на родине? Как еда?» Несмотря на все свое желание разговаривать, они очень мало говорили о себе и о жизни в Дудинке; им гораздо интереснее было узнать что-то новое от нас.

Однако мне удалось узнать, что в Дудинке есть еще один священник: о. Каспер, поляк, католик, у которого некогда был приход в восточной части Польши, где его и арестовали, как и меня, за подрывную деятельность. Он был в лагере уже почти год, как сказал один из дневальных, и его здесь очень любили. Мы также узнали, что из основной части лагеря уже несут ужин, поэтому мы поскорее вернулись в сарай.

Надзиратели принесли котлы баланды и каши, над которыми поднимались клубы пара и запах, щекотавший нам ноздри. Раздачу осуществлял сам повар. Чтобы никому не досталось две порции, как только заключенный получал свою миску, его сразу отсылали есть на улицу. Но заключенных не так-то просто провести. В другом конце

сарая уголовники вынули из стены расшатавшуюся доску и сквозь щель прокрадывались назад в сарай за добавкой.
Повар не считал порции, но видел, что еда заканчивается слишком быстро. Он положил черпак и стал подозрительно оглядываться. Но доска была уже на месте. Повар ничего не мог понять; за едой еще стояла целая очередь, а в котле уже почти ничего не оставалось. Когда он выскоблили из кастрюли последний черпак еды, в очереди стояло еще двадцать человек, так и не получивших свою порцию. Бедняга-повар сказал этим двадцати, что еды больше попросту нет; не осталось даже на кухне. Он израсходовал все продукты, которые ему выдали, и больше ничего не было. Двадцать человек были в ярости. Они не ели с утра и терпеливо, доверчиво ждали своей порции. Повар обещал, что постарается что-нибудь сделать, и пошел за комендантом.
Это привело лишь к длинному допросу, который продолжался до глубокой ночи. Допрашивали всех по очереди. Комендант заподозрил даже, что какое-то мошенничество имело место на кухне еще до раздачи пищи. Еды мы не получили, а вот проблем - сколько угодно. После этого каждый решил никогда не становиться в очередь последним. Пусть последние порции гуще и лучше, зато, если встанешь последним, вся баланда может выйти еще до того, как подойдет твой черед.
В ту ночь мы спали на расшатанных досках. Нам нечем было укрыться, кроме собственной запасной одежды. Некоторые не спали вовсе, а просто ходили всю ночь по сараю, чтобы не замерзнуть. Ветер дул из-под нар, задувал сверху, проникал сквозь щели в стене прямо под боком. Утром было солнечно, но ветер был все еще северный и острый, как нож. Те из нас, кто спал на нарах, так окоченели, что едва могли встать; ногти у нас посинели. Тем не менее, когда стали раздавать завтрак, все заставили себя выйти на улицу. Нас построили и поименно, по одному, вызывали за хлебом, чтобы беспорядки прошлой ночи не повторились. К хлебу выдавали кружку кипятку, который помог нам оттаять.
Около полудня дневальные принесли из надзирательского барака большие столы и несколько скамеек. Несколько чиновников принесли стопки бумаг и документов. Всем приказали выйти из сарая и построиться на линейке[18]. У двери в сарай стоял часовой и никого не впускал, даже тех, кто говорил, что забыл сумку или какую-нибудь одежду. Столы поставили снаружи, но рядом с сараем и не на ветру. Нас

[18] Линейка – лагерный двор, где проходят построения. *Прим. пер.*

вызывали по имени, мы подходили к столу, и члены комиссии оглядывали нас сверху донизу, советовались друг с другом, отмечая наши достоинства и недостатки, словно торговцы лошадьми на деревенском базаре, и наконец говорили: «Встаньте там!», - или: «Вон там!» Таким образом формировались разные группы, каждая со своим собственным конвоем.

Я оказался в группе с примерно тридцатью китайцами и десятью русскими. Большинство групп было больше нашей, но в нашей все были молодые (от двадцати до двадцати шести лет) и сильные, за исключением меня самого и одного старого китайца. Я стоял там, пританцовывая от холода и пытаясь понять, что же между нами общего. Когда комиссия окончила свою работу, конвоиры повели нас к главному лагерю. Мы шли рядами по пять человек с руками за спиной, и каждая группа отстояла от предыдущей на 200 ярдов.

Я пытался разговаривать с молодыми китайцами, но они плохо говорили по-русски. Так, все они путали мужской и женский род. Потом я обратился к двум молодым русским и узнал, что они из Маньчжурии. Их родители бежали туда во время революции; сами они о России ничего не помнили. Из всех наших разговоров я мог только догадаться, что общим знаменателем для нашей группы послужило то, что все мы сидели как шпионы: китайские, маньчжурские и ватиканские.

До главных ворот дудинского лагеря было недалеко. Как и в большинстве лагерей, на подходе к воротам земля была тщательно утоптана заключенными: ежедневно три смены заключенных покидали лагерь и возвращались в него через главные ворота. Сами ворота были деревянные. Они были установлены во внешней ограде из колючей проволоки, которой в два ряда был окружен весь лагерь. Проволока крепилась на столбах на такой высоте, чтобы человек не мог до нее дотянуться. На каждом столбе сверху было по два деревянных бруса, крепившихся под углом, один спереди, другой сзади. На этих-то брусьях и были натянуты нити колючей проволоки. Если бы кто-то попытался за них схватиться, они бы открепились от столбов и обмотались вокруг этого человека. Пространство между двумя рядами колючей проволоки называлось «запретной зоной». Часовые стреляли по всякому, кто входил на ее территорию.

У главных ворот параллельно колючей проволоке стояло низкое длинное здание. Здесь находилась вахта, надзирательская и комната вахтера. Рядом с воротами, между воротами и зданием охраны, имелся

узкий проход, через которой охрана могла входить и выходить из лагеря, не открывая ворот. На вахте всегда сидел дежурный вахтер, который выглядывал в прорезь, чтобы видеть, что происходит у ворот, а также принимать бумаги и пропуска. Проход для охраны закрывался узкими воротами, которые опускались и поднимались при помощи рычага, расположенного на вахте, впуская и выпуская охранников и офицеров.

Мы стояли у ворот, пока наши конвоиры передавали документы вахтеру в будке. Он удалился в свою комнатку и оттуда стал звонить по телефону, который связывал между собой разные лагерные части. Минут через двадцать он вышел и приказал нам построиться рядами по пять человек. Мы построились, и тогда – и только тогда – он стал открывать высокие деревянные ворота.

Но мы все стояли. Наконец из ворот вышел лагерный чиновник и стал по одному вызывать нас по имени. Мы откликались и он заново выстраивал нас рядами по пять человек прямо в воротах, между двумя рядами колючей проволоки, в уровень с будкой часового. Затем он вернулся на территорию лагеря и велел первому ряду из пяти человек двигаться вперед. Они вошли в ворота, прошли немного по главной дороге лагеря, затем им было приказано остановиться. Затем позвали вторые пять человек. Они вошли в ворота, дошли до того места, где стояли первые пятеро, и остановились. Так и продолжалось урывками, пока все мы не выстроились у ворот.

Нас группами повели дальше. Наша группа сначала шла по главной дороге, но у первого перекрестка повернула направо. Бараки располагались ровными рядами вдоль дороги, а между каждыми двумя-тремя рядами бараков под прямым углом пролегала дорога поменьше, ведшая к дальним баракам. Бараки были бревенчатые или дощатые, двух- или одноэтажные. Я догадался, что одноэтажные – более старые, потому что снаружи они были оштукатурены и побелены. Большинство двухэтажных бараков в дальнем конце лагеря были просто деревянные, неоштукатуренные и уже поврежденные непогодой.

«Шпионов» отвели в большой полотняный шатер, около 14 футов высотой, рядом с многоэтажным каркасным зданием (где, как мы узнали вскоре, располагался штаб), и невдалеке от барака надзирателей. Ткань шатра крепилась к вкопанным в землю столбам, на которых держались также поперечные балки, подпирающие крышу шатра. Окон в шатре не было. Посредине шатер был разделен нетесаной дощатой

стеной, в которой с обоих концов шатра имелись двери. По разные стороны от стены разместили разные бригады.
Пола здесь не было, не считая самой земли. Вдоль каждой секции располагалось по два ряда свободно стоящих двухъярусных нар, разделенных посредине узким проходом. Стойки нар упирались в потолок и помогали поддерживать крышу. Между нарами - обыкновенными необработанными досками, укрепленными на поперечных балках, - промежутков не было. На них можно было разместить столько человек, сколько удавалось впихнуть, уперев голову одного прямо в ноги другого. Не было никаких лестниц для подъема на верхний ярус – только прибитые к стойкам поперечные балки. Каждый торопился занять место наверху, чтобы быть как можно дальше от холодного, грязного пола. Доски нижнего яруса находились в лучшем случае в футе от земли, а в некоторых местах касались пола. К несчастью, мне досталось место на нижнем ярусе.
В середине каждой секции на кирпичах стоял старый нефтяной бак. Это была наша печка. В ее стенках были прорезаны дыры, чтобы засовывать топливо, а со всех сторон были пробиты дыры поменьше, чтобы жар шел не только вверх. В крыше шатра для печной трубы было проделано большое отверстие. Поскольку отверстие было слишком велико, дабы избежать любой возможности пожара, она также служила дополнительной «вентиляцией». Особенно это было неприятно, если на улице шел снег или дождь. Снаружи стояло два-три умывальника. Умывальники представляли собой жестяные баки, установленные на деревянной решетке, с двумя-тремя кранами и желобом внизу, в который стекала вода. Грязная вода сливалась непосредственно на землю, которая всегда была раскисшей, если не замерзала.
В тот вечер во время ужина нам было велено явиться в управление за рабочей одеждой. Обычно выдавались штаны, куртка, рабочая обувь и шапка. Одежда была из своего рода синтетической ткани (которую мы называли «хлопчатобумажной»), представлявшей собой смесь хлопка с волокнами древесной массы. Мы по одному подходили к секретарю, называли ему свое имя, затем он заполнял на каждого из нас бланк. При этом он называл нам цену каждой вещи. За одежду мы, конечно, не платили, но должны были отработать ее стоимость по лагерным расценкам; если мы теряли что-нибудь из одежды, то должны были платить в десятикратном размере.
Размеры были большой, средний и маленький, но, казалось, правильный размер никому никогда не доставался; это был неиссякаемый источник

лагерного юмора. В тот день в лагерь прибыло сразу несколько новых бригад, поэтому процесс регистрации тянулся чуть ли не до девяти часов вечера. Потом мы вернулись в барак и получили свои 200 граммов каши, а бригадир с помощниками между тем отправился на склад с нашими карточками и принес все то, что швырнули ему через прилавок, - новую, поношенную и ветхую одежду.

Около одиннадцати вечера бригадир и его помощники вернулись с одеждой и начали выдавать ее нам поименно. Как всегда, никому ничего не подходило. Все принялись меняться со своими товарищами. Этакий торг сделал бы честь паре арабских купцов. Чтобы получить действительно хорошие штаны или ботинки, нужно было добавить что-нибудь из своих собственных принадлежностей. Этот карнавал продолжался где-то до часу ночи, когда мы наконец угомонились и легли спать.

На следующий день часовые разбудили нас в шесть часов утра ударами по рельсам (коротким металлическим брусьям или кускам железнодорожным рельсов, подвешенным на столбах у главных ворот, по которым били металлической трубой). Нам было велено собраться на работу к семи утра. Мы быстро сходили в уборную, которая была прямо на улице, на пронизывающем ветру, затем без особого воодушевления умылись у умывальников. На завтрак выдали обычные 600 граммов хлеба, кипяток и 10 граммов сахара. В следующий раз нас накормили только вечером, по возвращении в лагерь, поэтому вскоре мы научились приберегать часть утреннего хлебного пайка на обед.

В 6.15, как раз когда мы делали первые глотки кипятка, начиная ощущать, как тепло растекается по нашим желудкам, подали первый сигнал к построению. Второй сигнал дали в половине седьмого. К этому времени бараки необходимо было освободить. У каждой бригады на линейке было свое место для построения и свой конвой. К семи утра все бригады должны были построиться по пять человек в ряд. Комендант должен был явиться туда вместе со своим помощником, чтобы дать бригадам задания на день.

Каждый бригадир называл помощнику число рабочих в своей бригаде. Это число помощник сверял со своим списком, который также содержал имена больных или тех, кому всеми правдами и неправдами удалось получить у врача освобождение от работы на этот день. Если число, названное бригадиром, совпадало с числом, значащимся в списке помощника, нас выводили через главные ворота группами по пять человек и строили там. Затем конвоир еще раз проходился по всему

списку и считал нас. Но если число, названное бригадиром, оказывалось неверным, то мы так и стояли на жгучем морозе, пока разыскивали отсутствующего или отсутствующих. Система была такова, что бригады, работавшие дальше всего, подвергались проверке и отправлялись на работу в первую очередь. Но к восьми утра уже все должны были быть на рабочих местах.

Нашу бригаду вывели из лагеря через главные ворота и повели к пристани. На огороженной территории лежали громадные груды угля, ожидающие погрузки на корабль. Ленты конвейера вели на пристань. Нам выдали большие угольные лопаты и сообщили дневную норму – норму, которую нужно было выполнить, сколько бы это ни потребовало времени. Часть бригады взобралась на груды угля и принялась сбрасывать уголь вниз, а десять человек, в том числе и я, непрестанно загребали его на ленту конвейера.

Всю зиму из шахт к реке свозили уголь и складывали в Дудинке на берегу реки. Река была судоходной лишь в очень короткий летний период, поэтому уголь, свезенный сюда за зиму, приходилось бешеными темпами грузить на баржи или грузовые суда, чтобы вывезти отсюда. Поэтому за день мы обычно должны были загрузить один корабль, и работали, пока не загружали корабль полностью.

В полдень нам давали полчаса, чтобы съесть принесенный с собой хлеб. Когда мы немного приноровились к работе, мы также стали пользоваться этим перерывом, чтобы проскользнуть на пристань и пробраться на корабль в поисках пищи. Это было опасно: если бы кого-то заметили за этим занятием, его бы сурово избили, - но голодающие пойдут на любой риск ради лишнего куска хлеба. Однако в эти первые дни мы были рады возможности просто полежать на мерзлой земле и потянуть спины. Оттого что с восьми утра без всяких перерывов мы сжимали в руках лопаты и размахивали ими, наши руки и ноги сводило судорогой.

После обеда, когда трюм корабля начинал наполняться, бригадир отправлял четыре человека в трюм разравнивать уголь, чтобы можно было погрузить остальное. В трюме было темно; повсюду была угольная пыль. А уголь все сыпался с ленты конвейера и с грохотом летел по спускному желобу. Очень трудно было смотреть и дышать; еще трудней было работать; но главная наша забота была в том, чтобы нас не убили летящие в нас куски угля, иногда размером с человеческую голову.

По мере заполнения трюма росла и опасность. Места для движений не оставалось, и легче было поскользнуться на движущейся груде угля и упасть в сбегающую с ревом по желобу угольную струю. Когда дальше находиться там было уже невозможно, мы кричали во весь голос и били лопатами в палубу. На минуту конвейер останавливался, и мы выкарабкивались, затем продолжали разравнивать уголь через люк. На этой работе случалось множество травм, и все ее ненавидели. Но в расписание нужно было уложиться, а мы представляли собой расходуемые ресурсы.

И все же работа в трюмах имела свои положительные стороны. Так, едва оказавшись в трюме, мы тут же исследовали все углы и щели в поисках колосков пшеницы, застрявших между досок и в щелях стен. Каждая находка запихивалась в карманы, словно золото, вместе с грязью и всем прочим. Иногда нам всем вместе удавалось насобирать карманов пять или шесть. И тогда вечером мы съедали это в бараке, если нам удавалось пронести это мимо часовых.

Когда корабль был полон (то есть дневная норма была выполнена), конвоиры строили и уводили нас как можно быстрее, потому что им и самим хотелось поскорее вернуться в лагерь. У ворот, несмотря на пронизывающий ветер и жгучий холод, вся бригада должна была раздеться и подвергнуться обыску. Тогда-то и терялись иногда наши драгоценные зерна. Все были черны, как уголь, но после обыска и регистрации, мыться никто утруждался. Нашей первоочередной заботой была пища. Мы не ели с завтрака, если не считать той части утренней пайки, которую нам удавалось приберечь на обед.

В первый вечер нам принесли по пол-литра супа и по 200 граммов каши плюс кипяток. Затем все в изнеможении повалились на нары и заснули мертвым сном. После нескольких лет тюрьмы и недостатка движения первый полный рабочий день тяжелого труда был подобен пытке. Мои мышцы занемели так, что я не чувствовал даже боли; каждый мускул был словно шпагат, который раскрутили и разорвали на волокна.

Однако к шести часам утра, когда зазвенел рельс, каждый сустав напрягся, словно железо. Просто встать с нар было настоящей пыткой. Мускулы, затвердевшие от ночного холода, отказывались работать. И все же к семи часам мы как-то ухитрились построиться рядами по пять человек и по приказу на марш, с руками за спиной, мучительно заковыляли через город к грудам угля, чтобы начать долгий день с лопатой в руках.

Как-то вечером, в конце нашей первой недели в Дудинке, о. Каспер пошел искать меня по баракам. Ему рассказали, что в лагере есть еще один священник. Он нашел меня прежде, чем мне представилась возможность найти его, и спросил меня, не желаю ли я совершить мессу. Я был потрясен! Последний раз я служил мессу в Чусовом более пяти лет назад. Мы договорились встретиться на следующее утро в бараке, как только прозвучит шестичасовой сигнал.
В бараке о. Каспера жили в основном поляки. Они чтили его как священника, оберегали его, а он старался хотя бы раз в неделю служить для них мессу. Они сами делали для него литургическое вино из изюма, который удавалось стащить на пристани, а облатки – из муки, «присвоенной» на кухне. Потиром в то утро служила мне стопка для водки, патеной для гостии – золотой диск от карманных часов. Но радость, которую принесла мне возможность снова совершать мессу, невозможно описать никакими словами!
У о. Каспера все молитвы мессы были написаны на листке бумаги. Хотя я знал их наизусть, в то утро я был настолько растроган и взволнован, что они мне пригодились. Позже он переписал их для меня. Я разорвал их, когда покидал Дудинку, так как опасался, что их найдут во время проверки при поступлении в другой лагерь. Уже в лагере я снова записал их по памяти.
С тех пор, пока я был в Дудинке, я часто служил мессу в бараке о. Каспера. Его пример также вдохновил меня на пастырскую работу с людьми. Я регулярно исповедовал, и время от времени мне удавалось тайком раздать после мессы причастие. Это придало мне сил. Я снова мог исполнять обязанности священника и каждый день благодарил Бога за возможность работать с этой тайной паствой и утешать людей, считавших себя обделенными Его благодатью.
В августе в Дудинке уже холодно, смертельно холодно. А мы все еще работали в легкой летней хлопчатой одежде, которую выдали нам по прибытии. Работая такими бешеными темпами, мы не замерзали. Но долгий путь холодным утром на работу и особенно вечером с работы, когда пот почти замерзал на нашем теле, был мучителен. Ветер прорезал хлопчатобумажную ткань, словно клинок. Все обертывали щиколотки и голени портянками; старый мешок из-под картошки, который можно было обернуть вокруг живота или плеч, был самым ценным имуществом.
Надевать на себя дополнительную одежду – даже если бы кто-то обладал таковой или позаимствовал ее у больных – было строго

запрещено. Если во время утренней переклички комендант или его помощник замечали, что кто-то из заключенных надел на себя лишнюю рубашку или вторую пару штанов, то его тут же, на морозном ветру, заставляли раздеться. Лишнюю одежду конфисковали. Если же кому-то удавалось выйти сухим из воды утром, то его почти наверняка вычисляли во время проверки и обыска вечером, после работы.

После работы нам выдавали маленькие талончики на еду. Их выдавали в зависимости от проделанной за день работы, и ими определялся размер пайка. Обычный талончик давал право на минимальный или «гарантийный» паек: 600 граммов хлеба, 200 граммов каши, 10 граммов сахара. Талончик «плюс один» давал лишних 100 граммов хлеба, пять граммов сахара, иногда – кусочек селедки. По талону «плюс два» можно было получить дополнительные 200 граммов хлеба, 10 граммов сахара, кусочек селедки и какую-нибудь выпечку: булочку, кусок кукурузного хлеба или кекс. Талон «плюс три» давал право на дополнительные 200 граммов хлеба, 25 граммов сахара, кусок рыбы, какую-нибудь выпечку и кусок сырого теста, которое можно было смешать с супом или кашей либо испечь на печке.

Те, у кого были талоны «плюс два» и «плюс три», также получали другую баланду, гораздо гуще обычной, с кусочками картошки, рыбы или капусты. Однако лагерь есть лагерь, а потому паек «плюс три» (таких пайков было всего три или четыре на бригаду), разумеется, получали, как правило, бригадиры и их помощники. Остальные были рады и «гарантийке», потому что от болезней наши ряды поредели, и выполнение нормы занимало больше времени, чем когда бы то ни было.

Таким образом единственной целью нашей жизни стала добыча пищи любыми средствами. Мы думали об этом постоянно; ради пищи заключенные были готовы на все. После первой недели в лагерях, когда у меня открылось второе дыхание, я почти каждую ночь ходил зарабатывать себе на пропитание. После ужина я приходил на кухню и следующие три-четыре часа – а иногда и следующие шесть часов, до самого утра – мел полы, мыл котлы, чистил кастрюли и сковороды, и все ради того, чтобы получить лишние 200 граммов хлеба и литр баланды.

Рядом со мной в бараке спал поляк по фамилии Гурный, высокий, тонкий, сухопарый человек, похожий на Икабода Крейна из

Вашингтона Ирвинга[19]. Он был одним из величайших добытчиков пищи, каких мне доводилось встречать, а в лагерях я видывал и очень искусных мастеров. Он регулярно делился своими трофеями со мной, потому что он был одним из ближайших моих друзей здесь, в Дудинке. Будучи человеком весьма религиозным и зная, что я священник, он заботился обо мне, как только мог.

Работая на кухне, Гурный изобрел почти безошибочный способ добычи пищи. Когда никто не видел, он хватал большой кусок рыбы, сала или масла и запихивал его в ведро с углем. Потом он очень исполнительно выносил ведро, выбрасывал его содержимое – рыбу и все прочее – в кучу золы, наполнял ведро свежим углем и церемонно нес уголь на кухню. Той же ночью, часа в два, он выныривал из барака и рылся в куче золы, пока не находил сокровище.

Свою величайшую победу Гурный одержал в ту ночь, когда принес домой целое ведро фасолевого супа. Он был очень густой, почти одна фасоль, и довольно соленый, поэтому мы добавили в него чуть ли ни месячную норму сахару, чтобы сделать его вкусным. Вдвоем мы съели целое ведро супа. Неудивительно, что нам тут же захотелось пить. Мы вышли во двор и выпили по две кварты воды. Потом мы вернулись и собрались уже было хорошо поспать. Тем более неудивительно, что в ту ночь поспать нам не удалось почти вовсе: у нас начался сильнейший понос, и всю ночь мы то и дело бегали в отхожее место.

Мы с Гурным были, конечно, не единственными, кто подрабатывал за лишнюю пищу и умел ее воровать. Воровство в Дудинке почти достигло масштабов эпидемии. Время от времени, чаще около трех часов ночи, в различные бараки неожиданно являлись надзиратели. Они приказывали всем построиться посреди барака, а сами обыскивали нары и лоскуток за лоскутком обшаривали наши немногочисленные личные вещи. Иногда во время таких обысков набиралось столько еды, что ее хватило бы, чтобы один раз накормить весь лагерь.

Но при всей нашей изобретательности в добывании пищи, тяжелый труд и холод делали свое дело. Цинга стала обычным явлением. В конце концов больных стало слишком много, чтобы всех освобождать от работы. Лагерные повара варили в больших котлах отвар из сосновых веток, и полученный в результате его кипения концентрат служил нам

---

[19] Икабод Крейн (Ichabode Crane) – персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга (Washington Irving, 1783- 1759) «Легенда о спящей лощине» (“The Legend of Sleepy Hollow”). *Прим. пер.*

«лекарством». Он был страшно горький, но кто отказывался пить его, не получал ужин. Некоторые были просто не в состоянии проглотить его, но я обычно принимал пол-литра в день.
Многие в лагере страшно страдали от этой болезни; зубы их гнили, дыхание было зловонным, десны гноились, губы кровоточили. Ноги становились порой такими слабыми, что больной не мог простоять более десяти минут. Но мне лекарство из сосновых веток помогало. Мне удалось избежать худших проявлений этой болезни.
Зато на моих руках, лице, ногах и спине начали появляться ужасные нарывы. В конце концов я отправился в лагерную санчасть. Узнав, что я американец, лагерный врач принялся делать все возможное, чтобы дать мне отдохнуть. По лагерным правилам врач (тоже из заключенных) не мог выдавать больничные более чем на три дня за раз. Если через три дня пациент, по мнению врача, все еще нуждался в отдыхе, врач должен был представить его комиссии, в которую входило три врача из города. Эта комиссия редко кому продлевала больничные, разве что пациент был при смерти. Поэтому врач выдавал мне больничный на три дня, потом я несколько дней работал, затем он подписывал мне новый больничный. Благодаря этому врачу и лекарству из сосновых веток силы постепенно ко мне вернулись.
В те дни, когда мне разрешалось остаться в лагере, я бродил по нему в поисках работы. Я помогал дежурным убирать в бараках или подрабатывал на кухне, посвящая этим делам четыре-пять часов в обмен на пол-литра баланды. Однажды, когда я работал на кухне, в порт пришла баржа картошки. Вместе с несколькими другими заключенными мы под конвоем отправились перевозить ее на лагерный склад.
Картошка лежала на палубах баржи огромными кучами и от арктического мороза была уже тверда как кремень. Мы брали эту картошку приступом при помощи кирок и лопат и грузили ее на сани. Везя сани по территории лагеря, стоило конвоирам отвернуться, мы сбрасывали по несколько картофелин в снег. Полдня мы таскали картошку, а потом повара дали нам дневную пайку каши и баланды.
Потом мы вынырнули из кухни так быстро, как только могли, и кинулись спасать картошку из сугробов. Мы отнесли ее в барак, положили в ведро с водой и сварили на печи. Когда она была более или менее готова, мы съели ее с солью, сразу целое ведро. Но нам все было мало. Чтобы поверить в неуемный голод лагерей, надо его испытать, но эти примеры все же дают некоторое представление о нем.

Где-то в октябре, когда температура опустилась до 30 градусов ниже нуля, мы сдали свою летнюю одежду и получили зимнюю. Мы должны были отчитаться за все, что нам выдали; если чего-то не хватало, стоимость недостачи вычиталась из нашего заработка в десятикратном размере. Взамен мы получили рубашки потолще, телогрейки и стеганые брюки, набитые какой-то массой, и пару сапог под названием «валенки». Это своего рода высокая, бесшовная обувь, сделанная из смеси шерсти и глины. Они были более или менее непромокаемые и довольно теплые.

На ночь мы всегда оставляли валенки в сушилке возле печки; в остальном же спали мы в той же одежде, в которой ходили весь день. К утру наши телогрейки и ватные брюки примерзали к нарам. В конце концов холод сделал свое дело. В нашей бригаде было так много больных, что нас наконец перевели из шатра в деревянный барак.

Этот новый барак был построен из необструганных бревен и покрыт изнутри и снаружи глиняным составом, который замазывал щели и служил для теплоизоляции. Он был беленый и чистый. И – что было для нас куда важнее – теплый. Мы непрерывно вовсю топили печку, и каждый рабочий нашей бригады ежедневно приносил домой с работы уголь. При обыске охрана брала себе по два куска угля из каждых трех. Однако они понимали, что если не оставлять чего-нибудь и нам, мы вообще перестанем приносить уголь, и печка надзирателей остынет вместе с нашей.

В том году в Дудинку, перед тем, как река замерзла, одним из последних пришло американское судно. Оно стояло на пристани уже около двух дней, и никто его не разгружал; никто из чиновников не мог прочесть декларацию судового груза по-английски. Потом один зэк, работавший в конторе на пристани, вспомнил, что я американец. Я несказанно обрадовался возможности помочь в надежде, что это даст мне шанс поговорить с экипажем. Я даже написал адрес своей сестры и маленькую записку, надеясь передать ее кому-нибудь из матросов, а также маленькое письмецо на Фордем-род, к своему иезуитскому провинциалу.

На следующее утро я отправился на пристань. Упомянутый заключенный объяснил чиновникам и представителю органов, что я знаю английский. Чиновники очень хотели, чтобы я им помог, но энкагебешник не желал впускать меня на корабль. Он подробно допросил меня, потом явно смягчился и велел мне следовать за ним. Я

пошел вслед за ним по причалу к сходням, и походка моя была по-новому упругой, а в сердце пробудилась новая надежда.
Вдруг энкагебешник передумал. Он велел мне вернуться в контору и ожидать там. Он вернулся с копией декларации судового груза и велел мне перевести ее прямо там, в конторе. Весь вечер и всю ночь я работал над русскими копиями декларации; затем меня немедленно отослали обратно в лагерь. В последующие несколько дней мое сердце буквально разрывалось при виде этого большого корабля у причала.
Почти весь лагерь фомировался теперь в специальные бригады, которые должны были погрузить и отправить суда, прежде чем замерзнет река. К тому времени груды угля замерзли уже в камень. Нам приходилось разламывать их кирками и рубить на разумного размера куски, прежде чем пускать уголь по конвейеру. Нас заставляли работать бешеными темпами, и мы были на грани полного изнеможения. Я впервые стал по-настоящему бояться, что силы мои иссякнут, и я не дотяну до следующей весны.
Я отправился к своему другу-врачу. Он сказал мне, что ситуация с погрузкой кораблей признана экстренной; врачам был отдан приказ не выдавать больничных, пока погрузка не будет закончена. Если человек был не достаточно болен для больницы, он должен был работать. Поэтому врач велел мне утром явиться на осмотр в больничный лагпункт; он также сказал мне, какие симптомы лучше всего иметь.
На следующее утро после завтрака я прямиком направился в больницу. Бригадир двинулся за мной. «Ты куда это идешь?» - спросил он. «В больницу, - сказал я, - я заболел». – «Что-то я не вижу, чтоб ты был так уж болен», - сказал он. «Это оттого, что вы не врач. Я был у врача вчера вечером, и он сказал мне идти сегодня утром в больницу». Бригадир посмотрел на меня подозрительно, пожал плечами и ушел.
Когда я явился к врачу, он сказал мне, что, согласно новым распоряжениям, для подтверждения необходимости госпитализации больного требуется два врача. Поэтому он снова кратко изложил мне мои симптомы. Другой врач, чьего имени я не помню, был евреем, обвиненным в причастности к делу Горького. Не знаю, насколько убедительно я описывал свои симптомы, но он также подтвердил необходимость моей госпитализации.
Лагерная больница представляла собой обыкновенный барак, но нары были расставлены по отделениям, и было несколько отдельных комнат для пациенток женского пола. Согласно моим симптомам, я не нуждался в постельном режиме, поэтому я исполнял обязанности

дневального. Я мыл полы и посуду, помогал выдавать пайки и мыть других пациентов. Я был занят с утра до вечера, но это было не на улице, это было в тепле, и это не была погрузка угля!
В моем случае не было ничего особенного. Лагерные врачи, благодаря своей профессии, были людьми гуманными. Они делали все, что могли, чтобы помочь другим заключенным, пока это не становилось слишком опасно для них самих. Мой случай отличался только тем, что эту услугу оказали мне потому, что я американец. Подобное часто случалось в лагерях; волшебное слово «Америка» было подобно чарам, способным надолго околдовать слушателя и превратить совершенно незнакомого человека в друга.
Когда я вышел из больницы, наша бригада работала на реке, взрывая лед и высвобождая из него древесину. Летом эту древесину сплавили сюда по реке. Она предназначалась для использования в строительстве шахт под Норильском. Теперь же река замерзла, и древесина вмерзла в лед. Способ извлечения ее из реки был столь же прост, сколь и опасен. Определенный участок реки посыпался динамитом, потом взрывался. От взрыва бревна уходили на речное дно. Тогда мы брали багры и, когда бревна всплывали, вылавливали их.
Это были огромные бревна, 2-3 фута в диаметре и, вероятно, футов 12 в длину. Ворочать их среди сырости и льда было делом нешуточным. Снова и снова люди падали в ледяную воду; от борьбы с бревнами наши телогрейки и ватные брюки вскоре промокли насквозь. Где-то через час у нас на кистях рук и запястьях начал образовываться лед; наши брюки и телогрейки замерзали. Мы работали прямо посреди реки по двенадцать часов в день, и нам негде было согреться. Иногда за день выпадало 2 фута снега, который облеплял наши ресницы и делал ненадежной бревенчатую опору под ногами.
К концу ноября в реке все еще оставались бревна, но нам пришлось прервать работу из-за погоды. Тогда нас отправили грузить на поезда продовольствие для лагерей под Норильском. Все лето пища прибывала на баржах. Однако в летние месяцы важнейшим делом была погрузка угля, поэтому ящики просто хранились на берегах реки громадными горами. Здесь были ящики фасоли, муки, консервированных фруктов и мяса. Теперь все это замерзло натвердо и покрылось 10 футами снега. Мы же должны были разделить эти смерзшиеся ящики и погрузить их в вагоны-платформы для отправки на континент.
Мы выполняли эту работу по двенадцать часов в день до наступления декабря. Потом некоторые бригады оставили в Дудинке для завершения

работы и разгрузки угля, который прибывал из шахт всю зиму и грудами хранился на берегах в ожидании следующего лета. Однако большинство из нас отправили в Норильск.

Год в шахтах Заполярья

С этой целью нас погрузили в крошечные товарные вагоны узкоколейной железной дороги. Провизии нам не дали никакой, кроме утренней хлебной пайки, потому что это путешествие занимало всего один день: до Норильска было миль 40-45. Вагоны не обогревались, а дощатые стены, все в трещинах, служили не очень-то хорошей защитой от полярных ветров и жгучего холода. Всю дорогу мы стояли, пританцовывая, чтобы не замерзнуть; даже если бы мы захотели сесть, здесь для этого было слишком мало места.

В Норильск нас привезли под вечер, вывалили из вагонов, а затем мы три часа сидели в снегу, пока чиновники распределяли нас по лагерям. В то время Норильск мало что собой представлял. Он находился у подножья горной цепи, богатой месторождениями угля, железа, меди, кобальта и других полезных ископаемых. Этот район еще только начинали активно разрабатывать. Сам город напоминал шахтерский или пограничный городок. Он располагался прямо у подножья Шмидтихи, одного из высочайших сибирских пиков, названного так в честь немецкого исследователя, который взошел на него в 1937 году и которому на вершине горы возведен памятник.

Под городом имелось около дюжины лагерей. Каждый выполнял по два-три вида работ. Перед лагерями стояла задача построить индустриальный комплекс непосредственно на месторождениях руды. Таким образом необработанную руду не нужно было бы перевозить на большие расстояния по реке, которая судоходна только в летние месяцы. Заводы, которые должны были работать круглый год, строились прямо на месторождениях. Одни лагеря были расположены на рудниках, другие были заняты на строительстве заводов по обогащению руды, третьи – на строительстве города для рабочих, которые как раз начинали прибывать во все большем количестве, чтобы разрабатывать ресурсы страны.

В конце концов меня распределили в бригаду из 120 человек – воров и уголовников, - в которой я был единственным политзаключенным. Под относительно легким конвоем нас повели по направлению к горе. Ни о каких дорогах тут не было и речи; снег был в основном по колено, а некоторые сугробы доходили до пряжек на наших ремнях. Ослепленные

вьюгой, преодолевая сильный ветер, мы дошли наконец до седловины, ведущей на пик. Прямо по другую сторону седловины был расположен лагерь под названием «Западная».

Когда мы пришли в лагерь, было уже темно. И снова мы стояли на жгучем морозе, пока чиновники распределяли нас по баракам. И вот, под конец дня, проведенного без пищи, в час, когда время ужина давно прошло, я наконец-то вошел в свой новый дом. Это был деревянный барак, очень похожий на дудинский, но перед последним он имел одно преимущество: кирпичную печку посреди секции. Бараки в «Западной» всегда были относительно теплы.

Главарем в этом бараке был свирепый, дикий татарин. В его жилах текла кровь казаков и турок, и на его счету числилось уже восемь убийств, чего он нимало не стыдился. Он был приземистым, крепким человеком среднего роста с черными волосами и суровыми, косящими глазами. Наверно, некогда у него было и имя; но все, включая охрану, звали его просто «Атаманом» или «Казаком». Он распределил нас, новичков, по бригадам, рассказал нам о распорядке дня и указал каждому его место на нарах. К счастью, меня поместили на верхних нарах. Несмотря на хорошую печку, углы комнаты оставались заиндевелыми, а стены снизу были покрыты толстым слоем льда, который заканчивался лишь в нескольких футах от пола. Однако на верхнем ярусе воздух был теплый и сухой.

Долгий день, проведенный на улице, и долгий подъем на гору меня обессилили. Я повалился на нары прямо в одежде и уснул, не успев дочитать молитву. Здесь поднимались в пять, а не в шесть часов утра, и практически сразу после раздачи утреннего пайка давался сигнал к освобождению бараков. Здесь, в «Западной» всегда было ветрено. Клубы снега были такими густыми, что в то утро, выйдя во двор, я не видел дальше, чем на три фута. Однако старожилы указывали нам путь. Нас построили возле надзирательской, пересчитали и построили рядами по пять человек, как обычно. Но комендант в этом лагере времени даром не терял: почти немедленно мы тронулись в путь к штольне, которая находилась почти в миле отсюда.

Это была одна из старейших штолен в регионе, горизонтально уходившая вглубь горы. Почти все работы делались вручную; механизации было очень мало, не считая разве что скребковых транспортеров, доставлявших уголь в загрузочные воронки, да электрических вагонеток, которые отвозили уголь к отверстию туннеля. От входа в туннель до рабочей зоны было почти полчаса пути. Вместе с

цыганом по имени Гриша меня распределили грузить уголь в вагонетки. Оставшаяся часть бригады отправилась еще глубже, непосредственно на добычу угля. Мы с Гришей работали в верхней части шахты, где находилась загрузочная воронка для погрузки угля в вагонетки.

Мы должны были вручную подталкивать вагонетки под загрузочную воронку, затем оттаскивать наполненные вагонетки на запасную ветку, пока не набиралось достаточно вагонеток, чтобы составить поезд. Тогда мы давали машинисту электровоза сигнал увезти наполненные вагонетки и привезти нам новый пустой состав. В загрузочную воронку груз подавался скребковым транспортером, доставлявшим уголь снизу вверх. В наши задачи входило не только вручную таскать вагонетки, но и собирать уголь, который падал из воронки мимо вагонеток.

Здесь мы работали по десять часов кряду без перерыва на обед. Темп работы был лихорадочным: мы не могли тормозить работу, шедшую внизу, - а в шахте всегда было мокро. В нашей секции было столько воды, что она затапливала рельсы и покрывала шпалы. Сюда эту воду выкачивали насосом снизу, где она капала со стен выработки; затем из нашей секции вода выкачивалась наверх. Но система функционировала плохо. В основном мы работали по щиколотку в воде. На ногах у нас не было ничего, кроме валенок, которые быстро промокали каждое утро.

Около пяти вечера люди начинали выбираться из выработки внизу. Затем мы шли к лагерю, пробираясь сквозь снега, и к концу пути наши валенки замерзали в камень. Нам еще повезло, что мы не отморозили сами ноги. В «Западной» водопровода не было, поэтому мы просто выбивали свои телогрейки о снег, чтобы с них сошла угольная пыль, потом мыли снегом лицо и руки. Поскольку никакой другой одежды у нас не было, мы спали прямо в рабочей одежде с пылью, углем и всем прочим.

Здесь, в «Западной» меня снова ограничили «гарантийным пайком». В каждом лагере нужно было проработать не меньше месяца, чтобы начать получать талоны «плюс один», «плюс два» и «плюс три». В отличие от других лагерей, в «Западной» пища не приносилась в бараки и не раздавалась бригадиром; ее разливали прямо на кухне. Преимущество такого порядка состояло в том, что пища оставалась теплой, зато каждому приходилось идти за своим пайком сквозь ветер и снег. У каждого была своя собственная жестяная миска и кружка, которые хранились возле нар.

Поскольку обед и ужин мы получали одновременно, то нам давали сразу пол-литра супа и 200 граммов каши – все в одну миску.

Проработав в лагере месяц, мы стали время от времени получать и дополнительные пайки. Теория, я полагаю, состояла в том, что мы будем упорнее работать, стремясь заслужить дополнительный паек. Но это никогда не срабатывало. Талоны на дополнительное питание выдавались бригадиру, и он должен был распределять их в соответствии с заслугами каждого и проделанной работой, но всем было известно, что их не раздадут, как ни работай. Как и тюрьмы, лагерь фактически был во власти уголовников. Их назначали бригадирами, их назначали дневальными бараков, они были прорабами всех бригад. И вся лишняя пища доставалась им.

Погода в «Западной» стояла зверская. Ветер никогда не прекращался, он только менял направление. В те дни, когда шел такой густой снег, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, или же было так холодно, что никто не смог бы добраться до шахт живым, нас освобождали от работы. Однако команду технического обслуживания отвозили в шахту на санях, в которые были запряжены кони, готовиться к взрывным работам следующего дня. На всем пути к шахте в качестве ориентиров были натянуты тросы, потому что бураны и снежные бури были здесь обычным делом. В такие дни путь команды техобслуживания к шахтам был долгим; даже кони отворачивали от ветра и отказывались идти. Но все равно шли.

В бараке я стал любимчиком Атамана. Он был дикарь, но во многом напоминал ребенка. Узнав, что я американец, он сразу же проникся ко мне большой симпатией. Он сказал мне, чтобы я спал рядом с ним (что считалось великой честью) и был его личным дневальным. Он дал всем понять, что если кто-то тронет меня хоть пальцем или посмеет чем-то меня рассердить, они будут отвечать лично перед ним.

Ночами на нарах он хотел часами говорить об Америке. Он, как маленький мальчик, слушал мои рассказы с широко раскрытыми глазами, задавал вопросы, смеялся, а когда я отвечал ему, кричал: «Не может быть! Не может быть!» То, что где-то есть пятидесяти- или шестидесятиэтажные дома, не укладывалось у него в голове. Он отказывался верить, что у одной семьи может быть собственный дом с пятью-шестью комнатами.

То, что у каждой семьи может быть своя машина, что в каждом доме есть внутренняя канализация, электричество, стиральные машины, радио и пылесосы (о которых он никогда даже не слышал), водопровод с раковинами и мягкие стулья, – все это казалась «Казаку» волшебной сказкой о дворцах и невиданных тварях. Он просил меня снова и снова

повторять свои рассказы, бесчисленное множество раз пересказывать их ему, затем просил рассказать что-нибудь еще и никогда не уставал слушать. Я начал чувствовать себя каким-то Гансом Христианом Андерсеном.

Как личный дневальный Атамана, я заботился о его спальном месте, приносил ему еду и пекся о его личных вещах. В отличие от всех остальных, у него был матрац, набитый опилками, и одеяло. На кухне я просто протягивал повару его миску и говорил: «Для Атамана». Он получал полную миску мясной тушенки вместо баланды, особую порцию каши, буквально плавающей в льняном масле и приправленную куском сала или копченой свиной грудинки. Я должен был следить за тем, чтобы его кинжал всегда был у него под подушкой, когда он спит, чтобы и нож, и кинжал были с утра у него в тулупе. В его тулупе с одной стороны был специальный карман для кинжала, а с другой – для длинного, уродливого ножа.

Я также хорошо ладил с цыганом Гришей. Он тоже был из тех, кто знал все зацепки. Каждый вечер он подрабатывал на кухне за дополнительный паек и предложил мне к нему примкнуть. Мне поручили мыть посуду, топить печь и мыть полы. Я являлся туда каждый вечер после ужина и работал несколько часов. Спал я меньше, зато ел больше.

Потом, на следующий день, мы с Гришей походили на лунатиков, но Гришу это не смущало. Как только мы спускались в шахту, он загружал все вагонетки, какие у нас были. Потом Гриша брал кусок угля и закладывал его под скребковый транспортер. Потом он звонил начальнику шахты и сообщал им, что скребковый транспортер заклинило. Мы знали, что пройдет, по меньшей мере час, а, может быть, два или три, прежде чем придет команда техобслуживания. Между те мы спокойно отправлялись в боковой штрек, чтобы часок-другой соснуть.

За нами с Гришей числилось, должно быть, больше аварий, чем за кем-либо другим в лагере. Однако некоторое время нам удавалось выходить сухими из воды. Либо к приходу команды техобслуживания скребковый транспортер был уже налажен, либо они обнаруживали, что его действительно заклинило, потому что под него (благодаря Грише) попал кусок угля, так что все выглядело как вполне законная поломка. И все же начальник шахты, должно быть, что-то заподозрил, потому что вскоре нас перевели на бурение.

Бурильщики были вольные люди, шахтеры и специалисты, которые приехали в Сибирь работать за премию. Нас приставили к ним в качестве помощников. Бурение производилось при помощи пневмоударных буровых установок, очень похожих на большие пневмоперфораторы; наша работа заключалась в том, чтобы помогать бурильщику таскать инструмент и применять давление к забою. Гриша в этом не участвовал. Утром, как только мы спускались в шахту, он исчезал. Куда он уходил, не знал никто.

Пробурив отверстия, мы наполняли их порохом и вставляли капсюли-детонаторы. Затем все бросались искать убежища в других выработках, пока забой взрывался. Я помню, как однажды мы произвели взрыв, но полученный газ не выходил. Это спасло нас от гибели. Мы ждали-ждали, да и пошли в конце концов в штрек. Но газа было так много, что мы задержались у входа в рабочую зону. Когда мы остановились, чтобы осмотреться, весь потолок вдруг осел. Это был последний взрыв за день, и мы были настолько обессилены, что даже не сдвинулись с места. Мы просто стояли и смотрели, задыхаясь в волнах пыли, как в считанных метрах от нас рушатся огромные пласты породы. Мы просто слишком устали, чтобы тревожиться или даже испугаться.

В этих шахтах я проработал около года. В самом лагере было много беспорядков. Большинство зэков были ворами и уголовниками, и они ни с кем не церемонились. Кроме того, как обычно, уголовники и политические враждовали между собой; охране было очень трудно поддерживать дисциплину. В конце концов было решено открыть в долине у подножья Шмидтихи новый лагерь в 4-5 милях от «Западной». Чтобы установить дисциплину в лагере лагерные власти отобрали всех политических и отправили в новый лагерь. Атаман был нашим бригадиром.

На новом месте был всего один барак, построенный предыдущим летом. Он был полон снега и льда и забит баками с какими-то химикалиями, которые там хранили. Меня распределили в команду по расчистке барака; большая же часть бригады копала ямы для столбов. Ни один лагерь принудительных работ не обходится без колючей проволоки, поэтому при создании нового лагеря первым делом необходимо установить столбы и натянуть колючую проволоку. Это был мучительный труд. Земля замерзла и была покрыта тремя футами снега. Люди работали на открытом воздухе, а дело было в середине сибирской зимы.

Баки, наполненные химикалиями, весили примерно по 250 фунтов каждый, а от мороза они смерзлись друг с другом. Чтобы извлечь их из барака, мы на скорую руку соорудили из старых досок сани. Двое из нас совместными усилиями выкапывали бак изо льда, полукатили, полутащили его на сани, а затем тащили и толкали сани при помощи проволоки, поскольку веревок у нас не было, пока не вытаскивали их наружу. Чтобы поберечь руки, насколько это было возможно, мы оборачивали проволоку вокруг груди и волокли сани, словно ломовые лошади, пыхтя и поскальзываясь на мерзлой земле.
Так мы работали с самого утра, когда приходили туда, до шести-семи, а то и восьми часов вечера без перерыва. Когда поздно вечером мы наконец отправлялись назад в «Западную», многие зэки были настолько изнурены, что просто не в силах были подняться по крутой дороге на холм. Поэтому мы складывали их, словно дрова, на нетесаные сани, которые везли лошади. Обратная дорога в лагерь, шедшая в гору, занимала почти два часа, и иногда мы возвращались лишь к одиннадцати вечера. Тогда мы просто съедали кашу и валились на нары.
Проработав в этом, новом, лагере всего неделю бригада вконец обессилела. Некоторые просто не могли вставать по утрам с нар. Да и из тех, кто мог, многие отказывались работать: с них было довольно. Однако Атаман не уводил бригаду до тех пор, пока не явятся все. Если кто-то был не в силах стоять на ногах, Атаман заставлял нас выволакивать его за ноги и привязывать к саням, которые везли лошади.
Так их и волокли на работу сквозь сугробы по крутой, ухабистой горной дороге. Когда мы прибывали на место, их отвязывали и оставляли лежать на снегу. Казалось невероятным, что они не замерзнут насмерть, но, как ни странно, около полудня они уже сидели в бараке у костра и потихоньку оттаивали. А после обеда Атаман уже подключал их к работе.
К концу месяца мы очистили барак, вырыли ямы для столбов, построили сторожевые вышки и натянули колючую проволоку. Однако труд этот был чудовищен. Работа была тяжела, еды едва хватало, чтобы выжить, но худшим нашим врагом была погода. Непрестанно выл ветер, в воздухе все время кружился снег. Ветер превращал его в каких-то белых вертящихся и жалящихся дервишей.
Однако, как только колючая проволока была натянута, лагерь официально заработал. Он должен был служить штрафной зоной для худших нарушителей дисциплины из старого лагеря. А потому к нам, политзаключенным, скоро привели семьдесят два таких нарушителя;

всех нас поселили вместе, в одном бараке. Единственной нашей пищей был хлеб, который присылали из Норильска один раз в день. Железная дорога проходила на некотором расстоянии от лагеря, поэтому хлеб просто сбрасывали в сугробы, а потом его приносили зэки.
Из-за одной детали этого сбора хлеба меня чуть не убили. Когда мы везли хлеб на санях в лагерь, я увидел, что уголовные отхватывают от булок большие ломти и жадно их пожирают. Конвой закрывал на это глаза. Наконец я и сам урвал кусочек хлеба.
В ту же секунду я получил удар прикладом между лопаток, от которого я зашатался, удар кулаком в челюсть, от которого я упал на колени, и пинок, от которого я потерял равновесие и отлетел на пятнадцать футов в сугроб. Между тем на меня уже смотрели дула конвоирских винтовок. Один конвоир приказал мне встать из сугроба. Когда я, шатаясь, поднялся, то получил пинок в лицо, от которого снова повалился на спину. Конвоиры угрожали, что будут стрелять, если я не встану, когда же я вставал, пинали меня прямо в лицо. Наконец, когда я был уже едва мог идти, меня впихнули назад, в строй.
По возвращении в лагерь меня посадили в БУР – барак усиленного режима. Буровцы получают только триста граммов хлеба в день да кружку воды. В БУР сажают, как правило, на три, пять или десять дней, в зависимости от тяжести вины. По выходе из БУРа заключенные обычно слабы, как котята, от недоедания, если им вообще удается выйти оттуда живыми. Нередко, отбывая десятидневное наказание в БУРе, люди просто умирали.
Но мне повезло. Пробыв в БУРе всего полчаса, я был вызван комендантом. Он желал узнать, что произошло. Я рассказал ему. Его позабавила как сама история, так и моя попытка рассказать ее при помощи губ, которые едва шевелились. В конце концов он улыбнулся, сказал, что, по его мнению, я уже достаточно наказан, и приказал мне убираться вон из его кабинета.
Хотя мы топили день и ночь, в бараке все время было сыро. Древесина так до конца и не оттаяла. Поэтому каждый вечер после ужина, где-то с восьми до восьми тридцати, мы устраивали охоту на вшей. Всем приказывали раздеться и убивать вшей на своем собственном теле, потом мы изо всех сил боролись с паразитами на нарах и в самом бараке. Поскольку лагерь все еще был очень примитивен, медицинская помощь оказывалась слабо, в сущности, ее почти не было.
В конце мая, когда снег начал таять и с холмов в долину хлынула вода, все затопило. В лагере вода была в основном с фут глубиной, а кое-где и

глубже. Однажды вечером всех нас выгнали на улицу мыться; это было первое купание с тех пор, как нас перевели в этот лагерь. Мы мылись прямо во дворе, между тем как ветер все еще завывал и на склонах холмов лежал глубокий снег. Мы постарались покончить с купанием как можно быстрее, но оно доставило нам радость и было приятно. Всю весну, пока рабочие бригады не выкопали наконец водосточные канавы, двор был непрестанно затоплен, и бараки порой тоже заливало водой.

В то время нашей основной работой было завершение строительства самого лагеря. Все приходилось делать с нуля. Мы построили свою собственную лесопилку для обработки древесины, которая трелевалась с железной дороги, затем приступили к строительству новых бараков. Потом мы построили кухню, склад для продуктов и наконец санчасть. Новая санчасть всегда была полна. Когда врач, тоже из заключенных, проведал, что я американец, он стал поручать мне перевод рекомендаций к применению некоторых американских лекарств и таблеток, которыми его снабжали. Взамен он устраивал меня на работу в санчасть на три дня кряду. В санчасти в придачу к хлебу я получал чай, сахар и витамины для поддержания сил. Эти перерывы в тяжелой бригадной работе буквально спасали мне жизнь.

Пища в лагере по-прежнему ограничивалась ежедневной пайкой хлеба, прибывавшего по железной дороге. В конце концов от железнодорожных путей к складу продуктов была проведена подъездная ветка. Первую поставку пищи мы получили, когда паровозом в лагерь втолкнули четыре товарных вагона. Как только ворота открылись и вагоны въехали, уголовники рекой вылились из бараков. Лишь у самых вагонов их задержали вохровцы с винтовками. Затем комендант приказал этим головорезам разгружать вагоны и относить пищу на склад. Они заскочили в вагоны и начали разгружать так, что только свист стоял, но потом, схватив еду, бросились врассыпную! Сначала вохровцы стреляли поверх голов, в качестве предупреждения, потом начали стрелять по-настоящему. Насколько я видел, убитых не было, но некоторые, корчась, падали на землю. Но и после этого воры не оставили своих попыток. Ничто не могло остановить их.

Одни уголовники выбрасывали из вагонов ящики с продуктами, разбивая их вдребезги и рассыпая продукты по земле. Другие подбирали рассыпанную пищу и набивали ею карманы, не обращая ни малейшего внимания на стрельбу. Третьи с разбегу кидались на охрану

с дубинками. Когда это произошло, солдаты бежали, опасаясь мятежа. Позже они вернулись, но уже с подкреплением.

Комендант тут же распорядился обыскать все бараки на предмет краденой пищи. Но уголовники были не дураки; они попрятали свою с трудом доставшуюся добычу в снежных наносах вокруг лагеря, из которых ее можно было извлечь позже. В этих четырех товарных вагонах содержался наш рацион на всю неделю, поэтому в ту неделю все остальные не получали ничего, кроме кипятка, капельки сахара и небольшого количества супа, такого жидкого, что с таким же успехом нам вполне могли бы давать дополнительную порцию кипятка. С тех пор товарные вагоны останавливались за пределами лагеря, и еду на склад относили политзаключенные под строгим конвоем, уголовникам же не разрешалось появляться даже во дворе, пока разгрузка продуктов не заканчивалась.

Поскольку, в сущности, это была штрафная зона, куда свозили всех нарушителей дисциплины из норильских лагерей, ничего удивительного, что беспорядки были здесь обычным делом. Немногочисленные политзаключенные были распределены по разным бригадам и изо всех сил старались просто держаться в стороне. Даже несмотря на покровительство Атамана, по вечерам я обычно сидел у себя на нарах или в уголке барака, стараясь как можно меньше попадаться на глаза.

Если у меня когда-нибудь и возникали сомнения насчет того, как быстро я могу нарваться на неприятности в отсутствие Атамана, все они были рассеяны в один прекрасный вечер, когда я отправился на кухню в надежде стянуть лишний кусок еды. Войдя, я столкнулся с уголовником, который первым пришел туда с тем же намерением. Это был безобразный, однорукий бандюга с дубинкой в руке. «Чего тебе здесь надо, ты, фашист?», - взревел он. «А тебе чего здесь надо, ты, вор?», - ответил я. Он тут же кинулся на меня с дубинкой. Я увернулся, поймал его руку и отчаянно в нее вцепился. Тут же прибежали другие уголовники. Вместо того чтобы разнять нас, они окружили меня и обработали со знанием дела с головы до пят. Я очнулся в снегу, на улице, весь в синяках, но, к счастью, без переломов. Это был нелегкий урок, зато незабываемый.

В воровской среде существовала незыблемая кастовая система. Иногда, выходя поутру из барака, мы натыкались на окаменевшее мертвое человеческое тело. Так воры сводили старые счеты с себе подобными; похороны они оставляли на долю рабочих бригад.

Однажды вечером, где-то во время ужина, уголовник из другого барака пришел в наш барак с каким-то поручением. По этому поводу у него завязался спор с Атаманом, который принялся совершенно недвусмысленно крыть его матом. Из чистой бравады чужак разорвал на себе куртку и обнажил грудь, чтобы показать, что он ничуть не боится Атамана. Не успел он довести этот жест до конца, как Атаман извлек из своего тулупа нож и со всей силы всадил его в оголенную грудь. Чужак молча повалился наземь. Атаман спокойно вынул нож вытер его о куртку раненого и велел своим людям выбросить его на улицу, в снег. К счастью его нашли, забрали в санчасть, и он остался жив.

Помнится, когда все это случилось, я только-только приступал к вечернему пайку. Сцена произвела на меня такое тошнотворное впечатление, что я был не в силах доесть то, что еще оставалось, и меня едва не вырвало уже съеденным. Все же остальные спокойно вернулись к своим делам, жадно проглотили вечерний паек, а затем как ни в чем не бывало перешли к своим вечерним беседам и карточным играм. Люди эти были суровы и безжалостны, единственным законом для них был их собственный. Даже охрана боялась их или, по крайней мере, старалась по возможность не «нарываться».

Теперь, когда лагерь был почти готов, началась разработка карьеров. Под почвой здесь имелась глина, которая называлась эвралит и применялась главным образом при изготовлении огнеупорного кирпича. В этой части страны ее обнаружили впервые, поэтому глина, которая добывалась в наших карьерах, направлялась в Красноярск. Сам лагерь стал известен под именем «Эвралитная». Поскольку земля была замерзшая, мы взрывали почву динамитом, а потом выкапывали глину. Через три месяца спрос на глину был так высок, что подобный процесс открытой добычи был сочтен чересчур медленным. Тогда при помощи взрыва в земле было сделано большое углубление, и под землей в слое глины была выкопана горизонтальная шахта. Итак, я вернулся в шахту.

Вскоре после этого от работы в шахтах меня избавил другой политзаключенный по фамилии Грибунов. Бывший полковник Красной Армии, он был серьезный, неразговорчивый человек, имел мало друзей среди заключенных и держался строго в стороне от всех остальных. Он никогда не позволял себе прибегать к жаргонным словечкам или отклоняться в чем бы то ни было от собственных норм офицера и джентльмена. Грибунов был ревностным коммунистом. Он говорил даже, что лично знавал Сталина. Поэтому ему было особенно

мучительно сознавать то, что, посвятив все свои способности служению родине, он все равно попал в лагеря, - за измену партии, как он объяснял.

Грибунов восхищался американской армией и, услышав, что я американец, разыскал меня. Ему удалось сделать так, чтобы меня распределили на лесопилку, где работал и он сам. Строительство лагеря было завершено, но теперь мы выпускали кронштейны и опоры для новой шахты. Однажды, когда мы закончили распиливать очередное бревно и вышли на улицу, чтобы взять следующее, то услышали, как пила завелась и взвыла, во что-то врезаясь. Вбежав, мы обнаружили внутри молодого парня из уголовников, державшего обрубок собственной руки. Кровь хлестала фонтаном, но он лишь хладнокровно сказал: «Перевяжите». Мы тут же перетянули его руку жгутом и забинтовали, как смогли, после чего парень спокойно отправился в санчасть на лечение.

Мы с Грибуновым едва не угодили в БУР, за то что оставили пилу без надзора и предоставили уголовнику «удобный случай» отпилить себе руку. Подобные добровольные увечья с целью увильнуть от работы были довольно обычным делом. Некоторые, прижав ладонь к стене, одним ударом топора отрубали себе пальцы, и делали это с таким небрежным видом, словно это какая-нибудь игра. Они делали это молча и, как и тот парнишка на лесопилке, не поднимали никакого шума: просто туго перевязывали культю и отправлялись к врачу. Поэтому инструменты выдавались только «ответственным» людям. Эти «несчастные случаи» влекли за собой серьезные последствия для тех, под чью ответственность были выданы инструменты.

Однако у воров были и другие, менее жестокие, но столь же радикальные способы увиливания от работы. Например, они смалывали в пудру кусочек сахара и вдыхали полученный порошок, как нюхательный табак. Не позднее, чем через неделю, легкие у них сильно воспалялись, и они кашляли кровью, как при туберкулезе. Поэтому в конце концов сахар стали выдавать только в каше, уже растаявший; кусками его выдавать перестали.

На стройках Норильска

Однажды утром в июне 1947 года перед работой мне приказали остаться в бараке после ухода бригады. Я был в недоумении. Часов в десять в барак явился надзиратель и велел мне предъявить мой формуляр. Когда я вынул его, он тут же проверил мою одежду, чтобы

удостовериться, что ничего не пропало. У нас только что забрали зимнюю одежду и выдали летнюю: ватные штаны, куртку и шапку. Закончив, он велел мне собрать вещи и следовать за ним.

Я вышел вслед за надзирателем в главные ворота «Эвралитной» и ухитрился, проходя мимо Грибунова, подать ему знак. Больше я его не видел. Мы пошли вдоль железнодорожных путей, тянувшихся вдоль склона холма, спустились в Норильск и наконец пришли в другой лагерь, который назывался просто «Второй». Некоторые норильские лагеря носили имена, например «Западная» и «Эвралитная», однако в большинстве своем лагеря были просто пронумерованы. Как только мы вошли в лагерные ворота, конвоир сразу же передал меня лагерным властям. Я прошел все обычные регистрационные процедуры, затем не без удовольствия посетил баню и парикмахера. Наконец меня распределили в бригаду и в барак.

«Второй» был довольно велик. Всего здесь, должно быть, было пятьдесят или шестьдесят бараков, выстроенных рядами вдоль нескольких обычных улиц и содержащихся в чистоте и опрятности, потому что лагерь находился, можно сказать, в самом Норильске. Бараки представляли собой одноэтажные здания, расположенные на наклонных участках земли у подножия Шмидтихи, поэтому в передней части бараков имелось по несколько деревянных ступенек, отчего они становились почти похожими на жилые дома. К тому же они были свежевыбеленными. Здесь, во «Втором», каждый барак был разделен посредине коридором, с каждой стороны которого имелось по одной секции с нарами. В коридорах находились умывальники, а также вешалки и крюки для одежды. Нары вдоль стен были, как обычно, двухъярусные, но, в отличие от сплошных рядов нар, которые мне приходилось видеть раньше, здесь все нары были разделены проходами. Впервые за все мое пребывание в лагерях я увидел на нарах тонкие матрацы и одеяла. В середине секции имелась небольшая кирпичная печка с большой трубой для поддержания тепла. За печью был длинный стол со скамьями. В одном углу была бочка воды для мытья, а также жестяной котел с питьевой водой. К каждой секции был приставлен дневальный, чьей работой было заботиться о том, чтобы на столе в положенное время была еда, убирать секцию и сторожить одежду и одеяла.

Кроме того, каждое утро дневальный приносил наши валенки из сушилки в центре лагеря, куда их вывешивали каждый вечер. Каждый находил свои валенки по номеру (мой номер был 0111), который

писался на валенках мелом, прежде чем их вывешивали за специальные металлические кольца на просушку. Мел, однако, легко стирался, поэтому каждый делал на своей паре валенок какую-нибудь особую метку, чтобы избежать путаницы. Поскольку на кроватях были одеяла, нам было уже не обязательно спать в своей рабочей одежде, поэтому мы и ее вывешивали сушиться каждый вечер. На одежде номера были написаны краской.

«Второй» также был первым в моей жизни лагерем, где пристальное внимание обращалось на чистоту бараков и людей. Банный день устраивался раз в десять дней. В этот день нам также остригали волосы, брили тело (в качестве предосторожности против вшей) и выдавали кусок мыла размером с долларовую купюру. Прежде чем войти в баню, мы раздевались и сдавали свою одежду; ее забирали на прожарку. Выйдя из бани, мы занимали очередь за свежим бельем. Приходилось надевать, что дадут, мало ли оно было или велико; если оно было слишком узко, для удобства его просто разрывали. К следующему банному дню от белья оставались порой одни лохмотья; в таком виде его и сдавали. Это был также первый лагерь на моем пути, где наши ватные брюки и телогрейки стирали – раз в три месяца.

Основным проектом «Второго» было строительство огромной обогатительной фабрики, которая называлась БОФ. В мой первый вечер в лагере бараки обходила комиссия, опрашивавшая каждого заключенного на предмет его специальности. В моей бригаде был молодой, от силы лет двадцати, парнишка по имени Михаил, с которым я подружился. Он знал все ходы и выходы и посоветовал мне назваться «механиком». В бригаде был еще одни человек, еврей по имени Ваня, который тоже записался механиком. В тот день ко времени отбоя мы все втроем были распределены в техническую бригаду, причем ни один из нас не смыслил в механике ни аза.

На следующий день мы явились на фабрику. От лагерных ворот до ворот фабричной территории было всего около ста ярдов, поэтому мы просто пересчитывались на входе и на выходе, без всякого конвоя – это было то же, что отмечаться в табеле. И вот в то утро мы, трое «механиков», явились в металлообрабатывающую секцию. Вскоре оказалось, что мы должны подготавливать к сварке металлические листы, секции паровых котлов, и так далее. Наш бригадир, еврей по фамилии Штейн, начал мне что-то объяснять. Я лишь кивнул головой в сторону Вани и сказал: «Говорите с ним. Я всего лишь его помощник».

Штейн довольно быстро объяснил нам нашу задачу, потом дал нам простой чертеж, с которого мы должны были начинать. Ваня кивал понимающе, с умным видом, подперев пальцем лоб и время от времени потирая кулаком подбородок. Когда Штейн ушел, мы вытащили свой первый железный лист и устроили тайное совещание. У нас не было ни малейшего представления, с чего начинать и какими инструментами пользоваться. Некоторое время спустя вернулся Штейн. Должно быть, он заметил, что мы блефуем, но ничего не сказал. Наконец Ваня взял быка за рога и начертил первый свой чертеж – от руки, на глаз. Потом, со всей самоуверенностью заправского механика он подозвал сварщика и велел ему вырезать это при помощи паяльной лампы. Конечно, это даже близко не соответствовало инструкциям, но, как сказал Ваня, «даже специалисты иной раз ошибаются!»

К счастью, вскоре я познакомился с немцем-резчиком по металлу, который действительно был специалистом. Он шаг за шагом растолковал нам, что надо делать; постепенно работа наша стала вполне приемлемой. К тому же она была хороша тем, что нам не приходилось возить тачки на улице. Темп работы все время форсировался в надежде на то, что до наступления зимы удастся хотя бы настелить крышу. Стены возводились настолько быстро, что даже мы, «специалисты-механики», вынуждены были время от времени возить тачки, помогая на строительстве. К концу лета было уже так холодно, что вода в составе строительного раствора застывала, но кирпичи все равно клали. Начальство заявляло, что овладело новым способом, позволяющим делать строительный раствор и класть кирпичи в холодную погоду. Вот уж был способ так способ! Когда строительный раствор застывал - точнее говоря, замерзал, - то становился настолько рыхлым, что из пространства между кирпичами его можно было выколупать ногтем.

Темп, погода и строительный раствор, объединившись, привели к подлинной трагедии. Внешняя стена одного из фабричных зданий, построенная уже на две трети, внезапно рухнула, похоронив под собой всех, кто на ней работал. Сколько человек погибло, мне узнать не довелось, потому что все бригады были тут же отосланы назад в лагерь еще прежде, чем начались спасательные работы. На следующее утро большинство строительных бригад, в том числе наша, были переведены в Девятый лагерь на другом конце города. Но привезли новые бригады, стену возвели заново, и фабрика приняла законченный вид.

«Девятый», как и «Второй», был неплохим лагерем. Бараки были чистые и теплые, и у нас на кроватях снова были матрацы и одеяла.

Этот лагерь, построенный у большого глиняного карьера, должен был обеспечивать Норильск всеми необходимыми строительными материалами. Рядом с лагерем имелся кирпичный завод, а также целый ряд заводов помельче для производства бетонных блоков, готовых оконных рам и жидкого стекла для специализированных материалов. Мы работали на кирпичном заводе круглые сутки в три смены. Работа была очень слабо механизирована, глиномялки были примитивными, и даже резался кирпич вручную. Сам завод делился на два помещения: поменьше, где мяли глину и нарезали кирпичи, и побольше, с тремя печами для обжига кирпичей. Меня распределили в тот цех, где были печи.

Здесь повсюду были чиновники, призывающие нас работать быстрее, ускорить темп. Поскольку этот завод был главным источником стройматериалов для Норильска и прилегающих к нему территорий, лагерные власти в «Девятом» из кожи вон лезли, лишь бы удовлетворить спрос. Они убеждали, они угрожали, они обнадеживали – но в основном не добивались ничего. В «девятом» содержались в основном уголовники, которые старались работать как можно меньше.

В конце концов в начале 1948 года лагерь был переименован в «Пятый», уголовников услали в другой лагерь, а в наш стали присылать большие группы политических, чтобы работа исполнялась как следует. Меня включили в строительную бригаду, которая была занята непосредственно на строительстве Норильска. Бригады из «Второго» работали на строительстве города в районе под названием «Горстрой»; теперь к ним примкнули и бригады из «Пятого». Изначально здания здесь были в основном двухэтажными и очень похожими на лагерные бараки, но к 1948 году уже возводились четырех- и пятиэтажные многоквартирные дома.

Сперва всегда нужно было расчистить площадку под новый объект и обнести рабочую территорию колючей проволокой. Затем закладывался фундамент. Чтобы заложить фундамент пятиэтажного дома, приходилось раскапывать землю до самых коренных подстилающих пород, проникая сквозь вечную мерзлоту на глубину от восемнадцати до двадцати шести ярдов, - и все это делалось киркой и лопатой. Однако фундамент не был сплошным. Это были просто опоры площадью в два квадратных метра, устанавливаемые на коренных породах в качестве основы для железобетонных свай, служащих главной опорой всего здания.

Над углублением для каждой опоры работали по три человека. Ненужную землю мы поднимали посредством черпака, поэтому один человек работал на поверхности земли и двое под землей: один копал, другой наполнял черпак. Мы работали по десять часов с получасовым перерывом на обед. Хотя на поверхности земли было сорок градусов ниже нуля, в углублении, чтобы выполнить дневную норму, приходилось работать столь яростными темпами, что я раздевался до пояса, чтобы чувствовать себя нормально. Как только углубление доходило до коренных пород, и опора была готова, тут же начинали заливать бетон. На заполнение ямы иногда уходил день, а то и два, потому что бетон тоже приходилось мешать вручную, а погода для такой работы стояла отнюдь не самая подходящая.

Закончив работу над фундаментом, мы начинали возводить на этих железобетонных сваях стены. И снова вся работа делалась вручную. Кирпичи, цемент, древесину – все это приходилось таскать вручную вверх по приставным лестницам и вручную же поднимать на пятый этаж при помощи ворота. И все же, несмотря на столь примитивные условия и глубокую зиму на сооружение пятиэтажного здания уходило менее трех месяцев.

Разумеется, было много лишних затрат. Иногда при разгрузке вагона кирпичей половина из них ломалась, а полвагона цемента могло просто сдуть ветром, пока мы разгружали его лопатами. Заключенных, разумеется, все это нимало не беспокоило. Они могли даже взять потолочную балку и разрубить ее на дрова, просто чтобы согреть помещение. Важно было лишь закончить здание в срок, а также выполнить дневную норму и пройти приемку.

Работа была тяжела, и часы тянулись бесконечно, но в «Пятом» мы жили так хорошо, как мне не приходилось жить уже давно. Политзаключенные в «Пятом» были людьми интересными, дружелюбными, легкими в общении, объединенными добрым духом товарищества. Когда по вечерам мы собирались у ворот, чтобы отправиться домой, мы всегда много шутили и дурачились. По пути назад, в лагерь, мы проходили через центр Норильска. Люди глядели на нас с сочувствием, и, хоть мы и не могли остановиться и поговорить с ними, проходя по городским улицам рабочие всегда выпрямляли спины и шагали бодрее.

Кроме того, в «Пятом» мне впервые после Дудинки снова представилась возможность служить мессу. И снова моим «ангелом» был о. Каспер. Он попал сюда сразу после Дудинки и уже служил мессы

ежедневно для больших собраний поляков, литовцев, латышей и других католиков. Он разыскал меня в первый же вечер после моего прибытия и попросил о помощи. Я был вне себя от радости и вскоре взял на себя один из его «приходов».

Организатором моего «прихода» был поляк по имени Виктор. Виктор, человек среднего роста, лысоватый, с угольно-черными глазами, некогда был учителем. Теперь он был лагерным переплетчиком, и его контора находилась в штабном бараке. В сущности, в его конторе я, как правило, и служил. Прямо, так сказать, под носом у коменданта я каждый вечер, за редким исключением, от начала до конца совершал богослужение восточного обряда. У меня был маленький потир и патена, которые один из заключенных смастерил для меня из никеля; вино было опять из изюма, а хлеб специально для богослужений пекли несколько латышских католиков, работавших на кухне.

Сам Виктор присутствовал на мессе и подходил к причастию каждый вечер. Часто приходил также один русский по фамилии Смирнов. Он знал молитвы мессы наизусть и отвечал на них от лица собрания. Собирать на богослужения много народу было опасно, так как это могло привлечь внимание, но по мере того как слухи о нас распространялись, все больше и больше людей желало посещать службы. В конце концов мы с о. Каспером решились на риск. Мы стали совершать мессы в одном из бараков, где жили в основном литовцы и поляки и сам бригадир был человеком верующим.

В конце концов кто-то, похоже, на меня донес. Меня убрали из бригады, занятой на закладке фундамента, и включили в другую бригаду с бараком на противоположном конце лагеря и строгим бригадиром, которому было приказано пристально за мной следить. Однако он почти ничего не знал о религии, и его не предупредили, что предметом его особого внимания должны быть религиозные мероприятия. Поэтому по вечерам к нам в барак приходили верующие поиграть в карты или в домино и под всеобщий галдеж и болтовню украдкой сообщали мне, сколько исповедей и причастий назначено на этот вечер или на предстоящее утро.

Потом я отправлялся на прогулку. Прогуливаясь по лагерю, я встречался сперва с одним человеком, потом с другим и исповедовал их, гуляя и разговаривая. Если исповедей и причастий было назначено много, я старался договориться со всеми желающими, чтобы утром они поднялись пораньше и пришли в назначенные места лагеря, разбившись на группы по два-три человека. Наутро я встречал их там, якобы

случайно, и, под видом утреннего приветствия, раздавал им причастие. В противном случае я старался раздать причастие всем желающим вечером после мессы; оставлять причастие на ночь у себя было рискованно, потому что ночью могли устроить шмон. Не то чтобы надзиратели искали именно причастие, но во время подобных обысков они конфисковали все, и рисковать мне не хотелось.

Иногда меня допрашивали, а однажды даже прямо сказали, чтобы я не ввязывался ни в какую религиозную деятельность. Я знал, что за мной следят. Однако Виктор из своей переплетной мастерской внимательно слушал все, что говорилось обо мне в соседнем кабинете. Если он слышал упоминание моего имени, то старался между досок разглядеть того человека, который доносил на меня или следил за мной.

Однако некоторое время спустя мы перенесли богослужения в другой барак, дабы не вызывать подозрений. Я совершал мессу в углу барака, где служил дружелюбно настроенный по отношению к нам дневальный, а он между тем сторожил у входа, стараясь не впускать никого, кто не жил в этом бараке и не входил, насколько ему было известно, в число верующих. Мы проповедовали и наставляли, прогуливаясь небольшими кучками по двору: по лагерю прогуливалось немало таких кучек беседующих заключенных. Иногда, если желающих исповедаться было мало, я исповедовал прямо в бараке за игрой в домино или под видом чтения какой-нибудь коммунистической брошюры. Довольно много верующих стали ходить на исповедь регулярно, каждый месяц, а некоторые даже каждую неделю. В общем приход наш процветал.

Около середины 1948 года до нашего лагеря дошли слухи, что под Норильском собираются строить большой медеплавильный завод. Первыми услышали об этом от лагерных властей те заключенные «Пятого», которые работали в управлении. Проект был настолько важен, что строительство должен был возглавить генерал по имени Зверев, человек, который славился тем, что всегда выполнял план точно в срок. Затем, однажды вечером, на лагерной доске объявлений появился листок, гласящий: «Следующим лицам подготовиться к этапу...» В списке было и мое имя.

«Четвертый» строит медеплавильный завод

Четвертый лагерь был в двух милях от пятого. Нас гнали с такой скоростью, что дорога до «Четвертого» не заняла много времени. Когда мы свернули на тропку, ведущую к главным воротам, двухэтажные бараки, построенные из шлакоблоков или кирпича, нарядные,

ухоженные и похожие на город посреди тундры, сразу привели меня в восторг. И все же это был лагерь: вокруг него тянулись два ряда колючей проволоки, между которыми находилась запретная зона. Мы остановились у ворот и ждали, пока лагерные чиновники вместе с конвоирами проверяли наши документы.

Проверка документов заняла больше часа, так что у нас было предостаточно времени, чтобы разглядеть свой новый дом. Сам лагерь стоял на ровном участке земли, со всех сторон окруженном тундрой и густой, высокой травой. На востоке, в пяти милях от лагеря, массивно возвышалась Шмидтиха, а прямо за знакомой горой на мили и мили протянулась горная цепь, сокровищница полезных ископаемых Сибири. С западной же стороны местность тоже была ровной, и только вдалеке, за Енисеем, едва различались очертания покрытых снегом холмов. На север и юг на много миль тянулось открытое пространство, пролегающее, подобно долине, между двух горных цепей.

Пока мы ожидали за воротами, заключенные внутри лагеря собрались по ту сторону колючей проволоки. Они радостно приветствовали нас и говорили, что в «Четвертом» условия отличные. Все были, казалось, в приподнятом настроении, и радостно расспрашивали нас, кто мы такие, искали среди нас друзей и соотечественников, подтрунивали немного над представителями других народов. Надзиратели, казалось, не возражали. Наконец была дана команда строиться. Нас стали по одному вызывать по имени и пропускать в ворота.

Этот процесс включал в себя целую «литанию» вопросов: имя, фамилия, отчество; место и год рождения; статья; где и кем было предъявлено обвинение и вынесен приговор; в каком городе или населенном пункте и когда был вынесен приговор; в каких лагерях вы отбывали заключение и сколько осталось до истечения срока; предъявлялись ли вам какие-либо обвинения в других лагерях, где вы отбывали заключение? Если ответы совпадали с данными документов, заключенного пропускали в ворота, если нет, ему велели отойти в сторонку и дожидаться дальнейшего допроса после окончания регистрации всего этапа.

Как только мы входили в ворота, охрана подвергала нас тщательному обыску, затем препоручала нарядчику, который распределял нас по бригадам, и помпобыту, который выделял нам жилье. Нарядчик и помпобыту отвели нас в бухгалтерский отдел, где мы должны были зарегистрировать свои принадлежности. Нам полагалось – и разрешалось – иметь на руках только обычный набор лагерной одежды:

летом он включал шапку, куртку, штаны, рабочие ботинки, одну смену нижнего белья и портянки. «Позже, - предупредил нас помпобыту, - когда вам выделят место на нарах, нужно будет также зарегистрировать у бухгалтера матрац, подушку, одеяло и другие вещи, которые дадут вам в личное пользование». С приходом зимы нам предстояло сдать летнюю одежду и получить пару валенок, пару ватных брюк, телогрейку, ватную же шапку с ушами из собачьей шкуры, толстую нижнюю рубаху, портянки потолще, пару холщовых перчаток и, если работа была на улице, пару ватных перчаток. Этот зимний комплект должен был прослужить нам две зимы, но летний был рассчитан только на год.

После регистрации нарядчик повел нас в «клуб», просторный двухэтажный барак в середине лагеря. Здесь имелись карты и шахматы, газеты и брошюры, а лучшие работники удостаивались привилегии читать книги. Иногда, по большим праздникам, таким, как Первое мая и Седьмое ноября, в клубе также могли показывать фильмы для особо отличившихся работников. Нам еще не разрешалось свободно перемещаться по лагерю, потому что нас пока не распределили по бригадам и баракам, но старожилы столпились у клуба, высматривая старых друзей. На надзирателей, которые пытались их отогнать, они попросту не обращали внимания.

Здесь я впервые встретил одного священника, которого не видел с 1941 года. Ему сказали, что я в лагере, и он принялся искать меня, обходя все группы вновь прибывших. Я слышал, что он спрашивает о каком-то Чишеке, но молчал, потому что не узнал его. Наконец он подошел и тепло меня поприветствовал. То, что он узнал меня, само по себе ничего еще не значило. Поэтому я спросил его, кто он такой. «О. Виктор, - ответил он. – Вы меня не помните?» - «Нет», - сказал я. «Помните, во Львове вы приходили к архиепископу Шептицкому? Это я встретил вас у входа, а после проводил».

О. Виктор расспрашивал, что со мной случилось, в каких лагерях я побывал и как обстоят мои дела. Далее он поведал мне о том, как сам был арестован и как львовские власти боялись предпринимать что-либо против архиепископа, опасаясь народа. Он сказал мне, что в «Четвертом» я уже девятый священник. Я было понадеялся, что один из оставшихся восьми – Нестров, но Виктор сказал, что не встречал его. Здесь было два польских католических священника, три литовских, один латышский, да теперь еще я. Я рассказал ему об о. Каспере, который тоже был среди вновь прибывших. Он спросил, служили ли мы

мессу; я рассказал ему о том, как мы устраивали богослужения в «Пятом». Виктор сказал мне, что в «Четвертом» они служат регулярно, и заверил меня, что позаботится, чтобы у нас с о. Каспером было все необходимое для совершения мессы.

К тому времени уже вечерело, а меня так и не распределили ни в бригаду, ни в барак. В сущности, давно уже наступило раннее утро, когда меня наконец вызвали и определили в бригаду. Я последовал за помпобыту в свой барак. Мне было отведено место на втором этаже этого двухэтажного здания. Бараки были в хорошем состоянии; здесь были даже радиаторы и центральное отопление, потому что изначально этот лагерь строился как военный городок. Но комнаты были переполнены, потому что для участия в новом проекте сюда привезли слишком много заключенных.

Поскольку утром нам было велено явиться на работу, я не стал терять времени даром, пытаясь уснуть. В пять утра над лагерем раздался сигнал к подъему; дневальный же встал часом раньше, чтобы принести наш утренний паек каши и кипятку. Причина его поступка стала очевидна, когда прозвучал сигнал: в бараке создалась чудовищная «пробка». Вскоре стало ясно, что несмотря на удобства этих бараков, народу в них было воистину слишком много. Так, не всем удавалось перед работой попасть в уборную; завтрак был кошмаром, знакомым всякому, кто вынужден собираться на работу второпях: его приходилось есть на бегу.

Место, избранное для нового медного завода – так называемого Комбината, - находилось примерно в трех милях к югу от лагеря. Дороги туда не существовало, но ходя по этому пути многотысячной толпой, мы сами протоптали себе дорогу. Кому приходилось трудно, так это конвоирам: они, как всегда, должны были идти по бокам от колонны, то есть в данных обстоятельствах продираться и перепрыгивать через утесник, который был им по пояс.

Когда мы, новички, впервые увидели будущую строительную площадку, она представляла собой большое, ровное, открытое пространство примерно в одну квадратную милю. Когда нас распределили в «Четвертый», она уже почти полностью была расчищена, но еще не до конца обнесена колючей проволокой. Когда все бригады – около 4000 человек – пришли, получили задания и инструменты, площадка стала похожа на поле боя. Когда был дан сигнал к началу работы, все словно взорвалось.

Стоял звон и грохот бурильных молотков и компрессоров; ревели паровые экскаваторы, и теплый ясный воздух наполнялся пронзительным скрежетом металла о металл. Там и сям мелькали зэки с тачками, грузящие в самосвалы землю и камни, которые сваливались затем на насыпь с северной стороны, между тем как фундамент начинал принимать осязаемую форму. Среди всей этой неразберихи в чинном спокойствии прогуливался генерал Зверев со своим персоналом. Они переходили с места на место, наблюдая за разными работами, следя, поощряя, суля заключенным хорошее питание и дополнительные пайки за своевременное завершение работ.

В результате работа велась неслыханными темпами. Комья грязи летели во всех направлениях: казалось, будто земля взрывается изнутри. К полудню по всей рабочей площадке лежали груды земли выше человеческого роста: копали так быстро, что землю не успевали увозить. До самого обеда работа велась яростными темпами, без единого перерыва, без малейшего отдыха. Зато в обед – о чудо из чудес! – прямо на площадку привезли на грузовиках горячий суп. Я впервые видел нечто подобное в Сибири, да и баланда была, как говорили зэки, «мировая», то есть отличная, и такая густая, что ложка стояла.

Во время обеда я осмотрелся и увидел, что на запасных путях уже разгружают поезда со стройматериалами и оборудованием, в то время как мы еще не закончили копать фундамент. Из города с ревом приносились целые стаи грузовиков, привозили еще какое-то оборудование, укрепленное на прицепах, выгружали его, затем, круто развернувшись в облаке пыли, уносились прочь, чтобы привезти еще. После обеда мы трудились без перерыва до пяти часов вечера. Стоило нам ослабить темп хотя бы на секунду, как над нами тут же вырастал бригадир или какой-нибудь чиновник и начинал подгонять, обещая увеличение пайков.

К вечеру все были измождены и обессилены до предела. Бригады собирались у ворот медленно, хотя всем и не терпелось вернуться домой. В лагерь мы вернулись где-то после семи, проработав почти двенадцать часов, помылись и стали ожидать ужина. Все, что нам обещали, оказалось правдой! Каждый получил увеличенную порцию баланды, кашу, кусок рыбы и дополнительные двести граммов хлеба. Это был почти пир.

Таков был обычный день в «Четвертом». Если погода была хорошая, мы работали и по воскресеньям, да и вообще выходные случались редко. Работали бешеными темпами, чтобы успеть закончить копать и заливать

фундамент, пока стояла относительно хорошая погода. Нам сказали, что все причитающиеся нам выходные и отдых мы получим тогда, когда погода испортится. Если производились какие-нибудь особо тяжелые работы, то по приказу генерала бригада получала граммов по пятьдесят водки на человека для поддержания сил. Они также получали талоны «плюс два» и «плюс три» на питание. Это был первый из пройденных мной лагерей, где действительно хорошо кормили, вследствие чего люди становились ощутимо сильнее. Их тела становились плотнее, лица полнели. Здесь было вдоволь махорки и других скромных радостей, и на работе можно было легко заработать лишнюю порцию каши или баланды.

Все эти перемены к лучшему оказывали положительное воздействие на большинство зэков, но не на всех. Так, у людей семейных здесь было больше времени, чтобы думать о чем-то, кроме еды, поэтому они думали о своих семьях – и некоторых это доводило до депрессии. Теперь, когда наши наиболее примитивные потребности в таких вещах, как еда и одежда, необходимых для выживания, удовлетворялись с легкостью, некоторые начали искать способ удовлетворения и иных желаний. Имея соответствующие связи, можно было без труда договориться с надзирателем, чтобы он рублей за двадцать пять нашел тебе женщину. В лагерь их не пускали, но они исполняли разные работы на стройплощадке, так что сводничество вовсе не было делом невозможным. Присутствовал в лагере и гомосексуализм, в особенности среди мужчин помоложе.

Здесь, в «Четвертом» большинство национальных групп держались вместе. Они отличались клановостью, в том смысле, что заботились о своих, особенно о больных и изможденных, но, как ни странно, конфликты между национальными группами были весьма редки. Прибалты, поляки и украинцы были этакими ломовыми лошадьми лагеря, на которых держалось все строительство. Грузины, армяне и латыши работали, как правило, на кухне, хотя нередко бывали также бригадирами и нарядчиками. Китайцы и японцы работали большей частью в прачечной, на кухне и в санчасти.

Одним из моих первых новых друзей здесь, в «Четвертом», стал, как это ни странно (ибо я всегда старался избегать таких, как он), вор по имени Евгений. Это был коренастый, хорошо сложенный мужчина на четвертом десятке, ростом немного выше среднего, отменно владевший своими кулаками. Маленькие подвижные глазки, которые были самой заметной частью его лица, говорили, казалось, о неисчерпаемом запасе

энергии. Евгений почему-то проникся ко мне симпатией и научил меня массе способов добывать себе еду. Даже среди воров он слыл виртуозом. Поскольку другие уголовники боялись и уважали Евгения, его дружба сослужила мне добрую службу.

Евгений знал, что я священник, но, как и большинству уголовников, ему были свойственны весьма примитивные представления о религии, к которым примешивалось огромное число суеверных предрассудков. Так, однажды он попросил меня освятить для него маленький крестик, который он с тех пор носил, не снимая. Однако носил он его, скорее, как талисман или как амулет на счастье. Надевая его, он осенил себя крестным знаменьем, но тут же вынул нож и пригрозил толпе: «Кто будет над моим крестом смеяться, получит нож в живот!»

Евгений был крещен в католичестве, но так давно не практиковал свою религию, что, кроме этих суеверных, чисто внешних проявлений, от нее почти ничего уже не осталось. И все же он был верным товарищем, и мало-помалу за те месяцы, что я с ним общался, мне удалось вернуть его к вере настолько, что он наконец решился совершить исповедь и принять причастие. После этого он стал исповедоваться и ходить к причастию почти регулярно, но все равно держался своего особого морального кодекса, жестокой этики ножа и кулака, когда подворачивался случай – а случай подворачивался довольно часто.

Однажды я видел, как он голыми руками повалил трех других воров, хотя и сомневаюсь, что маркиз Кунсбери[20] одобрил бы его приемы. Прижимаясь спиной к стене, он повалил одного из них сокрушительным ударом в горло, второго сбил с ног пинком в пах, а третьего уложил на лопатки при помощи кулаков. Весь процесс занял никак не больше минуты. Потом Евгений посмотрел, нет ли еще желающих с ним сразиться, и хладнокровно пошел прочь, оставив троих поверженных лежать на земле. Столь же мастерски он владел и ножом, а поскольку его законы самозащиты способны были оправдать как самооборону практически любое применение ножа, он никогда не понимал до конца, с чего бы это мне придавать столько значения такого рода инцидентам.

Практически каждый день Евгений приходил ко мне и спрашивал, не нужно ли мне чего, не обижает ли меня кто. При этом подразумевалось, что если что не так, я должен просто сказать ему. Время от времени он также заходил в наш барак, ловил мой взгляд и кивком приглашал меня

[20] Маркиз Куинсбери – Джон Шолто Дуглас (1844-1900), шотландский дворянин, покровитель бокса. *Прим. пер.*

выйти на улицу. Мы шли прямиком на кухню, где он колотил в дверь и просил повара дать мне немного каши. Повар даже бровью не вел, просто наполнял кашей миску, клал туда ломтик сала, наливал немного льняного масла и отдавал ее мне. Тогда Евгений говорил мне убираться с кухни и есть. Вот и все. Он ни разу не соизволил что-нибудь мне объяснить, а я был не настолько глуп, чтобы спрашивать.

Евгений был бригадиром и, благодаря его репутации, бригада его была самой тяжелой во всем лагере. Он очень заботился о своих людях в том, что касалось пищи и различных дополнительных благ, но на работе гонял их нещадно. Однажды он наорал на двух угрюмых молодых литовцев, за то что те бездельничают на работе. Когда он повернулся к ним спиной, чтобы уйти, один из них кувалдой расколол его череп надвое. Евгений умер без единого звука. В тот день я работал на другом объекте и узнал о смерти Евгения только поздно вечером. Я был убит горем. Было бы хорошо хотя бы дать ему отпущение грехов, но мне оставалось утешаться той мыслью, что за две недели до смерти он исповедался и принял причастие в последний раз.

Другим моим хорошим другом здесь был молодой аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке, китайский католик по имени Чунь. Его отец был богатым китайским купцом, поэтому Чуня отправили на учебу в Америку. Я так никогда и не узнал, за что его посадили, потому что он никогда об этом не рассказывал. Однако он довольно неплохо говорил по-английски и, узнав, что я американец, разыскал меня и представился мне по-английски. После этого он стал посещать мессу регулярно, и по воскресеньям я иногда произносил для него короткую проповедь на английском языке. Благодаря своей образованности, Чунь пользовался влиянием среди китайцев «Четвертого». Время от времени он приглашал меня с ними побеседовать; он представил меня как «хорошего человека», и меня очень тепло приняли.

С тех пор мою рубаху стирали, гладили и чинили каждую неделю, хотя по правилам одежду нам стирали (но и это уже было новшеством) раз в три недели. Мою же рубаху неизменно забирали в субботу вечером и возвращали в воскресенье утром, положив заодно в карманы несколько кусочков хлеба. В конце концов Чуня и большинство китайских заключенных «Четвертого» вернули на родину в результате советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Когда Чунь сказал мне, что едет домой, я попросил его написать моему провинциалу на Фордем-род в Нью-Йорке. Он пообещал, что напишет,

и я дал ему адрес. Это было в 1949 году, и больше я его не видел и не получал от него вестей.

В больнице благодаря Мише

Между тем строительство фабрики продвигалось форсированными темпами. Я решил, что нагрузка уже сказывается, и однажды вечером явился в санчасть. Народу здесь было, как всегда, битком. Некоторые «пациенты» просто пришли попытать счастья: врачам разрешалось каждый день освобождать от работы определенное количество людей без совещания с другими врачами, просто самостоятельно заполнив бюллетень. У некоторых среди врачей имелись друзья, которые просто вписывали их имена в список освобожденных, если там еще оставалось место. Другие приходили просто поговорить с врачами, которые и сами были из заключенных, надеясь какой-то хитростью все же втиснуться в список «больных».

Это было как лотерея. Некоторые приходили вечер за вечером, каждый раз с новой историей или новой болезнью, пока наконец им не улыбался случай и они не получали освобождение на день или два. Много было, конечно, и таких, кто был действительно серьезно болен или травмирован и нуждался в срочном оказании медицинской помощи. Но многие из сидевших в тот вечер в приемной были, как и я, просто усталыми людьми, начавшими замечать, как сказываются на них ежедневные перегрузки, и желающими получить выходной.

Заключенным было известно множество способов «помочь» случаю. Многие из них просто выпивали настой табака или глотали кусок мыла. Но поскольку всякой температуры выше 37,7 было достаточно, чтобы обеспечить себе медицинскую помощь, у заключенных была масса уловок, чтобы вызвать жар. Они клали горячие компрессы под мышки и перечный пластырь под пятки, однако самым быстрым способом заставить показатель термометра взлететь вверх было положить под язык кусочек кендыря. Люди семейные в особенности не горели желанием уработаться в лагерях до смерти.

Пока я сидел в санчасти, ожидая своей очереди, дверь регистратуры открылась, и из нее вышел молодой человек лет тридцати. Он был среднего роста, волосы у него – по крайней мере то, что еще оставалось от волос на почти полностью облысевшей голове – были светлые. Он поколебался, осматривая приемную, потом взглянул на карточки у себя в руках и уже собрался было возвращаться назад в регистратуру. Мне

показалось, что я узнал его; встретившись с ним взглядом, я понял, что не ошибся. «Миша!» - сказал я. Он посмотрел на меня, даже глазом не моргнув, хотя и в некотором удивлении, и очень тихо шепнул: «Cito!» (что по латыни означает «Тихо!», или «Тс-с-с!»).

Все произошло так быстро, что никто из сидевших в приемной ничего не заметил. Потом он вернулся в регистратуру, я же остался сидеть на своем месте озадаченный. Мы с Мишей вместе учились в Руссикуме. Вот уж не ожидал встретить его здесь. Я не знал точно, что значило его предостережение, но лагеря и тюрьмы приучили меня не давить на человека, если он не хочет разговаривать, и не наставать на том, что он – такой-то, если он это отрицает. Некоторое время спустя, когда народу в приемной стало поменьше, Миша снова вышел из регистратуры. Он подошел ко мне с несколькими карточками в руках и очень официальным тоном сказал: «Вы – Чишек?». Я кивнул. «Пройдите в регистратуру, мы должны внести некоторые исправления в вашу карточку».

И только когда все двери в его кабинет были закрыты и Миша был уверен, что никто не может нас слышать, он сбросил свою официальную маску и тепло приветствовал меня. «Однако, - сказал он, - никто не должен знать, что мы знакомы!» Потом мы немного поболтали, вспоминая молодость, но Миша был очень осторожен: он ни разу не позволил себе произнести лишнего слова. «Завтра, - сказал он, - оставайся дома и отдыхай; я включу твое имя в список больных. Если кто спросит – у тебя температура». На этом мы обменялись рукопожатием, и он пробормотал: «Увидимся».

В ту ночь я спал, как бревно, зная, что мне не придется вставать в пять утра. На следующее утро, когда ударили по рельсу, я только потянулся на нарах и перевернулся на другой бок. Другие рабочие нашей бригады столпились вокруг и стали спрашивать: «Что с Володькой?» Бригадир подошел ко мне и пригрозил, что сбросит меня с нар на пол. «Ты чего это? – сказал он. – А ну, вставай!» - «Я болен», - сказал я. «Почему бы тебе тогда не пойти к врачу?» - «А я уже ходил, вчера вечером – и, кажется, меня освободили». – «Кажется! Что значит "кажется"? А ну, вставай!» Нарядчик со списком освобожденных еще не обходил бараки, поэтому бригадир заставил-таки меня одеться, позавтракать и собраться на работу.

Однако, когда мы как раз собирались уходить из барака, пришел нарядчик и зачитал мое имя в списке освобожденных. Бригадир был зол, за то что я не сказал ему о своем визите к врачу вечером. Делать так

и вправду полагалось, но я впервые получил выходной за все время в «Четвертом» и был так счастлив, что даже забыл сказать бригадиру. Остальные рабочие нашей бригады пожелали мне удачи и хорошего отдыха и ушли на утренний развод.

Около десяти часов утра в наш барак заглянул Миша. Мы поговорили немного о наших былых деньках в Риме, о лагерной жизни и о его службе в санчасти. Но он ничего не сказал о своем аресте, тюремном заключении и приговоре. Однако обещал, что попытается при помощи своих связей устроить меня на другую работу. «Это потребует времени, - сказал он, - но смотри, никому ничего не рассказывай. А сейчас пойдем прогуляемся».

Мы пошли в барак, где он жил вместе с врачами и фельдшерами. Миша сделал бутерброды, и мы вместе ими отобедали. В этом бараке еды было много, потому что вольные врачи из города приносили своим сослуживцам самые разные яства. Врачи любили Мишу, но оказалось, что другие заключенные его недолюбливают: они подозревали его в сотрудничестве с лагерными властями. Однако, сколько бы я ни общался с Мишей, я ни разу не заметил никаких оснований для подобных подозрений. Возможно, отчасти они объяснялись завистью, ведь у него была такая шикарная работа и он был в хороших отношениях с чиновниками, которые давали ему много привилегий.

Около половины двенадцатого он пригласил меня проследовать за ним в санчасть. Когда мы пришли, он попросил меня ничего не говорить и в особенности не вести себя фамильярно, затем отвел меня в один из врачебных кабинетов. Там сидели две женщины – вольные врачи из города. Они тщательно меня осмотрели – проверили грудь, сердце, легкие, глаза и так далее. Затем они принялись писать мою историю болезни. На самом деле в «Четвертом» я был силен, как бык, но их история больше соответствовала Мишиному «диагнозу». Оттуда Миша повел меня к другому врачу, из заключенных, варшавскому поляку. Прежде чем я вошел, Миша обменялся с ним парой слов, потом вызвал меня.

Врач оказался высоким, грузным человеком по имени Григорий, с широкой костью, но с изящными руками и серьезным, полным лицом, увенчанным шевелюрой каштановых волос. Это был сердечный, приятный человек, очень искренний и открытый. Пока он осматривал меня, я сказал ему, что я священник. Закончив, он сказал: «Что ж, вы довольно здоровый экземпляр, но *это* я беру на себя». Я поблагодарил его, мы пожали друг другу руки, и Миша повел меня к третьему врачу.

Это также был заключенный, долговязый, общительный украинец из Львова. Мы немного поговорили о Львове, потом он подтвердил, что я болен на все сто, и я ушел.
На следующий день нарядчик опять зачитал мою фамилию в списке освобожденных. Бригадир заподозрил неладное. Он прямо сказал мне, что по мне не видно, чтобы я был болен. «Ну, - сказал я, - сегодня мне немного лучше, но врачи сказали, что мне лучше отдохнуть еще денек, а им видней». В тот вечер погода испортилась, и в Норильске в первый раз за то лето случилась буря. В следующие два дня работа вне помещения была невозможна. А потому каникулы мои продлились больше четырех дней, и я почувствовал себя очень неплохо.
Вечером четвертого дня за мной послал Миша. Он сказал, что устроил меня в санчасть дневальным. «Начинаешь завтра утром, - сказал Миша, - но молчи». В тот вечер я никому ничего не сказал: я не хотел совершить ошибку; а утром ушел, прежде чем нарядчик пришел объявить об изменениях. Мне не хотелось иметь объяснение с бригадиром. Я тихо скользнул через лагерь во врачебный барак, и там меня ждал мой утренний паек – верный знак того, что меня сюда переселили.
Здесь было безупречно опрятно, на каждой кровати лежало по две белых, сияющих чистотой простыни. В этой обстановке я, по контрасту, почувствовал себя грязным. Миша дал мне смену одежды; потом, после завтрака, я явился в санчасть. Работать в таком месте! Оно было чистым, теплым, удобным и в сравнении со стройкой делать здесь было почти нечего. Кроме меня здесь было еще четверо дневальных: два китайца и эстонец; один из эстонцев показал мне, что надо делать. Когда начинался утренний осмотр заключенных, я должен был принимать одежду и выдавать номерки в гардеробе – это вам не вкалывать бурильным молотком или лопатой!
Когда утренний осмотр заканчивался, мы, дневальные, отправлялись на работу. Мне выделили две комнаты, одну примерно восемь на десять футов, другую – двенадцать на пятнадцать. Там я подметал, мыл полы, затем включал кварц, и пол высыхал. Между тем я протирал окна и столы, стерилизовал инструменты, менял дезинфекционные растворы и простыни на кушетках, снова расставлял все по местам, запирал дверь, оставлял ключ в регистратуре - и на остаток утра был свободен! Что за жизнь!
В тот первый день я пошел во врачебный барак на обед и там познакомился с врачами. Все они были из заключенных. Помимо

Григория и другого врача, осматривавшего меня прежде, там был Леонид, русский, работавший в Китае; он очень обрадовался, когда узнал, что я американец, и сказал мне несколько слов по-английски, не очень хорошо, но вразумительно. Хирург был евреем из Москвы по фамилии Абрикасов. Он был очень знающий специалист и даже некоторое время преподавал хирургию, но был немного слаб в практике. Некоторые намекали даже, что у операционного стола он порой ведет себя, словно мясник. Однако ему помогали два очень искусных молодых врача – румын по имени Толя и русский по имени Вася, - которые собственно и выполняли большую часть работы на операциях.

Был здесь и Сергей, фармацевт, худой, болезненный грузин, учившийся в фармацевтической аспирантуре в Москве. Главным врачом среди заключенных был молодой, молчаливый поляк из Львова по имени Павлик. Это был виртуозный хирург, нередко его даже вызывали в городскую больницу, в Норильск, делать сложные операции на мозгу и на сердце. Высоко ценимый своими коллегами, он оперировал в основном в лагерной больнице, операции же в санчасти доверял Абрикасову и двум его ассистентам.

Считая дневальных и Мишу, в нашем врачебном бараке проживало всего лишь четырнадцать человек, включая и украинского дантиста по имени Анатолий. Его работа была словно создана для лагеря: у всех заключенных, пробывших в лагерях более или менее долго, были больные, а то и в буквальном смысле слова гнилые, зубы. Анатолий, выпускник Львовского мединститута, трудился в своем кабинете до глубокой ночи, стараясь помочь толпам пациентов в «Четвертом».

Мы не торопясь пообедали, а потом еще долго сидели и разговаривали: в санчасть нам нужно было явиться теперь только в пять часов вечера. Все обитатели барака были ко мне очень любезны.

Когда начинался вечерний осмотр, я следил, чтобы в кабинках врачей хватало воды, опорожнял и мыл медицинские лотки, по поручению врачей ходил по баракам проведать больных и даже помогал носить носилки, когда это было необходимо. Рабочий день у врачей заканчивался в половине десятого или в десять часов вечера. Когда они уходили, я начинал уборку, такую же, как после утреннего осмотра: мыл и протирал полы, менял простыни, стерилизовал инструменты и так далее. Это могло продолжаться до полуночи, но китаец-дневальный проскальзывал на кухню и приносил нам баланду и кашу, которую давал ему его друг, работавший там.

В первый вечер о. Виктор зашел ко мне и принес все необходимое для совершения мессы. Он дал мне рукописную копию восточной литургии, маленький металлический потир, патену и все прочее в небольшом переносном ящичке. У него было даже настоящее литургическое вино и гостии. Уже далеко заполночь, когда все врачи и дневальные закончили работу, Миша выглянул из своего кабинета и сделал мне знак, чтобы я вошел. Там я совершил мессу, а Миша прислуживал. После этого почти каждый вечер за редким исключением я совершал мессу в санчасти. По праздникам и по воскресеньям на мессе присутствовали и один-два врача. Некоторые из них также регулярно исповедовались и причащались.

О. Виктор был человеком невысоким, коренастым, с каштановыми волосами, острым подбородком, тонким носом и в очках. Он ходил особой семенящей походкой, которая позволяла легко распознать его в толпе даже на другом конце лагеря. Он работал на строительстве фабрики, где руководил бригадой, замерявшей температуру залитого бетона, чтобы проверить, как он застывает. В связи с погодой, а также с тем, что строительство происходило как раз зимой, бетон нагревали анодами, присоединенными к некоторым из стержней арматуры. Работа о. Виктора заключалась в том, чтобы два-три раза в день измерять и записывать температуру. Остальное время он сидел в маленькой теплушке на стройке, прячась от ветра.

У Виктора было полно друзей, как среди рабочих, так и среди лагерщиков, поэтому его крайне редко распределяли на тяжелые работы. В свободное же время он совершал массу духовных дел. Виктор все время куда-то спешил – навещать больных, выслушивать исповеди. Его маленькая будка на стройке была идеальным местом, где можно было прямо среди рабочего дня исповедовать, наставлять одного-двух заключенных или отвечать на их вопросы.

Еще один священник (назовем его «о. Джо») был высоким, грузным, лысеющим поляком. Он говорил громоподобным голосом и подчеркивал каждое свое слово выразительным жестом. Он был необыкновенно ревностным священником, но, в отличие от о. Виктора, уравновешенным и медлительным. Его друг, о. Леонид, тоже был высок и почти совершенно лыс. Как и Виктор, он был нервным, вечно куда-то спешил. И у него, и у «о. Джо» среди паствы было много последователей.

Помимо нас с о. Каспером здесь было еще двое священников-литовцев, которые всегда держались вместе, и три греко-католических

священника, которые время от времени к нам присоединялись. Все мы регулярно служили мессу – благодаря Виктору, который снабжал нас всем необходимым и чьи запасы, казалось, не иссякали никогда. Каждому священнику была доверена своя группа верующих, или «приход», и мы пеклись о том, чтобы наши приходы держались обособленно, дабы сделать свою работу по возможности незаметной. И все же Виктор позаботился о том, чтобы каждый заключенный в лагере был знаком, по меньшей мере, с одним священником, если только у него было такое желание.

Теперь, когда я поступил в санчасть, у меня появилось немного свободного времени и гораздо больше свободы действий. Поэтому Виктор поручил мне проводить трехдневные духовные упражнения с другими. Я проводил с упражняющимися одну беседу перед уходом на работу, одну после работы и еще одну вечером, около девяти часов. Одновременно я проводил индивидуальные духовные упражнения с теми заключенными, которые просили о более серьезном духовном руководстве. По воскресеньям и праздникам мы, священники, собирались вместе. Каждый произносил десятиминутную проповедь, мы исповедовались друг другу, по меньшей мере, каждое воскресенье и старались часто устраивать обсуждения нравственных проблем, возникавших в лагере, и искать наилучшие способы их разрешения.

Проработав в санчасти месяц, я начал задаваться вопросом, что случится с моим новым рабочим местом, когда чиновники станут проверять списки в конце месяца, как у них было заведено. Миша признал, что некоторые трудности могут возникнуть, но сказал, что надеется как-то все уладить. В последний день месяца новые списки были вывешены на лагерной доске объявлений. С удивлением я обнаружил, что по-прежнему значусь в санчасти. Однако на этот раз я числился интерном – благодаря Толе и Васе.

Весь следующий месяц я работал с ними. Сначала я выполнял лишь самые простые работы, такие, как снятие повязок и промывание ран перед лечением, а потом наблюдал за тем, как они их обрабатывают. Однако через несколько дней я уже мог лечить простые раны, следуя их указаниям; я даже вскрывал ланцетом язвы, вырезал избыточные грануляции, и делал другие простейшие операции подобного рода. Признаться, в первые дня два меня едва не тошнило. Однажды я даже довел себя до колик, изо всех сил сдерживая рвоту.

Время от времени мне также случалось помогать Васе и Толе удалять аппендикс, вправлять суставы, лечить переломы и так далее. Я даже

научился накладывать вполне приемлемые шины и гипс. В общем и в целом, после того как желудок мой угомонился, до конца месяца все шло просто прекрасно. В конце рабочего дня, в благодарность за то, что меня взяли в команду, я мыл и дезинфицировал все наши хирургические инструменты и следил за тем, чтобы в хирургическом кабинете не было ни единого пятнышка. После этого я каждый вечер служил мессу.

Это было слишком хорошо, чтобы длиться долго, и к концу месяца возникли новые неурядицы. Даже Миша на этот раз был обеспокоен, но в новых списках я по-прежнему числился в санчасти – в аптеке. К тому времени мы с Сергеем были хорошими друзьями, и ему удалось меня выручить. Эта работа показалась мне даже более интересной, чем в прежние месяцы. Помощь же Сергею, несомненно, требовалась. Каждый день приходилось готовить огромное количество порошков и пилюль, потому что очень немногие из наших лекарств поступали уже в готовом виде. Я отмерял на весах ингредиенты для Сергея, который был истинным экспертом в изготовлении пилюль; вскоре я уже умел изготовлять большинство обычных лекарств по памяти. Я настолько увлекся этой работой, что даже позабыл обо всех связанных с ней опасностях, предоставив беспокоиться Мише. Так, каждый раз, как на проверку приезжало начальство из Норильска, мне заранее говорили исчезнуть. И вот, когда казалось, что все идет отлично, как раз и стряслось!

Однажды утром, когда вот-вот должны были уже вывесить списки на новый месяц, меня вызвали в надзирательскую. Когда я явился, меня сразу направили в штрафную бригаду – прямиком и без вопросов. В тот же вечер в штрафную бригаду прибыли Миша и о. Виктор. Однако Миша покинул ее уже через три дня – как только начальнику санчасти удалось освободить его. Он был практически незаменим.

Штрафная бригада работала на строительстве нового БУРа. Мы снесли старый, расчистили площадку и приступили к закладке фундамента, как всегда, вручную. Этот труд показался бы нечеловеческим и в любое другое время, но я был не в форме после трех месяцев легкой жизни при санчасти, и это очень сильно ощущалось. О. Виктора поставили делать кирпичи. Все это было наказанием за то, что мы вмешались в лагерные списки и изъяли мое имя из перечня тех, кто был распределен на тяжелые работы, хотя именно к ним я и был приговорен.

Неделю спустя Мише удалось освободить о. Виктора, но ему потребовалось куда больше времени чтобы вызволить из штрафной бригады и меня. В конце концов, когда списки на следующий месяц

были готовы, Мише и Виктору удалось снова записать меня в строительную бригаду, работавшую на строительстве фабрики. В первое утро, явившись на работу, я был поражен тем, как сильно продвинулась работа за три месяца, минувшие с тех пор, когда я был здесь в последний раз. У меня было такое впечатление, будто здания выросли здесь за одну ночь. Меня назначили электриком, но я сказал бригадиру, что совершенно не смыслю в электричестве. Тогда он стал доверять мне случайные работы, которые не требовали специальной подготовки.

Но однажды весь свет на фабрике погас. Единственными «электриками» в главном здании оказались я и Алеша, который знал об электричестве еще меньше моего. Однако, поскольку прорабы требовали света, мы решили пойти посмотреть, в чем дело. Мы открыли электрощит – полагая, что пробки способны поменять даже мы, - и обнаружили, что работаем в трехфазной системе. Я поменял две пробки и принялся за третью. Я так сильно боялся, что меня убьет током, что Алеша буквально сотрясался от смеха. Обернувшись, чтобы попросить его замолчать, я случайно задел пальцем контакт – и получил 320 вольт! Я повалился навзничь без сознания и пролежал без чувств почти полчаса.

Когда я пришел в себя, Алеша все еще смеялся; перестав трястись, я и сам принялся смеяться над абсурдностью этой ситуации. Позже мы сообщили о происшествии бригадиру. «Кто просил вас это делать?» - спросил он. «Ну, - сказал я, - нужен был электрик, а я думал, что пробки поменять может каждый». – «Да, - сказал он, - ну что ж, хватит. Вы с Алешей понижаетесь в должности: будете теперь таскать кабели».

Но и здесь мы с Алешей ухитрились попасть в беду. Однажды нам сказали отнести высоковольтный кабель на другой конец фабрики. Мы вошли в здание с заснеженной улицы, и некоторое время глаза наши не могли привыкнуть к сумраку. Я наступил на высоковольтный провод под напряжением - последовала яркая вспышка и облако дыма. Алеша за моей спиной выронил свой конец кабеля и галопом понесся прочь. Кто-то потянул за главный выключатель; весь свет в здании погас. Рабочие из нашей бригады принялись меня окликать, думая, что я умер или, быть может, потерял сознание. Я ответил, что я в порядке, но боюсь пошевелиться. «Провод обесточен», - закричали они. Я выкарабкался. Резина на моей подошве превратилась в желеобразный ком, и вся бригады «утешала» меня, говоря, что я чудом остался жив.

Но и без подобных утешений я был сыт по горло. В тот же вечер я сказал об этом о. Виктору, и ему удалось устроить меня в свою бригаду;

ему полагалось иметь только четверо подчиненных, но он убедил чиновников записать меня пятым. Два дня спустя меня официально перевели в его бригаду, отвечавшую за измерение температуры.

К осени стены главного фабричного корпуса были готовы. Начали крыть крышу. Погода испортилась, но работа продолжалась. Даже в снег и ветер рабочие трудились, стоя на балках на большой высоте. Не раз я видел, как люди падали с самой верхней балки на бетонный пол, а упав с подобной высоты, остаться в живых было невозможно. Но не только погода служила причиной несчастных случаев. Другой причиной была неопытность рабочих, не умевших работать на высоте, а также бешеный темп работы. Генерал Зверев был решительно настроен завершить строительство в срок. Возможно, ценой трех или даже четырех человек в день, но какое это могло иметь значение при таком огромном количестве заключенных?

Решимость Зверева себя оправдала: к первому дню нового, 1952, года Комбинат был завершен. На следующий день должны были приступить к плавке меди, поэтому бригады оставили в лагере, в то время как представители городских властей и жители Норильска пошли полюбоваться на открытие этого нового гигантского предприятия. Однако первое же испытание новых плавильных печей увенчалось колоссальным взрывом!

По поводу церемонии открытия все здания комбината были украшены электрическими плакатами, на которых были написаны имена Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. После взрыва, сорвавшего крышу с плавильного цеха, лампочки, из которых было составлено слово «Сталин», погасли. Некоторые лагерники восприняли это как шутку, но другие увидели в этом любопытное предзнаменование. До нас непрестанно доходили слухи о состоянии здоровья Сталина, и это происшествие породило в лагере множество пересудов.

Бунт

В феврале 1952 года меня перевели назад в «Пятый». О. Виктор остался в «Четвертом». Поскольку теперь, когда Комбинат был достроен, на этом участке оставалось очень немного работы, он каждый день приходил на один из обычных норильских строительных участков под названием «Горстрой». Здесь он заведовал складом, где хранились бензин и масло для машинного оборудования. Здесь у него снова была своя маленькая будка. Я каждый день захаживал к нему в обеденный перерыв, и мы по очереди служили мессу у него в теплушке.

Работа сторожем также давала Виктору возможность щедро оказывать помощь женщинам-заключенным. Теперь ярдах в ста от главных ворот «Пятого» находился женский лагерь; женщины тоже работали на строительстве города. В женском лагере была группа украинских монахинь, попавших в заключение. Они оказывали большое влияние, прежде всего, на молодых девушек, помогая им и устраивая их на исповедь. Женщины не могли покидать свою зону, но время от времени можно было условиться с теми из них, кто желал исповедаться, чтобы они пришли в определенное место у колючей проволоки, разделявшей наши зоны, дабы о. Виктор, проходя мимо, мог «выслушать» их исповедь.

Как правило, они записывали свои прегрешения на листке бумаги и передавали его Виктору, когда он проходил мимо. Записки были пронумерованы, но имен на них не стояло, и Виктор немедленно сжигал их в печке у себя в теплушке. На следующий день женщины снова приходили в то же место, творили покаяние, на пальцах показывали о. Виктору свой номер и получали отпущение. Если же передавать записки или давать отпущение каждой женщине в отдельности было по каким-то причинам невозможно или нежелательно, мы старались, по меньшей мере, дать им общее отпущение. В этом служении участвовали все священники, но у Виктора в связи с его работой было больше свободного времени на рабочем месте, поэтому б***о***льшую часть этого служения выполнял он. Некоторые из записок, посылаемых таким образом, разумеется, могли быть перехвачены. Готовность женщин идти на этот риск ради таинства, их искренность и доверие к нам служили величайшим назиданием для нас, священников.

В целом женщинам жилось в лагере намного тяжелее, чем мужчинам. Зачастую они были желанной добычей не только для заключенных, но и для вольных мужчин, работавших на стройках, для охраны и даже для лагерных чиновников. Два больших барака в женском лагере, где обитало множество не достигших пятилетнего возраста детей, весьма красноречиво свидетельствовали об этом положении дел. Кроме того, после родов женщине моментально выделяли улучшенный паек до тех пор, пока она не оправится, и в период выздоровления женщина не должна была работать. Если это не служило для женщин стимулом, то, во всяком случае, не было для них и сдерживающим фактором. Это ни в коем случае не значит, конечно, что все женщины поддавались соблазну. Женщины из прибалтийских государств в особенности, так же, как и польки и украинки, зачастую обладали возвышенным

характером и глубокой верой, которые не могли поколебать все тяготы, которые им приходилось терпеть. С другой стороны, как и в каждом лагере, в женском лагере была своя доля уголовниц.

К лету 1952 года бригады «Пятого» участвовали в самых разных работах. Основным делом лагеря по-прежнему оставался Горстрой, то есть строительство города, но для того чтобы довести его до конца, мы должны были обеспечить рабочей силой целый ряд вспомогательных производств, которыми оброс лагерь. Так, например, я снова работал на двухэтажном кирпичном заводике, находившемся невдалеке – всего в 200 ярдах – от наших главных ворот. Прямо вдоль южной и западной сторон лагеря тянулась подъездная железнодорожная ветка, ведшая к глиняным карьерам, где женские бригады добывали теперь сырье. Вдоль железнодорожной ветки с западной стороны тянулась вереница маленьких предприятий, выпускавших цемент, бетонные блоки, стекловолокно, смоляной клей и кепенит (особое жароустойчивое, морозоустойчивое очень крепкое стекло)[21]. Кроме того, были еще бригады, работавшие в уже завершенных районах города. Он рыли канализационные каналы, заканчивали строительство дорог.

Однако условия жизни в самом лагере были гораздо хуже. Заметно было отсутствие духа товарищества среди заключенных, особенно по сравнению с «Четвертым», на что власти реагировали ужесточением дисциплины. Жестокое обращение с заключенными, вплоть до побоев, было здесь обычным делом. Мы понимали, что идет всеобщее усиление режима. В заключенных росли негодование и злоба. Это был порочный круг.

В январе 1953 года лагерь всколыхнули новые слухи. Вольные рабочие из города, которые руководили работой на строительных участках, разнесли весть о болезни Сталина. Затем до нас дошло невероятное известие о том, что целый ряд кремлевских докторов арестовали и посадили в тюрьму. Затем мы услышали, не веря своим ушам, что врачи отпущены на свободу и реабилитированы. И ко всему этому упрямо примешивался слух, будто сам Сталин уже умер.

Подобные слухи порождали в лагере массу пересудов. Лагерщики были встревожены не меньше самих заключенных. Очень скоро заключенным запретили собираться группами более двух человек. Нарушения этого запрета карались дополнительными тяжелыми работами или переводом

---

21 В справочных пособиях такого стекломатериала переводчику найти не удалось, поэтому его название приводится в написании автора. *Прим. пер.*

в штрафную бригаду. Общая атмосфера, и без того достаточно напряженная, стала еще хуже.

Все больше и больше заключенных возмущало то, что к ним обращаются по номерам. Они считали это унизительным. А между тем лагерные власти и охрана все больше и больше настаивали на номерах: на утренней поверке они проверяли, ясно ли видны номера на одежде зэков. Нарядчик обходил бригады, построившиеся рядами по пять человек, чтобы покинуть лагерь, и вытаскивал всякого, чей номер был стерт, неразборчив или спрятан. Если в ответ раздавалось ворчание или ропот других заключенных, бригада не двигалась с места, пока не выяснялось, кто именно позволил себе выразить недовольство, после чего человека могли и избить.

В лагерный распорядок дня было введено и еще несколько новых дисциплинарных мер. Раньше бараки на ночь никогда не запирали; теперь они закрывались в девять вечера сразу после поверки. Если во время поверки в бараке кто-то отсутствовал, его автоматически записывали в буровцы. Но если он прятался или все еще отсутствовал после окончания поверки всех бараков, ударом по рельсу давался сигнал, и во всем лагере устраивали контрольную поверку. Иногда такие контрольные поверки проводились по два-три раза за вечер, и в такие вечера сигнал к отбою могли не давать до двух-трех часов ночи. И все равно мы должны были вставать в пять утра и идти на работу.

Поверки у ворот по утрам и вечером, когда бригады возвращались домой, стали более строгими. Надзорсостав взял привычку почти ежедневно тщательно обыскивать каждого заключенного, ища кусочки металла, ножи, письма, записки. Во время шмона конфисковали любую лишнюю одежду, надетую заключенными. Стали изымать и такие вещи, как медали, образки, нарамники, самодельные распятия. Все это делалось во дворе, несмотря на холод. Заподозрив что-нибудь, шмональщики, не колеблясь, заставляли человека раздеться догола. Иногда они требовали даже снять валенки и портянки, и человек оставался стоять на снегу босой и совершенно голый.

Работа в Горстрое затормозилась почти до полного бездействия. Там, где прежде бригады из «Пятого» возводили целые здания за два месяца, теперь строилось в среднем по одному этажу одного здания за шесть-семь месяцев. Водители грузовиков, подвозившие нам материалы, привозили также и вести о беспокойной обстановке в других лагерях. Железнодорожники, курсировавшие на поездах между Норильском и

Дудинкой, рассказывали о подобном же недовольстве заключенных в порту.

Тем не менее, некоторые бригадиры все равно старались гнать свои бригады на полную катушку. Несколько раз после работы бригады часами держали у ворот строительного участка, пока охрана искала пропавшего бригадира. Бригадира могли найти утопленным в свежезалитом бетоне, сильно изувеченным, а то и расчлененным. И все же власти боялись принимать радикальные меры, опасаясь, как бы зэки не вышли из повиновения.

«Стукачи», к которым всегда относились с отвращением, теперь непрестанно находились в опасности вследствие все возрастающей жажды мести. Многие из них отказывались работать за пределами лагеря: слишком уж много представлялось на стройке благоприятных возможностей отомстить или устроить «несчастный случай». Они норовили устроиться дневальными или получить работу в управлении и особенно усердно старались почаще менять бараки. Лагерные чиновники чувствовали себя более или менее обязанными помогать им ради той информации, которую можно было от них получить.

Мне вспоминается один молодой литовец, которого другие литовцы подозревали в «стукачестве». Однажды вечером двое худых, почти истощенных литовцев в лохмотьях подстерегли его на крыльце его барака. Как только он вышел, они набросились на него и, прежде чем он успел сказать хотя бы слово, надвое раскроили ему голову топором. Они наносили ему удары снова и снова. Потом они даже не потрудились убежать. Аккуратно вымыв топор и оставив свою жертву лежать в луже крови, они отправились в БУР, чтобы добровольно признаться в содеянном.

В другой раз, как-то поутру, сразу после сигнала к подъему, как только отперли бараки, три человека в масках и накидках, скрывавших их по щиколотку, появились возле одного из бараков. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, они прямиком направились к одному из лежаков, сорвали с него одеяло и набросились на лежавшего там человека. Когда несчастный попытался скользнуть к двери, его повалили на пол, выволокли в коридор и стали наносить ему удары ножом. В бараке никто не пошевелился. Никто не желал вмешиваться в дело, которое его не касалось. Не всегда дело было в «стукачестве»: некоторые пользовались волнениями в лагере, чтобы свести счеты со своими должниками или давними врагами.

Признанным лидером заключенных в «Пятом» был человек неопределенной национальности, известный просто как Михаил. Он был талантливый малый и работал в клубе: заведовал библиотекой, доской объявлений и стенгазетой, которая вывешивалась на доску объявлений и содержала объявления о различных лагерных мероприятиях, сообщения о выдающихся достижениях лагерных стахановцев и процент выработки бригад за день. Михаил был среднего роста, смуглый, лысый, крепкого сложения и, казалось, совершенно невозмутимый. Ходили слухи, что до ареста он занимал какой-то высокий военный пост; как бы то ни было, именно он был тем «мозгом», который управлял действиями заключенных, когда те стали постепенно организовываться.

Что-то, несомненно, витало в воздухе, и не только в «Пятом», но и в самом Норильске. Даже на вагонах и локомотивах поездов, приходящих из Дудинки, были теперь нацарапаны лозунги: «Мы требуем повышения зарплаты»; «Улучшить питание»; «Улучшить условия работы и снизить норму». С континента просачивались новости и долетали слухи о беспорядках и волнениях в карагандинских лагерях в Казахстане и в воркутинских на западе.

Все еще много судачили о болезни Сталина и о кремлевских переворотах, но мало что было известно доподлинно. Даже вольные рабочие из города слышали только предположения да сплетни. И вдруг, в одно прекрасное утро, на первой неделе марта 1953 года, по лагерным громкоговорителям объявили, что Иосиф Джугашвили-Сталин умер!

Первой реакцией во всем лагере было потрясение. Встречаясь, люди собирались маленькими кучками и шепотом обсуждали новость, крестясь и приговаривая: «Господи!» Всех охватил страх, напряжение и ожидание, что вот-вот *должно* что-то случиться. Лагерное начальство суетилось, то ездило в город, то возвращалось обратно. Разные городские чиновники, в свою очередь, тоже приезжали из города в лагерь и возвращались обратно. Работа встала; нарядчик и его помощники выглядели задумчивыми и озадаченными. Атмосфера напоминала вакуум, и мне казалось, что теперь может случиться все, что угодно.

Надзорсостав в лагере и за его пределами был удвоен. Теперь на каждой вышке вдоль колючей проволоки было по два часовых и вдвое больше часовых у ворот, чем когда бы то ни было. Толки по поводу смерти Сталина, словно подводные течения, струились по всему лагерю. Лагерное начальство принялось переводить зэков из лагеря в лагерь,

надеясь отделить лидеров от их последователей. Этапы прибывали в наш лагерь даже с континента. В основном это были либо закоренелые профессиональные бандиты, либо бандеровцы, участники знаменитых отрядов украинских партизан, ненавидевших советскую власть. Никто из них не ходил на работу ни в Горстрой, ни куда-либо еще, но все они расхаживали по лагерю, словно полноправные хозяева. Они были хорошо одеты, не в лагерную одежду, а в штатское, и попросту отказывались работать. С лагерным начальством они разговаривали так, что было ясно: трогать их не стоит. Их и не трогали.
Вскоре весь лагерь был полон принесенными ими слухами о мятежах в лагерях Караганды. Для подавления этих мятежей пришлось вызывать вооруженные отряды. Они также рассказывали и о других, уже бунтующих, лагерях. Мне казалось, что власти «Пятого» почти уже позволили ситуации выйти из-под контроля. Как бы то ни было, наш собственный бунт был тоже уже не за горами. В то утро, когда он начался, мы были уже на работе, на кирпичном заводе, и когда бригады из женского лагеря проходили между кирпичным заводом и «Пятым» по пути к глиняным карьерам, они принялись, как и каждое утро, перешучиваться с мужчинами. Однако, когда их бригады повернули на восток и пошли вдоль южной стороны «Пятого», кое-кто из новичков подошел к колючей проволоке, чтобы их поприветствовать. Часовые начали поторапливать женщин, а новички стали кричать.
Как обычно, мужчины принялись перебрасывать девушкам через проволоку записочки. Некоторые записки перехватывали часовые, что вызывало ругань заключенных. Девушки в ответ тоже кидали записки; пара записок упала в запретную зону, между двумя рядами колючей проволоки. Почему-то новички решили их подобрать. Молодой часовой на вышке закричал, чтобы они немедленно вернулись, но те пропустили это мимо ушей. Часовые не имели права стрелять по тем, кто находился внутри лагеря. Однако, как только новички приблизились к забору, этот молодой часовой открыл огонь из пулемета. Двое бандеровцев были убиты на месте, трое других – ранены.
Зэки утащили своих убитых и раненых в ближайший барак, затем пригрозили, что снесут вышку. Другие побежали по лагерю разносить весть о поступке часового. Женщин, наблюдавших за всем происходящим, быстро погнали по дороге к глиняным карьерам. Полчаса спустя лагерь уже бушевал.
Само лагерное начальство не знало, что именно вызвало бунт. Узнав об этом, оно немедленно явилось в барак, где отсиживались заключенные,

и примирительным жестом приказало молодому часовому сойти с вышки. Молодой часовой спустился под градом зэковских угроз, но бандеровцы приказали начальству покинуть их барак. По всему лагерю зэки подняли крик: «Убийца! Убийца! Мы не хотим умирать! Вы не можете нас убивать!» Начальство, в растущей тревоге, отступило к северным воротам.

Когда начальство ретировалось, толпа заключенных ринулась в баню в поисках двоих дневальных, подозреваемых в «стукачестве». «Где Марко?» - орали они, врываясь в двери. Марко принимал душ. Он опрометью бросился бежать через другую дверь в сторону колючей проволоки. Он сильно поранился, но все же перелез через проволоку и спрыгнул в запретную зону в надежде бежать через главные ворота. Часовой на одной из ближайших вышек крикнул: «Стой!» Марко все бежал по тропинке между двумя заборами из колючей проволоки, увертываясь от камней, которые бросали в него другие заключенные. Он пробежал ярдов пять; часовой на вышке уложил его двумя выстрелами.

Пока это происходило, еще один «стукач» выбежал и взобрался на колючую проволоку. Начальство у северных ворот наконец подало часовым знак не стрелять; «стукач» побежал по запретной зоне к будке вахтера у ворот. Там он обернулся и пригрозил бандеровцам кулаком. В ярости толпа хлынула ближе к воротам.

Всякая работа остановилась. Многие заключенные, работавшие на заводе, пробежали, минуя железнодорожные пути, те двести ярдов, что отделяли завод от колючей проволоки лагеря, чтобы узнать от заключенных в зоне, что происходит. К тому времени заключенные уже организовывали комитет с Михаилом и несколькими бандеровцами во главе. Они велели бригадирам не возвращаться в лагерь, но при помощи своих подчиненных взять под контроль предприятия. «Слышали?» - кричали бригадиры своим рабочим. К работе больше никто уже не вернулся.

После небольшого затишья на дороге показалось несколько машин: это ехали в лагерь чиновники из Норильска. Они остановились у ворот, поговорили с чиновниками из лагеря и попытались войти в лагерь. Толпа взревела, и они остановились прямо в воротах. Комитет Михаила вышел им навстречу. Заключенные немедленно обвинили лагерное начальство в хладнокровном убийстве. Комендант признал, что часовой на вышке не имел права стрелять в зону; он обещал, что часовой

понесет наказание. Но тогда комитет потребовал полного изменения условий жизни в лагере.

Они перечислили некоторые конкретные требования: упразднить номера на одежде; разрешить заключенным писать письма домой раз в месяц; сократить рабочий день, как минимум, до восьми часов; выплачивать заключенным заработную плату; ввести зачеты, то есть сокращать срок за высокопроизводительный труд, например за каждый день работы, в который заключенный перевыполнил свою дневную норму, сокращать срок на три дня.

Пока стачечный комитет разговаривал с чиновниками, заключенные окружили их со всех сторон, наперебой что-то говоря, жалуясь, смакуя вкус власти и свободы, выкрикивая разнообразные обвинения и угрозы.

Начальство согласилось, что несправедливость действительно имела место быть; партийные начальники из Норильска записали требования заключенных. Все уверяли заключенных, что все будет улажено и их требования будут исполнены.

Но заключенные не верили. Когда лагерное и городское начальство собралось уходить, заключенные со всех сторон подгоняли его криками: «Слова, все слова! Нам нужны дела!» После продолжительного совещания за воротами лагерщики и партийцы снова сели в свои машины и укатили в Норильск.

В тот вечер на подмогу лагерной охране прибыли целые колонны грузовиков с военными и окружили лагерь. В самом лагере заключенные под руководством Михаила начали организовываться. Из заключенных была создана внутрилагерная служба охраны порядка для предотвращения бесчинств и грабежей; вдоль колючей проволоки были размещены караульные, дабы предупредить лагерь, если войска предпримут какие-нибудь действия. Военные начали размещать прожектора по всему периметру колючей проволоки, чтобы осветить территорию.

Заключенным на заводах и на Горстрое передали, что лагерь в руках у Михаила и его комитета, и комитет просит все бригады «Пятого», если возможно, оставаться на своих рабочих местах и не возвращаться в лагерь. Будут проблемы с едой, но комитет просит, чтобы мы приберегли то, что у нас есть, и как-нибудь продержались. Женщины решили бастовать вместе с мужчинами.

В тот день, ранним вечером, при ярком свете прожекторов оставшиеся в лагере устроили общее собрание на линейке. А в это время мы на территории завода напрягали слух, чтобы расслышать, что они говорят.

Прежде всего Михаил объявил о том, что и так уже все знали: работы больше не будет! Это вызвало одобрительные возгласы толпы. «Хватит с нас страдания, - кричал он. – Хватит с нас дурного обращения, хватит с нас неоплачиваемого труда! Все равно! Лучше умереть в борьбе за свободу, чем от рабского труда!»
Все время, пока Михаил и другие лидеры выступали, охрана за оградой щелкала фотоаппаратами со всех сторон, стараясь запечатлеть в качестве улики как можно больше лиц. Я наблюдал за ними и благодарил Бога, что оказался на фабрике. Михаил перешел к изложению лагерного плана действий. Грабежей быть не должно, потому что имеющейся пищи должно хватить надолго. Каждая бригада будет питаться в свое, определенное, время. Программа на день будет вывешиваться на лагерной доске объявлений, и все должны соблюдать новый распорядок дня и подчиняться инструкциям комитета и лагерной службы охраны порядка.
Нас, находившихся на заводской территории, эти речи ободряли так же, как и других заключенных, но у нас не было съестных припасов, и мы не ужинали. Все остальное вполне нас устраивало, но мы хотели получить свою долю еды. В конце концов нам через ограду перебросили хлеб.
В тот вечер снова явились городские чиновники, на этот раз с самим генералом Зверевым во главе. Они оставили свои машины у входа в лагерь, и человек двадцать из них пешком прошли двести ярдов, отделявшие лагерь от территории завода. Наши бригадиры немедленно передали всем распоряжение закрыть все заводские двери и не вступать с чиновниками ни в какие переговоры, но те, миновав кирпичный завод, прямиком направились к заводам поменьше, что стояли вдоль железнодорожных путей. Они привезли с собой инженеров и хотели осмотреть оборудование, чтобы проверить, не повреждено ли оно.
В конце концов некоторые из наших бригадиров вышли им навстречу, но заводские двери оставались закрытыми. Зэки, находившиеся в лагере, увидели бригадиров, идущих навстречу чиновникам, и закричали им издалека: «Не идите с ними ни на какие сделки! Не слушайте их! Держитесь! Мы с ними уже наговорились! Поддержите нас!» Мало-помалу в рабочих на кирпичном заводе взыграло любопытство, и они начали проскальзывать в двери небольшими кучками и толпиться вокруг бригадиров и чиновников из Норильска.
Беседа вышла неорганизованная до крайности. Все кричали одновременно. Рабочие жаловались на строгий режим, грубое

обращение и произвол нарядчиков и охраны, скудное питание и слишком долгий рабочий день. Чиновники из города говорили рабочим, что не знали, как все плохо; они были согласны на все предложенные изменения с тем условием, что заключенные возвратятся в лагерь и вернутся к работе. В большинстве своем заключенные только ворчали, но другие внимательно слушали – особенно когда чиновники заговорили об ответных мерах.

«Разве вы не видите, что вас дурачат? – сказал партийный чиновник. – Вашим зачинщикам уже нечего терять, но и те из вас, кто ни в чем не виноват, тоже вынуждены будут пострадать, если будут продолжать поступать так». Некоторых это, казалось, убедило. Они потянулись было к воротам заводской территории. Но им пригрозили из лагеря, и, пока они колебались у ворот, военные грубо их вытолкали, но не в сторону лагеря, а в сторону Норильска. Это было уже последней каплей. Рабочие завода почувствовали себя обманутыми; бригадиры принялись браниться и кричать на чиновников, которые спешно удалились. С нашего завода они направились на Горстрой.

Там положение было намного хуже. Рабочие Горстроя не ужинали; они были далеко от лагеря, и передать им пищу не было никакой возможности. Они были куда больше настроены послушаться чиновников и вернуться в лагерь. Им хотелось есть. Но когда зэки в лагере увидели, что те строятся, готовясь покинуть стройплощадку, они, бранясь и угрожая, приказали им не возвращаться в лагерь. Наконец строители отступили. Тогда чиновники оставили свои попытки. Охранники закрыли ворота, строители остались в Горстрое, и все начали ложиться спать. Это была странная ночь. Из-за возбуждения и длительного напряжения сон приходил с трудом. Нельзя было предугадать, что предпримет начальство, когда двинутся войска.

Следующим утром лагерное руководство пришло на нашу территорию. Они сочувственно спросили нас, хорошо ли мы спали и ели, что мы собираемся делать дальше и почему участвуем в этом бунте. Люди говорили мало. Они просто предложили чиновникам обратиться к предводителям заключенных в лагере. Но, откровенно говоря, многие из находившихся на заводе не видели смысла продолжать эту «стачку». Они задавались вопросом, даст ли им это хоть что-нибудь, кроме пустых желудков.

Я минуту-другую поболтал через забор с одним из чиновников. Он честно сказал мне, что лагерные бунты теперь явление частое, не только в Норильске, но также и на континенте, и что Москва весьма озабочена.

«В Москве, однако, еще не решили, что делать, - сказал он, - поэтому никто не стремиться предпринимать какие-либо действия с участием военных».
В то утро в лагере состоялись похороны тех двоих, которых застрелили часовые на вышке. Заключенные устроили торжественную погребальную церемонию, где звучало множество речей об этих «мучениках» свободы, призывов не сдаваться, пока не произойдут те перемены, за которые эти люди отдали свою жизнь, и так далее. Затем тела покойных отнесли к воротам и передали охране для погребения.
К тому времени горожанам стало любопытно, что происходит. Нам было видно, как они выглядывают из окон тех зданий, что повыше; некоторые стояли даже на крышах. Но подходить близко к лагерю штатским не разрешали.
Часов в пять пополудни мы заметили в лагере какое-то волнение. Бригады Горстроя решили вернуться. Конвой отвел их обратно в «Пятый», но едва они вошли в ворота, как лагерные набросились на них за то, что они «сдались». Комитет Михаила хотел, чтобы все бригады удерживали свои позиции и оставались рассеянными, чтобы для окружения занятой восставшими территории потребовалось как можно больше военных и концентрация войск в каждом отдельно взятом месте была как можно слабее. Горстрой же считался особо важным стратегическим пунктом. Он находился на самом краю уже достроенных частей города, и, в случае необходимости, наши предводители надеялись снести ограду Горстроя и бежать в Норильск.
И снова мы провели очень тревожную ночь. Весь второй день восстания мы оставались на заводе, задаваясь вопросом, что же будет дальше; так же прошел и третий день. Время от времени городские чиновники приходили поговорить с предводителями восстания, но ничего существенного, казалось, не происходило. На четвертый день, около полудня, мы начали терять терпение. Все это время мы не ели ничего, кроме хлеба и воды, и не видели, чтобы наше пребывание на заводах к чему-нибудь вело.
Наконец в тот вечер из «Пятого» к нам пришло известие, что можно возвращаться: начальство обещало улучшить условия. Это было весьма кстати. Мы построились, отметились на выходе и почти бегом миновали двести ярдов между заводскими и лагерными воротами. Едва нас впустили в ворота, как мы прямиком направились на кухню, где потребовали – и получили – горячую баланду и кашу впервые за последние четыре дня.

В тот же вечер начальство вернулось, чтобы вновь взять лагерь в свои руки. Михаил и его комитет передали всем, что в следующие три дня никто не должен работать. Мы будем бастовать, пока не увидим, сдержало ли начальство свои обещания. Но никаких ответных мер не последовало, и кормить сразу стали лучше, поэтому три дня спустя бригады вернулись к работе.

В тот вечер по возвращении в лагерь горстроевцы сообщили, что каторжане в спецлаге на юге города взбунтовались и все еще бастуют. Вольные горстроевцы рассказывали и о других мятежах. Однако в «Пятом» неделю или две работа шла в значительно лучших условиях. Многие наши требования были выполнены, большинство других нам обещали исполнить позже, а единственная уступка со стороны заключенных состояла в том, что бандеровцы согласились работать. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и зэки это чувствовали.

Однажды утром, где-то на второй неделе апреля перемирию пришел конец. Как обычно, бригады построились, чтобы идти на Горстрой и на заводы. В то утро моя бригада шла через зону первой, затем прошли еще несколько бригад и наконец две недавно сформированных бригады бандеровцев. Я заметил, что у ворот в это утро больше часовых, чем обычно, у лагерных и заводских ворот - больше почти вдвое. Но ничего не происходило, пока две бригады бандеровцев не начали входить в заводские ворота. Внезапно бандеровцев окружили военные и вытолкали за ворота, после чего заводские ворота закрылись. Они оказались загнанными в ловушку между лагерной зоной и территорией завода, отрезанными от других заключенных, и в случае чего их легко было усмирить прикладом.

Между тем из города с ревом неслись грузовики, полные солдат. Из двух оказавшихся в ловушке бригад отсортировали предводителей, погрузили в грузовики и увезли прочь. К тому времени наши крики в конце концов встревожили оставшихся в лагере. Они хлынули к колючей проволоке с дубинками и были уже готовы прорваться на территорию завода, но Михаил и его люди остановили их преждевременный бунт.

Лагерное начальство снова отступило к северным воротам и, как и в прошлый раз, оставило лагерь во власти заключенных. В тот день больше ничего существенного не происходило, и вечером бригады с Горстроя вернулись в лагерь. Однако нам Михаил велел оставаться на заводе. Из лагеря через колючую проволоку нам снова перебросили хлеб и намного рыбы.

В тот вечер городские и лагерные чиновники снова встретились с предводителями восстания. На этот раз они были настроены куда враждебнее и угрожали, что применят силу. Михаил отказался поддаваться на их угрозы; он сказал, что на силу ответит силой. «В прошлый раз вы обещали, что ответных мер не будет, - сказал он, - но Бог знает, что случилось с теми людьми, которых вы уволокли сегодня утром. Всему этому должен прийти конец, должна наступить решительная перемена! В прошлый раз, сдавшись, мы не получили ничего, а потому - кончено! Останемся мы жить или умрем, но это конец!»

После встречи сигнальщики взобрались на крышу двухэтажного здания на северном краю лагеря и вывесили огромный самодельный флаг с черепом и костями. Другие повесили на обращенной к Норильску стене барака огромный написанный краской лозунг: «Помогите нам избавиться от убийц». Сигнальщики просигнализировали всем соседним лагерям, чтобы они начинали забастовку. Все лагеря ответили, что они с нами до конца. Из верхних окон завода нам едва были видны сигнальные флажки «Четвертого» в двух милях от нас. С тех пор сигнальщики никогда не оставляли своих постов на крышах зданий.

Как раз когда лагерь пришел в состояние боевой готовности, вернулись и войска. Солдаты стояли почти вплотную друг к другу по всему периметру лагерного комплекса, включая территорию завода и женский лагерь. Сперва начальство пыталось вернуть всех в лагерь, чтобы уменьшить площадь окружения и количество необходимых для этого войск, но мы отказались покидать территорию завода. Городские власти были встревожены, потому что большая часть местных вооруженных сил была сейчас в лагерях, а между тем беспорядки происходили и в самом городе. Многие горожане Норильска тоже некогда были зэками, и они поддерживали наши требования.

На этот раз мы продержались на заводской территории пять дней. На пятый день утром городские чиновники и офицеры пришли к воротам завода и отдали бригадирам строгий приказ в тот же день вернуть заключенных в лагерь. Они говорили всерьез и были готовы применить силу. Бригадиры ответили им, что ничего не выйдет; офицеры развернулись на каблуках и увели всю процессию назад в город. Положение становилось критическим, но лагерные лидеры велели нам держаться любой ценой.

В тот день после полудня мы заколотили на заводе все входные двери и начали баррикадировать здание в разных точках грудами кирпича. Это была длинная, беспокойная ночь. Все были в напряжении и спали мало. Рано утром следующего дня из города покатили грузовики, полные солдат, вооруженных пулеметами. Они развернулись вокруг завода, и мы оказались отрезанными от всех в своей «крепости». Женщины в женском лагере и заключенные в «Пятом» ринулись к колючей проволоке и начали выкрикивать слова протеста. Но это была обычная армия. Они не обращали на их возгласы никакого внимания; спокойно и со знанием дела они приступили к исполнению приказа.

Как только войска развернулись, командир отдал нам приказ немедленно покинуть завод и вернуться в лагерь. В ответ он не услышал от бригадиров ничего, кроме брани и вызывающих окриков. Внутри завода находилось более семидесяти человек, разместившихся в разных точках за штабелями кирпичей, которые должны были служить нам одновременно прикрытием и оружием. У многих были дубинки и куски железа. Я и еще несколько человек находились в большом цехе в восточной части завода, где были расположены печи для обжига кирпича.

Прогремел выстрел из пистолета - сигнал к началу штурма. Войска наступили сразу со всех сторон, колотя в двери, чтобы их выломать. Это был полный бедлам. Я помню крики женщин, доносящиеся из лагеря напротив, где-то октавой выше проклятий заключенных, и глухие удары прикладов о двери. Первая группа солдат проникла в здание через подвальный склад и прошла вверх по скату в цех, где находились печи.

Едва заключенные завидели первую каску, как на солдат посыпался град кирпичей и проклятий. Они отступили назад и принялись отвечать нам пулеметными очередями. Мы присели за грудами кирпича, оцепеневшие, но готовые осыпать дверь новым градом кирпичей при виде первой же униформы. Однако, пока мы концентрировали свое внимание на этом, другие солдаты ворвались в цех у нас за спиной и застали нас врасплох. Они даже не потрудились стрелять; они просто использовали свои винтовки вместо дубинок. Я получил удар по спине, который едва не разломил меня надвое, сравняв меня с полом. Кто-то пнул меня в голову, чтобы я уже точно не смог встать, затем нас одного за другим стали выбрасывать в окна, словно мешки с цементом.

Некоторых заключенных – тех, что были сильно покалечены, - погрузили на грузовики и увезли прочь. Остальных при помощи пинков и ударов построили у завода. За пятнадцать минут вооруженные отряды

очистили не только кирпичный завод, но и все остальные заводы. Я был несколько ошеломлен, но мне казалось, что весь город смотрит на нас из окон и с крыш домов. В женском лагере и в «Пятом» царил хаос. Однако командир стоял незыблемый, как скала, суровый и непреклонный.

Когда все заключенные были построены, нас вывели за ворота завода. Однако в лагерь нас не повели. Вместо этого солдаты погнали нас вдоль железнодорожных путей к глиняным карьерам. Там нас, по колено в воде, согнали в место, которое не было видно из лагеря, и солдаты окружили нас с пулеметами наготове. Последовала минутная пауза: ждали командира. Его глаза сверкнули, он отдал приказ, и солдаты прицелились из пулеметов прямо в нас. В этот миг я, как мог, совершил покаянную молитву, но все внутри меня, казалось, застыло и вскипело одновременно.

Эта секунда в ожидании выстрела показалась вечностью. Затем, в следующую секунду, выбрасывая из-под колес потоки гравия, откуда ни возьмись примчалась машина, и из нее выскочили, что-то крича, два лагерных чиновника. Солдаты опустили пулеметы. У меня подогнулись колени и я стал дышать снова. Нам приказали сесть на мокрую землю. Я упал на нее без сил.

Три чиновника прохаживались вокруг шеренги заключенных, называя наши имена по разным спискам, которые были у них в руках. Заключенные, один за другим, делали шаг вперед, и чиновники внимательно осматривали их и сравнивали с фотографиями на документах. Когда подошла моя очередь, один из чиновников долго смотрел на меня, потом снова проверил свои бумаги и зашептался о чем-то с другим чиновником. Некоторое время спустя он грубо сказал мне: «Направо!» Когда всех нас рассортировали, около тридцати пяти заключенных стояло справа и, должно быть, человек тридцать слева. Я не знал точно, для чего нас поделили.

Мы так и остались стоять там под конвоем, в то время как чиновники забрались обратно в машины и уехали. Через несколько минут на дороге показался грузовик. Теперь, когда мозг мой работал снова после предельного ужаса последних нескольких минут, было самое время помолиться. Но, честно говоря, пока я смотрел на приближающийся грузовик, у меня в голове вертелась только одна мысль: «Вот на этом грузовике нас сейчас куда-нибудь свезут и там расстреляют».

К этому рефрену примешивалась частица жалости к себе и острая боль одиночества. В последний раз я думал о родных, что остались дома, о

друзьях, о своих товарищах-иезуитах, которые никогда не узнают, что со мной сталось и где я погиб, не узнают, что сгинул где-то здесь, у глиняного карьера в необъятной сибирской пустыне. Однако, когда грузовик подъехал, миг смятения прошел, и я снова стал рассуждать здраво: «Не думаешь ли ты, что и Богу неведомо, где ты находишься? Не думаешь ли ты, что Он хранил тебя до сих пор, а теперь просто взял и забыл о твоем существовании?»

В тот же миг меня переполнило упование на Промысел Божий и твердая вера в Господа. Когда я пытаюсь писать об этом, выходит довольно сентиментально, но в тот миг я обрел в этом величайшую поддержку, и то, что я пережил в те мгновения, мне не забыть никогда. Мое упование на Бога, которому за долгие годы научила меня Лубянка, подверглось последнему испытанию. И выдержало его.

Тех, кто стоял слева, погрузили на грузовик. Их посадили вплотную друг к другу и заставили положить голову между колен, а руки сложить за головой. Мотор заработал, и грузовик укатил. Один из чиновников подошел к стоявшим справа. «Вам повезло, - сказал он, - что вы до сих пор еще живы - благодаря нам. Вы знаете, как карается открытый бунт против государства. Вас почти расстреляли, запомните это! Теперь я отправлю вас обратно в лагерь, но предупреждаю: если вы еще раз будете замечены в деятельности, направленной против государства, в подрывной деятельности или сотрудничестве с повстанцами, пощады не ждите!»

Так он выступал долго. Мы же просто стояли в оцепенении с поникшей головой, зализывая свои раны. «Что это с вами! – взревел он в конце концов. – Вы хотите вернуться обратно в лагерь или предпочитаете отправиться в другое место?» В ответ в толпе раздалось какое-то всеобщее, но нескладное бормотание, которое, казалось, его удовлетворило, и нас, избитых, хромающих, а то и окровавленных, повели обратно в лагерь.

Сам лагерь все еще пребывал во власти заключенных, хотя заводские территории были уже очищены. Нас тут же окружили те, кто был все это время в лагере, и принялись забрасывать нас тысячей вопросов. Но у нас не было настроения разговаривать, мы просто отправились по баракам и там упали без сил. Но даже и там наши друзья толпились вокруг нас, без умолку говоря о произошедшем и о том, как обстоят дела в лагере. Прошло еще много времени, прежде чем мне наконец удалось заснуть. Даже когда меня оставили одного, я вновь и вновь переживал события ушедшего дня, прежде чем уснул, сознавая, как все

могло обернуться, и снова и снова благодаря Бога за то, как все обернулось на самом деле.
На следующее утро в лагере проходило всеобщее собрание. Самого Михаила не было, но его подручный прочел нам заявление стачечного комитета: (1) Лагерная служба охраны порядка будет беспощадна к любому, кто попытается бежать; (2) стачечный комитет больше не пойдет ни на какие переговоры с городскими властями; мы будем говорить только с комиссией из Москвы; (3) теперь все мы заклеймены как революционеры, а потому нам остается один выбор: свобода или смерть; поэтому все мы должны держаться сообща.
Еще один помощник Михаила стал затем говорить о междуцарствии в Кремле, о слухах, что Берия обвинен в заговорщической деятельности* и арестован, и что теперь основная вина за страдания в лагерях возлагается на МГБ.
Генерал, подавивший забастовку на предприятиях, все еще не сошел со сцены вместе со своими специальными частями, которые, как мы узнали, прибыли из самого Красноярска. Но некоторое время никаких дальнейших действий не предпринималось. Должно быть, партийным чиновникам было ясно, что если отряды будут штурмовать лагерь, так же как штурмовали кирпичный завод, это закончится великим кровопролитием, а ответственность за подобное избиение никто на себя брать не желал.
Где-то 27 или 28 апреля генерал предпринял следующий шаг. После обеда, когда зэки сидели вокруг бараков, куря и разговаривая, отряды стремительно проникли в главные ворота. Вылазка была хорошо спланирована и осуществлена с безукоризненной четкостью. Отряды просочились в ворота и быстро окружили три барака в ближайшей к воротам северной части лагеря. Затем они разместили стрелковую цепь пулеметчиков вдоль лагерных дорог, чтобы мы оказались в ловушке. Солдаты штыками выгнали зэков из трех оцепленных бараков, вывели их из лагеря и погнали в сторону города.

---

*Л.П. Берия был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, стремлении к ликвидации Советского рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии, моральном разложении, злоупотреблении властью, фальсификации тысяч уголовных дел на своих сослуживцев в Грузии и Закавказье и организации незаконных репрессий. (По материалам статьи «Берия, Лаврентий Павлович» в Википедии). *Прим. ред.*

Как только в лагере поняли, что происходит, прозвучал сигнал тревоги, и наша «армия» очертя голову кинулась к пулеметчикам. Должно быть, солдатам приказали не стрелять без крайней необходимости, потому что пулеметчики отступили к главным воротам. Одновременно в ворота въехала пожарная машина с включенными на полную катушку брандспойтами. Потоки воды повалили с ног первые ряды зэковского наступления и остановили атаку на время, которого как раз хватило отрядам, чтобы отступить. Заключенные перегруппировались, чтобы стремительным натиском взять и пожарную машину. Пока они переворачивали машину, пожарники спрыгнули и стали спасаться бегством. Заключенные в бешенстве ринулись за ними к главным воротам, но Михаил остановил их. Если бы зэки вступили в запретную зону, солдаты смогли бы вполне законно расстрелять их «при попытке к бегству».

Стратегия генерала была теперь ясна. Он будет стараться нападать неожиданно и захватывать заключенных небольшими группами человек по сто-двести за раз; таким образом, возможно, ему в конце концов удастся очистить или подчинить себе лагерь без каких-либо серьезных неприятностей. В качестве ответного хода некоторые заключенные время от времени пытались выскользнуть под покровом ночи, одолеть часового и украсть некоторое количество оружия. Но военные повсюду разместили прожекторы; в ярком свете прожекторов невозможно было пробраться через запретную зону незамеченными.

Прошла неделя, прежде чем генерал попытался предпринять очередной шаг. На этот раз он собрал все лагерное и городское руководство, в общей сложности, должно быть, человек сорок, возле главных ворот. Они вошли в лагерь после ужина, остановились в нескольких метрах от ворот и сказали, что хотели бы поговорить с Михаилом. Между тем генерал сосредоточил свои отряды за товарными вагонами, стоявшими на подъездном пути к западу от лагеря и невидимыми в тени прожекторов.

Михаил и его помощники подошли к главным воротам, чтобы сказать генералу и чиновникам, что отныне они будут разговаривать только с комиссией из Москвы. В это же время отряды ворвались с запада, перерезали колючую проволоку и попытались оцепить стрелковой цепью юго-западную треть лагеря, подобно тому как неделю назад они поступили с северной его частью.

Однако один из заключенных заподозрил неладное. Он взобрался на бочку и крикнул толпе, окружавшей Михаила и чиновников: «Братцы!

Это обман, западня! Взгляните только, это же видно по их лицам! Осмотритесь вокруг! Что-то неладно!» Не успел он договорить, как мы услышали крики с юго-запада. Тут же большая часть толпы рванула туда. Отряды как раз прорывались через второе кольцо колючей проволоки, и заключенные стали атаковать их камнями и дубинками. Они ретировались без единого выстрела. Вероятно, им было приказано не стрелять.

Та часть толпы, что осталась у ворот, была в ярости. Она набросилась на делегацию, и сам генерал получил сокрушительный удар по лицу. Чиновники ринулись прочь, толпа же следовала за ними по пятам, погоняя их пинками и ударами. Один майор, вместо того чтобы бежать к воротам, кинулся в барак. Он взобрался на окно первого этажа, попытался перепрыгнуть колючую проволоку, промахнулся и оказался повешенным за горло на колючей проволоке.

Очередной шаг начальства был следующим: они окружили весь лагерь кольцом громкоговорителей. С тех пор на нас обрушился нескончаемый поток пропаганды. Громкоговорители ревели непрестанно, извещая, например, о специальном новом лагере для тех, кто отмежуется от повстанцев. Лагерь был расположен где-то к востоку от города, в тундре, милях в восьми - десяти от городской черты. Громкоговорители повторяли снова и снова, что лучше быть в тюрьме, в каком-нибудь хорошем лагере, чем погибнуть в кровавой бойне в «Пятом», если войска перейдут в наступление. Они также озвучивали имена предводителей восстания, чтобы продемонстрировать, что им все известно, и заверяли, что те, кто не входит в число предводителей, не будут наказаны, если выйдут.

В один прекрасный день громкоговорители объявили, что комиссия из Москвы, которой требовали заключенные, прибыла. В тот же день комиссия - три человека, которых послали положить конец мятежам под Норильском, - явилась к воротам лагеря. Их встретил Михаил и его подчиненные, но только трех членов комиссии впустили в ворота. Напротив столовой выставили столы, и заключенные собрались вокруг. Однако вокруг всего лагеря расположились группы по десять заключенных, чтобы помешать вооруженным отрядам снова напасть на лагерь исподтишка. Комиссия начала с заявления, что бунт бессмыслен. В случае необходимости его можно подавить силой; в любом случае невозможно ввести в лагерях слишком много изменений. Услышав это, Михаил и другие заключенные едва не покинули совещание.

Затем один из членов комиссии встал и улыбнулся. Он заверил нас, что со времени смерти Сталина вопрос лагерей полностью пересматривается, особенно в том, что касается политических заключенных. Он сказал, что Москва глубоко обеспокоена стачками в лагерях под Норильском и что его и его коллег направили сюда, чтобы уладить ситуацию, избежав кровопролития. Он выразил уверенность в том, что положение можно как-то исправить; комиссия будет рада выслушать наши предложения.

Один из предводителей заключенных ответил, что мы готовы встретить и кровопролитие, если придется, как это случилось в лагерях Караганды и Воркуты. Главным образом, сказал он, мы хотим гуманного обращения и определенных человеческих прав. И он перешел к изложению минимальных требований заключенных: больше не должно быть десятичасового рабочего дня без перерыва даже на обед; заключенные не должны больше зваться по номерам, словно скот.

«У нас есть имена! – говорил он. – Мы хотим зарплаты и вознаграждения за свой труд, и мы хотим сокращения рабочего времени за примерное поведение. Мы хотим возможности общаться с внешним миром и с нашими родственниками, а не посылать им весточку раз в год. Мы требуем, чтобы нам разрешили получать от них посылки. Мы хотим гарантий, что беззащитных заключенных не будут хладнокровно расстреливать, как расстреляли недавно двоих наших. Мы хотим гарантий, что соглашение не будет нарушено, как случилось после прошлой забастовки, и мы хотим гарантий, что ответных мер не будет. Мы хотим лучших условий, не перенаселенных бараков, лучшего питания».

Члены комиссии внимательно записывали все требования. В конце концов они заверили комитет Михаила, что все требования будут выполнены – *если* мы мирно прекратим бунт и вернемся к работе. В ответ заключенные, собравшиеся на линейке, в один голос закричали: «Не раньше, чем вы выполните наши требования!» На этом совещание закончилось. В течение двух-трех дней члены комиссии с глазу на глаз встречались с предводителями восстания, но так и не пришли ни к какому результату или соглашению. С другой стороны, комиссия приказала доставить в лагерь три грузовика продуктов, чтобы пополнить почти уже иссякшие запасы на складах «Пятого». По меньшей мере, они не имели намерения заморить нас голодом.

В этот период я много исповедовал. Заключенные, не ведая, когда может начаться стрельба, подобно бойцам перед сражением, боялись

смерти и старались привести в порядок свои духовные дела. Каждое утро я служил мессу для множества людей и многих причащал.
Наступил конец мая. Революция в «Пятом» длилась уже больше месяца. Неделю громкоговорители настоятельно призывали нас сдаться, прежде чем придется применить силу. В лагере целыми днями было нечего делать, а потому напряжение росло, а сомнения множились. Некоторые люди не выдерживали. Санчасть и больница были переполнены, поэтому больные лежали прямо на улице, на траве. Было тепло, погода стояла чудесная. Такую весну нам редко приходилось видеть в Норильске. И все же атмосфера становилась все более тяжелой. Теперь каждую ночь раздавались сигналы тревоги. Ворота всегда были открыты, и в некоторых местах с восточной и западной стороны лагеря вооруженные отряды прорвали колючую проволоку. Время от времени, особенно по ночам, они предпринимали попытки проникнуть в лагерь через эти проходы и оцепить определенные части лагеря.
Непрестанное напряжение и недосыпание истощили людей. Много ворчали о том, что дело гиблое. Никто особенно не разглагольствовал, опасаясь, что голос даст трещину и подведет его. Иногда, когда кто-нибудь пытался подшучивать над ситуацией, его смех вдруг становился нервным, пронзительным, почти истеричным.
В последний день мая стало ясно, что кризис близок. Генерал в тот день был у главных ворот в полном обмундировании, а его подчиненные бегали туда-сюда, проворно беря под козырек и выполняя приказы. Грузовики весь день были на ходу, кружа за рядами осуществляющих окружение войск, возя солдат с места на место. Наши сигнальщики работали сверхурочно, сообщая другим лагерям о происходящем, стараясь узнать – особенно от женщин, поскольку из их лагеря хорошо было видно, что происходит за окруженной территорией – о новом расположении войск и о точках самой высокой их концентрации.
Время от времени отряды осуществляли стремительные набеги, чтобы прорвать большой отрезок колючей проволоки, затем отступали под градом кирпичей и камней, которыми осыпали их заключенные. И все равно они не стреляли. Казалось, генерал нарочно старается рассредоточить наши силы, создавая новые точки возможного наступления, и тем самым ослабить нашу оборону.
В тот вечер никто не ужинал. Вечером женщины просигнализировали, что большое войсковое соединение сосредоточивается за нашим лагерем вне нашего поля видимости. В ту ночь никто даже не пытался уснуть. Михаил в последний раз совершил обход лагеря и покачал

головой, сознавая, что час пробил. Его «полиция» была повсюду: размещала людей, увещевала их, а неповоротливых поторапливала, огревая по спине дубинками.
Напряжение стало почти невыносимым. Вид оружейных стволов – не самое утешительное зрелище, особенно когда у тебя самого нет никакого оружия, кроме кирпичей и дубинок. Люди сознавали всю безнадежность своего положения, и лагерная служба охраны порядка с трудом удерживала их на позициях. Положение лагерных предводителей было, конечно, отчаянным. Так или иначе их ждала смерть: либо они погибнут в бою, либо будут казнены, поскольку у властей были их имена и фотографии.
А потому комитет Михаила объяснил предельно ясно, что любой, кто покинет свой пост после начала сражения, будет убит лагерной службой охраны порядка, прежде чем успеет сдаться властям. Это было положение между двух огней, и многие начинали чувствовать, что у них есть лишь очень слабая надежда выйти живыми из этого боя, если он действительно состоится.
Наступила ночь, и все затихли, сидя в свете прожекторов и ожидая. Вдруг, в половине второго ночи, прозвучал сигнал тревоги. Звук первого удара по рельсу, прогремевший над затихшим лагерем, был подобен пронзительному окрику самой смерти, и от него меня пробрало до костей. Войска за колючей проволокой зашевелились, и это движение прервало долгое напряженное ожидание. Заключенные моментально сомкнули ряды.
Каждый схватил что попалось под руку: кирпичи, дубинки, камни, - и ринулся на свою позицию у колючей проволоки. Солдаты наступали медленно, осторожно, соблюдая идеальный порядок; многие из них, казалось, были напуганы не меньше нас. Моя команда, чья позиция изначально была у главных ворот, была спешно направлена в восточную часть лагеря, к санчасти, где концентрация войск, казалось, была наибольшей. Увидев, что мы бежим к ограде, солдаты остановились. Остановились и мы. Последовал период неуклюжего ожидания и противостояния.
Хотя было уже два часа ночи, казалось, весь город был на ногах. Люди стояли даже на крышах, и в каждом окне, откуда был виден лагерь, виднелось множество лиц. К июню дни здесь, за полярным кругом, становятся чрезвычайно длинны; солнце никогда не заходит до конца. Практически всю ночь светло, почти как днем, а в ту ночь место действия было озарено еще и светом армейских прожекторов.

Основное наступление было совершено через северные ворота. Пулеметчики из Красноярска, генеральские ударные войска, были в авангарде. Они ворвались в лагерь раньше, чем их успели заметить, и нашей команде немедленно было передано распоряжение перебросить свои силы в центральную часть лагеря и остановить их.
Когда мы обогнули бараки возле пекарни и бежали по главной улице лагеря, мы увидели, что пулеметчики перегородили дорогу рядом флажков и выстроились за ними. Их командир объявил, что эта линия означает нейтральную территорию; всякий, кто перейдет ее, будет расстрелян на месте. Но мы продолжали нестись им навстречу, а до линии теперь оставалось всего 20 ярдов.
Впереди всех бежал литовец по имени Юргис, бывший боксер. Его голова так основательно сидела на плечах, что шеи у него, казалось, не было вовсе, а кулаки были словно дубины. Я думал, что он к тому же немного повредился в уме от ударов, пока его друзья не объяснили мне, что его состояние – результат тех допросов, которым ему пришлось подвергнуться.
Услышав приказ остановиться, Юргис пришел в ярость. Другие пытались удержать его, но он стряхнул их с себя и метнул в толпу пулеметчиков кирпич. Он схватил одного из солдат за руку, чуть ниже плеча, и швырнул его наземь. Несмотря на бедлам и растояние, я мог бы поклясться, что слышал, как хрустнули кости. Тогда командир разрядил свой пистолет в Юргиса и приказал своим подчиненным открывать огонь. Они «резанули» от бедра, и передний ряд заключенных полег, словно колосья под серпом.
Все, кто находился с нами на главной дороге, тут же легли; я бросился наземь. Юргис упал замертво. Человек рядом со мной тоже лег на землю, но его нога приподнялась, и ему в пятку тут же угодила пуля. Несколько человек попытались укрыться за деревянной оградой уборной, но лагерные «полицейские» решили, что они пытаются дезертировать, и закололи их со спины.
Пулеметчики продолжали палить от бедра, стараясь пригвождать всех к земле. В любого, кто пытался подняться, тотчас же попадала пуля. Я пополз к зданию кухни, чтобы там укрыться. На мгновение я припал к земле за помойной бочкой, в то время как пули летели прямо в нее на уровне моей груди. Я сделал один последний, отчаянный рывок за здание, нашел укрытие в кухне и прижался к стене.
Я обернулся и, взглянув через плечо, увидел, что за моей спиной вся дорога устлана трупами и телами раненых. Я слышал треск пулеметов,

брань и стоны заключенных, выкрикиваемые кем-то команды, но все заглушал пронзительный крик женщин, доносящийся со стороны женского лагеря. Пока я наблюдал все это, отряды начали вливаться в лагерь через другие проходы в колючей проволоке, повергая заключенных наземь не выстрелами, но ударами прикладов.
Многие зэки прятались в бараках, и солдаты начали их спугивать - если приходилось, то и по одному. Некоторые предводители восстания были найдены мертвыми в уборной с перерезанными запястьями или горлом. Они предпочли покончить с собой, нежели сдаться врагу живыми. Солдаты вошли на кухню, где скрывался я, и принялись сгонять всех прятавшихся там заключенных. Они выстроили нас у стены, почти вплотную прижав стволы своих винтовок к нашим спинам, затем увели нас из лагеря через дыру в колючей проволоке.
Когда мы уходили, я увидел сброшенный с крыши флаг с черепом и костями. Раненых относили в санчасть; мертвых просто укладывали штабелями. Мне, конечно, неоткуда было узнать, какие потери понес «Пятый» на самом деле, но я лично насчитал тринадцать трупов по дороге из лагеря и видел, как солдаты, словно бревна, укладывали перед санчастью другие тела.
Нас согнали в небольшие группы примерно в 150 ярдах от лагеря. Михаила схватили, под строгим конвоем вывели через главные ворота лагеря, тут же посадили в воронок и увезли. Женщины неистовствовали. Они сорвали колючую проволоку вокруг своего лагеря, чтобы наброситься на солдат, но в конце концов их загнали назад включенными на полную мощность пожарными рукавами. Постепенно заключенных построили группами и увели.
Когда моя группа уходила, я в последний раз взглянул на всю эту безумную картину: на город, полный зрителей, на то, что осталось от лагеря, на солдат, спешащих во всех направлениях в лучах прожекторов; до меня доносились крики, команды, вопли, стоны.

Мой срок истекает

Из «Пятого» нас повели прямиком в тундру. Солдаты казались такими нервными и напряженными, что я был уверен: нас расстреляют. Я начал молиться. Мы прошли около четырех миль на запад. Было почти пять утра, когда нас привели на травянистое место, вязкое и топкое, покрытое густым кустарником. Нам велели сесть, и мы сидели очень долго. Место было таким болотистым, что земля утопала под нами, но вставать или шевелиться нам было запрещено. И только в четыре часа

дня, почти двенадцать часов спустя, мы зашевелились снова. К тому времени я сидел на вязкой земле уже по пояс в воде. Я был настолько голоден что пытался есть горсти травы, когда охрана не видела.

Наконец нас снова увели и повели вокруг всего города к каменоломне у подножия восточных гор. Прямо напротив каменоломни, должно быть, в полумиле от нее, был Третий лагерь, лагерь каторжан. Раньше в каменоломне работали они, но они все еще бунтовали. Камень, однако, был необходим для строительства, поэтому в каменоломню привели работать нас. В ней же мы должны были и жить. Утром и вечером нам приносили пайки, но этим все и ограничивалось. По краю каменоломни были расставлены часовые, и нам сказали, что если кто-то попытается покинуть карьер, то будет расстрелян без предупреждения.

Для работы нас распределили попарно и указали, сколько партий камня мы должны выламывать, грузить в небольшие ручные вагонетки и отвозить на дробилку ежедневно. Выполнить эту норму, сознательно завышенную, было невозможно, и работа наша была подобна труду в преддверье ада. Солнце накаляло каменоломню, куда никогда не проникал даже самый слабый ветерок, и отражаясь от камней, становилось обжигающе жарким. По ночам мы спали на лентах конвейера, по которому дробленый камень поступал в железнодорожные вагоны. Летом арктическое солнце светит в небе всю ночь, и лишь при большой усталости можно уснуть прямо на улице, но мы были просто измождены.

Первая неделя была особенно тяжела. Мы были не в форме, вечно голодны, и оттого что мы вечно что-то двигали, поднимали, толкали, боль пронизывала до костей. Весь день мы махали молотами, грузили каменные глыбы в вагонетки, потом возили их вверх по скату к дробилке, трудясь и изнывая под палящим солнцем, пока не начинало казаться, что вены в моей шее вот-вот лопнут от напряжения. Всякий раз, когда приходил железнодорожный состав, чтобы увезти гравий, мы должны были забираться на вагонетки и разрыхлять гравий так, чтобы он струился, а потом возвращаться к своим молотам.

Однажды вечером, когда мы закончили чистить вагонетки, я стоял на одной из них, наблюдая, как локомотив увозит вагоны. Все остальные ушли за вечерним пайком, но я чувствовал такую усталость и уныние, что просто не мог заставить себя дойти до кухни, до которой было полмили пути. В полном изнеможении я просто сел на вагонетку.

Теплое вечернее солнце приятно меня разморило. Работа в каменоломне в тот день уже закончилось, и вокруг стояла тишина. Я начал

размышлять о «Пятом» и о людях, которые встретили там свою смерть; о тех, кто исповедался и кто не исповедался. Затем я стал думать о доме, своих сестрах и друзьях, которые и понятия не имели, где я нахожусь, и мне стало интересно, чем они сейчас занимаются; я вспоминал свои школьные годы, первую мессу - прямо упивался своими чувствами. Я попытался остановить себя. Я довел себя до такого эмоционально возбуждения, что мое тело начало дрожать. Я боялся, что у меня случится нервный срыв.

Я посмотрел вниз с вагонетки и за железной дорогой, на травянистом холмике увидел птицу с двумя птенчиками в гнезде. Мать кормила их, летая и возвращаясь, а отец оставался приглядывать за птенцами, чтобы они не выпали из гнезда. Зачарованный этим зрелищем, я забыл ход своих мыслей. Я забыл даже свою усталость и почувствовал внезапный прилив радости. Потом это почему-то напомнило мне, как поздно ночью отец кормил меня, когда я вернулся с экскурсии бойскаутов, усталый, напуганный и без гроша в кармане. От этих воспоминаний мысль моя снова вернулась к людям, убитым в «Пятом», и я стал думать о том, как их отцы и матери оберегали их в детстве.

Я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Я был уже готов окончательно потерять самообладание, но вдруг почувствовал, что кто-то хлопает меня по спине! Это был другой заключенный, который как раз меня искал. «Владимир, - сказал он, - забери свой ужин, я отложил его для тебя». – «Взгляни-ка туда», - сказал я и начал было показывать ему, как птица-отец и птица-мать заботятся о своих птенцах. «Смотри! Вот сейчас мать несет им пищу! Глянь-ка на малышей…» И тут птица-мать вдруг сложила крылья прямо налету и упала замертво. Мой товарищ улюлюкал от радости. С такого расстояния он попал в птицу камнем. «Вот так бросок!» - кричал он.

И тут, вне себя от ярости, я затрясся всем телом. Я кричал и вопил на него, как безумный, до тех пор, пока, оглушенный, он круто не развернулся и не ушел. Я гневно сплюнул на землю за его спиной. В ту ночь я впал в глубокое уныние, которое продолжалось больше двух дней.

К счастью, в следующее воскресенье впервые с тех пор, как мы пришли в каменоломню, нас освободили от работы. После завтрака я прогулялся к старой каменоломне, наполненной водой. Я искупался и почувствовал себя немного лучше. Потом взошел на холмы, чтобы сверху полюбоваться городом и поразмышлять - восстановить духовные и физические силы. Я очень нуждался в этом, потому что чувствовал, что

иначе скоро сломаюсь под давлением. Я долго сидел, размышляя о Божием Промысле, о том, как Бог оберегал меня все эти годы. В тишине и покое я снова обрел упование. Я буквально физически чувствовал, как напряжение покидает меня, и некоторое время спустя лег и уснул, как доверчивое дитя.

Когда я проснулся, уже вечерело. Я чувствовал такой покой, что мне не хотелось разрушать эти чары, поэтому некоторое время посидел, греясь на солнышке и глядя на Третий лагерь у подножия холма. В лагере было почти пять тысяч каторжан, которые начали забастовку одновременно с нами. Но они были куда лучше организованы, чем мы в «Пятом», да и терять им было нечего, поэтому они и не сдавались.

Во главе их стоял знаменитый представитель уголовного мира по имени Владимир, известный по всей России как вор-виртуоз. Многие другие заключенные «Третьего» были в прошлом офицерами армии, а потому укрепления их лагеря были хорошо спланированы. Кузница работала до поздней ночи, выпуская оружие: ножи, сабли, топоры. Известных «стукачей» каждый день заставляли работать: рыть траншеи и строить оборонительные сооружения внутри колючей проволоки. У лагеря было даже свое собственное радио и громкоговоритель, чтобы отвечать на пропаганду, доносящуюся из армейских репродукторов. Они никого не впускали в лагерь для переговоров.

Они также придумали остроумный способ извещения жителей Норильска о своем положении. Зэки сделали несколько воздушных змеев, которые летали над городом и на определенной высоте выбрасывали пачки листовок с просьбами о помощи, с обвинениями существующего режима в жестокости и «сообщничестве с Берией» и с призывами помешать кровопролитию, остановив осаду «Третьего». Время от времени некоторые из этих посланий попадали и в каменоломню, где мы работали, но всякого, кто был замечен в подбирании и чтении этих листовок, сурово наказывали.

К августу все работавшие в каменоломне изнемогли. Строительство города требовало огромного количества камня, асфальта, бетона, а работу, которой прежде занималась тысяча каторжан, выполняло теперь около сотни заключенных. Мне никогда еще не приходилось так долго пребывать в состоянии физического изнеможения.

Однажды вечером, после ужина, нас известили, что завтра мы уезжаем. В последние несколько дней мы замечали, что все больше и больше войсковых подразделений приезжает и располагается лагерем в предгорьях. Из «Третьего» их увидеть не могли, но нам-то с вершины

холма они были отлично видны. Поскольку нас уводили, а в каменоломне должен был кто-то работать, было ясно, что готовится штурм «Третьего».

На следующее утро нас увели из каменоломни и повели на юг. Затем, обогнув холмы, мы снова свернули на восток, а потом направились на север, к большому цементному заводу, где прежде работали каторжане. Там часть нашей группы отправили работать на глиняном карьере, меня же распределили на цементный завод. Здесь работали в основном дезертиры из «Третьего». Хотя они были осуждены на длительный срок, они предпочли поставить на выживание в неволе, нежели на гибель в борьбе за свободу.

От них я узнал, сколь чудовищны были условия в «Третьем» и как Владимир начал восстание. Они тоже ожидали решительного наступления со дня на день и заверили меня, что восстание обречено.

На заводе было жарко и неудобно. У нас по-прежнему не было бараков, и спать приходилось прямо на заводе, поэтому я решил ночевать на улице. С двумя другими заключенными мы забирались на верхушку водонапорной башни в надежде увидеть осаду лагеря.

Во вторую ночь, примерно в половине третьего, наше бдение себя оправдало. Хотя арктическое полуночное солнце светило туманно, мы хорошо видели, как войска ползком двинулись вдоль долины. Они ползли по-пластунски, прижав к себе пулеметы, стараясь подобраться к лагерю незаметно. Когда они находились примерно в трехстах ярдах от лагеря, заключенные дали сигнал тревоги, но не потому что заметили их. Генерал снова предпринял двойное наступление: в главные ворота лагеря тоже врывались солдаты, и тех, что были в долине, заключенные даже не заметили.

Зэки ринулись к земляным укреплениям, которые построили для отражения атаки со стороны главных ворот. На этот раз, в отличие от того, как было в «Пятом», солдаты стреляли, не колеблясь. Подразделения одно за другим врывались в ворота на грузовиках, стреляя на ходу. Когда эти солдаты начали разворачиваться в лагере, ворвались и те, что были в долине: прорвавшись через колючую проволоку, они двинулись по лагерю фланговой атакой. У нас кровь стыла в жилах от одного только вида происходящего: мы помнили, как было у нас.

Как только стрельба прекратилась, примчался целый грузовик врачей, медсестер, санитаров-носильщиков. Явно ожидалось, что операция будет кровавой: каторжанам не полагалось ни милости, ни пощады. Мы

видели, как некоторые заключенные, когда их сгоняли в группы, кончали с собой, вспарывая себе животы. Один из сидевших с нами на башне сказал, что среди самоубийц был и Владимир.

Когда мы спустились с башни, захваченных заключенных как раз начинали грузить на грузовики и увозить в сторону цементного завода. В грузовиках их заставляли согнуться вдвое, голову положить между колен, а руки сложить над головой. Они ехали под усиленным конвоем. Грузовики промчались по территории цементного завода и свернули в тундру. Несомненно, пленников увезли в другой лагерь среди холмов, хотя, как и всегда, ходили слухи, что их просто расстреляли. Позже мы слышали, что во время штурма «Третьего» 78 человек было убито и более 150 ранено. Однако до нас это дошло по тюремным каналам, а потому эти цифры могли быть завышенными.

Некоторое время мы еще оставались на заводе. Мы по-прежнему жили прямо в заводских зданиях и спали там, где находили удобное местечко. Но «Третий» очистили и отремонтировали, и мало-помалу каторжан стали возвращать на старые рабочие места. В конце концов нас построили и повели в обход города назад, к «Пятому». Увидев его издалека, мы испытали смешанные чувства.

В некотором смысле мы как будто бы вернулись домой. Нас встретили старые друзья, но теперь в этом лагере, где некогда содержалось более пяти тысяч человек, осталось около тысячи, и он казался попросту пустым. Просто из любопытства я прошелся по лагерю, воскрешая в памяти несколько недель мятежа. Все бараки теперь залатали и выбелили; мало что говорило о недавнем сражении. Люди тоже говорили об этом мало. Зэков предупредили, что всякое упоминание о мятеже и всякая попытка вызвать новые беспорядки немедленно повлекут за собой перевод в штрафную зону, а возможно, и ужесточение приговора.

С другой стороны, многое изменилось. На одежде больше не было номеров, появился маленький магазинчик, где можно было тратить деньги, которые мы теперь получали – 100 рублей (10 долларов) в месяц, - на сахар, хлеб, конфеты и табак. Появилось новое постановление относительно сокращения сроков: каждый день, в который заключенный перевыполнял установленную для него норму, зачитывался за три дня срока. В сущности, было выполнено большинство требований, которые выдвигал стачечный комитет.

Кормить также стали лучше, и теперь заключенные могли писать письма домой раз в месяц. Я решил тоже попытаться написать письмо

домой. Когда я сдал свое письмо, адресованное в США, чиновники были поражены. Для них это было нечто совершенно неслыханное. В конце концов, меня вызвали и заявили, что новые правила относятся только к гражданам СССР.
Однако одним из первых моих дел по возвращении в «Пятый» было найти свой литургический набор. Никто его не видел. Но один человек, который работал в Горстрое на токарном станке, обещал мне сделать небольшой потир и патену. Он также рассказал мне, что о. Виктор по-прежнему в «Четвертом» и по-прежнему работает в Горстрое. К сожалению, меня включили в бригаду, рывшую канализационные траншеи в Норильске. Однако я договорился с людьми, работавшими в Горстрое, чтобы они связались с о. Виктором и достали у него для меня все необходимое для мессы: хлеб, вино, облачения и прочее – если это возможно. К концу недели у меня было все, что нужно. К передаче Виктор приложил записку с приветствием: он был рад, что у меня все в порядке.
Теперь я был единственным священником в «Пятом», а здесь было немало католиков из Польши, Литвы и прибалтийских государств. Кроме того, в новой, более свободной, атмосфере лагеря выполнять священническое служение было много проще, поэтому я работал не покладая рук. Я не только исповедовал, служил мессу и причащал, но также вновь стал проводить духовные упражнения и много занимался духовным наставничеством.
Я удивился и очень обрадовался, узнав, что Виктор все еще работает в переплетной мастерской. Я опять стал время от времени устраивать богослужения там. Также и Смирнов, тот русский, который прежде прислуживал мне на мессе, по-прежнему был в «Пятом». Он приходил на мессу каждый день, по памяти отвечая на слова священника. Миша также по-прежнему был здесь и, как и прежде, работал в санчасти. В сущности, он оставался здесь до конца, помогая больным и раненым прямо во время сражения. Как только восстание закончилось, его начальник вернулся в санчасть, и врачи, и вольные, и заключенные, работали круглые сутки, оказывая помощь раненым. Кроме того, Миша постоянно поддерживал связь с о. Виктором и сказал мне, что тот желает меня видеть. Еженедельно Миша ходил на Горстрой проверять, как идут дела в пунктах первой медицинской помощи. Поэтому он сказал, что постарается устроить нашу встречу. Однажды, когда у моей бригады был выходной, Миша договорился с зэком из одной горстроевской бригады, что мы поменяемся с ним местами. Этот малый

был чрезвычайно рад непредвиденному выходному; я же был счастлив, что смогу увидеться с о. Виктором.
Это было небезопасно, но я целый день провел с ним в его маленькой сторожке. В обед, когда бригады отдыхали, мы совершили мессу для нескольких рабочих. Перед моим уходом Виктор заново снабдил меня изюмом, гостиями и другими литургическими принадлежностями.
Жизнь в «Пятом» была в те дни почти приятна. Пища, для разнообразия, была теперь существенно лучшего качества, и можно было с легкостью получить дополнительную порцию. Я помню также свою первую зарплату: деньги были небольшие, но мои, и я почувствовал себя почти свободным. Я пошел в лагерный ларек и купил себе целую буханку хлеба на свои собственные деньги! Потом сел и съел всю буханку в один присест, наслаждаясь мыслью, что стоит только захотеть, и можно пойти и купить еще.
Однако в октябре 1953 года хорошей жизни неожиданно пришел конец. Я пробыл в «Пятом» чуть больше месяца, когда Миша сообщил мне, что формируется этап для отправки в шахты Кайеркана. Он пообещал, что постарается, чтобы я не попал в списки. Спрос был только на лучших и самых здоровых рабочих, и Миша сказал, что попытается подделать мою медицинскую карточку. Три дня в «Пятый» строем приводили колонны заключенных из других лагерей под Норильском; очевидно, этап готовился огромный.
На третий день Миша с грустью сообщил мне, что ничего не может сделать. Скорее всего, мне придется ехать в Кайеркан. Сложность в том, сказал он, что в шахты не хочет никто; некоторые уголовники прибегают даже к членовредительству, чтобы не попасть в списки. В результате начальство тщательно проверяет медицинские карточки и включает в этап чуть ли не всякого, кого оно может законно назвать хорошим работником. В конце концов я прибег к последнему средству: примкнул к тем, кто утверждал, что умеет симулировать гипертонию. Я слишком высоко ценил свое здоровье, чтобы глотать мыло или отрезать себе палец на ноге, лишь бы избежать шахт, но это я готов был попробовать.
Непосредственно перед медосмотром мы пошли в баню и приняли горячий душ, такой горячий, чтобы еле можно было терпеть. Потом вся штука была в том, чтобы задержать дыхание и не дышать как можно дольше – пока сердце не начнет колотиться так бешено, будто вот-вот разорвется. Тут же нужно было рвануть в санчасть. Если повезет и удастся попасть к врачу сразу, показатели кровяного давления будут

опасно высоки. Вследствие этого «больного» на несколько дней освободят от работы, но, что еще важнее, в его медицинской карточке будет значиться: «Гипертония». Некоторым удавалось, но мне врач просто дал лекарство для снижения давления – и направление в Кайеркан.
В общей сложности для работы в шахтах отобрали около 400 человек. Нам выдали зимнюю одежду, кроме валенок, выписали из «Пятого» и повели через город на железнодорожную сортировочную станцию. Тогда, в октябре, был уже жгучий мороз и ветер пронизывал нас прямо сквозь телогрейки, пока мы стояли на станции и ждали, когда нас погрузят в маленькие узкоколейные товарные вагоны железной дороги Дудинка-Норильск. Вагоны не отапливались, а многие были такие ветхие, что доски их перекосились и потрескались.
От Норильска до Кайеркана примерно в три раза ближе, чем до Дудинки. Наш маленький состав пополз сквозь густо поваливший снег, обогнул Зуброгу[22], богатую рудой гору близ Норильска, и ушел за город. Потом мы остановились на небольшом полустанке – две-три лачуги, ничего более – и стояли там, казалось, вечность. Мы приплясывали, пытаясь согреться. В конце концов выяснилось, что мы ждем бригаду, которая должна расчистить перед нами пути: снегопад обернулся бураном. Чтобы проехать 15 миль до Кайеркана, нам потребовалось почти три часа.
Кайеркан – типичный шахтерский город. Все сосредоточено вокруг шахт, и железнодорожная станциях отстоит от них не далее, чем на полмили. Сама станция очень маленькая, зато на сортировочной - целая дюжина подъездных путей для сортировки вагонов с углем, поступающих из шахт. Здесь, как и в Западной, отверстия шахт находятся посреди склонов длинного, многокилометрового, горного хребта, который тянется до самой Дудинки. Шахты уходят вглубь горы почти горизонтально, а не вертикально, под землю. Лагерь в Кайеркане находился между железнодорожной станцией и входом в шахту, следовательно, отстоял не более чем на 400 футов от той станции, где нас выгрузили.
Нас спешно построили под кружащимся снегом, потом торопливо впустили в лагерные ворота. Конвоиры просто передали наши документы лагерным чиновникам и сели на обратный поезд до

[22] Переводчику не удалось найти в справочных пособиях подобного названия, поэтому название горы приводится в написании автора. *Прим. пер.*

Норильска. Как только мы оказались в лагере, нас разделили на две группы. Для начала обработки половину из нас отвели в клуб, а вторую половину – в баню.

Обработка продолжалась почти всю ночь: регистрация, распределение на группы по специальности, баня, стрижка, дезинфекция. Однако больше всего времени занял строгий медосмотр. Местное начальство не положилось на те медицинские карточки, которые мы привезли с собой; если у кого-то из этапных находили болезнь, его тут же отправляли назад в Норильск. Здесь, в шахтах, им не нужна была всякая гниль.

В первую ночь я ночевал в клубе, и лишь на следующий день мне дали место в бараке. Здесь, в Кайеркане, новичков распределяли в бригады не сразу. Нас передали специальному инструктору, который поселил нас во временных бараках: здесь нам предстояло жить, пока нас будут обучать теории и практике горного дела и правилам безопасности. Мы также изучали по картам расположение всех шахт. Эти лекции продолжались с девяти до двенадцати утра с пятнадцатиминутными перерывами и с часу до трех пополудни. Весь курс длился три недели, после чего мы должны были сдать устный и письменный экзамены.

Кроме того, в эти три недели инструктор трижды водил нас в шахты, каждый раз в разную смену, чтобы продемонстрировать нам на практике, что такое шахта и как осуществляется каждый этап ее работы. Когда мы сдали экзамен и подписали обязательство соблюдать правила безопасности, нас наконец распределили по бригадам. В тот день мы перешли из барака для начинающих в бригадный барак, а на следующий день приступили к работе.

Даже в шахтах было очень холодно. Земля замерзла намертво, а огромные вентиляторы, предназначенные для того, чтобы препятствовать возникновению газовых карманов, создавали в шахтах ужасный сквозняк. В результате круглый год мы носили в шахте зимнюю одежду: белье, рубашку, телогрейку, ватные брюки, валенки, шарф и ушанку под шлемом. Некоторые предпочитали вместо валенок ходить на работе в сапогах, но в сапогах нужно было непрестанно находиться в движении, иначе можно было отморозить ноги.

Обычно в главном стволе одновременно разрабатывалось восемь выработок. От вагонеток, доставлявших нас вглубь горы, мы проходили еще около четверти мили вниз по наклонной выработке до штрека, который разрабатывали. Он был тщательно обшит тяжелыми деревянными балками. Для предотвращения гниения, а также в целях безопасности балки были покрашены известью. Примерно через каждые

150 ярдов были расположены перемычки, препятствовавшие попаданию теплого воздуха из основной шахты в рабочую зону, дабы не дать замерзшей породе оттаять. Из штольни мы попадали непосредственно в рабочую зону. В сущности, параллельно к разрабатываемому штреку всегда пролегало еще два: один – для системы конвейеров, доставляющих уголь в бункеры, второй – по другую сторону от основного штрека – для доставки дерева для укрепления стенок выработки.

Над каждым штреком имелся слой глинистых сланцев примерно в три фута толщиной. Выработки были около 90 ярдов шириной, но в глубину практически не могли превышать 120 ярдов. Когда выработка еще только приближалась к этой глубине, уже слышны были звуки, напоминавшие пистолетные выстрелы (это в кровле трескался песчаник) и визг (это скреблись друг об друга громадные пласты породы). Некоторые балки за нашей спиной, служащие для укрепления штрека, переламывались пополам под тяжестью песчаника.

Когда глубина выработки становилась критической, эти шумы усиливались. В шахту с кровли начинал сыпаться песок. Это был сигнал тревоги. Бригадиры тут же приказывали нам убрать все оборудование из выработки и залечь в боковых штреках. Очень скоро вся кровля стремительно обрушивалась, вытесняя из помещения воздух с такой силой, что он мог легко отшвырнуть человека к стене и переломать ему ребра, если он не лежал. Огромные балки ломались, словно спички, и разлетались во все стороны, периодически попадая в стены прямо у нас над головой, в то время как мы лежали плотно прижавшись к земле.

Иногда, лежа среди ночи без сна, я содрогался при мысли, что можно оказаться в западне, не успев выбраться из выработки, прежде чем упадет кровля. Каждый день, по мере того, как глубина выработок увеличивалась, у некоторых рабочих развивались довольно серьезные нервные расстройства. После падения кровли мы проходили еще ярдов пятнадцать вглубь ствола, выбирали новое место для забоя между двумя служебными штреками и начинали все сначала. Мы бурили в породе отверстия 10-12 ярдов глубиной, наполняли их порохом, вставляли капсюли-детонаторы и производили взрыв.

После взрыва мы разламывали на части полученные глыбы угля и грузили их на скребковые транспортеры, которые вывозили их наружу и сбрасывали на конвейеры, ведущие наверх, к вагонеткам. Штрек тут же укрепляли бревнами, 24 дюйма в диаметре, которые размещали примерно в полутора ярдах друг от друга. Но прежде всего с потолка

нужно было сбить сланец. Иначе при оттаивании породы между сланцем и песчаником образовалась бы вода, и при падении сланец расколол бы наши шлемы пополам.
Однажды вечером меня таким образом чуть не убило. Мы делали новый разрез в забое выработки, приготовляя место для лебедки скрепера. Я заметил, что кровля не очень хорошо очищена от сланца; мне это не понравилось, и я сказал об этом мастеру. «Не бойся, - сказал он, окинув кровлю знающим взглядом, - до завтра ничего не случится». Я и еще один зэк выгребали из выработки кучу сланца и угля, и я мог поклясться, что каждый раз, как я смотрю на кровлю, щели становятся шире и вниз сыпется песок. Я встревожился и позвал мастера снова. Он осмотрел кровлю и заключил, что она достаточно надежна; он сказал мне, что мы должны закончить разрез и установить лебедку скрепера на место, потому что утренняя смена должна начать взрывные работы. У нас нет времени поручать кому-либо расчистку кровли.
Мы с моим коллегой боялись по-прежнему, а потому взяли лопаты с длинными ручками, чтобы работать как можно дальше от щелей в кровле. Мы оба знали, что может произойти, если сланец обрушится. Мы провели тяжелую ночь, прежде чем в 7:45 явилась на работу утренняя смена. Мы были рады уйти, но я обратил внимание новой бригады и ее бригадира на щели в потолке. «Вам бы лучше сунуть туда пару бревен, да поскорее», – сказал я. Однако не успели они приступить к работе, как вся кровля обрушилась. Одного человека, китайца, задело: его позвоночник сломался надвое. Его едва успели доставить в шахтерскую больницу, где он сразу скончался.
Если работа была опасной, то условия в самом лагере были, пожалуй, лучше, чем в любом другом лагере, который я видел. Уголь из этих шахт был совершенно необходим для электрического оборудования и печей на предприятиях Норильска, а также для экспорта из Дудинки в обмен на импортное сельскохозяйственное и промышленное оборудование. Поэтому начальство хотело, чтобы заключенные были в силах работать и работать хорошо, и делало все возможное, чтобы жизнь зэков была сносной.
Бараки содержались хорошо, кровати были чистыми и удобными. Помимо обычной лагерной столовой, где выдавали пайки, у главных ворот была другая столовая, которую мы делили с вольными горняками и где всегда можно было поесть за деньги. Такая трапеза включала мясо(!), кашу, блины, а также запеканку, иногда печеные яблоки, а то даже и чернослив на десерт. Кормили здесь недешево, но это того

стоило. Кроме того, здесь, в столовой, как и в лагерном магазине, можно было купить конфеты, печенье, сигареты и другие предметы роскоши.

Шахтеры, как вольные, так и заключенные, получали, по существу, одинаковую зарплату: примерно от трех до пяти тысяч рублей (300-500 долларов) в месяц. Однако государство удерживало определенный процент зэковской зарплаты, лагерь, в свою очередь, тоже удерживал определенный процент за жилье и стол, поэтому на руки мы получали от 100 до 300 рублей (10-30 долларов) в месяц. На эти деньги можно было покупать еду и другие предметы роскоши, а также лук и чеснок у крестьян Красноярского края, которым разрешалось продавать часть своей продукции горнякам.

Каждый покупал так много овощей, как только мог. Они одновременно служили источником витаминов и защищали от цинги, которая была здесь распространена более широко, чем в любом другом месте, где мне приходилось бывать. У меня она сказывалась в основном на состоянии рук и ног, которые покрывались синими пятнами и становились тяжелыми, как железо, такими тяжелыми, что трудно было даже просто ходить. И вопреки хорошим условиям в лагере, заключенные здесь в Кайеркане всегда были бледными и изможденными, никогда не отдыхали достаточно и страдали хронической усталостью.

Дополнительную пищу мы могли получать также от вольных рабочих, которые здесь, в шахтах, работали в непосредственной близости от нас. Своим друзьям-заключенным они иногда делали даже подарки и охотно покупали нам в городе все, что мы хотели, если мы давали им деньги. По этой причине проверки у лагерных ворот после смены были зачастую строже обычного. Вахтеры заставляли всю бригаду раздеться, чтобы проверить, не пытаемся ли мы тайно внести в лагерь мясо или масло и, особенно, водку.

Во время одной такой проверки вахтер, молодой парень из Литвы, нашел в моей одежде маленький рукописный молитвенник с полным текстом мессы на латинском языке. Он хотел было конфисковать его, но я его отговорил. Поскольку он был литовец, я честно признался, что я священник, и сказал, что это молитвы мессы. «Мне они очень дороги», - сказал я. Он молча отдал мне книгу и пропустил меня.

По большей части мое священническое служение в этом лагере никого не беспокоило. Раз или два мне делали предупреждения по поводу «подрывной деятельности», но каждый день я служил мессу, причащал, раз в неделю проводил беседы с группами заключенных, проповедовал,

читал духовные лекции, а иногда даже проводил духовные упражнения. Кроме того, и в Кайеркане помимо меня было несколько других священников.

Один был мой старый друг, о. Каспер, с которым мы вместе были в Дудинке и в «Четвертом». Как только я приехал, он тепло встретил меня и позаботился о том, чтобы я мог совершать богослужения. Тут был и литовец, о. Генри, рослый и долговязый, лысоватый, с седыми усами и бородкой, который до ареста был монахом. В шахтах он не работал, а был дневальным в одном из бараков. Поэтому его барак служил идеальным местом для богослужений, пока бригада была в шахте. От своих прихожан в Литве он получал множество посылок с едой, а потому в его бараке всегда можно было еще и чем-нибудь поживиться.

Был, наконец, о. Николай, высокий, полный украинский священник, говоривший тихим голосом; он тоже был прежде монахом, но восточного обряда. Здесь, в лагере, украинцы его очень любили и были готовы для него на все. Одним из наших лучших прихожан был как раз украинец по фамилии Дмитриев, худой, черноволосый малый с острым носом и бородкой. Он больше других общался с другими заключенными и был прекрасным апостолом в миру.

Здесь заключенные чувствовали себя намного лучше из-за не столь строгого режима. Удивительно, сколько людей оказались верующими теперь, когда за это не подвергали откровенным гонениям и «терпимо» относились к религии или, по меньшей мере, смотрели на нее сквозь пальцы. На Рождество и на Пасху мы даже устраивали праздничные торжества. Охрана об этом знала, но делала вид, что не знает. Охранники устраивали вечернюю проверку в пять вечера, но ограничивались тем, что просили нас сильно не шуметь.

В эти праздничные дни верующие старались устроить так, чтобы у каждой конфессии был свой барак: в одном были униаты, в другом - православные, в третьем - баптисты и так далее. Благодаря духу товарищества между заключенными нам даже удавалось устроить так, чтобы в церковные праздники верующие не работали; взамен верующие выходили на работу вместо неверующих в государственные праздники. Люди проявляли недюжинную изобретательность, украшая к праздникам бараки. Они покрывали длинные столы простынями, как-то умудрялись достать тарелки, столовые приборы и стаканы в лагерной столовой и готовили целые миски различных национальных блюд. Многие из них получали к праздникам из дому посылки с копченой колбасой, макаронами, мясом, маслом и другими лакомствами.

По таким случаям каждый священник служил мессу в отдельном бараке. Здесь, в Кайеркане, впервые почти за пятнадцать лет я служил «открытую» мессу для полного барака людей. Как же они пели! Неудивительно, что охрана просила их не шуметь. Почти все подошли к причастию, а после мессы я произнес длинную проповедь по случаю праздника.

Перед едой мы благословили пищу и спели по-русски торжественную благодарственную молитву, затем окропили барак святой водой. А потом сели пировать. Водка в лагере была строго запрещена, но по праздникам весь стол был просто уставлен ею. Даже охранники заходили выпить стопочку да отведать праздничной пищи, снова предостерегали людей, чтобы те вели себя тихо, и уходили. Они никогда не докладывали об этом начальству.

Здесь, в Кайеркане, сроки у многих заключенных уже подходили к концу. Казалось, почти каждый день кого-то отпускали на свободу. На место тех, кто уходил, все время поступали новые заключенные. Люди здесь постоянно менялись. Но старожила легко было различить в толпе по усталой походке и по тому, как он двигал руками и ногами, тяжелыми от цинги. Многие зэки взяли привычку возвращаться из шахты на ленте конвейера – что было строго запрещено, – вместо того чтобы идти пешком. Однажды, когда я ехал на ленте конвейера, меня сморил сон, и я очутился в бункере. Сверху на меня градом сыпались куски угля. Мне повезло: меня не убило, и я быстро выбрался оттуда. Но не всем и не всегда так везло.

Наиболее же трагическими были случаи, когда люди гибли в шахтах всего за несколько дней до освобождения. Все говорили об этом, все об этом думали, и некоторых эти мысли едва не доводили до нервного срыва. Люди не хотели идти в шахты, боялись, что пережив все эти годы, погибнут в результате от несчастного случая, когда до свободы уже рукой подать. Это напряженное состояние ничуть не способствовало уменьшению количества несчастных случаев; напротив, число их достигло небывалых высот.

Однажды семь человек погибли от пожара во время взрывных работ. Эта бригада взрывала новый разрез, работая в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией. В таких условиях можно буквально ощутить, как в воздухе, искрясь и пощипывая, витает угольная пыль. В это время они находились вне рабочего пространства, в якобы безопасном штреке, но сгорели дотла от пожара, последовавшего за взрывом.

От этой истории меня пробирала дрожь, потому что однажды подобное случилось и со мной. Мы закончили новый разрез и были готовы взрывать, поэтому меня отправили наверх в безопасный штрек следить, чтобы никто не вошел на эту территорию. Но в темноте я заблудился и стоял в штреке прямо напротив скважины для нового разреза. Когда произошел взрыв, меня отбросило до середины штрека: просто подняло в воздух и ударило об одну из балок под потолком выработки. К счастью меня не убило и не покалечило, но я более двух часов провел без сознания.

К весне 1955 года молодой литовский врач по имени Янос из кайерканской санчасти сказал мне, что мне нужно уходить из шахт, если я хочу выжить. Я сказал, что до конца срока мне осталось только три месяца, так что, быть может, как-нибудь протяну. Он же ответил, что если я не уйду из шахт, то ни за что не протяну и трех месяцев. Янос был человеком среднего роста, с каштановыми волосами, румяными щеками и маленькими усиками. Это был человек очень тихий, но свое дело он знал и был решительно настроен сделать что-нибудь для улучшения моего состояния.

Здесь наряды менялись каждые три месяца, а не каждый месяц, как в других лагерях. Когда пришла пора весеннего наряда, он написал в моей карточке длинную историю болезни, в которой указывались самые разные недуги, в том числе и те, которых у меня не было. Однако я вне всякого сомнения начинал уже заметно слабеть. В следующее воскресенье на мессе Янос, ревностный католик, сказал мне, что, наверно, в следующем наряде я буду освобожден от работы в шахтах по состоянию здоровья. Однако, когда в бараках зачитали списки, я по-прежнему был среди тех, кто должен был работать в шахтах.

В то утро я видел Яноса, и он был в ярости. Он сказал мне, чтобы в этот день я шел на работу, но он постарается что-нибудь сделать. Однако когда в то утро мы строились, чтобы покинуть лагерь, он прибежал за мной и сказал мне возвращаться в барак. Потом пошел в санчасть и вписал мое имя в список освобожденных от работы по болезни на тот день.

Около 10 утра Янос вихрем ворвался в кабинет лагерного врача, который совещался в то утро с тремя врачами-женщинами (вольными) из города. Тряся перед ними моей медицинской карточкой, он спросил директора, почему меня не освободили от работы в шахтах. «Если он умрет, - кричал Янос, - я на вас донесу! Это уже не моя ответственность. Я составил эту карточку и рекомендовал его освободить. Если он упадет

замертво в шахтах, я составлю об этом подробный отчет!» С этими словами он швырнул карточку на стол и вышел.

Директор бегом бросился за ним в коридор и позвал его в кабинет. Он был в ужасе. При всем желании врачи в лагерях попросту не могут делать для своих пациентов то, что должны, и они сознают это; поэтому они совсем не хотят, чтобы комиссия из города провела расследование касательно их практики. Директор пошел с Яносом прямо к нарядчику; мое имя было включено в списки тех, чей наряд следовало изменить.

В тот день, закончив свои дела в санчасти, Янос нашел меня, чтобы сообщить, что отныне я официально освобожден от работы в шахтах. Я ликовал. От одной вести об этом я сразу почувствовал себя крепче и живее; я просто не мог выразить Яносу, как я благодарен.

На следующий день меня официально включили в бригаду, которая работала в конюшне. Бригадир распределил меня в ночную смену, одного. Я работал с шести вечера до шести утра, потому что это была «легкая» работа. Я должен был только почистить и напоить коней, навести порядок в стойлах, вечером почистить конюшню, задать корм лошадям, а потом еще раз накормить их утром. В сущности, несмотря на ночные часы, это была хорошая работа. Я был сам себе начальник, и иногда у меня было время поспать; а еще я был вдалеке от газа и пыли шахт. Мое здоровье почти немедленно пошло на поправку.

В конюшне было только восемь лошадей и шестеро возчиков. Лошади использовались в основном для снабжения шахт динамитом, оборудованием, инструментами и древесиной, которые доставлялись в шахты зимой на санях, а также для доставки оборудования и продовольствия с сортировочных станций. Кони были молодые и резвые, но они были на ходу более двенадцати часов в сутки и к вечеру уставали.

Возчики тоже были молодые, в основном крестьянские мальчишки. Вначале я немного побаивался лошадей, но парни показали мне, как с ними управляться, как запрягать их, как мыть. Был среди них, однако, один маленький, коренастый монгольский конь по имени Васька, который чуть меня не уничтожил. У этого плотного, маленького белого жеребца с сероватыми пятнами было самое большое стойло, потому что он лягался, как мул, и кусался. Глаза, горевшие у него во лбу, всегда были огненно-красными. Я был убежден, что этот конь не в себе. В первые два вечера я не мог даже приблизиться к нему, чтобы накормить. Стоило мне только ступить на порог его стойла, как он начинал храпеть и злобно лягать стены и ворота.

Так прошла пара дней, а потом, как-то вечером, его возчик сказал мне: «С Васькой последнее время что-то не так. Он не так силен, как обычно, и я никак не могу заставить его идти». – «Что ж, должен с этим согласиться, - сказал я, - я вот никак не могу его накормить. Каждый раз, как я пытаюсь войти, он едва не вышибает из меня мозги. А я не позволю сумасшедшей лошади убить меня за два месяца до конца срока».
Я думал, возчик разозлится, но он только буйно рассмеялся. Потом он сказал, что покажет мне, как управляться с Васькой. Он пошел в сторону стойла, во все горло выкрикивая Васькину кличку, бранясь и горланя, словно старый погонщик мулов. Васька казался напуганным до смерти. Вместо того, чтобы храпеть и лягаться, он, с горящими глазами, принялся нервно забиваться в угол своего стойла маленькими пританцовывающими шажками. «Видишь, как легко, - сказал возчик. – Надо только начать первым и быть еще злее и упрямее, чем он. Давай-ка, попробуй!»
От этой мысли я был вовсе не в восторге, но тем не менее взял в одну руку ведро овса и направился к Васькиному стойлу. Я принялся реветь и орать во все горло, размахивая свободной рукой, горланя все, что приходило в голову, и вставляя кличку старика Васьки в каждое предложение. Это подействовало. В красных Васькиных глазах появилось то же самое пугливое выражение, и он боязливо засеменил в угол стойла. Не переставая вопить, я высыпал порцию овса в корыто, вышел из стойла и шумно захлопнул за собой ворота. После этого я чувствовал себя истинным профессионалом, и больше проблем с Васькой у меня не было.
На первой неделе апреля меня вызвали в лагерное управление и сказали, что через десять дней меня освободят. Проверяя мои документы, лагерные власти пришли к выводу, что, согласно новым постановлениям, мне полагается сокращение срока на три месяца за отличную работу; посему фактически я отбыл в лагерях только четырнадцать лет и девять месяцев из пятнадцати лет, к которым был приговорен. Поэтому в свободное время я стал проходить все те медицинские обследования и бюрократические процедуры, которые всегда предшествуют освобождению узника.
В последний вечер перед моим освобождением мы устроили прощальное застолье. Теперь в Кайеркане это стало почти традицией, потому что на волю ушли уже многие. Зэки устроили денежный сбор, и каждый старался помочь, чем мог. Кто-то давал три рубля, кто-то пять,

кто-то добыл новую пару ватных брюк и телогрейку, чтобы мне пособить. В тот вечер мы пошли в вольную столовую у лагерных ворот, заняли несколько столов и беседовали до глубокой ночи. Каждый просто осыпал меня советами, куда пойти, с кем встретиться, где найти старых друзей, которые вышли на свободу раньше меня. В ответ я пообещал, что встречусь по возможности со всеми их родственниками, если буду где-то поблизости. Они надавали мне писем и написали приблизительные даты своего освобождения, чтобы я мог передать их другим.

На следующее утро, 22 апреля 1955 года, сна у меня не было ни в одном глазу. Должно быть, в ту ночь я и вовсе глаз не сомкнул. Я просто не мог поверить в то, что после пятнадцати лет в лагерях действительно буду снова свободен. Около девяти часов следующего утра нарядчик вызвал меня и повел в контору КГБ. Там я просидел около двух часов, подписывая документы и заполняя бланки. Я все ждал какой-нибудь беды или нового допроса, но для служащих конторы это была всего лишь будничная работа. Они проделывали ее совершенно сухо и деловито, уделяя мне не больше внимания, чем любому заключенному, выходящему на свободу.

И все равно я был очень взволнован и встревожен. На мне были старые валенки, новая телогрейка, ватные брюки и шапка со стеганными ушами. Все мои личные вещи исчезли многие годы тому назад. Во время этих утренних бумажных процедур один из гебистов вручил мне письмо и две фотографии Сони, одной моей альбертынской прихожанки. Она прислала их в 1949 году; я же получил их только теперь. Я сунул их в карман вместе с пятьюдесятью рублями (пятью долларами), которые составляли все мое имущество. Это была моя зарплата, или то, что от нее осталось, да пожертвования, собранные на прощальной вечеринке накануне.

Я все ждал каких-то инструкций, но гебисты просто очень подробно растолковали мне детали моего нового статуса. Покидая лагерь, человек не получает паспорт. Он получает так называемую «справку об освобождении», то есть бумагу, подтверждающую, что человек полностью отбыл срок наказания, а также документ, где формулируется его гражданский статус. Человека могут полностью освободить и реабилитировать или же, как в моем случае, освободить лишь частично. Как судимый за шпионаж, я получил так называемое *приложение паспорта*.

Приложение паспорта ограничивало меня с точки зрения места проживания и, в некотором смысле, с точки зрения заработка. Так, в то время существовала очень щедрая государственная премия под названием «заполярье». Таким образом государство старалось заманить людей на работу в эти суровые места. Чем дольше человек здесь работал, тем больше становилась его премия; если рабочий трудился в Заполярье пять лет, то благодаря этой премии его зарплата удваивалась.
С моим ограниченным гражданским статусом я не мог претендовать на эту заполярную премию. Не мог и жить, где пожелаю. Мне не разрешалось жить в «режимных», то есть в больших городах, таких, как Ленинград, Москва, Киев, Владивосток или Ташкент, а также в пограничных городах, из которых я, предположительно, мог бежать за границу. Я мог находиться в подобных местах не дольше трех дней, да и то - только с разрешения правительства. Также со своим приложением паспорта, в какой бы город я ни приехал, первым делом мне надо было явиться в милицию и зарегистрировать свое пребывание в городе.
Объяснив мне все это и, казалось, в сотый раз, проверив мои лагерные документы, чиновники велели мне явиться в отделение милиции в Норильске со своей справкой об освобождении. Там мне дадут весь пакет документов, удостоверяющих личность. К одиннадцати тридцати с делами было покончено, и я в последний раз прошел через главные ворота лагеря. Пройдя шагов пятнадцать, я машинально остановился и стал ждать конвоира. Зэки и часовые смотрели на меня и смеялись: девять из десяти заключенных, выходя на свободу, совершали ту же ошибку.
Я чувствовал себя так неловко, что не знал даже, как свободные люди ходят. Казалось странным, что руки свободно висят у меня по сторонам, а не сложены за спиной. Я окинул лагерь долгим взглядом, словно мне предстояло себя от него оторвать, а затем, засунув руки в карманы, побрел в направлении города Кайеркана. На станции стоял поезд. Я сел в него, и никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Мне не верилось. Казалось, что это кино и все происходящее – просто последовательность кадров, пробегающих у меня перед глазами, или что я вижу сон и в любую минуту могу проснуться.
Кондукторша взяла с меня плату за проезд. Я все ждал, что она задаст мне какой-нибудь вопрос или создаст какую-то проблему. Но она лишь вежливо улыбалась. Я сел на сидение и стал смотреть в окно, чуть не плача: свободный человек, с которым обходятся как со свободным человеком. Я все ждал, что что-то случится, кто-нибудь закричит, что-

то заставит поезд остановиться, кто-то укажет на меня пальцем. Но ничего не происходило. Я откинулся на спинку сиденья и стал смотреть на горы, на шахты, на уголь, льющийся из вагонеток, на лагерь. Потом поезд тронулся, и вот я уже ехал в Норильск!

Глава четвертая.
Частично свободен

Член профсоюза в Норильске

Даже за два года, минувшие с той поры, как я покинул Норильск, город изменился. Благодаря жилым домам и предприятиям, возведенным заключенными, он стал меньше похож на пограничный городок и больше - на большой город. К 1955 году его население уже превышало 120000 человек, и те, кому посчастливилось иметь жилье, жили в основном в бывших лагерных бараках и в тех самых пятиэтажках, которые я строил, когда отбывал заключение в «Пятом».

Предприятия, такие, как огромная БОФ, которую мы сроили во «Втором», и громадный Комбинат, который мы строили в «Четвертом», стояли у самого подножия Шмидтихи, самого заметного объекта этой местности. Оттуда главная улица, Октябрьская, тянулась, пересекая старый город, на запад, к площади Ленина, большому дорожному кольцу, за которым начинался город. К западу от площади Ленина находилась улица Севастопольская. Здесь было расположено отделение милиции, новые больницы, школы, театры и универмаги. Я еще помнил, как строились те пятиэтажки, которыми были теперь сплошь застроены улицы, идущие параллельно к Севастопольской.

Два года назад я уехал из Норильска по узкоколейной железной дороге. Теперь я прибыл в город по широкой железной дороге со стандартной колеей, которую достроили в мое отсутствие. На станциях стояли большие, сталинского типа, локомотивы, работающие на угле чудовища, которые прежде использовались на континентальных маршрутах, а теперь стали применяться на севере.

Когда я вышел из поезда по прибытии, воздух показался мне почему-то более теплым, чем в Кайеркане. Однако все было окутано тяжелым снежным покровом, грязным от фабричного дыма. Познакомившись с городом еще в заключении, я испытывал теперь странное чувство, разгуливая по нему свободным человеком. Это было совершенно особенное чувство, смесь гордости и беспокойства, ощущение власти и утраты, ибо я чувствовал себя почему-то не на своем месте.

У меня, однако, было с собой два адреса. Один адрес принадлежал о. Виктору: его освободили из «Четвертого» за два месяца до меня, и теперь он жил неподалеку от главной улицы, Октябрьской. Второй

адрес принадлежал еще одному бывшему заключенному, молодому поляку по имени Ладислав, который пригласил меня заглянуть к нему, когда буду в Норильске. Поскольку я находился ближе всего к Октябрьской, туда я и пошел: мимо стадиона, мимо театра, по главной улице старого города, просто разглядывая по пути дома и магазины и чувствуя себя немного жалко в своей стеганной тюремной одежде. Однако большинство прохожих были одеты точно так же; многие из них, несомненно, тоже были из бывших заключенных.

За стадионом виднелось беспорядочное скопление лачуг, хибар и хижин (называемых балками), где некогда проживало большое количество китайцев, и которое местные жители прозвали за это «Шанхаем». Дойдя до того места, где подъездная ветка ТЭЦ пересекала Октябрьскую, я, следуя указаниям Виктора, повернул налево.

Ярдах в двухстах от Октябрьской было еще одно нагромождение лачуг и хижин, сооруженных из старых досок и ящиков и упирающихся друг в друга, словно костяшки домино. Стены были в основном двойными, сделанными из мелких остатков древесины и заполненными золой для теплоизоляции. Лучшие из них были снаружи покрыты толем, глиной или штукатуркой.

В расположении этих хибар не наблюдалось никакого видимого порядка, поэтому я остановился у первой попавшейся лачуги и спросил Виктора. Семья, жившая в этом балке, направила меня к одному из скоплений хижин неподалеку, и в конце концов я нашел балок о. Виктора, полуразрушенную хибарку посреди одного из этих кроличьих садков. Он жил с другим священником, о. Нероном, который отбывал заключение в Кайеркане и был освобожден еще до того, как туда попал я. В комнате было две кровати, между которыми стоял алтарь; эта маленькая комнатушка, 10 на 10 футов, служила им еще и часовней.

Они были несказанно рады видеть меня, а я – их. Они приготовили мне обед на маленькой электроплитке, которая служила как для приготовления еды, так и для обогрева лачуги. Потом мы проговорили несколько часов кряду. Я хотел искать ночлег, но они и слышать об этом не хотели. Поэтому в ту ночь в небольшом проходе между двумя кроватями мы составили вместе три стула, а моя лагерная телогрейка и ватные брюки служили мне матрацем. Встав поутру, мы сразу убрали постели и приготовились служить мессу.

К шести тридцати в нашей маленькой комнатке было десять или двенадцать человек, которые собрались сюда на богослужение. По воскресеньям же люди толпились не только в этой комнатке, но и в

коридоре, за открытой дверью. Чтобы разместить все прибывающую толпу людей, Виктор и Нерон служили каждое воскресенье по две мессы, и на каждой произносили проповедь, причем на каждом богослужении бывало иногда до шестидесяти человек, а то и больше. Ибо это, по существу, был приход.

В то первое утро, после мессы, я пошел вместе с Виктором в отделение милиции, чтобы пройти регистрацию, как мне было приказано. Я вручил милиционерам свои документы, они меня зарегистрировали, затем дали мне пакет документов. Они еще раз растолковали мне те ограничения, которые налагало на меня мое «приложение паспорта», мой статус «частично реабилитированного». К этому они добавили один новый нюанс. Поскольку я был осужден по статье 58:6, то есть за шпионаж, на мою свободу налагались дополнительные ограничения. Я должен был жить там, где мне укажут, в данном случае в Норильске; если я хотел переехать в другой город, то мог сделать это только с особого разрешения и по веской причине, например, по состоянию здоровья. Одним словом, я был не настолько свободен, как воображал себе, покидая лагерь в Кайеркане.

Меня спросили, где я проживаю, и я сказал, что своего жилья у меня еще нет. Но они настаивали, что у меня должен быть какой-то адрес для реестра МВД[23], куда вносятся адреса всех жителей города. Я сказал им,

---

[23] МВД – советская полиция, также называемая «милицией». В 1954 г. после ареста Берии полицейское ведомство разделилось на МВД и КГБ – орган госбезопасности, или «тайную» полицию. (Неточность. Министе́рство вну́тренних дел СССР — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1946—1960 и 1968—1991 годах. 18 марта 1946 г. V сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР, а народных комиссариатов — в министерства. НКВД СССР преобразовывается в Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР). 5 марта 1953 г. после смерти И. В. Сталина на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР принято решение об объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно Министерство — МВД СССР. Закон о создании МВД СССР Верховный Совет принял 15 марта 1953 г. Л.П. Берия назначен Министром внутренних дел СССР и заместителем председателя Совета Министров СССР. 13 марта 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР образован Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР. Милиция осталась в составе МВД СССР» (По материалам статьи «Министерство внутренних дел СССР» в Википедии). *Прим. ред.*

что живу у Виктора. Соответственно мое имя было внесено в милицейский реестр под этим адресом, затем в «домовую книгу» Виктора, регистрационный документ, который должен иметься у всякого домовладельца (что-то наподобие наших водительских прав), содержащий имена всех жильцов его дома. Теперь я стал обладателем официальной прописки.

Я прожил у Виктора более недели, пока искал работу и жилье. За это время я познакомился с соседями и прихожанами Виктора. Балок Людвига, регента хора, находился прямо по соседству с хибаркой Виктора. Здесь он жил с женой и сыном-подростком. Это был небольшого роста темноволосый мужчина с монгольскими чертами лица, крайне преданный Церкви, который каждое утро пел богослужебные песнопения, прежде чем отправиться на работу (он ремонтировал паровые котлы). Его жена, Нюра, была тоже темной и маленькой, с румяными щеками и добродушным характером. В отличие от большинства женщин в Норильске, Нюра не работала, так как ремесло Людвига пользовалось большим спросом и высоко оплачивалось. Поэтому Нюра с радостью служила домработницей у священников и смотрительницей нашей маленькой часовни.

В балок, который стоял непосредственно за балком Виктора и упирался в его стену, жили две литовки, Нина и Людмила, которые заботились о старом и больном греко-православном священнике о. Фоме. Он служил для них мессу рано поутру, после чего они приходили на богослужение к нам. Они работали в хирургической больнице на Октябрьской и помогали нам тем, что чинили нашу одежду, мыли полы и приносили пищу из больничной столовой.

Через неделю я все еще не нашел ни жилья, ни работы. В конце концов я отыскал пятерых молодых поляков, с которыми был знаком по шахтам, бывших заключенных, которые жили в своего рода холостяцком бараке рядом с Комбинатом. Они были командой спасателей в рудниках и шахтах и выезжали туда, куда было нужно – иногда даже в такую даль, как Кайеркан, или в горы, в старую Западную, - и тогда, когда было нужно. У них была комната примерно 10 на 12 футов, где они жили впятером, но они пригласили меня к ним присоединиться.

Один из них всегда был на дежурстве, поэтому мы договорились, что я буду спать на его кровати. Кроме того, в бараке имелась столовая, где хорошо кормили, поэтому мне не нужно было больше сидеть на шее у о. Виктора: ведь не имея работы, я не мог позволить себе питаться в

ресторане. Пусть это было не лучшее решение, но я счел, что все лучше, чем стеснять бедного, щедрого Виктора, поэтому я решил поселиться с парнями.

Между тем я сходил в гости к молодому поляку, Ладиславу. Он работал на БОФ, в лаборатории, и сказал мне, что через пару недель на фабрике откроется вакансия. Он говорил обо мне со своей начальницей и был уверен, что ему удастся устроить меня на работу.

Каждое утро я по-прежнему ходил к Виктору служить мессу, но по воскресеньям с саквояжем, полным богослужебных принадлежностей, которые он дал мне, отправлялся в один из старых бараков, который принадлежал некогда «Пятому». Теперь здесь жили вольные горожане, и в девять утра я служил там мессу для еще одного польского «прихода». Перед мессой я исповедовал, а после мессы крестил и венчал, что приходилось делать все чаще, так как все больше людей узнавало о том, что меня можно найти здесь каждое воскресенье.

Я всегда отказывался брать за свою работу деньги или жалованье, но люди хотели как-то выразить свою благодарность. Поскольку денег я не брал, они просили меня принять хотя бы какую-нибудь одежду взамен моих тюремных вещей, которые я по-прежнему носил. Они пошли со мной в новую часть города за площадью Ленина, где находился проспект с новыми магазинами: здесь был большой продуктовый магазин под названием «Гастроном» - нечто вроде супермаркета, «Промтоварный магазин», наподобие универмага, и ряд специализированных магазинов.

Я был поражен тем, каким широким ассортиментом товаров располагают магазины даже здесь, в Сибири. И только когда начал покупать себе вещи, понял, как трудно найти именно то качество и размер, какие хочешь. Вообще-то люди принимали как должное, что продавцы берут дополнительную плату за то, чтобы найти желаемый товар. Мне пришлось купить пальто, которое было на размер меньше, чем нужно, поскольку ничего более подходящего найти не удалось. Я также не смог купить рубашки с воротничками и низкие ботинки. Собственно говоря, там вообще не было обуви моего размера, поэтому мне пришлось довольствоваться очень неудобной парой ботинок на размер меньше. Немногочисленные галоши, которые у них имелись, были слишком велики – пока я не заплатил продавцу, чтобы он посмотрел повнимательнее. Тогда он нашел мой размер.

Однажды утром, когда я пришел служить мессу, Виктор сказал, что есть возможность пожить на другой квартире, по крайней мере, несколько

месяцев. Одна семья из его «прихода» сообщила ему, что их соседи уезжают на несколько месяцев, и можно было бы договориться с ними, чтобы я пока пожил в их балке, если дам ответ в тот же день. Я буквально подпрыгнул от радости. Сразу после мессы мы с Виктором пошли обо всем договариваться.

После этого я снова пошел к о. Виктору и помог ему служить панихиду, или реквием, очень красивую русскую поминальную службу за усопших. Эта служба поется, и длится она минут сорок; все люди знают песнопения наизусть, поэтому поют все. Во время торжества на алтарь ставится кутья – тарелка риса, смешанного с изюмом, и после торжества каждый угощается ею, а также печеньем и конфетами, которые приносит семья усопшего. После службы я остался ночевать у о. Виктора, а на следующее утро после мессы отправился в свой новый дом.

Это был маленький балок, но там было три комнаты. Здесь была маленькая кухонька, наверное, где-то 3 на 5 футов, спальня, в которую только и входило две кровати, и маленькая гостиная. Но этот домик был очень удобной базой для моей деятельности, поскольку я жил в нем один и мог ежедневно служить здесь мессу для непрестанно растущего числа людей. Однако по воскресеньям я продолжал служить в польском бараке на территории прежнего «Пятого».

Через несколько дней после того, как я въехал в свой новый балок, ко мне пришел Ладислав, чтобы сказать, что со мной желает встретиться начальница лаборатории на БОФ. БОФ – Большая обогатительная фабрика – представляет собой огромное здание, расположенное почти на середине склона холма, возвышающегося над городом. Когда я пришел туда следующим утром, Ладислав меня уже ждал. Мы пошли с ним на второй этаж, где находилась лаборатория. Сначала мы зашли в его кабинет, где я ждал, пока он предупредит начальницу. Через минуту он вернулся и повел меня вдоль по коридору в кабинет начальницы. Начальница была стройной женщиной, лет за тридцать пять, с черными волосами, темными глазами, тонкими чертами и красивым лицом. «Анастасия Николаевна, - сказал Ладислав, - это Владимир Мартынович». Она встала, обошла свой стол и пожала мне руку. Она попросила меня присесть и рассказать о себе. Я рассказал ей о своем прошлом. Я честно сказал, что опыта у меня нет. «Но мне нужна работа, - сказал я, - и я готов трудиться».

Анастасия улыбнулась. Она сказала, что будет счастлива принять меня на работу. Я буду работать в лаборатории ассистентом Ладислава, пока

не наберусь опыта, и она спросила, устроит ли меня зарплата в 1100 рублей (110 долларов) в месяц и двухсотрублевая премия за хорошую работу. Я был, можно сказать, вне себя от радости и долго ее благодарил. Он сказала, что хочет, чтобы я начал на следующий же день.

На следующий день, когда я явился на работу, не было еще и восьми. На мне была моя нарядная одежда, потому что другой у меня попросту не было, если не считать стеганного костюма, в котором я ходил в лагере. Почти до самых дверей БОФ можно было доехать на автобусе, но в то утро я пошел на работу пешком. Это была моя первая работа на воле, и странно было возвращаться на БОФ, на фабрику, которую я строил еще зэком, в новом качестве ответственного и хорошо оплачиваемого работника.

Ладислав уже ждал меня, чтобы показать лабораторию. Она состояла из четырех больших комнат, каждая из которых была оборудована двумя рабочими столами, двумя электроплитами, раковинами и всем необходимым химическим оснащением. В каждой комнате работало по три девушки. Они проверяли пробы руды на содержание меди и никеля. Эти пробы затем упаковывались, снабжались этикетками и складывались на хранение для последующих справок. В общей сложности в лаборатории работало сорок девушек, по двенадцать-тринадцать в каждой смене, но помимо нас с Ладиславом во всем отделе работало только трое мужчин.

Один был главным химиком и инструктором, и его я знал плохо. Другие двое, Максим и Василий, руководили работой в лаборатории, как и Ладислав, но в другие смены. Я работал с Ладиславом в дневную смену, которая была самой напряженной; Максим, нервный, чувствительный русский, работал с четырех до полуночи. Василий, украинец, руководил ночной сменой, работавшей с полуночи до восьми утра, но, в отличие от Максима, был человеком беспечным и никогда ни о чем не беспокоился.

Моя работа состояла в заботе о том, чтобы у девушек всегда были все необходимые химические препараты и материалы, а также в том, чтобы складывать на хранение готовые результаты проведенных анализов. Ладислав сказал, что эти пакеты должны храниться, как минимум, месяц на случай, если потребуются дополнительные анализы этой же партии руды или если в обогащенной руде не будет выявлено того процента меди и никеля, который показали наши анализы.

Теперь, когда я устроился в Норильске, и дела мои, казалось, пошли хорошо, я решил еще раз попытаться написать домой, своим родным – это было бы мое первое письмо более чем за пятнадцать лет. По совету Виктора я сперва отправился в КГБ в Норильске и спросил, возможно ли это; я объяснил, что не писал домой с 1940 года. Сотрудник КГБ ответил, что это не их дело; такие вопросы решает милиция. Он посоветовал мне обсудить это с начальником отделения МВД.
Я прождал в МВД почти четыре часа, и наконец, где-то после обеда, мне удалось-таки увидеть начальника. Он сочувственно слушал, пока я вновь объяснял ему свою ситуацию. Я сказал ему, что не писал домой так давно, что даже не знаю, жив ли еще кто-нибудь из моих родных. Он был очень любезен и сказал, что не имеет никаких возражений; он даже показал мне, как написать адрес на конверте, чтобы письмо непременно дошло, затем дал мне специальный конверт для писем за рубеж.
Адрес следовало написать в порядке, совершенно противоположном тому, который счел бы нормальным я: сначала название страны, потом штат, потом номер дома и название улицы. Все следовало писать на двух языках – по-русски и по-английски – в чередующихся строчках. Затем, в самом низу конверта, я написал свой обратный адрес по-русски. Я написал Евангелине, своей сестре, потому что все еще помнил адрес ее монастыря, - на случай, если она до сих пор там.
Я не был уверен, что кто-нибудь получит мое письмо, поэтому писал коротко и по существу. Заключенные говорили мне, что длинные письма никогда не доходят; сами они, когда им разрешали написать письмо родным, обычно просто писали: «Жив и здоров». Как бы то ни было, бессмысленно было писать много, не убедившись в том, что мои письма действительно доходят в Америку. Начальник милиции заверил меня, что проблем не будет, но я все равно написал коротко. Свое письмо я подписал просто: «Твой брат Уолтер».
По пути домой я столкнулся с Петро, молодым парнем с Урала, который работал на открытой добыче руды. Он пригласил меня на рюмочку, потому что был как раз день зарплаты. Кроме того, в разговоре с ним я упомянул о том, что написал домой. А другого повода ему было и не нужно. Он сказал своей жене Кате приготовить пельмени, а сам принес водку, чтобы отметить это дело как следует. «Это, Володька, событие, - сказал он, - это надо отметить!»
Поскольку я не обедал, а жена Петро настаивала на том, чтобы приготовить пельмени, я не смог отказаться. Пока Катя трудилась на

кухне, мы с Петро сели праздновать. Прежде всего, нужно было выпить за Америку. Поэтому Петро налил нам по полному стакану водки. Мы подняли стаканы, чокнулись за Америку и пропели: «Ваше здоровье!» Водку, по крайней мере ту, которую пили в Сибири, можно было выпить только одним способом, а именно, перевернуть стакан вверх дном и осушить все двумя глотками, а потом сунуть себе под самый нос кусок ржаного хлеба и глубоко втянуть в себя его запах, чтобы очистить голову от испарений. Мы осушили стаканы.

За тостом за Америку последовали тосты за родных, за хорошие новости, за зарплату. Потом Катя принесла вкуснейшие пельмени. Они с Катей говорили о своих планах поработать пять лет здесь, за полярным кругом, чтобы получать большую премию и собрать немного денег, а потом вернуться на Урал и купить на эти деньги дом и огород. «И знаешь что, Володька? – сказал Петро. – Скоро будешь крестить моего первенца!» Я их поздравил, и мы выпили за это. Так мы сидели и праздновали до вечера.

Это маленькое застолье просто свалило меня с ног. Но в субботу вечером мне предстояло еще одно. Я пообещал обвенчать Ладислава и его невесту Раю; они клялись, что специально ждали, пока я выйду из тюрьмы, потому что хотели, чтобы их венчал именно я. В субботу в семь часов вечера я пришел к Ладиславу домой на бракосочетанье.

Это была красивая квартира в новой части улицы Комсомольской на четвертом этаже одной из новых пятиэтажек. Здесь были две большие, со вкусом обставленные комнаты, со всеми современными удобствами. Ему повезло с этой квартирой, но, по существу, она была и не его. Он жил в ней, пока один из директоров БОФ был в отъезде. В Норильске никто не хотел оставлять квартиру без присмотра: из-за тотального дефицита квартиры часто грабили. Поэтому директор попросил Ладислава пожить в его квартире, пока его не будет.

Ладислав и его невеста были, конечно, очень рады. Теперь, когда у них было свое жилье, они могли и пожениться. Поскольку они были поляки, обряд венчания совершался по латинскому обряду, и я отслужил свадебную мессу. Все гости что-нибудь с собой принесли, а сами Ладислав и Рая целый месяц не вылезали из магазинов, чтобы как следует приготовиться к торжеству, так что это был долгий, чудесный вечер.

Между тем я набирался опыта на БОФ. Работа казалась мне увлекательной, а люди - вполне дружелюбными. Вскоре большинство девушек на БОФ уже знали, что я священник. Они не обязательно

выказывали мне какое-то особое почтение, но охотно заменяли меня, если я поздно приходил или должен был пораньше уйти из-за свадьбы, крестин и так далее. Сама начальница, Анастасия, была со мной особенно любезна. Не прошло и месяца, как она спросила, не возьму ли я на себя ночную смену. Я был этому очень рад, потому что тогда большую часть дня и весь вечер я мог бы посвящать апостольскому служению.

Однако время от времени девушки захаживали в мой кабинет поговорить о религии. Однажды ночью Тася, миниатюрная и веселая русская девушка с гладко зачесанными назад каштановыми волосами, как у большинства русских женщин, неуверенно вошла в мой кабинет. Она слышала, что я священник, и хотела знать, русский я или нет. Нет, сказал я ей, я из Америки. Это поставило ее в тупик: она знала только русских священников и понятия не имела, что, например, литургию можно служить как по восточному, так и по латинскому обряду.

Всякий раз, когда Тася разговаривала со мной об этом, она выходила из комнаты, если входил кто-то другой, а затем снова подходила ко мне, когда я оставался один. Это начало возбуждать мое любопытство. Я подумал, что она, должно быть, к чему-то клонит. И однажды ночью это выяснилось. «Я хочу, - сказала она, - чтобы вы совершили панихиду по моему мужу». Теперь настал мой черед удивляться. «Вы были замужем?» - спросил я. «Да, - сказала она, - мой муж погиб почти ровно год тому назад, и мне хотелось бы, чтобы в годовщину его смерти вы отслужили по нему панихиду». Потом она рассказала мне историю его гибели.

Ее муж работал на БОФ, дробил руду. Однажды с его машиной что-то случилось. Чтобы сэкономить время, он попытался починить ее, не прерывая работы. Но, поскользнувшись, упал в дробилку. Его перемололо и смешало с рудой, и в таком виде его пришлось похоронить. Это была ужасная история, тем более, что произошла она всего через три месяца после их свадьбы. Я согласился спеть панихиду, и тогда Тася попросила меня заодно еще крестить ее маленького сына. В тот вечер я вместе с ней пешком пошел к ней, спел панихиду в присутствии ее отца и матери и назначил на воскресенье крещение ее сына.

Для русской семьи это большое событие, поэтому дом был полон гостей. По восточному обряду крестят тройным погружением; весь обряд занимает почти сорок минут, а в конце церемонии крещения совершается миропомазание. После церемонии многие гости стали

подходить ко мне и просить, чтобы я крестил их детей. Так росла моя паства, и росту этому не было конца.

В другой вечер, когда я складывал на хранение несколько партий результатов анализов, в мой кабинет тихонько вошла Нина и стала ждать, пока я подниму на нее глаза. Это была симпатичная молодая девушка, комсомолка и жена члена партии. «Могу я вас кое о чем спросить?» - сказала она. «Разумеется», - ответил я. Она колебалась. «Вы священник?» - «Да», - сказал я. «Без дураков?» - спросила она умоляюще. Я засмеялся.

Некоторое время Нина молчала, потом сказала: «Я читаю Библию, которую беру время от времени у одной старой женщины, которую навещаю, и там есть много вещей, которые мне непонятны. Но там сказано, что, дабы спастись, каждый должен креститься. Вы умеете это делать?» Я улыбнулся. «А как же», - сказал я. «А вы не могли бы крестить меня?» Я был немного удивлен. «А теперь кто кого дурачит? – спросил я. – Это не так-то просто. Посмотрим».

Тут в коридоре послышались чьи-то шаги, и Нина поспешила удалиться. Будучи комсомолкой, она не хотела, чтобы кто-то видел, как она разговаривает со священником о религии. Она зашла позже и прямо с порога спросила: «Когда вы сможете меня крестить?» Увидев такое нетерпение, я не смог сдержать улыбку, но ответил: «Что ж, когда я выясню, что вы знаете о Боге, о крещении, о спасении и многих других вещах. Кроме того, я должен точно знать, насколько искренно ваше желание». Однако она была в таком нетерпении, что я сказал ей прочитать несколько отрывков из Библии и договорился с ней о регулярных встречах, чтобы она могла начать обучение основам веры.

Занимаясь с Ниной из вечера в вечер, я буквально чувствовал действие Божией благодати: оно проявлялось в ее искренности, в ее воодушевлении и в произошедшей в ней перемене. Теперь она не просто хотела креститься сама, но и желала крестить своих троих детей. Однако ей было известно, что ее муж станет возражать: он был убежденным коммунистом. Но она умоляла меня все равно сделать это и обещала, что вырастит детей в вере.

В конце концов, когда ее мужа вызвали в Москву на партийную встречу, Нина стала упрашивать меня более не откладывать. Я не смог отказать ей. На крещении присутствовала ее мать и та старая женщина, которая была в конечном счете причиной всему, потому что давала читать Нине свою Библию. Она и стала крестной матерью всего семейства. Никогда в жизни не встречал я столь искренней набожности.

Я почти физически ощущал присутствие Святого Духа в воде, когда крестил Нину; ее реакция глубоко тронула меня. Потом я крестил детей и дал им всем маленькие алюминиевые распятия, которыми снабдил меня Виктор. Потом было застолье.

Неделю спустя, когда муж Нины возвратился, ее маленький сынок все же проболтался. Он рассказал отцу о празднике и показал ему «подарок», который получил от меня: маленькое распятье. Отца провести не удалось; он сразу заподозрил, что случилось, и был в ярости. Он грозил, что добьется чтобы священника, который это сделал, арестовали. Но в конце концов буря улеглась, и он даже разрешил Нине воспитывать детей в вере.

Его пример не единственный. Мне вспоминается другой член партии из Норильска, который сказал своей жене, когда садился на поезд, отправляясь на партийную встречу в Москве, что надеется, что к его возвращению их ребенок будет уже крещен, иначе беды в доме не миновать. Еще один высокопоставленный чиновник, который выступал с громовыми публичными речами, обличающими религию, счел за великую честь стать крестным сына своей сестры в день, когда я крестил этого мальчика.

По случаю больших праздников, таких как Седьмое ноября и Первое мая, государство выдавало трудящимся благодарности, премии и грамоты за отличную работу. В свои первые ноябрьские праздники на БОФ я получил премию в размере 100 рублей. После этого на каждый праздник я обязательно что-нибудь получал: семидесятипятирублевую премию, грамоту или награду. Но что было важнее самих грамот и денег, всякий раз, когда меня награждали, в мое личное дело вносилась запись «благодарность». Это означало, что если я попытаюсь устроиться на работу где-нибудь еще, у меня всегда будут отличные рекомендации. Это также означало, что когда гебисты будут наводить справки относительно моих дел (а они по-прежнему время от времени это делали), они найдут в моих бумагах только хорошие отзывы. Если это и не произведет на них впечатления, то, по крайней мере, они не найдут ничего такого, что можно будет потом использовать на допросах против меня.

Примерно в это же время меня приняли в профсоюз. На фабричных собраниях, которые проходили почти каждое утро понедельника, нам настойчиво твердили, что каждый должен принадлежать к профсоюзу. При этом подчеркивались те выгоды и преимущества, которые упускает

всякий не вступивший в организацию. После долгих уговоров я наконец решился.
Процедура была проста. Нужно было написать стандартное заявление, которое затем читалось на местном собрании профсоюза, и председатель спрашивал членов, следует ли данное прошение рассмотреть. В моем случае просьбу рассмотреть согласились. Затем меня попросили встать, коротко рассказать о себе и ответить на все вопросы с места (вопросов ни у кого не оказалось). Затем было предложено принять меня в профсоюз, предложение было принято – и я стал членом профсоюза.
За небольшие ежемесячные членские взносы (один рубль на каждые сто рублей зарплаты) я получал теперь следующие льготы: пособия по болезни, включающие бесплатное медицинское обслуживание и шестьдесят процентов зарплаты во время болезни; право на места в лучших санаториях и домах отдыха, в случае если мне потребуется продолжительное лечение, причем за путевки я должен был платить только треть цены; преимущества при приеме на новую работу или при переводе на более высокооплачиваемую должность при появлении вакансии.
С другой стороны, профсоюз вникает во все стороны жизни своих членов. На собраниях поднимаются не только вопросы работы и условий труда, но свободно обсуждается и личная жизнь, и различные недостатки членов профсоюза. Так, на одном из заседаний профсоюза молодую семейную пару попросили рассказать о своих супружеских неурядицах. Оба они были комсомольскими активистами, а значит должны были быть и примерными коммунистами. Они казались идеальной парой, но муж хотел развестись с женой, потому что у них не было детей.
Поскольку на БОФ работали в основном женщины, положение бедного мужа было просто безнадежно. Камни полетели в него со всех сторон: «Разве такой пример должен подавать молодежи комсомольский активист?»; «А как же новое советское законодательство о семейной жизни, даже если у супругов нет детей?» Ситуация была почти смехотворной, но то, что профсоюз может так контролировать жизнь собственных членов, было отнюдь не забавно.

Норильск – мой приход

Однажды утром, придя домой с работы, я нашел там телеграмму от семьи владельцев моего балка, в которой сообщалось, что они едут

домой. Я поговорил с Виктором и Ладиславом, и последний настаивал, чтобы я поселился на его новой квартире и жил там так долго, как пожелаю. Мне очень не хотелось стеснять моих молодоженов, но идти было больше некуда, поэтому я согласился занять одну комнату в его двухкомнатной квартире.

Виктор предупредил меня, чтобы у Ладислава я не занимался служением слишком активно. Большинство государственных квартир находилось под пристальным надзором домовой конторы, которая немедленно доносила о всякой «подозрительной деятельности» в милицию. Поэтому по вечерам я обычно ходил к Виктору петь панихиду или домой к верующим совершать крещение и другие обряды. Однако несколько обрядов крещения я совершил прямо у Ладислава – и меня тут же вызвали гебисты. Но явиться меня попросили не в КГБ, а в горисполком. Когда я вошел в кабинет, там за столом сидело четыре человека. Они предложили мне сесть. Встреча началась с обычных вопросов: как идут мои дела после освобождения; как отношения с окружающими; нравится ли мне моя работа и так далее. Вдруг они перешли к делу: «Кто дал вам разрешение заниматься миссионерской работой? – сказал один. – Ведь вам известно, что на это требуется особое разрешение из Москвы». Я был поражен внезапностью этого вопроса; затем я честно сказал ему, что делаю то, что велит мне совесть и что необходимо людям.

«Я имею право служить мессу у себя дома и молиться, когда захочу, - сказал я. – Советская Конституция гарантирует свободу вероисповедания. А если кто-то входит ко мне, в то время как я служу, я не собираюсь его выгонять. Я не агитирую, не зазываю, но если кто-то хочет прийти, я не прогоняю его. И если кто-то просит меня сделать для него доброе дело, то - если только это не противозаконно - я это сделаю, как хороший советский товарищ».

Они напомнили мне, что священник по закону не может брать у людей деньги. Всем «уполномоченным» священникам зарплату платит государство. «Попробуйте доказать, что был хотя бы один случай, когда я просил у людей деньги, -ответил я. - Попробуйте! Вы знаете, что это бесполезно, потому что если бы вы могли доказать, что я хотя бы раз брал у людей деньги или просил о них, вы бы вызвали меня сюда уже давно!»

Так мы спорили больше часа. Между тем они начали бросать недвусмысленные намеки, что я должен прекратить свою «подрывную деятельность». Я просто сказал им, что пока люди по собственной воле

приходят ко мне, я буду продолжать помогать им. Юридически гебистам нечего было на это ответить, но под конец нашей небольшой «дружеской беседы» они предупредили меня, чтобы я был осторожен. В тот вечер я отправился в Виктору и о. Нерону, чтобы рассказать им, что меня вызывали. Это не было для них неожиданностью: их тоже недавно вызывали.

Положение Виктора было самым непрочным, потому что он нигде не работал. Все свое время он посвящал заботе о нуждах своей паствы, а взамен его «прихожане» заботились о его потребностях. Гебисты желали знать, откуда у него деньги, если у него нет работы. У нас же с Нероном работа была: я работал на БОФ, а Нерон был ночным сторожем на стройке. С момента нашего знакомства я всего несколько раз видел Виктора таким обеспокоенным. Но я рассказал ему о том, что сказал гебистам, и он счел, что, наверное, мои ответы позволят нам продержаться еще какое-то время.

На самом деле, к тому времени работы у меня стало вдвое больше. Литовцы, обитавшие в других трущобах за Комбинатом, попросили меня служить для них мессу по воскресеньям. Поэтому по воскресеньям я, как и прежде, служил мессу для поляков в одном из бараков бывшего «Пятого», а затем шел через весь город, дабы совершить еще одно богослужение для литовцев. Столько людей просили меня о крещении, что я не поспевал за растущим числом просьб. В зависимости о того, в какую смену я работал, я иногда просил Анастасию, мою начальницу, дать мне выходной, чтобы успеть все их исполнить. Она никогда не спрашивала меня, зачем мне выходной (хотя думаю, она знала), но всегда была рада помочь мне.

Некоторое время спустя дел стало столько, что мне пришлось чередовать места воскресной мессы. В разные выходные я ездил в разные городские кварталы, чтобы успевать выполнять просьбы верующих. Иногда мне приходилось даже брать такси вверх, на Медвежку, чтобы совершить вторую или третью мессу за день. Я знал, что КГБ следит за мной, но это меня не заботило. Пока я не просил денег, мое дело, как им было хорошо известно, оставалось, по меньшей мере, спорным. Что до моего поведения в других отношениях, тот тут у них не было решительно никаких оснований жаловаться, особенно если учесть все мои грамоты и упоминания моего имени в списках отличившихся на БОФ.

Примерно в это время я получил ответ от своих сестер, Хелен и сестры Евангелины. Они написали, что были счастливы получить от меня

известие и что на родине меня считали уже покойным. В Обществе, в моей прежней семинарии в Оркард-Лейк и в других местах, совершили мессы за упокой моей души. Они приложили к письму свой адрес и написали, что если я в чем-нибудь нуждаюсь, мне нужно только попросить их об этом. Я прочел письмо Виктору и обсудил его с ним и с некоторыми другими людьми; все убеждали меня написать ответ.

В конце концов я написал короткую записку с просьбой об одежде: ботинках, носках, рубашках, перчатках, в общем, о полном комплекте. Одежда мне, конечно, действительно не помешала бы, но главным образом я просто хотел проверить, дойдет ли посылка. Виктор был настроен оптимистично, потому что ему регулярно приходили посылки из Польши. Однако, как научил меня опыт в «Пятом», одно дело писать в Польшу, и совсем другое – в Соединеные Штаты.

Теперь под Норильском остался всего один лагерь для заключенных. Остальные закрыли, а зэков, которые еще не освободились, отослали в другие лагеря. Единственный оставшийся лагерь был только для политических, и в некотором смысле они были довольно-таки свободны. Они жили в бараках в лагере, но приходили на работу в город без охраны и работали вместе с вольными. К 1958 году этот лагерь тоже ликвидировали, а тех, кто еще не отбыл свой срок, куда-то перевели. Так что один за одним старые лагеря исчезали, бараки перестраивали и превращали в дома для рабочих.

Однако с исчезновением лагерей множество воров и криминальных элементов устремились в Норильск, как устремились бы в любой шумный, быстро развивающийся город. Те, что похитрее, часто становились спекулянтами, и в городе возник довольно оживленный черный рынок товаров и жилья. Но куда большую опасность представляли группировки, которые обратились к преступности и насилию; кражи и грабежи стали обычным делом; чуть ли ни каждый день кого-нибудь убивали. В некоторых районах города выходить на улицу после наступления темноты стало не просто опасно, но смертельно опасно.

Например, бывший лагерь, где жили многие из наших «прихожан»-украинцев, находился более чем в полумиле от ближайшей автобусной остановки. Их дети, в особенности те, которые учились во вторую смену – с двух до семи, - постоянно подвергались опасности на неосвещенных улицах. Родители жаловались в милицию, но обстановка в Норильске была теперь такова, что у милиции и без того был хлопот полон рот.

Поэтому украинцы создали свою «милицию». Каждую ночь три-четыре человека патрулировали наиболее опасные места в районе бывшего лагеря. Если они замечали, что на улице ошивается кто-то, кого они не знают, они убивали его на месте – без суда и следствия. Потом труп выбрасывали на середину дороги, приколов к его груди особый знак, - чтоб другим ворам и преступникам было неповадно. Это было жестоко, но эффективно.

Украинцы были хорошо организованы и в других отношениях. Они были почти воинственно религиозны. Они крепко держались за религию как за элемент своего национального наследия и традиций. В своем лагере они устраивали роскошные свадьбы и крестины, откровенно религиозные. А когда умер один из их лидеров, они устроили пышные похороны с хором из двухсот с лишним человек и огромным крестом с крепом и цветами, который несли впереди траурной процессии.

Из лагеря они вышли прямо на главные улицы города и, шествуя по ним к кладбищу, во все горло распевали «Святый Боже». Процессия проследовала прямо по улице Октябрьской, тормозя уличное движение: впереди несли крест, затем шел хор, за ним несли гроб, а за гробом шли громадные толпы скорбящих. Прохожие на тротуарах главной улицы города были поражены таким грандиозным религиозным зрелищем. Некоторые из них, поравнявшись с гробом, осеняли себя крестом. На кладбище украинцы спели всю заупокойную службу; затем они торжественно прошествовали назад в дом покойного, чтобы принять участие в поминальной трапезе и отдать традиционные почести усопшему. Потом КГБ устроило целое расследование, чтобы выяснить, кто все это устроил. О. Виктора вызывали несколько раз, поскольку было известно, что он работает с украинцами. Гебисты подвергли его суровому перекрестному допросу и пригрозили нежелательными последствиями за то, что в их понимании было «подрывной деятельностью» и «агитацией».

Виктора это обеспокоило. Он начал думать, не будет ли лучше, если он покинет Норильск. Я попросил его хоть немного подождать, поскольку он мог сделать в Норильске еще так много полезного, что ради этого стоило рисковать.

Весной 1956 года Ладислав получил телеграмму от директора, хозяина квартиры, где он жил. Тот писал, что скоро возвращается, поэтому мне пришлось приступить к поискам другого жилья. На этот раз я нашел жилье почти сразу в другом небольшом трущобном «городке» по другую сторону Октябрьской благодаря хорошему другу о. Виктора,

немцу-механику Гансу. Ганс только что переехал в квартиру своего директора на Севастопольской, в новой части города, в современном двухэтажном многоквартирном доме. Директор на время уезжал в Москву, а по возвращении, благодаря своему положению, должен был получить квартиру в новостройке. Поэтому Ганс и его жена Маргарита предложили мне свой маленький балок в трущобном секторе со всей обстановкой.

Этому балку я был несказанно рад. Это означало, что впервые почти за год я буду наконец один. Я въехал в свой новый дом на следующее же утро. Когда с переездом было покончено, у меня еще оставалось несколько часов, чтобы вздремнуть, перед началом смены на БОФ, поэтому я, как был, в одежде, вытянулся на кровати. В комнате было холодно, потому что с тех пор, как выехал Ганс, прошло уже несколько дней, но я не потрудился развести огонь. Несколько дней спустя Ганс зашел узнать, как у меня дела. Он нашел меня лежащим на кровати. Когда он попытался разбудить меня, стало ясно, что у меня жар.

Ганс тут же известил о. Виктора, который поспешил на помощь. Увидев, как я плох, Виктор договорился с двумя сестрами-литовками, своими соседками, чтобы они ходили за мной. Это были те самые сестры, которые ухаживали за о. Фомой, но к тому времени его здоровье так сильно сдало, что ему пришлось в конце концов вернуться к родным на Украину. Виктор и Ганс помогли мне преодолеть четыре-пять кварталов до того скопления лачуг, где жили о. Виктор и сестры.

Две сестры, сорокатрехлетняя Нина и тридцативосьмилетняя Людмила, были не замужем. Их дом был мал, но безупречен: все было выбелено, стена между кухней и главной комнатой была свежевыкрашенна. Они взяли на себя всю заботу о том, чтобы я регулярно и хорошо питался, чтобы одежда моя была всегда чиста и чтобы я как следует заботился о своем здоровье. Вскоре я почувствовал себя так хорошо, как не чувствовал уже много лет.

Где-то в это же время я получил свою первую посылку из Соединенных Штатов. Это был большой ящик от моих сестер. В нем было два костюма, два пальто, две пары обуви, а также рубашки, носки и вообще почти все мыслимые предметы гардероба – даже сутана. У меня уже был полный набор облачения всех литургических цветов, которое сделали мне мои прихожане, так же как и все прочие принадлежности из ткани, необходимые для мессы. Я поделился одеждой с о. Виктором, который нуждался в ней даже больше, чем я. Он был рад одежде, но я

был просто счастлив: это доказывало, что посылки из США будут приходить ко мне целыми и невредимыми.

Все то лето и зиму мы, трое священников, трудились еще больше, если такое возможно. Казалось, чем больше дел мы делаем, тем больше их у нас становится. Но в начале 1957 года меня снова вызвали в КГБ. На этот раз мне прямо приказали прекратить священническую работу. Это было «последнее предупреждение». Виктора и Нерона также предупредили, чтобы они прекратили свою «недозволенную деятельность» с людьми. Они почувствовали, что уж для них-то это воистину «последнее предупреждение». Придя домой, они стали серьезно обсуждать отъезд из Норильска. В тот вечер мы долго сидели, обсуждая свое будущее.

Наконец я скрепя сердце согласился, что, возможно, будет лучше, если Нерон и Виктор оставят Норильск и поедут на Украину. Многие из наших украинских прихожан уже уехали домой, и из их писем было ясно, что там нужда в священниках почти так же насущна, как и здесь, в Сибири. Виктор и Нерон считали, что лучше им вернуться и служить верующим на Украине, чем из чистой бравады оставаться здесь, где их будут связывать по рукам и ногам, а то даже и арестуют.

О. Нерон вскоре уехал. Он должен был известить о. Виктора по прибытии на Украину, каковы там условия и где тот должен с ним встретиться. Виктор остался, чтоб помогать мне с великопостными и пасхальными заботами. С каждым годом эти события отмечались все шире, потому что все больше народу узнавало о них от друзей. Но после Пасхи 1957 года о. Виктор решил более не задерживаться и отправиться на Украину, не дожидаясь вестей от Нерона. Это, наверно, было правильное решение, потому что здоровье его пошатнулось, а нервы начали серьезно сдавать из-за постоянной угрозы слежки.

Теперь у меня не было ни минуты покоя. Я унаследовал не только часовню Виктора, но и его паству. По воскресеньям в восемь утра я совершал в маленькой часовне службу восточного обряда, потом в десять часов – латинского обряда. Перед каждой мессой всегда были исповеди, а после каждой мессы – бракосочетания и крещения. Когда была возможность, одну из воскресных месс я старался совершать в бывшем «Пятом» или в украинском «приходе» в старом лагере за Комбинатом.

В сущности, по воскресеньям мне вечно приходилось куда-то спешить и после мессы: я освящал дома, крестил детей, которые были слишком малы, чтобы нести их в часовню, венчал, раздавал причастие больным и

так далее. По будням же каждое утро в шесть часов я служил мессу, потом, если позволяла моя смена на БОФ, почти каждый вечер пел панихиду или молебен (это небольшая служба в честь Пресвятой Богородицы, которую очень любят верующие).
В то лето Людмила и Нина получили письмо от своих родных, которые очень просили их вернуться домой, в Литву. В последние три месяца они оказывали мне неоценимую помощь, поддерживая порядок в часовне, стирая литургические и алтарные облачения и заботясь о моих личных нуждах так, как сам я никогда бы не смог о них заботиться, поскольку был слишком занят. Тем не менее я сказал им, что куплю балок, если они решат уехать. Им уже предлагали за него деньги, и было бы нечестно просить их отдать мне балок просто так. С другой стороны, мне не хотелось возвращаться в балок Виктора и занимать пространство, которого теперь и без того так не хватало в часовне.
Поэтому я отправился с сестрами в ЖКО (жилищно-коммунальный отдел), заполнил все необходимые бумаги, и балок оформили на меня. Потом я помог им собраться и проводил их в Литву, хоть мне и жалко было с ними расставаться. Регент хора Людвиг и его жена пригласили меня столоваться у них. Я с радостью принял их приглашение, потому что это давало мне еще немного свободного времени, чтобы работать с людьми.
Однажды, вскоре после описанных событий, ко мне подошли несколько человек и неуверенно спросили меня, что я за священник. Я сказал, что католический, но восточного обряда. Сами они были православные, но видели, как я работаю с людьми, и пришли ко мне с предложением построить православный храм. Они были готовы писать в Москву и просить на это разрешения, но им нужен был пастырь, и они хотели, чтобы я им помог. Я был практически уверен, что Москва такого разрешения ни за что не даст, поэтому я сказал им, чтобы писали, а я условно соглашусь.
Через несколько дней гебисты вызвали меня на ковер, чтобы спросить, почему я «агитирую народ», хотя мне было сделано строгое предупреждение. Я смело сказал, что никого не агитировал; люди сами пришли и попросили меня стать их священником. «Если только меня не просят о чем-то противозаконном, - сказал я, - я никому в помощи не отказываю. Эти люди закон знают. Они собирались писать в Москву и просить разрешения, так отчего мне было им отказывать?»
Затем мы немного побеседовали о различии между Католической и Православной Церковью. Гебисты предложили мне написать статью в

местную газету на тему религии, поделившись в ней некоторыми сведениями о Церкви и ее работе. Что было у них на уме, я точно не знал. Возможно, они хотели как-то показать, что я некоторым образом отошел от Рима и теперь представляю собой независимый авторитет в области религии; возможно они собирались как-то использовать эту статью, для того чтобы высмеять религию и продемонстрировать комсомольцам всю суеверность и несуразность церковных обычаев. Как бы то ни было, я знал, что они не замышляют ничего хорошего.

Поэтому я просто назвал им несколько книг, в которых они могли справиться о Церкви и ее обычаях, но сказал: «Никаких статей я писать не буду». Нашу маленькую беседу они завершили строгим предупреждением, чтобы я прекратил свою религиозную деятельность. «Больше мы вас предупреждать не станем, - сказали они, - но если вы будете продолжать, мы сделаем то, что сочтем своим долгом».

Люди, конечно, ничего обо всем этом не знали. Даже вернувшись из КГБ, я обнаружил четыре или пять человек, терпеливо ожидавших меня перед моим балком. Все они пришли просить меня о крещении. У меня просто язык не повернулся сказать им, что я не могу помочь им, потому что мне запретило государство, поэтому я записал их имена и адреса в своей записной книжке. В тот день я работал на БОФ в дневную смену, поэтому договорился, что приду к ним следующим вечером, то есть в субботу.

Из пяти домов, которые мне предстояло посетить, три находились в разных частях Норильска, а два были высоко в горах, на Медвежке. Поэтому в субботу сразу после работы я совершил два крещения в Норильске, потом поймал такси, чтобы ехать на Медвежку. Начинался сильный снегопад, но я приехал вовремя. После крещений на Медвежке еще одна семья попросила меня крестить их ребенка. Я извинился перед ними, сказав, что у меня назначена еще одна встреча в Норильске. Они упрашивали меня вернуться к ним в тот же вечер, говорили, что заплатят за такси туда и обратно, и не успокоились, пока я не согласился.

Но, спускаясь с Медвежки, такси застряло из-за метели, и я опоздал на крещение в Норильске на два часа. Потом я снова отправился в путь на Медвежку. Таксист думал, что я не в себе, и согласился провезти меня только часть пути. Дальше мне пришлось взбираться на гору самому. Я добрался лишь в два часа ночи, но семья все еще не спала и ждала меня. Хуже всего было то, что была суббота. Когда я пешком вернулся в

Норильск, было уже пять утра – как раз время начинать исповеди перед воскресными мессами.
В ту зиму я был так занят, что даже ни разу не затопил печь в своем балке. Если мне и приходилось вообще бывать дома, я просто включал в розетку электрическую горелку и использовал ее для отопления и для приготовления пищи. В ту же зиму мои сестры написали мне, что связались с Госдепартаментом и что американское посольство в Москве постарается вызволить меня из России. В первый момент эта мысль меня взволновала, но я не особенно много об этом думал. Я считал, что мне предначертано провести остаток жизни, помогая чем только можно своей «пастве» здесь, в России, которая, как сказал Господь наш, была, как овцы, не имеющие пастыря. И пускай КГБ выполняет свой «долг». Господь был моим Пастырем. Он доказал это.
Кроме того, если смотреть на это чисто по-человечески, сотрудники КГБ, в своих угрозах и увещеваниях, не раз давали мне понять, что Америки мне не видать. И я был вполне готов им поверить. Так, после предыдущего письма от моей сестры Хелен, где она писала, что старается связаться с Госдепартаментом, я решил справиться о своем собственном гражданском статусе и подать заявление на международный паспорт. В Норильске были китайцы и другие иностранцы с подобным паспортом, поэтому я написал в Красноярск, в краевой центр.
Я не считаю себя гражданином России, писал я, но полагаю, что имею право на нечто большее, чем просто статус освобожденного заключенного, лишенного всех гражданских прав. Несколько дней спустя меня вызвали в МВД и спросили, писал ли я в Красноярск по поводу паспорта. Я ответил, что писал. «Красноярск сообщает, - сказали мне, - что международный паспорт вам не требуется, потому что вы считаетесь гражданином СССР».
«На каком основании? – сказал я. – Паспорта у меня нет, я не могу свободно передвигаться с места на место…» - «Что ж, - сказал сотрудник МВД, - мы можем выдать вам советский паспорт». – «Мне не нужен советский паспорт, - возразил я. – Если бы я согласился на советский паспорт, это было бы все равно что признать, что я гражданин СССР, и тогда я потерял бы свое американское гражданство». – «А какая разница? – огрызнулся он. – Ведь в Америку вы все равно не вернетесь!»
Я очень даже поверил ему тогда и верил до сих пор. Однако с тех пор кое-что все-таки изменилось. На XX съезде ЦК КПСС Хрущев произнес

речь, разоблачающую Сталина; за закрытыми дверями членам всех рабочих организаций и профсоюзов на больших предприятиях Норильска, таких, как БОФ и другие, было прочитано полусекретное письмо. Оно тоже содержало частичное разоблачение «культа личности Сталина» и все пестрело обещаниями реформ и лучших условий в будущем.

Все присутствующие на собрании понимали, что имеется в виду под «сталинским режимом»: скрытый террор, стук в дверь среди ночи, действия органов без суда и следствия и тому подобное. В общем и в целом рабочих это письмо весьма обнадежило; даже я, услышав его, почувствовал себя так, будто у меня камень с души свалился. Перемена настроения ощущалась физически. После заседания люди собирались маленькими группками и с надеждой в голосе обсуждали новую эру, новую политику, новое настроение. Поэтому теперь, когда моя сестра написала мне о попытках американского посольства вызволить меня из России, в первый момент я почувствовал воодушевление. Но у меня была работа, люди, о которых нужно было заботиться, и скоро я об этом забыл.

Но через несколько дней после того, как я получил от сестры письмо, в мой балок явился милиционер и велел мне предъявить паспорт. «У меня нет паспорта, - сказал я ему, - только вот это удостоверение личности, которое выдали мне в милиции». – «Но вам нужен паспорт. Вам бы лучше прийти в отделение и похлопотать об этом».

Когда день или два спустя я пришел в отдление МВД, мне начали задавать массу вопросов и заполнять бланки. Я сразу заподозрил что-то неладное: наша беседа начинала больше напоминать допрос, чем обычное заполнение анкеты на паспорт. «Почему вы так настаиваете на своем американском гражданстве?» - спросил сотрудник. Далее следовали хвалебные речи во славу коммунизма. «Что ж, - сказал я, - взгляните на Норильск! И это пример коммунизма? У людей нет домов, они живут в лачугах и они вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить себе еду. Что же это за жизнь?»

Это его разозлило. Он обвинил меня в ожесточенности и агитации. Я ответил ему, что я не ожесточен, а просто объективен. Каждый, просто проходя по улице, может собственными глазами увидеть то, о чем я говорю. Наш спор стал довольно горяч, и он заговорил откровенно. Он сказал мне, что о моих действиях в Норильске им известно все; им известно мое происхождение и мое прошлое: они знают, что я шпионил

на Ватикан! «Так что давайте оставим все разговоры об объективности», - кричал он.
Наконец мы вернулись к вопросу паспорта. Он сказал мне, что без паспорта я не смогу ничего делать, не смогу никуда поехать, но, разумеется, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в Красноярске. «Сейчас, - сказал он, - мы можем выдать вам временный документ, который никак не повлияет на исход вашего дела или ваш статус в будущем; зато он позволит вам путешествовать и все прочее».
Я этого не хотел. Я боялся, что некоторым образом этот документ будет истолкован как советский паспорт, подразумевающий советское гражданство. И хотя сам по себе этот документ был временным, сам факт, что я согласился стать гражданином СССР, означал бы, что я уже не являюсь гражданином Америки. Вновь и вновь милиционер заверял меня, что этот документ не повлияет на мой окончательный статус. Он просто позволит мне свободно разъезжать подобно всякому советскому гражданину, и тогда я сам смогу отправиться по своему делу в Красноярск. В конце концов я согласился, заполнил анкеты и подписал все необходимые бумаги. Он выдал мне так называемый краткосрочный паспорт.
Однако когда я вернулся домой и показал паспорт друзьям, они рассмеялись. «Ну, Владимир Мартынович, - сказали они, - вот они вас и подловили! Это же советский паспорт, и теперь вы гражданин Советского Союза. Теперь вам никогда отсюда не выбраться!» - «Они мне не так объясняли», - сказал я и тоже рассмеялся. Как бы то ни было, все это меня не особенно волновало. Ведь я и не собирался никуда уезжать. В Норильске было слишком много дел, а теперь приближались Великий пост и Пасха.
Великий пост того, 1958, года стал свидетелем самых напряженных недель, которые мне когда-либо приходилось переживать за годы своего священства. В предшествующие годы нас, священников, было трое, и с каждым годом наша паства неуклонно росла. В 1957 году, когда уехал Нерон, мы с Виктором еще оставались здесь вдвоем. Теперь я был один, а работы было больше, чем когда-либо прежде. Ибо Пасха – величайший праздник для верующих восточного обряда, и даже сегодня люди празднуют ее у себя дома так пышно и торжественно, как только могут. В этот праздник, говорят они, даже природа надевает праздничный наряд.

По обычаю в Великий пост венчаний не было, но меня часто просили посетить кладбище и спеть панихиду на могиле, а все свое свободное время я крестил и исповедовал. В Вербное воскресенье я отслужил три мессы и на каждой из них проповедовал и предупреждал людей, что начиная с четверга в часовне будут проводиться все службы Страстной недели. После месс в Вербное воскресение люди толпились вокруг меня и просили о традиционном благословении пасхальной пищи.
Это чудесная традиция, бытующая в России и других славянских странах. В Великую субботу и на саму Пасху люди приносят в церковь корзины с едой для освящения, молитвы же, которые произносятся в Церкви восточного обряда при освящении пищи, прекрасны. Корзины полны крашеных яиц, масла, сала, всевозможных пирожков, конфет и пирожных. Но, прежде всего, там есть «пасха», особым образом испеченный торт с большим количеством яиц, покрытый сверху сахарной глазурью и украшенный крестиками из конфет или пасхальными рисунками. Это первое, что ест семья после пасхальных богослужений. Освящение пищи – неотъемлемая часть традиции, потому что, дабы должным образом отметить Пасху, на Страстной неделе люди соблюдают очень строгий пост и полностью воздерживаются от употребления мяса.
Поскольку в этом году я был один, а дел было так много, мы сформировали особый комитет, который должен был отвечать за организацию этого освящения пасхальных корзин. В специальном блокноте мы набросали карту города Норильска, выбрали определенные места сбора и назначили время, чтобы каждый, кто не сможет прийти в часовню, мог прийти туда, дабы я освятил пищу. Когда все организационные вопросы были более или менее решены, я подсчитал, что мне придется начать в пять утра в пятницу, работать круглые сутки, и тогда, можно надеяться, если повезет, ко времени пасхальной мессы я закончу.
Я договорился на БОФ, чтобы мне дали выходные с четверга по среду. Мой друг-врач выписал мне справку, где говорилось, что я нуждаюсь в «отдыхе», а Анастасия, которая знала, в чем дело, с радостью приняла ее. В четверг сразу после службы в часовне я поехал в Кайеркан и там еще раз совершил богослужение. После этого я освятил пищу, которую составили в одну из комнат большого барака (там, наверное, был целый вагон!), часами слушал исповеди, а потом посетил столько домов, сколько смог, потому что нужно было освящать комнаты – это еще один пасхальный обычай.

В пятницу я снова был в часовне и весь день, как и все предыдущие вечера после работы, в огромном количестве выслушивал исповеди. В пятницу вечером, после богослужения Великой пятницы, я в сопровождении Людвига начал свой тур по городу. Нам пришлось много раз, в основном пешком, перескать город из конца в конец, устремляясь в городские трущобы, расположенные где-нибудь на отшибе. Куда бы я ни пришел, меня повсюду ждали люди – даже ночью и в долгие, холодные часы раннего утра. Ходить пришлось много, а погода по-прежнему стояла очень холодная.

Мы с Людвигом вернулись в часовню субботним утром, как раз ко времени шестичасовой службы. Многие люди провели здесь всю ночь, чтобы занять на долгом пасхальном бдении места перед алтарем. Многие из них не ушли и после субботних богослужений и оставались в часовне до самой Всенощной без единой крохи во рту, лишь бы быть поближе к алтарю. После богослужений я вновь пустился в путь, но каждые несколько часов возвращался в часовню, чтобы благословить очередную партию корзин с едой, заново заполнявших мой маленький балок от стены до стены к каждому моему появлению.

Конечно, не было никакой возможности все это утаить. Толпы были слишком заметны. Мне говорили, что в часовню несколько раз приходили милиционеры и спрашивали меня, но людей не побеспокоили и о корзинах с едой ничего не сказали. К счастью, в тот день милиционеров я не видел: наши пути ни разу не пересеклись.

К половине двенадцатого ночи в субботу я вернулся домой, но не мог даже приблизиться к часовне. Даже коридоры моего собственного балка были битком набиты; люди толпились и на улице, на полуночном морозе. Там были и милиционеры, но я не стал обращать на них внимания. Места было так мало, что едва можно было протолкнуться, но к полуночи я был облачен – я не мог поднять руки, поэтому другому человеку пришлось надеть на меня облачение через голову – и готов к литургии. Алтарь был украшен цветами и свечами, а Людвиг по случаю Пасхи связался со знаменитым старым регентом Анатолием и собрал хор людей с хорошими, поставленными голосами, чтобы Анатолий отрепетировал с ним песнопения.

Когда я запел торжественное начало пасхальной службы, часовня словно взорвалась от музыки. Пасхальное богослужение всегда радостно, но я никогда не забуду воодушевления прихожан в ту ночь. Несмотря на усталость после двух с лишним суток, проведенных без сна, в разъездах из одной части города в другую, я почувствовал

внезапный прилив бодрости и душевный подъем. Я забыл обо всем, кроме мессы и пасхального ликования.
Люди из МВД были там всю службу. Анатолий, старый регент, позже рассказывал мне, в каком напряжении он пребывал поначалу, потому что боялся, что его арестуют. «А вы, кажется, были совершенно спокойны», - сказал он. Он был прав. Как только началась литургия, я совершенно забыл о милиционерах. Я радовался почти самозабвенно. Я произнес небольшую проповедь о пасхальном ликовании, но причастие раздать было невозможно, потому что никто не мог пошевелиться. Причащать пришлось после литургии.
Богослужение закончилось к трем часам ночи, но в девять часов следующего утра я все еще раздавал причастие неиссякающему потоку людей. Я слышал, как толпа верующих на улице возвращается домой на заре Пасхи, и люди обращают друг к другу традиционное пасхальное приветствие: «Христос воскрес!» - а другие радостно восклицают в ответ: «Во истину воскрес!»
Когда все наконец закончилось, я в одиночестве вернулся в свою комнату и сел за маленький столик в своем балке, совершенно обессиленный. И все же я был очень доволен. Я испытал радость, какую мне редко доводилось испытывать. Я почувствовал, что наконец-то, по произволению Самого Бога, начинает сбываться моя мечта служить Его пастве в России. «И все это, - была мысль, непрестанно проносившаяся в моем сознании, - все это произошло в России, в Норильске!»
Следующее, что я помню, - Людвиг тряс меня, чтобы я проснулся. Комната была полна людей, счастливых людей, повторяющих снова и снова: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Все кричали и смеялись наперебой и говорили мне, чтобы я одевался и шел с ними праздновать. Поэтому под вечер в тот день я отправился к Людвигу на традиционное пасхальное застолье: посреди стола красовалась пасха, со всех сторон окруженная освященной пищей. Нас было человек восемь, в том числе Анатолий с женой. Мы начали трапезу с пения традиционного пасхального тропаря, а потом сели за стол, чтобы отведать пасхи, наперебой говоря о радости этого дня.
Следующий день, по русскому обычаю, тоже праздничный, как и первый вторник Пасхи. В эти дни я служил торжественные обедни перед огромными толпами людей и каждый вечер пел торжественные вечерни перед не меньшими толпами. В среду я вернулся на БОФ. Девушки в моей смене просто светились улыбками; некоторые из них даже были на Всенощной. На каждом перерыве мы говорили о Пасхе.

В один из таких перерывов, около десяти утра, одна из девушек торопливо подошла ко мне и сказала: «Владимир Мартынович, вас ждут в кабинете». По ее виду, я сразу все понял: мне сразу стало ясно, что стряслось что-то неладное. В кабинете начальницы меня ждали милиционеры. Один из них, низенький и коренастый, с маленькими усиками и очень красным левым глазом, резко заговорил: «Владимир Мартынович?» - Да», - сказал я. «Будьте добры переодеться и следовать за нами». Мне не нужно было спрашивать, куда.

Эмведешник с усиками ждал меня, пока я переодевался. Мы поехали прямо в новую контору КГБ в современной части города, на Севастопольской. Там, в одном из вестибюлей, я прождал почти полчаса. Потом тот же сотрудник снова вышел ко мне и провел меня через несколько комнат в просторный кабинет. В комнате был большой черный стол, тянувшийся вдоль четырех окон. За столом, опираясь на руки и сурово глядя на меня, стоял красивый темноволосый, темноглазый, очень загорелый чиновник.

Я, ни слова не говоря, подошел к столу. Он продолжал холодно глядеть на меня, потом наконец резко сказал: «Владимир Мартынович, ваша миссионерская деятельность в Норильске не требуется. Вы понимаете?» - «Да». – «У вас есть десять дней, чтобы покинуть Норильск, - сказал он, - и даже не думайте когда-нибудь возвращаться». Он сделал паузу, потом принялся постукивать пальцем по столу, подчеркивая следующие свои слова: «Если вы попробуете вернуться, вас арестуют и посадят в тюрьму. Здесь в КГБ я главный, и это приказ». Я ничего не ответил, просто посмотрел на него. Выдержав еще одну долгую паузу он снова очень холодно сказал: «Можете идти».

Я вышел, и сотрудник МВД, который привез меня с БОФ, отвез меня в административное здание на Комсомольской площади, где находится управление милиции, горисполком – и тюрьма. Но он отвел меня в свой кабинет на четвертом этаже и попросил присесть. «Смотрите, - сказал он, - вы должны покинуть город не позднее, чем через десять дней. Если у вас будут какие-нибудь трудности с билетами на самолет, позвоните мне сюда вот по этому телефону». С этими словами он протянул мне маленький листок бумаги с телефонным номером. «Через два-три дня, - продолжал он, - получите свое выходное пособие и увольтесь с БОФ».

«А что будет с моим балком? – спросил я. – Мне нужно время, чтобы продать его». - «Нет, вы не будете продавать его, - отрезал он. – Балок принадлежит государству. Мы будем время от времени проверять, все ли делается так, как вам сказано». Он ждал моих возражений. Я молчал.

«Кроме того, - продолжал он, - вы должны поехать в Красноярск и явиться там в управление МВД. Вы будете проживать в гостинице “Север”, и вы не должны вести никакой религиозной работы с людьми. Через десять дней я лично буду сопровождать вас с аэропорт». Он снова стал ждать моих возражений или комментариев. Я же по-прежнему молчал. Его кабинет я покинул лишь во второй половине дня, поэтому я сразу пошел домой, а не на БОФ.
В тот вечер я рассказал об этих «беседах» Людвигу и еще нескольким близким друзьям из прихожан. Они были удручены. Среди верующих быстро распространились слухи, что часовню скоро закроют. На следующее утро, придя на работу, я сразу отправился к Анастасии Николаевне, своей начальнице. Она тщательно избегала любых упоминаний о КГБ, но сказала, что ей жаль, что я ухожу, и что она сделает все, что в ее силах, чтобы помочь мне. Она не написала в моей трудовой книжке, что я уволен по распоряжению МВД, как должна была, но просто отметила, что я уволен. Это означало, что я смогу получить хорошее место, когда буду устраиваться на работу в следующий раз.
В тот вечер Людвиг и другие прихожане пришли ко мне, чтобы обсудить, как быть с часовней. Я хотел убрать из нее все литургические принадлежности и послать облачение и священные сосуды о. Виктору, потому что балок, где располагалась часовня, по-прежнему был записан на его имя. Но люди умоляли меня оставить в часовне все как есть: по меньшей мере, у них будет место для молитв и собраний. В конце концов я согласился. Всю мебель, какая нашлась в моем собственном балке, я раздал прихожанам. Я избавился от всего и поселился у Людвига и его жены.
Между тем люди непрестанно заходили ко мне в гости, чтобы увидеться со мной и попрощаться. Многие из них были очень раздосадованы тем, что государство «забирает у них последнего священника». Несмотря на предупреждение, которое сделали мне в управлении милиции, я вплоть до самого отъезда каждый день служил мессу и произносил небольшую проповедь, чтобы поддержать прихожан. В эти последние несколько дней я исповедовал, крестил, навещал больных и делал все, о чем меня просили.
Я попытался купить авиабилет до Красноярска, но билетов не было. Как обычно, билеты на все рейсы были уже распроданы. Я не приложил никаких дополнительных усилий, чтобы достать билет. Я решил, что если им надо, чтобы я уехал, они сами об этом позаботятся. Как и

следовало ожидать, на восьмой день сотрудник МВД сам разыскал меня.
«Ну и как дела с билетом?» - спросил он. «Билетов не было», - сказал я. Он насупился и сказал с некоторым раздражением в голосе: «Почему же вы не позвонили?» - «Вам ведь и так все известно, - ответил я, - кроме того, никто не может достать билеты в такой короткий срок». – «Слушайте, - сказал он, - дайте мне 460 рублей и ждите здесь. Я привезу вам билет». Под вечер он вернулся – с билетом. Полных самолетов просто не бывает, если дело касается МВД. Если для их целей нужно место, место найдется.

В свой последний день в Норильске я зашел на почту, чтобы сказать, куда пересылать мою почту. Девушка за прилавком вдруг спросила: «Ваша фамилия Липинский?» Я заколебался. «А что?» - спросил я. «Вас так зовут?» - настаивала она. «Да, - сказал я, - у меня двойная фамилия». – «Что ж, - сказала она торопливо, - тогда у меня есть для вас почта». Она поискала и наконец нашла два больших конверта из американского посольства с надписью «срочно» и с печатями посольства.

Они не были вскрыты, но, судя по дате на почтовом штемпеле, пролежали в Норильском отделении, как минимум, дней десять. Девушка очень долго за это извинялась, потому что на конвертах стояла надпись «срочно», но спросила, не распишусь ли я в их получении, не подавая официальной жалобы. Я расписался. Когда на улице я вскрыл конверты, ТОО нашел документ, уполномочивающий меня приехать в американское посольство в Москве, и письмо с просьбой попытаться получить выездную визу («Теперь это невозможно», - подумал я). Меня очень просили известить посольство о получении письма и о месте, где я буду оформлять визу.

В тот вечер я написал из Норильска письмо в посольство, в котором извещал их, что письмо я получил, и сообщал, что буду подавать заявление на выездную визу в Красноярске. Я счел, что долг перед сестрами обязывает меня предпринять, по меньшей мере, эти шаги, хотя и знал, что все это бесполезно. И просто для верности я пошел в управление МВД, чтобы показать письмо из посольства своему усатому приятелю, который меня преследовал.

Его это не впечатлило. «Нас это не касается, - сказал он. – Возьмите это с собой в Красноярск». У него же только одно было на уме, и он сказал, не тратя слов даром: «Завтра ровно в десять мы приедем за вами; будьте готовы к отъезду!» Я покинул управление МВД и поехал к Людвигу на

маленькое прощальное застолье, но в тот вечер настроение у всех было не очень-то праздничное.
На следующее утро, в шесть часов, я в последний раз совершил мессу в Норильске. Маленькая часовенка была переполнена. После мессы я раздал причастие и официально простился со своими прихожанами. Мы с Людвигом и его женой пошли домой завтракать. Было 13 апреля 1958 года, и все еще стояли сильные холода. Ровно в десять к двери дома подкатил автомобиль. Я видел, как из него вышел сотрудник МВД, и, прежде чем он успел дойти до квартиры, я сам вышел ему навстречу с багажом в руках. Мы поехали к площади Ленина, потом свернули налево, на Октябрьскую; я с грустью оглянулся, чтобы в последний раз окинуть взглядом удаляющийся город.
Для меня, как для заключенного, а потом как для священника, эти места были родными с 1946 года, и мне было несказанно жаль покидать их. Я снова подумал о людях, которых оставляю, и мне стало грустно от мысли, что я ничего больше не смогу для них сделать, разве что препоручить их Богу. За себя я не боялся. Все свое доверие и упование я возлагал на Его волю. Выезжая на заснеженную загородную пустошь, я все твердил про себя: «Да будет воля Твоя».

Гонения в Красноярске

Аэропорт «Надежда», который обслуживает также Дудинку, находится почти в 25 милях от Норильска, и на машине мы добирались туда больше часа. Аэропорт как таковой не представляет собой ничего особенного. Это просто продолговатое двухэтажное здание, беленое, как и многие из построенных мною в заключении бараков. Оно было едва заметно на снежном фоне. Я сел на сидение в зале ожидания, а эмведешник отправился в контору авиалиний, потому что билет, который он «купил» мне, не был даже на этот день. Через двадцать минут он вернулся с билетом на следующий рейс до Красноярска.
В самолете мне посчастливилось занять место у окошка. Когда заревел мотор, я увидел, как сотрудник МВД пошел назад, к зданию аэровокзала: теперь он мог быть за меня «спокоен». Летел я впервые, и когда мы понеслись по взлетной полосе, у меня бешено заколотилось сердце, а, когда самолет оторвался от земли, по спине моей прошел холодный озноб. Я с силой откинулся в кресле и закрыл глаза, стараясь не шевелить ни одним мускулом. Гул моторов отдавался прямо у меня в голове, пока мне не заложило уши.

Когда рев двигателя немного ослаб и самолет, казалось, выровнялся, я выглянул в окно: какой изумительный вид открылся мне! Под нами простирался суровый Север. Повсюду был снег, а горные пики выступали резкими, острыми силуэтами на белом, искрящемся фоне. Не было видно никакой растительности – ничего, кроме безбрежной, нескончаемой белизны и ничем не нарушаемого единообразия. Я с благоговейным трепетом вглядывался в эту картину, потом снова закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, надеясь, что неприятное чувство, которое я ощущал у основания желудка, скоро пройдет.

В полете я буквально ощущал, как меняется климат, а в Красноярске впервые за двенадцать лет почувствовал мягкое тепло весеннего дня. Это было похоже на сон, где мгновенно переносишься с места на место. Двенадцать лет назад путешествие из Красноярска в Дудинку в трюме «Сталина» продлилось больше двух недель, а назад я долетел всего за каких-нибудь четыре часа.

Здесь аэровокзал, в отличие от того беленого барака в аэропорту «Надежда», представлял собой внушительную конструкцию из стекла и кирпича со сверкающими лестницами и огромными стойками. Я нес два чемодана – в одном был мой литургический набор и облачения, - а день стоял такой теплый, что в своей зимней одежде я вскоре весь вспотел. Перед зданием аэропорта я остановил такси. В соответствии с данными мне распоряжениями я должен был проживать в гостинице «Север», пока не явлюсь в управление милиции. В эту гостиницу я и направился.

Проспект Сталина, главная улица Красноярска, начинается к югу от аэропорта и, минуя холм, где стоит пригород Покровка, тянется до самой станции Транссибирской железнодорожной магистрали в южном конце города, затем огибает Николаевку, жилой пригород на холме, возвышающемся на западном берегу Енисея. На другой стороне реки, на правом берегу, находится промышленная часть города. Вдоль проспекта Сталина тянется другая широкая улица под названием улица Ленина. На ней-то, почти в самой середине города, и находится гостиница «Север». Это шестиэтажное здание, отделанное темно-желтой – почти оранжевой - штукатуркой под каменные глыбы. В двух кварталах от гостиницы «Север» находится горисполком. Он стоит на проспекте Сталина, как и большинство главных зданий Красноярска.

Когда я попросил у девушки в регистратуре гостиницы комнату, она сразу же спросила, откуда я. «С Севера», - ответил я. «Дайте вашу справку», - был ответ. Я показал ей свои документы, да еще корешок авиабилета – и письмо из норильской милиции. Она задала мне

множество вопросов, прежде чем наконец спрятала в стол мой паспорт, как здесь принято, и дала мне ключи от двести тринадцатой комнаты. Проживание в отдельной комнате стоило 15 рублей ($ 1,5), а с соседом – 12 рублей в сутки.

Было около шести часов вечера, а я ничего не ел с самого завтрака. Гостиничный ресторан, однако, был закрыт на ремонт, поэтому я вышел из гостиницы, нашел улицу с самым оживленным движением и двинулся в том направлении. Погода стояла исключительно мягкая, можно сказать, нежная; я неторопливо искал хороший ресторан, наслаждаясь прогулкой. За несколько кварталов от почтамта, на углу проспекта Сталина, я нашел фешенебельное местечко под названием «Енисей». Меню поражало своим разнообразием, и я выбрал салат, куриный суп вместо обычных щей, на второе - бефстроганов с жареной картошкой, с гарниром из овощей (бобов) и приправами, да еще десерт. Все вместе обошлось мне в 15 рублей. Я ел медленно, наблюдая за окружающими, потому что идти мне было некуда и в этом городе я никого не знал.

После ужина я прогулялся до почтамта, разглядывая витрины вдоль проспекта Сталина. Вдруг мне взбрело в голову зайти на почтамт и написать письмо своим сестрам в Соединенные Штаты, чтобы сообщить им о моем переезде – неожиданном, но, похоже, окончательном – и о том, что я получил их последние письма. Потом я спросил, где находится управление МВД и узнал, что это всего лишь в квартале отсюда. Я направился туда, но там было уже закрыто, поэтому я в конце концов пошел назад, в гостиницу «Север».

Вернувшись в свою комнату, я обнаружил там включенный свет и второго постояльца, который успел туда вселиться в мое отсутствие, молодого закупщика из Калинина, города невдалеке от Москвы. Некоторое время мы посидели и поговорили, потом около десяти вечера, спустились вниз, в холл, посмотреть телевизор. Изображение было не очень ясное; шел вечерний показ фильма. По большей части в СССР передачи по телевидению идут только вечером. Так, здесь, в Красноярске они шли ежедневно с пяти до одиннадцати часов вечера. Первые программы были для детей, потом шли в основном передачи о науке и промышленности, затем новости и беседы о политике и экономике, потом концерт музыки или танцев и наконец фильм или пьеса. Рекламы не было. В одиннадцать часов, когда кино закончилось, мы пошли в бар выпить пива, потом наконец вернулись наверх, в комнату, и легли спать.

На следующий день, в девять утра, я не спеша пошел в милицию. Я спросил начальника; его не было на месте. В конце концов я припер к стенке одного из сотрудников, когда он выходил из кабинета, объяснил ему, почему я здесь, и показал ему документы из американского посольства. Он просмотрел на них и сказал мне, указывая на здание на другом конце двора, чтобы я шел туда. Это оказался ОВИР (отдел виз и разрешений).

Внутри была целая толпа народу. Я стоял в очереди, читая все надписи, и уже начинал чувствовать некоторое нетерпение, желая поскорее узнать, каков же будет ответ на мою просьбу о поездке в Москву. Потом вышла секретарша, чтобы сказать, что сотрудник в приемной занят и не сможет никого принять в ближайшие три часа. Толпа с отвращением рассеялась. Я и сам почувствовал некоторое возмущение этой ситуацией, поэтому сказал девушке, что пришел по очень важному делу и меня направили сюда из МВД. Она спросила меня, в чем дело; я показал ей свои документы и письмо из посольства в Москве. Она была, казалось, поражена. Потом она сказала мне подождать. Через несколько минут она вернулась, чтобы сказать, что завтра утром меня примут первым.

Однако, когда я повернулся, чтобы уйти, секретарша попросила меня заглянуть на минуточку к ней в кабинет. Это была миниатюрная молодая женщина с каштановыми волосами и тонкими чертами лица. У себя в кабинете она стала говорить почти шепотом. «Вы и вправду из Америки?» - спросила она. Я сказал, что да. Она расспрашивала меня, как я сюда попал, что с моей семьей в Америке и так далее. Наконец она сказала, тихо и немного грустно: «Вас не отпустят». – «Это не моя идея, - сказал я. – Я здесь потому, что меня направило сюда посольство. Им нужно разбираться не со мной, а с посольством» - «Это не имеет значения, - сказала она, - вас все равно не отпустят».

На следующее утро не было еще и восьми часов, когда я явился в ОВИР. Но некоторые люди уже успели занять очередь до меня. В девять утра начался прием, и секретарша сразу вызвала меня. Когда я вошел в приемную, она сидела за столом возле сотрудника, мрачного, лысеющего человека в очках без оправы на полном лице, пятидесяти с чем-то лет. Она посмотрела на меня со слегка заговорщическим видом. Я поприветствовал сотрудника и услышал в ответ ворчание. Он просмотрел мои документы, но письмо из посольства на английском языке прочитать не смог и отправился с ним в соседнюю комнату. Вернувшись, он ничего мне не сказал, но пробормотал несколько слов

секретарше. Она подошла ко мне со стопкой бланков и анкет. Мои документы остались у сотрудника. Девушка попросила меня заполнить бланки за одним из столиков в вестибюле. Если что-то будет непонятно, прибавила секретарша, она будет рада мне помочь.

К тому времени вестибюль был забит людьми всех национальностей: монголами, китайцами, японцами, литовцами, поляками; все они пытались получить выездную визу. За столиком рядом со мной сидел пожилой человек, лет, должно быть семидесяти с чем-то, почти совсем лысый, а кожа его была вся покрыта морщинами. С ним за столом сидела молодая женщина сорока с чем-то лет, которую я принял за его дочь. Однако я не обратил на них особого внимания, а продолжал заполнять анкеты.

Я закончил одну и отложил ее в сторону. Старик, нимало не смущаясь, наклонился и стал ее читать. Когда я посмотрел на него, он спросил меня, не поляк ли я. Я подтвердил. Тогда он сказал мне не без гордости, что умеет говорить по-польски, хотя сам литовец; потом он принялся рассказывать мне о своей жизни и о своих надеждах на возвращение в Литву. Он представил мне молодую женщину как свою вторую жену и стал рассказывать мне о своих детях, у которых теперь были свои семьи, особенно о младшем сыне, которым он гордился больше всего, потому что тот учился в медицинском институте в Красноярске. Мне все это уже начинало немного докучать.

В конце концов он сказал мне, что он католик, потом спросил, католик ли я. Я сказал, что так и есть. Он спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь священника. Я пытался понять, что у него на уме, но в конце концов сказал ему, что я сам священник. Услышав это, он очень оживился: «Нам как раз нужен священник! У нас здесь есть приход, отличный приход, но две недели назад наш настоятель, о. Янос, литовский священник латинского обряда, скоропостижно умер. Однажды утром люди пришли на мессу и нашли его мертвым на полу его комнаты рядом с сакристией». Старик был взволнован. Он пригласил меня к себе домой, познакомиться с прихожанами. Я сказал ему, что не могу ничего обещать, пока не буду знать ответ Москвы на мою просьбу о выездной визе. Он был удручен. Тогда он попросил меня зайти к нему в гости, если я решу остаться в Красноярске. Я пообещал, что зайду.

За всеми этими разговорами мне потребовалось более двух часов, чтобы заполнить анкеты. Когда я закончил, я отнес их назад к сотруднику, который сказал мне, что пройдет, по меньшей мере, три месяца, прежде

чем из Москвы придет ответ на мое заявление. Складывая бумаги и протягивая мне документы, он вдруг сказал: «Хочу сказать вам прямо: Америку вы не увидите! Да и здесь, в России, вам жизни тоже не будет, как и тем старикам-белогвардейцам, которые до сих пор еще живут здесь!»

Меня поразила его откровенная враждебность. Я забрал у него свои документы, сунул их в карман пальто и направился на почтамт. Там, просто для проформы, я написал отчет обо всех предпринятых мною шагах в американское посольство, извещая, что подал здесь, в Красноярске, документы на выездную визу, как они и просили.

Когда я вернулся в гостиницу, уже вечерело. Молодой закупщик был уже там и сказал мне, что закончил свои дела. На следующий день он уезжал в Москву, и потому пригласил меня на «прощальный ужин». За ужином он разглагольствовал о своих делах, а я рассказал ему о своих успехах – или, скорее, об отсутствии таковых – в ОВИРе. В конце концов я сказал ему, что, вероятно, тоже куплю билет до Москвы. Я думал об этом весь день и не видел никаких причин, почему бы мне не отправиться в московское посольство, пока паспорт, документы и удобный случай все еще при мне. Он поднял свой стакан и рассмеялся: «Правильно! Куй железо, пока горячо: пока твои документы еще при тебе!»

На следующее утро после завтрака, все еще полный решимости, я пошел в авиакассы и купил билет до Москвы. Это стоило 780 рублей ($78), и никаких проблем не возникло, но мне удалось купить билет только на рейс, вылетающий через два дня. Потом, поскольку делать мне было нечего и торопиться было особенно некуда, я пошел в небольшой садик за гостиницей и присел на скамеечку на теплом воздухе, просто вбирая в себя солнечный свет и наблюдая за игрой детей.

На следующий день я тоже просто отдыхал. Я немного походил по магазинам, но, как и в Норильске, хотя они казались переполненными, того, что мне было действительно нужно, в них не было, по крайней мере, нужного размера и качества. Поэтому после обеда я провел еще несколько часов в гостиничном садике, чувствуя такую леность и покой, каких не ощущал уже давно. Моя работа в Норильске истощила меня сильней, чем мне хотелось бы думать, особенно последние две недели, и я был рад возможности немного отдохнуть.

На следующее утро я пошел в авиакассы, проверить, все ли в порядке с моей бронью. Я подтвердил свою бронь. Однако когда я вернулся в

гостиницу, девушка в регистратуре сказала: «Немедленно пройдите в кабинет заведующего». Заведующий сказал мне незамедлительно явиться в милицию; они звонили все утро. Я заподозрил неладное, но торопиться не стал. В милиции же, как ни странно, никто, казалось, толком ничего не знал; меня гоняли из кабинета в кабинет, пока я наконец не оказался в кабинете начальника.

Он знал, в чем дело. Едва услышав мою фамилию, он сказал: «В Москву собрались, да?» - «Да, - сказал я. – У меня есть билет, и я подтвердил свою бронь сегодня утром». – «Ну так идите назад в кассы и сдайте билет. Потом возвращайтесь сюда и явитесь ко мне!»

Начальник был тверд, поэтому мне ничего не оставалось, как пойти назад в кассы и сдать билет. Они не хотели принимать его: рейс был уже спланирован и сдавать билет было слишком поздно. «Послушайте, - сказал я, - я делаю это не по своей воле. Это распоряжение МВД». Казалось, кассир был очень удивлен. Потом он сказал мне зайти в кабинет директора. Это была женщина лет сорока, солидная и суровая. Я объяснил ей, в чем дело, но она все равно не хотела отменять бронь. Наконец я предложил ей позвонить в управление МВД. Она так и сделала. Повесив трубку, она, ни слова не говоря, выписала распоряжение на отмену брони и возврат денег – за вычетом десяти процентов.

Когда я вновь явился в МВД, начальник решительно сказал мне, что я остаюсь в Красноярске. Мы не стали обсуждать это: он не был настроен на обсуждения. Он посоветовал мне побыстрее найти себе жилье и снова прийти к нему, чтобы прописаться. Он также посоветовал мне впредь «не нарываться на неприятности».

Выйдя из его кабинета, я все продолжал удивляться, как им могло так быстро стать известно о билете на самолет. Мне в душу даже закралось подозрение, что это молодой закупщик из Калинина рассказал им о моем решении поехать в Москву. Потом я вспомнил, что в каждом аэропорту и на каждой железнодорожной станции обязательно работает сотрудник МВД, задача которого состоит в ежедневной проверке всех забронированных и купленных билетов, и понял, что здесь едва ли можно уехать куда-либо без разрешения МВД.

Вернувшись в гостиницу, я написал открытку Пранасу, старому литовцу, которого встретил в ОВИРе. Он пришел ко мне в гостиницу на следующий день и, побеседовав со мной немного, пригласил меня пойти к нему и познакомиться с некоторыми другими прихожанами. Я поехал на ужин к нему домой в небольшой пригород на другом берегу

Енисея. Когда мы еще сидели за столом, один за другим начали приходить прихожане из старого прихода, преисполненные радости от того, что у них снова есть священник. Они сказали, что в городе есть еще один священник, украинец о. Онуфрий, который живет на той же улице. Они просили его взять на себя приход, но за ним следят, и он отказался рисковать, служа публичную мессу. Я сказал им, что буду счастлив взять на себя их приход и что буду служить следующим же утром прямо здесь, у Пранаса.

Многие из них пришли на следующее утро на мессу, а после завтрака я вместе с ними отправился посмотреть приход. Он располагался в Николаевке, через реку, поэтому мы сели на электричку до Красноярска, потом автобус отвез нас вверх на холм, в Николаевку. Сначала мы пошли в маленький домик на вершине холма, стоящий так близко от края дороги, что когда мимо проезжали автобусы, вся мебель в домике дребезжала. Здесь я познакомился с Розой, высокой, величавой доброй женщиной лет сорока с небольшим, одной из самых активных прихожанок. Через несколько мгновений ее дом был уже полон прихожан, столпившихся вокруг меня, чтобы сказать мне, что Бог ответил на их молитвы, послав им священника, и что работы очень много.

Сама церковь находилась кварталах в пяти от Розиного дома. Это было большое, одноэтажное, похожее на барак здание. Все внутреннее пространство занимала часовня, длинное, с высокими потолками, помещение, где могло разместиться более двухсот человек. Здесь был прекрасной работы алтарь, стояния крестного пути вдоль стен, исповедальня – в точности как в любой приходской церкви мира. За престолом была сакристия, а за сакристией – жилая комната для священника. Мне так понравилось это место, что я хотел поселиться там немедленно. Однако прихожане не хотели, чтобы я там жил. Они боялись, что со мной что-нибудь случится, как случилось с о. Яносом – хотя никто и не мог определенно сказать, что именно «случилось» с о. Яносом. В конце концов они меня все-таки отговорили. Тогда мы договорились о воскресной мессе, и я согласился поселиться у Розы.

На следующее утро мы с Пранасом перенесли мои вещи к Розе. Я не пробыл там еще и часа, когда прихожане начали приносить дары: яйца, домашнее варенье, сыр, масло, мясо. Они принесли столько еды, что этого хватило бы на месяц. В тот вечер Роза, ее мама и я принимали гостей до глубокой ночи. В воскресенье утром я был в церкви в семь часов. Месса была назначена только на девять, но церковь уже была

почти полна. Большинство людей желали исповедаться. В девять часов утра очередь перед моей исповедальней все продолжала расти. В десять часов я все еще исповедовал и наконец, примерно в половине одиннадцатого, совершил мессу.
Большинство людей здесь, в Николаевке, были литовцами, поэтому я служил мессу по латинскому обряду, но это была торжественная месса, и прихожане очень красиво пели. Очень и очень многие подходили к причастию, а затем я благословил их. После мессы даже в то, самое первое, воскресенье, я крестил восемь или десять человек и договорился еще о нескольких крещениях на неделе, а также о посещении больных и наставлении детей перед первым причастием. Я закончил все дела и вернулся к Розе только под вечер.
Так началась напряженная неделя священнического труда, и число моих «дополнительных обязанностей» росло с каждым днем моей работы в «приходе». Но в четверг во второй половине дня, когда Роза была на работе, а я вместе с ее матерью - дома, во дворе вдруг залаяла собака. Я вышел посмотреть, что случилось, - и увидел перед собой молодого милиционера. «Ну вот, опять», - подумал я. Прежде всего он попросил меня предъявить паспорт. Потом он спросил меня, не знаю ли я, что должен был получить прописку в МВД не позднее, чем через три дня после прибытия. Согласно их записям, в этом доме я не прописан. В сущности, он был добрый малый, этот милиционер, и просто сказал мне поскорее прописаться, а не то мне «покоя не дадут».
На следующий день Роза направилась к паспортистке, чтобы прописать меня как жильца в своем доме. Им ее слов было недостаточно; они сказали, что я должен прописаться сам. Розу это рассердило, как и меня, когда она рассказала об этом мне. «Где это находится?» - спросил я. Роза дала мне свою «домовую книгу», и я пошел к паспортистке. Я заполнил все необходимые бумаги и отнес их двум девушкам у стойки.
Я отдал свой паспорт, бумаги и Розину «домовую книгу» той, что помоложе. Когда она открыла мой паспорт и увидела, что я из Соединенных Штатов, она просто не знала чем бы мне услужить. Вторая девушка то и дело поглядывала на меня с подозрением, поднимая глаза от своей работы, но ничего не говорила. Младшая девушка поставила штамп в Розиной «домовой книге», написала мое имя, проштамповала все бумаги и регистрационные анкеты и все это время не переставала что-то говорить и расспрашивать меня об Америке. Я заплатил трехрублевый взнос за прописку и поблагодарил ее. «Ах, нет, - сказала он, - это вам спасибо!»

Теперь, когда у меня была прописка, я почувствовал себя увереннее и посвящал больше времени, чем когда-либо, открытой работе в своем «приходе». Я даже повесил в церкви расписание богослужений, а также список намеченных венчаний и крещений. Я не потрудился найти работу, потому что верующие сами взяли на себя заботу о моих нуждах, а дел у меня и без того было слишком много. Это был процветающий приход при Яносе, и сейчас жизнь его снова была в полном разгаре. Однако не прошло и месяца, как стали ходить слухи, что эта церковь никогда не была признана властями. Официально ничего не утверждалось, но молва распространялась.

В одно воскресенье, в тот момент, когда я вернулся к алтарю после проповеди, я почувствовал какое-то волнение в собрании верующих, но не обратил на это особого внимания. В тишине, когда я склонился, чтобы совершить пресуществление, я услышал, что кто-то пытается открыть снаружи входную дверь. Я вновь не придал этому значения. Но когда месса закончилась, хозяйка ждала более двадцати минут, прежде чем открыть дверь; верующие сидели притихшие и немного напуганные. Наконец хозяйка открыла двери и сказала, что во время мессы здесь были милиционеры и требовали их впустить. Она сказала им, что двери заперты, а ключ есть только у священника. Они дергали двери, ходили вокруг здания, потом наконец ушли.

Прихожане были решительно настроены сохранить приход. Поэтому они устроили в церкви собрание и составили и подписали петицию в горсовет, в которой просили об открытии прихода для них и для других католиков латинского обряда в Красноярске и в пригородах. Я был настроен скептически; более того, я сомневался в благоразумии подобного шага. Однако прихожане были уверены, что получат благоприятный ответ, потому что в прошлый раз им было отказано в подобной просьбе сразу после смерти о. Яноса только на том основании, что у них нет священника. Когда петиция была готова, делегация прихожан отнесла ее в горсовет. Проявив недюжинное упорство, они наконец добились встречи с самим главой горсовета. Однако он не дал им прямого ответа и не подписал необходимый документ; он утверждал, что этими вопросами занимается Москва, и им надо либо послать туда документы, либо лично отвезти их в столицу.

Но и это их не остановило. Они устроили в церкви еще одно собрание и решили послать в Москву делегацию с этой петицией и еще с одной: чтобы бывший католический храм, в котором находилась теперь государственная радиостанция, вернули верующим. Эта, вторая,

петиция была адресована самому Хрущеву и к ней был приложен дополнительный список подписавшихся, чьи подписи были собраны уже после того, как первая петиция ушла в горсовет.

Ехать в Москву было поручено Розе, как одной из наиболее активных прихожанок, а также регенту хора. К сожалению, жена этого человека в последний момент заболела, и Розе пришлось ехать в Москву одной. Тем не менее, прихожане были полны надежд на благоприятный ответ, по меньшей мере, на одну из петиций. В Москве Роза три дня провела в Кремле, стараясь добиться личной встречи с Хрущевым, но безрезультатно. Наконец ее принял глава Совета по делам религий, который выслушал ее, взял у нее бумаги и документы и велел ей явиться за ответом на следующее утро. Ответ состоял в том, что подобные дела рассматриваются и решаются на местном уровне, в данном случае, в Красноярске. Роза возразила, что Красноярск сослался на Москву; но глава Совета настаивал, что это дело местного значения.

Когда Роза возвратилась с этой новостью, это тоже не лишило прихожан мужества. Напротив, в них лишь окрепло убеждение, что теперь-то горсовет должен будет утвердить их петицию. Они даже продолжали работать над начатым переустройством часовни - например, поместили в ней купель и еще одну исповедальню, - дабы она могла функционировать, как настоящая церковь.

Ко второму месяцу моего пребывания в Красноярске у меня уже были процветающие «миссионерские» приходы на правом берегу, а также в пригородах и предместьях города. В одном немецком поселении за станцией Енисей на мессу собирался целый барак прихожан. На богослужениях присутствовало более чем по восемьсот человек, а перед мессой и после нее были крещения и венчания, длившиеся иногда часами. Я также служил и в другой немецкой общине, в колхозе, который находился несколько дальше от города, а поскольку за мной по-прежнему оставался мой приход и «миссии» на Правом берегу, в пригородах мне приходилось служить по субботам.

Теперь прихожане пребывали уже в некотором нетерпении по поводу своих дел с горсоветом. Комитет вращался по своего рода бюрократической карусели: их гоняли по кабинетам, направляли к каким-то чиновникам, которые, в свою очередь, отсылали их обратно в горсовет. Но время шло, а никакого окончательного решения так и не было принято, поэтому однажды в июле после воскресной мессы они устроили в часовне очередное совещание. На открытие большого старого храма на проспекте Сталина они уже не надеялись: государство

никогда не перенесет радиостанцию, это было ясно. Но они решили составить новую петицию, обратив в ней особое внимание на то обстоятельство, что теперь у них есть священник, что устранит ту единственную причину, которая послужила основанием для отклонения петиции в прошлый раз. Итак, они снова просили об официальном «признании».

В тот вечер дома мы с Розой допоздна сидели и все это обсуждали. Вдруг собака истошно залаяла, так натягивая цепь, что мы, даже сидя в доме, почувствовали это. Я подошел к окну. Было около часу ночи, а за окном был припаркован автомобиль. Наконец кто-то постучал в боковое окно: они не могли подойти к двери, потому что во дворе была собака. Роза вышла и приструнила собаку; к дому подошли трое сотрудников органов.

Они вошли в дом, словно к себе домой, и молча осмотрелись. Двое из них, как мне показалось, были немного под хмельком. В конце концов они вошли в мою комнату. Наконец один из них спросил: «Кто здесь хозяин?» Это был высокий человек лет сорока, хорошо сложенный, но с грубым, мясистым, смуглым лицом и темными волосами. «Я», - ответила Роза. При этом он ни на миг не сводил глаз с меня.

«А вы кто такой будете?» - рявкнул он на меня. «Жилец, - ответил я. – У меня официальная прописка в Красноярске, и вообще я здесь по распоряжению МВД». – «Ну, ну, - усмехнулся он, - не будь здесь этой женщины, я бы сказал вам пару ласковых! Завтра в три часа чтоб были у меня в кабинете, слышали?» - «В каком еще кабинете?» - сказал я. «В паспортном столе, - сказал он. – Я там начальник». – «Это еще зачем? – сказал я. – У меня есть официальная прописка». Он свирепо посмотрел на меня. «Да, - сказал он, - но девушка, которая вас прописала, влезла не в свое дело, и больше она, между прочим, там не работает!»

С этими словами он круто развернулся и вышел. Другие двое, которые за все время не проронили ни слова, вышли вслед за ним. Роза была страшно обеспокоена и все говорила и говорила об этом. Она была убеждена, что приходу наступил конец, как раз когда все шло так великолепно, и это повергло ее в уныние. Я говорил мало: я прошел все это уже столько раз, что в общем-то не видел, о чем тут особенно говорить.

На следующий день в три часа пополудни я явился в паспортный стол. Начальник сидел за столом и, как только я вошел, вновь начал свирепо смотреть на меня. Он не потрудился со мной поздороваться, просто сказал очень резко: «Дайте сюда ваш паспорт!» Я дал. Он открыл его,

вычеркнул мою прописку, поставил на ней жирный штамп «С регистрационного учета снят» и швырнул мне паспорт через стол. При этом он холодно сказал: «Сорок восемь часов! Убирайтесь из города, или мы уберем вас отсюда сами!»
«Что это такое? – сказал я. – Я здесь прописан!» - «Та девушка не имела права прописывать вас, - орал он, - и она получила по заслугам». – «Да за кого вы меня принимаете?» – кричал я в ответ. – «Мне прекрасно известно, кто вы такой, - сказал он, - и я сказал вам яснее некуда, чтобы вы убрались из города за сорок восемь часов. И не забудьте зайти в милицию!» Я схватил паспорт со стола, слишком злой, чтобы отвечать, и вышел, хлопнув дверью.
Между тем у Розы уже собралось много людей из прихода, и я рассказал им о произошедшем. Они решили немедленно идти в горсовет и заявлять протест. Я сказал им, что это бесполезно; утром мне надо идти в управление МВД. Они все равно не успокоились и на следующий день рано утром несколько верующих обратились в горсовет. Это не помогло. Там им сказали, что это дело МВД, горсовет вмешиваться не будет.
Когда я явился в управление МВД, я уже снова был в ярости. Я сказал им, что они не имеют права поступать подобным образом, что меня именно сюда направили из Норильска, и у меня была законная прописка. «К тому же, - сказал я, - я хотел ехать в Москву, а вы мне помешали. А теперь вы настаиваете, чтобы я покинул город. Вы отказываетесь называть мне причину! Когда же все это кончится?» Сотрудник МВД не потрудился меня прервать; когда я закончил, он совершенно никак не отреагировал на мои слова. «Владимир Мартынович, - сказал он, - вас предупреждали не раз, и это последнее предупреждение. Вы можете ехать или в Абакан, или в Енисейск. Это все. И вы уедете сегодня же!»
Я сказал ему, что уехать сегодня же невозможно физически. Я не мог достать билет так быстро, и ему это было прекрасно известно. Он сверкнул на меня глазами, потом заорал: «Ладно, но не позже, чем завтра! Абакан или Енисейск?» Я никогда не слышал ни об одном, ни о другом городе, поэтому я спросил его, где они находятся. Когда я узнал, что Енисейск на севере, а Абакан на юге, то выбрал Абакан. «Прекрасно, - сказал он, - теперь позвольте мне объяснить вам одну вещь: в Абакане вы не будете заниматься тем, чем занимались здесь и в Норильске, иначе кончите там, где начинали. Я ясно выражаюсь?» Выражался он немного загадочно, но мне все было ясно. Я только

попросил его выдать мне справку, уполномочивающую меня остаться здесь еще на одну ночь, чтобы меня не забрали в милицию, когда истекут мои первоначальные сорок восемь часов. Дать мне справку он отказался, но обещал позаботиться, чтобы меня не трогали.

Вернувшись к Розе, я обнаружил в доме толпу прихожан. Я сказал им, что выбора у меня нет, придется ехать в Абакан. Но я обещал приехать в гости, если получится, и попросил их держать меня в курсе относительно часовни, особенно если они когда-нибудь получат ответ из горсовета или из Москвы. Многие из них пришли в уныние, некоторые были в гневе оттого, что теперь горсовет воспользуется моим отъездом как предлогом для отклонения их петиции – на том основании, что у них нет священника.

Вечером они помогли мне собрать вещи, а на следующий день многие из них, открыто и ничего не стесняясь, пришли провожать меня на вокзал. Стоял жаркий июльский день, когда мы ждали вечернего поезда до Абакана. Когда я вошел в вагон, они вручили мне подарки; у многих женщин на глазах были слезы. Когда поезд тронулся, я долго сидел молча, глядя в окно; мне было очень одиноко. Я принялся размышлять о месяцах, проведенных в Красноярске: о том, как много я успел сделать за такое короткое время, как жаждали люди моей помощи, как, казалось бы, все шло хорошо, и вот теперь… Теперь норильская история повторяется. Я сидел, прислушиваясь к ритмичному стуку колес, и, по мере того как на улице смеркалось, мне становилось все грустнее и грустнее. Я уснул, молясь за людей в Красноярске.

Абакан: новое начало

Я мог бы долететь от Красноярска до Абакана за пятьдесят пять минут, если бы купил билет на самолет. Путешествие на поезде длилось почти двадцать четыре часа. Поезд идет сначала в Ачинск, там ждет, пока не придет транссибирский экспресс, и с него не пересядут пассажиры, а потом бесконечно вьется вдоль Енисея, карабкаясь вверх и вниз по холмам, минуя тоннель за тоннелем, останавливаясь в каждом городишке, чтобы разгрузить и погрузить товары и доставить почту. В Абакан мы добрались лишь в шесть часов вечера следующего дня.

Выйдя на перрон, я стал осматриваться, пытаясь решить, куда же мне идти. Совершенно чужой человек в этом городе, я смотрел на толпы людей, расходящихся в разных направлениях, и чувствовал себя

совершенно потерянным. На противоположной стороне улицы я заметил такси и поспешил туда. Однако водитель уже получил вызов, но сказал, что, когда отвезет того пассажира, вернется и заберет меня. Правда, он предупредил меня, что это может занять час.

Я сидел в зале ожидания, наблюдая за толпой. Люди здесь, по крайней мере, основная их масса, были хакасами, людьми монгольского типа, потомками коренных жителей Абакана, с узкими глазами и прямыми, гагатово-черными волосами. Женщины, особенно те, что постарше, ходят здесь в национальных одеждах: они носят длинные юбки до пят, вышитые блузки разных цветов с длинным рукавом, с бисером и орнаментом вокруг выреза, в уши вдевают большие серьги, а волосы заплетают в косу и укладывают кольцом на голове. Молодые же были одеты в основном в русскую или западную одежду, но и они разговаривали на своем родном языке.

Это сдержанный и застенчивый народ, народ пастухов, который некогда пас огромные стада скота на холмистых и гористых пастбищах Хакасии, когда-то независимой территории в Красноярском крае. Теперь пастбища исчезли: большинство из них было вспахано во время кампании по освоению целины, которая превратила эту землю в «пыльную чашу». Привокзальная площадь не заасфальтирована, и, когда грузовики, машины и такси колесили по ней после прибытия очередного поезда, в воздухе висело облако пыли. Стояла вторая неделя июля, и было чрезвычайно жарко, поэтому все были одеты очень легко.

В начале восьмого такси вернулось. После такого долгого ожидания оказалось, что до гостиницы ехать всего пять минут. Гостиница представляла собой четырехэтажное здание на углу Октябрьской, главной улицы города, и улицы Розы Люксембург. Девушка в вестибюле сказала мне, что мест нет: вся гостиница забронирована для гостей, которые приезжают на празднование двести пятидесятой годовщины присоединения Хакасии к России. Я сказал ей, что я приезжий из Красноярска и что у меня нет в городе ни одной знакомой души, и спросил ее, не может ли она мне чем-нибудь помочь. Она назвала улицу, идущую параллельно Октябрьской – она называлась улица Чертегасова, – где многие семьи охотно берут постояльцев, по крайней мере, на одну ночь.

Было уже почти восемь часов вечера, а улица Чертегасова, которая находилась всего в одном квартале от главной городской артерии, оказалась незаасфальтированной, жаркой и пыльной. Я чувствовал себя пыльным и грязным, растерянным и подавленным. Я оказался у здания

народного суда и решил попросить о помощи там. В здании было пустынно, но в холле мне повстречалась уборщица, и я спросил ее, нельзя ли мне здесь переночевать. «Не положено», – сказала она. «Да я на скамеечке или на полу, – просил я, – где угодно, лишь бы не болтаться до утра по улицам». Она сказала мне, что просто не может мне этого позволить, но один судья допоздна работает в кабинете, и она спросит у него.

Судья вышел, и я объяснил ему свое положение. Он сказал мне, что не знает никакого места, где можно было бы снять комнату, и предложил мне пойти лучше в управление МВД на улице Щетинкина. Я оставил вещи в суде, нашел улицу Щетинкина и сумел даже отыскать на ней управление МВД. Я сказал вахтеру, что пришел к начальнику. Он посмотрел на меня подозрительно, потом спросил, кто я такой. Я сказал ему, что направлен красноярским МВД на жительство в Абакан и надеюсь, что абаканское управление МВД подыщет мне здесь комнату. Тут он вдруг рассмеялся. «Бесполезно, – сказал он. – У нас у самих часто квартир нет. Приходится снимать комнаты у частников».

Однако чтобы помочь мне, молодой милиционер дал мне адреса некоторых пожилых женщин, которые жили одни и, быть может, согласились бы взять меня к себе. Но если пойти к ним сейчас, это будет довольно странно, добавил он; возможно, будет лучше, если я подожду до утра. Я поблагодарил его за помощь и побрел назад в суд. Теперь я шел очень медленно, чувствуя себя усталым, пыльным и очень-очень одиноким. Время от времени мне вдруг приходило в голову остановиться возле какого-нибудь дома и спросить, не могу ли я снять там комнату. Но свободной комнаты ни у кого не было. К одиннадцати вечера я вернулся в суд. Уборщица с нетерпением ждала, пока я вернусь и заберу свой багаж, чтобы запереть двери на ночь.

Я прошел полквартала по Чертегасова, потом решил оставить все усилия. Я просто примирился с мыслью, что придется спать на улице и надеяться, что собаки, воры и милиция меня не тронут. Я сложил свои сумки в кучу на тротуаре возле какого-то деревянного забора и постарался свернуться поудобнее. Я был изнурен, но спать не мог; я молился единственному Другу, который был у меня в Абакане.

Около полуночи я услышал, что во дворе за забором кто-то разговаривает. «Почему бы не спросить, – подумал я. – Хуже ведь от этого не будет». Я встал, отряхнулся и побрел вдоль забора, пока не дошел до ворот. Вспомнив Розину собаку, я не без опасения в них вошел и оказался в маленьком дворике с огородом. Некоторое время я

постоял в темноте, стараясь понять, откуда доносятся голоса, и за углом дома увидел свет. Между домами был колодец, и двое мужчин качали воду электрическим насосом.

«Можно войти?» – спросил я. Мужчины подняли глаза, и один из них, одетый в пижаму, подозвал меня. Я объяснил ему, что приехал в город только сегодня, пересказал ему свой поход в гостиницу, в суд, в управление милиции, свои бесплодные скитания по улицам в поисках ночлега в каком-нибудь частном доме. В конце концов я спросил, не найдется ли у них свободной койки на одну ночь. «Конечно, – сказал он. – Уж на одну-то ночь место всегда найдется».

Я просто ушам своим не поверил. Я вернулся на улицу за багажом, а потом отправился в дом вслед за хозяином. Это был типичный четырехкомнатный дом на одну семью с двумя комнатами - гостиной и спальней - в передней части дома и двумя комнатками поменьше – кухней с одной стороны и спальней с другой – в задней. Мужчина, который назвался Степаном, отвел меня в комнатку напротив кухни и знаком попросил не шуметь. В комнатке по обе стороны от единственного окна стояло по кровати, и на одной из них спал маленький мальчик.

Когда Степан шепотом сказал мне, чтобы я сложил свой багаж в углу, мальчуган проснулся. Испугавшись, он в слезах кинулся к отцу; из другой комнаты пришла его мать. Степан объяснил ей, в чем дело, и представил меня. Я сразу понял, что ей все это не нравится, но она ничего не сказала.

Наутро я пошел по адресам, которые дал мне вахтер в управлении МВД, но неудачно. Когда я вернулся, Степан ждал меня, и мы с ним тихонько поговорили. Он сказал мне, что его жену беспокоит мое присутствие, особенно потому что, как я сказал, в Абакан меня направило МВД. Она не хочет, чтобы я оставался в доме, сказал Степан, но он настоял на том, чтобы я остался, пока не найду себе жилье.

На следующее утро удача мне снова не улыбнулась. Но в полдень Степан принес домой листок, который висел на доске объявлений на привокзальном рынке. В нем говорилось, что на Тараса Шевченко 44 сдается комната, обращаться к Светлову. Я не стал обедать, но сразу же поспешил по указанному адресу, надеясь, что комната еще не сдана кому-нибудь другому.

Я не мог найти этот дом, и мне пришлось спрашивать дорогу на рынке. Был уже четвертый час, когда я нашел дом номер 44, первый слева за железнодорожным разъездом на улице Шевченко. Я долго стучался в

ворота, которые были заперты изнутри. Никто не отвечал. Я не хотел уходить, боясь упустить комнату, поэтому продолжал ждать у ворот. Должно быть, минут через двадцать я услышал, как кто-то несмело приближается к воротам. Женский голос спросил: «Кто там?» Я спросил Светлова, и женщина ответила: «Его нет дома». – «Не могли бы вы открыть ворота?» - попросил я. «Зачем?» - был ответ. «Я по объявлению, - сказал я, - ищу комнату».

Женщина помолчала, потом все-таки открыла ворота. Это была очень приятная пожилая женщина, лет семидесяти двух, с седыми волосами и морщинистым лицом. Она сказала мне, что хозяин ушел и вернется нескоро. Но пригласила меня посидеть у нее на кухне. В пять часов мы все еще ждали и беседовали. Казалось, ее вопросам не будет конца.

В начале шестого старуха выскочила из-за стола и посмотрела в окно. «Идут», - сказала она. В окно я увидел крупного, высокого мужчину лет пятидесяти с полным лицом и седыми волосами, который шел через двор с двумя женщинами. Мы со старушкой поспешили им навстречу. Она сказала им, что я пришел снять комнату, а я вынул записку, висевшую на рынке на доске объявлений. Мужчину звали Осип. Его жену, старшую из двух женщин, темноволосую, полнолицую, с правильными чертами лица, звали Валей. Та, что помоложе, была ее сестра, Мария. Они пригласили меня в дом и попросили рассказать что-нибудь о себе.

Я рассказал им всю свою историю, хоть и довольно отрывочно. Когда я закончил, они казались настороженными, но согласились показать мне дом. Здесь тоже было четыре комнаты: маленькая спаленка возле кухни в задней части дома, большая гостиная, служившая также столовой, и спальня в передней части дома. Пол был из широких досок, а стены замазаны глиной, песком и связующей смесью, а сверху просто побелены. Печь на кухне была выложена из кирпича таким образом, что углы ее вдавались в каждую из комнат, отапливая их.

Мы проговорили почти час. Дом мне вполне понравился, но они, казалось, не торопились давать мне окончательный ответ. Осип был инвалидом и жил на одну пенсию, да и сама Валя была больна – они как раз вернулись из поликлиники, - поэтому они решили, что им не помешали бы деньги, которые платил бы им жилец. Наконец они спросили, смогу ли я платить 100 рублей ($10) в месяц за проживание и еще 50 рублей за питание, стирку и все прочее. Это было довольно дорого, но я согласился. На следующее утро я въехал в комнатку возле кухни. Комнатка была такая маленькая, что когда я сидел на кровати,

колени мои упирались в кухонную печь. Но теперь, по крайней мере, у меня была в Абакане своя комната.
Осип был охотник поговорить. Он рос деревенским мальчишкой и в школе отучился всего три класса, но был убежденным коммунистом и до болезни работал секретарем горсовета. Он и его жена Валя были очень добры ко мне, но поначалу относились ко мне несколько настороженно. И только где-то через месяц, когда мы уже подружились, они сказали мне, что сначала подозревали, что я вор и в Абакане скрываюсь. Мы посмеялись над этой мыслью, но Осип сказал, что отрывочность моей истории и моя готовность платить любую цену, словно деньги не имеют значения, напугали их не на шутку.
К тому времени они уже знали, что я американец, и я рассказал им также о годах, проведенных мною в заключении, но они не знали, что я священник. Впрочем, зная, кто такой Осип, я счел, что упоминать об этом было бы не очень благоразумно. Я служил мессу ежедневно, когда все уже спали, а иногда подолгу не ложился, читая духовную литературу и совершая другие духовные упражнения.
Приехав в Абакан, я решил устроить себе годовой отпуск. Я проработал в лагерях почти десять лет, да и после освобождения работал почти непрерывно. Кроме того, и в Норильске, и в Красноярске я по много часов в день посвящал священническому служению, работая иногда круглые сутки, не смыкая глаз иногда по семьдесят два часа кряду. Теперь, когда государство запретило мне заниматься священническим трудом, я решил хорошенько отдохнуть. Я откладывал большую часть зарплаты, которую получал на БОФ, поэтому рассудил, что могу себе это позволить.
В хорошую погоду я проводил большую часть времени в садике за домом, загорая и делая упражнения. Особенно меня беспокоили мои колени, которые были обморожены в лагерях и по-прежнему иногда мне докучали. Я много читал, и два-три раза в неделю Осип и Валя гуляли со мной по городу. Вскоре я уже знал Абакан довольно хорошо.
Сам городок невелик (когда я там был, его население составляло примерно 56000 человек), но продолжает расти. Поскольку это конечная станция железнодорожной ветки из Ачинска и столица Хакасской автономной области, расположенной на территории Красноярского края, значение города превосходит его размеры. С завершением строительства современного моста через Енисей в 1962 году и железнодорожной линии Абакан-Тайшет, Абакан стал приобретать все большую важность как железнодорожный центр региона. До появления

моста, однако, все движение через реку осуществлялось посредством понтонного моста, и железная дорога заканчивалась в Абакане.

Поскольку Абакан является областным центром, все административные учреждения области находятся именно здесь, как и главные образовательные и медицинские заведения. Местное педагогическое училище расположено на улице Пушкина, на пересечении с улицей Щетинкина, не далее, чем в квартале от управления МВД, куда я пошел в свой первый вечер в этом городе. Большая больница также находится на улице Пушкина на пересечении с улицей Карла Маркса, а хирургическая больница и туберкулезный диспансер располагаются всего в нескольких кварталах, на улице Тараса Шевченко, недалеко от Чертегасова.

Склады, снабжающие весь регион, также находятся в Абакане, поэтому город довольно оживленный. На улицах полно ЗИСов, развозящих продукты и промышленные товары по окрестным селам. Поскольку местность очень холмистая, грузовики – единственное удобное транспортное средства для поставки товаров в другие города региона. Поэтому есть здесь и большая государственная автотранспортная контора, АТК-50, обслуживающая такси, грузовики и автобусы, которые служат средством транспортного сообщения в самом городе и с отдаленными районами.

К счастью, появление нового моста через реку изменило к лучшему и дорожное движение. В былые дни можно было полдня прождать у понтонного моста, чтобы пересечь Енисей. А живя в Абакане, пересекать реку рано или поздно неизбежно приходится. Абакан расположен в крутой излучине реки Енисей и, можно сказать, окружен ею с трех сторон, наподобие Нового Орлеана. Город напоминает Новый Орлеан также и тем, что лежит ниже уровня воды в реке в период половодья и защищен от наводнений дамбами 15-20 футов высотой, тянущимися вдоль всей излучины.

На досуге в ту зиму я познакомился не только с городом, но и со многими его жителями. Большую часть времени я проводил дома, а дом Осипа всегда был полон гостей. Благодаря своему былому положению он был знаком в Абакане чуть ли не с каждым – и двери его дома всегда были открыты для всех. Поскольку большинство гостей в конце концов оказывались в моей маленькой комнатке, где беседовали со мной, пока Осип в гостиной произносил свои длинные речи, у меня появилось много друзей.

В некотором смысле этот непрерывный поток гостей сослужил мне добрую службу. Хотя в МВД меня предупреждали, чтобы я не занимался никакой священнической работой и вообще не говорил никому, что я священник, уже к концу моего первого месяца в Абакане некоторые люди стали тайно приходить ко мне. У Осипа их посещения оставались практически незамеченными. Люди не только знали, что в любое время могут прийти в этот дом, но и оставались иногда до утра, а то и на целую неделю. Казалось, Осип никогда не возражал и всегда принимал их радушно. Люди спали прямо на полу гостиной в одеялах или медвежьих шкурах и оставались в доме столько, сколько хотели.

Но к весне 1959 года милиция начала интересоваться, почему это у меня нет работы. Возможно, до этого они не решались что-либо предпринимать, потому что их останавливала репутация Осипа, но теперь они начали донимать меня. Я же впервые за долгие годы чувствовал себя хорошо отдохнувшим и здоровым, а потому решил, что пришло время поискать работу.

Но в один из первых теплых весенних дней я получил письмо с просьбой приехать на несколько дней в Красноярск. Это могла быть последняя возможность поехать туда, прежде чем я стану связан работой, поэтому я сказал Осипу, что, наверное, съезжу туда на несколько дней. Ничего не было сделано, чтобы помешать мне уехать, но не успел я сойти с поезда в Красноярске, как меня начала преследовать милиция.

Я ночевал у Розы, где меня встретила толпа моих бывших прихожан. Мы разговаривали до глубокой ночи. На следующее утро я совершил мессу, крестил детей, начал исповедовать и продолжал в том же духе в течение последующих трех дней. Эти довольно суматошные, но счастливые дни духовного труда я завершил миссионерской поездкой на Правый берег, где собирался переночевать у Пранаса.

Я пришел к нему ранним вечером. Стояли теплые вечерние сумерки, поэтому я сказал ему, что, пожалуй, схожу навещу о. Онуфрия, украинского священника, жившего в нескольких кварталах от Пранаса. Но когда я пришел в его дом и спросил о. Онуфрия, его соседи посмотрели на меня как-то странно. Я принялся колотить в двери. Ответа не было. Я постучал еще несколько раз и только тогда услышал, как кто-то очень тихо приближается к дверь. Потом дверь тихо и медленно приотворилась, ровно настолько, чтобы из-за нее можно было выглянуть.

«Кто вам нужен?» - сказал голос из-за двери. «Здесь живет о. Онуфрий?» - спросил я. Дверь закрылась, оставив меня без ответа. Вдруг она отворилась снова, и голос произнес: «Да, войдите». Я вошел, дверь за моей спиной быстро заперли, и я оказался лицом к лицу с двумя молодыми гебистами.

Один из них попросил меня предъявить паспорт. Я сказал ему, что оставил его в своей комнате примерно в четырех кварталах отсюда, но с удовольствием за ним схожу. Я сделал шаг, чтобы уйти, но меня резко схватили. Гебисты велели мне сесть за стол в противоположной части комнаты, подальше от двери. Возле двери сидели еще два человека, которых я поначалу не заметил. Это были просто обитатели того же многоквартирного дома, которых принудительно привели на обыск в качестве понятых.

Сотрудники органов шарили везде, тщательно обследовали каждую вещь, потом аккуратно клали ее на место. Во время обыска, который продолжался почти до часу ночи, случилось одно любопытное происшествие: на книжных полках гебисты нашли миссал и молитвенник, и один из сотрудников побоялся даже притронуться к ним.

Закончив обыск, они составили опись всех находившихся в комнате вещей и попросили нас подписать ее. Я отказался сделать это, если они не добавят к документу пункт, где будет указано, что я не был «понятым», но просто случайно оказался в комнате во время обыска. Когда они согласились на это, я понял, что сам я их не интересую, и немного успокоился. Потом они отпустили двух пожилых жильцов дома, присутствовавших на обыске в качестве официальных понятых, но мне велели пройти с ними.

Когда мы шли через темный двор дома, я вспомнил, что у меня в кармане лежит записка от друга Онуфрия. Я сунул руку в карман, скатал записку в шарик и одним быстрым движением швырнул ее в темноту. Однако гебисты заметили мое движение; они тут же приказали мне остановиться. Они осмотрели мои руки и мой карман, потом спросили меня, что я такое сделал. «Уже поздно, - сказал я, - и я проверял, на месте ли ключи». Они ничего не сказали, но начали исследовать землю у нас под ногами, светя на нее своими фонариками. К счастью, бумажку они не нашли.

Мы пошли к станции Енисей, потом один из них пошел звонить, другой же в это время оставался со мной на перроне. Тому, который звонил, казалось, не везло; когда пришел поезд до Красноярска, он все еще

звонил. Они торопились на поезд, поэтому, велев мне явиться на следующее утро в одиннадцать часов в красноярское МВД, оставили меня стоять на перроне.
Когда поезд ушел, я отправился назад, к Пранасу. Было уже почти три часа ночи, но он все еще не спал, дожидаясь меня. Он понял, что со мной что-то стряслось, и был поэтому обеспокоен. Я все ему рассказал, и ни одному из нас не довелось в ту ночь выспаться. На следующее утро после мессы я нарочно остался у Пранаса и уехал на одиннадцатичасовом поезде, поэтому в управление МВД явился около половины двенадцатого. Я спросил у девушки у коммутатора, где мне найти тех двух молодцов, с которыми у меня была назначена «встреча». Она сказала, что около пятнадцати минут двенадцатого их вызвали, но они оставили номер, по которому я должен позвонить. Я звонил, но дозвониться не смог. Я решил уладить дело раз и навсегда и сказал девушке, что хотел бы видеть начальника. Я рассказал ему о случившемся накануне и спросил, докладывали ли ему обо мне. Я добавил, что должен сегодня возвращаться поездом в Абакан. «Поезжайте, - сказал он, выслушав меня, - а если возникнут какие-то проблемы, я знаю, что вы приходили и искали. Это не ваша вина». Я был счастлив, когда в тот вечер без дальнейших происшествий сел на поезд до Абакана.
Вернувшись в Абакан, я ничего не сказал Осипу о своих приключениях. Зато я сказал ему, что мне, кажется, пришло время поискать работу, поэтому он связался со своим другом Павлом, который работал главным диспетчером в АТК-50, городской автотранспортной конторе на Щетинкина, по дороге в аэропорт. Примерно через неделю, Павел пришел сказать мне, что договорился со своим начальником, и на следующее утро тот проведет со мной собеседование. На следующее утро я пришел туда загодя и стал ждать Павла. Тот отвел меня к своему начальнику, человеку по фамилии Круглов, высокому, хорошо сложенному, вежливому и довольно красивому мужчине. Казалось, он был чрезвычайно рад нашему знакомству и, просмотрев мой паспорт, предложил мне временно поработать механиком по ремонту кабин, пока не появится другая вакансия.
Однако когда я согласился на эту работу, мне пришлось еще пойти к бригадиру команды техобслуживания, чтобы узнать, нужен ли ему работник. Бригадир был среднего роста, полным, краснолицым человеком по имени Петрушин, лет, должно быть, пятидесяти, с уже лысеющей головой и низким голосом. Он ходил вразвалочку и очень

любил поговорить. Павел обо всем ему рассказал, в том числе и о решении Круглова. Он согласился меня попробовать, поэтому я написал заявление о приеме на работу, он его подписал, начальник все это утвердил, и наконец мне было велено явиться на работу на следующий день.

Это было 13 июня 1959 года. Седов, главный механик, коренастый мужчина лет пятидесяти с бледным лицом и маленьким римским носом, поручил мне помогать водителю автомобиля №69, маленькой четырехцилиндровой «Победы», которая была далеко не нова. Водитель спросил меня, хорошо ли я знаю свою работу. Я честно сказал ему, что всего лишь новичок. «Что ж, - сказал он, - прежде всего ты должен научиться брать только те инструменты, которые тебе нужны, а остальные держать под замком. Никогда не оставляй инструменты в машине или под машиной. Если оставишь, наверняка хватишься. Они здесь испаряются, как дым!»

Машина стояла над смотровой ямой. Он сказал мне, что нужно снять крылья и радиатор, чтобы добраться до мотора. Он принялся возиться с коробкой передач и электропроводкой под капотом, потом заметил, как я борюсь с болтами, которыми мотор крепился к раме. «Эй, - сказал он, - зачем так время терять?» Он подошел и сшиб болты долотом! Потом мы прикрепили к мотору скобу в форме буквы U, сунули в скобу длинную палку и свистнули двух других механиков, чтобы он помогли нам вытащить мотор из машины.

На АТК-50 все делалось таким образом, вручную. Если требовалось что-нибудь сварить или починить на дне машины, шестеро механиков просто переворачивали ее на бок («Кому они нужны, эти крылья?») и подпирали ее балкой, в то время как сварщик нырял под автомобиль, чтобы грубо – но быстро – сделать свое дело. В то время оплата труда была сдельной, поэтому ни у кого не было времени на тонкости; главное было работать как можно быстрее.

За первый месяц при подобной системе я получил всего 150 рублей ($15). Другие зарабатывали по 1200, а то и по 5000 рублей. Петрушин глазам своим не поверил, увидев мою зарплату. «Владимир Мартынович, - сказал он мне, - в чем дело?» - «Не знаю, - ответил я, - я даже работал пару дней сверхурочно, чтобы закончить дело». За второй месяц я получил 253 рубля.

В конце концов бухгалтер позвал меня к себе в кабинет и показал мне, как составлять отчет о проделанной работе. «Записывайте все, что вы делаете, - сказал он, - буквально все! Пишите: “Снял колесо, почистил

ось, смазал ось, поставил колесо на место, закрутил гайки, накачал шину”, – записывайте каждое свое движение. Не пишите просто “смазал ось”, потому что каждое действие считается отдельной работой». Постепенно мне пришлось научиться у людей в мастерской работать так же, как они: разбивать все на части, а потом со всего маху приколачивать на место.

В результате автотранспортная контора никогда не выполняла норму, которая определялась «месячным планом». На утренние собрания, которые устраивались на АТК каждый понедельник, нас приходили увещевать члены Горсовета, но это никого особенно не волновало. Запчасти, такси, автобусы, плата за проезд – все принадлежало государству; рабочие же были заинтересованы только в зарабатывании денег. Было очевидно, что городские власти недовольны работой АТК. Проводились расследования, устраивались собрания. В конце концов распространились слухи о предстоящих переменах и о приходе новых сотрудников, которые помогут АТК «выполнять норму».

Моя сестра хочет приехать

В то лето 1959 года я получил еще одно письмо из американского посольства. Они вложили в конверт засвидетельствование соглашения между посольством и Министерством иностранных дел относительно моего освобождения, если я о нем попрошу. В письме из посольства сообщалось, что, если я желаю поехать в Соединенные Штаты, я должен написать петицию в Министерство иностранных дел, и называлось имя того сотрудника Министерства, к которому я должен был обратиться, а также точный адрес.

Мне было любопытно, что из этого выйдет, поэтому я решил написать в Министерство с просьбой дать мне визу на выезд в Соединенные Штаты. Свою просьбу я обосновал следующими причинами: мой возраст, мои родные, которые остались дома, их постоянные попытки вернуть меня, то, что в связи с моей неполной реабилитацией, я буду получать лишь очень маленькую пенсию, когда через несколько лет достигну пенсионного возраста.

Я отослал это письмо одновременно с очередным письмом в посольство, в котором уведомлял их о получении письма и о своем письме в Министерство с просьбой о визе. Некоторое время ничего не было слышно. Потом из Министерства мне написали, что получили мое письмо, но поскольку они не уполномочены решать такие вопросы непосредственно, они послали мое письмо под регистрационным

номером таким-то и таким-то в КГБ. Тогда я, в свою очередь, написал в КГБ, что, как мне сообщили из Министерства, моя петиция находится у них, и попросил рассмотреть ее и дать мне ответ.

В течение трех месяцев я не слышал о своей петиции ничего определенного. Потом в один прекрасный день меня вызвали в абаканское МВД и прочли ответ из Москвы на мою петицию. Он был отрицательным. Я попросил назвать причину; сотрудник МВД сказал, что причина не указана. Поэтому я подписал листок, подтверждающий, что я получил ответ, и на этом все кончилось – если не считать того, что я написал в американское посольство, дабы сообщить об ответе на мою петицию.

Однако в те три месяца, что я ждал ответа, я сходил в паспортный стол, чтобы продлить свой паспорт, что требовалось делать раз в полгода. Во время сопутствующих этому процедур сотрудник паспортного стола вдруг предложил мне сменить свой краткосрочный паспорт на постоянный, вместо того чтобы каждые полгода ходить в паспортный стол и проходить через все это.

«Вам нужно только, - сказал он, - выбрать одно из двух имен, указанных в этом паспорте (Липинский-Чишек), приложить объяснение того, как так получилось, и свою краткую автобиографию и послать все это вместе с заявлением в центральный паспортный стол города Москвы. Где-то через год вы получите постоянный паспорт». Некоторое время я смотрел на него, потом поблагодарил его за «совет». Я не потрудился спросить его, почему он вдруг заговорил об этом именно сейчас, после двух лет «всего этого». Я не потрудился также последовать его совету; сказал ему, что мне не нужен советский паспорт.

В АТК все шло по-прежнему. Мы постоянно не выполняли свою месячную норму, но никого это, казалось, особенно не волновало. Потом в один прекрасный день, в актовом зале АТК на 5.15 было назначено собрание. Присутствовать должны были все. Нам объявили, что с нами встретятся представители горсовета по делу величайшей важности. В тот день в мастерской было много разговоров об этом сообщении и много рассуждений о том, что бы все это значило. Просто из любопытства на собрание в тот вечер пришли все.

Одним из первых выступал член горсовета. Первое же его заявление просто-таки взбудоражило толпу. Он объявил, что пришел сюда, чтобы внести некоторые изменения, и добавил, что в СССР незаменимых людей нет. «Всякого, - сказал он, - можно заменить, какую бы должность он ни занимал». Он остановился, чтобы подчеркнуть

значимость сказанного. Напряжение росло. «Поэтому, - сказал он, - поскольку положение здесь, на АТК, необходимо изменить и поскольку ваш директор, товарищ Круглов, хотя и является членом партии и очень ответственным руководителем, не справился с возложенными на него обязанностями, его решено заменить».

Представитель горсовета перешел к подробному перечислению неудач Круглова. Несчастный Круглов просто сидел с понуренной головой, пока перечисляли его провинности – и этому, казалось, не будет конца. Когда представитель горсовета все-таки закончил, последовала смущенная пауза. «А теперь, - продолжил оратор, - хочу представить вам вашего нового директора». Звали его Софронов. Он прошел к трибуне и встал рядом с членом совета, который рассказывал о его качествах и превозносил его достоинства. Потом «суфлеры» начали аплодировать.

Софронову было лет пятьдесят пять. Он был среднего роста, крепкого и плотного телосложения. Его черные волосы уже немного поредели, но он был загорелый, широкоплечий, с жестким подбородком, поджатыми губами, римским носом и сверкающими глазами. Он тоже, конечно, был членом партии. Когда «аплодисменты» замерли, Софронов поблагодарил представившего его оратора. У него был сильный голос и решительная манера говорить. Он стал заново перечислять все проблемы АТК-50 – он был явно хорошо осведомлен, - затем принялся излагать свои планы по радикальному изменению ситуации. После этого член совета взялся за Петрушина.

Петрушина тоже вызвали вперед, и он сидел там, повесив голову, пока перечислялись все до одной его провинности. Он был красный, как свекла, такой красный, что я боялся, как бы у него не лопнули сосуды. Закончив долгий перечень его прегрешений и сообщив ему, что он уволен, член совета попросил Петрушина встать и ответить. Он признал свои провинности и проблемы на АТК таким слабым и тихим голосом, что его едва было слышно. Шутники в зале, слышавшие, как орет Петрушин, отдавая приказы в гараже, начали кричать: «Громче! Громче!»

Когда Петрушин, еле передвигая ноги, вышел наконец из-за трибуны, член совета попросил самих рабочих встать и высказаться. Некоторые партийцы, явно заранее проинструктированные, вставали, чтобы покритиковать Круглова, а заодно делали несколько попутных замечаний в адрес Петрушина (рабочие любили его), но говорили очень мало о тех нарушениях, о которых мы так много слышали. Через

некоторое время вмешался Софронов и предположил, что все они, наверно, просто выгораживают своих товарищей. В конце собрания Павла, старого диспетчера, того самого человека, который устроил меня на АТК, также попросили подать в отставку.
В результате софроновских перестановок я получил новую должность. Теперь я работал в маленьком деревянном сарае рядом с гаражом вместе с другим механиком по имени Василий. Он был специалистом по коробкам передач и задним осям; меня назначили ответственным по амортизаторам и рулевым механизмам. Амортизаторы были новейшего телескопического, гидравлического типа. Единственная проблема состояла в том, что у нас почти не было запчастей.
Поскольку необходимость – мать изобретений, я вскоре стал экспертом по изготовлению запчастей из лома. Однако приходилось очень торопиться, потому что ни одна машина не могла находиться в ремонте более двадцати четырех часов. Кроме того, я знал, что эти автомобили сейчас снова выйдут на сельские дороги, на которых лучшие амортизаторы в мире не продержатся и двух недель. Положение усугублялось тем, что городские власти, армия и аэропорт тоже обращались на АТК-50, когда у них возникали проблемы с амортизаторами, и все это сваливалось на меня. Для одного человека это было слишком много, и я сказал об этом Софронову.
Пытаясь как-то решить эту проблему, я даже вручную изготовил формы для штамповки запчастей. За это я получил награду, правительственную грамоту «За отличную работу» с подписями всего нашего и городского начальства. Я был также награжден званием ударника коммунистического труда, одной из высочайших трудовых наград в стране. Звание было присвоено мне на торжественном собрании, в присутствии всех рабочих и главы профсоюза, который лично пожаловал его мне, затем мое имя было внесено в список ударников, который в рамке красовался на стене актового зала. Разумеется, надо мной по поводу всего этого немало подшучивали.
Но, что гораздо важнее, я также получил пару щедрых премий и – наконец-то – помощника! Друзья по АТК говорили мне, что помощника выбрала партия и не только для того, чтобы помогать мне, но и для того, чтобы следить за мной, но, как бы то ни было, свою работу он выполнял. Профсоюз также приводил из города студентов, чтобы они у меня учились, а с черногорской АТК специально прислали ученика, чтобы он обучился моей технологии. Но самым ироничным во всей этой

истории был эпизод, когда ко мне на обучение прислало своего механика МВД!
Потом, в один прекрасный день, меня вызвал Софронов и начал дружелюбно выспрашивать про мою работу, про то, доволен ли я зарплатой. Потом он перешел к разным другим вопросам, в том числе, на первый взгляд, невинно полюбопытствовал, слушаю ли я, как американец, «Голос Америки». Я сказал ему, что там, где я живу, у меня вообще нет радио. «А, ну хорошо, - сказал он, немного застигнутый врасплох, - да, да, тем лучше. Не слушайте его».
После неловкой паузы Софронов спросил меня, что он может для меня сделать. Он так живо интересовался моей жизнью, что я почуял неладное. Однако я сказал ему, что если бы он мог найти мне какое-нибудь жилье, я был бы ему очень благодарен. Сначала он был, казалось, очень удивлен, потом объяснил мне, что в бараках АТК мест уже нет, поэтому в настоящий момент он едва ли может помочь мне. Он предположил, что, быть может, горсовет мог бы оказать мне помощь. «Я уже второй год туда хожу», - сказал я. Он осекся. «Однако, - продолжил он великодушно, - если вам потребуется что-нибудь еще, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне».
Я был озабочен поиском жилья, потому что всю зиму Осип просил меня попытаться подыскать себе комнату в другом месте. Ему стыдно было называть мне причину, но в конце концов он признался: в горсовете «намекнули», что ему, как одному из ведущих членов партии, не пристало держать меня – иностранца и, возможно, шпиона – у себя в доме. В начале весны Осип снова серьезно заговорил о том, чтобы я нашел себе другое жилье: на него давил горсовет. Он сказал мне, что сам-то он не против, чтобы я жил у него хоть всю жизнь, но, «возможно, будет лучше, если вы подыщете себе другую комнату».
Наконец наш сосед Дмитрий предложил мне комнату в своем доме. Его мать, старенькая «бабушка», которая встретила меня в тот день, когда я впервые пришел к Осипу, жила вместе с ними и спала в комнате наподобие той, которую я снимал в доме Осипа, рядом с кухней. Бабушка хотела, чтобы я занял ее комнату, а сама она перебралась бы на кухню. Я с радостью согласился, потому что во многих отношениях это было идеальное решение. Я знал Дмитрия и его жену Елену, да и бабушку, довольно хорошо, потому что они частенько захаживали к Осипу. Кроме того, это позволило бы мне остаться рядом с Осипом, Валей и всеми, с кем я успел подружиться.

Были в этом переезде и другие преимущества. Во-первых, это дало бы мне возможность ежедневно служить мессу, не дожидаясь, пока все лягут спать. Дмитрий и Елена никогда не приходили с работы раньше половины седьмого. Я же обычно приходил в полпятого и мог тогда служить мессу. Кроме того, в их доме было меньше посетителей, и вообще у них было тише, и можно было читать, отдыхать или даже смотреть телевизор, когда хотелось, потому что Дмитрий и Елена были одними из немногочисленных обладателей телевизора в том районе.

Я платил бабушке где-то три рубля в месяц, а за это, когда я приходил домой по вечерам, меня ждала тарелка горячего супа или каши да три-четыре ломтика черного хлеба. Это была моя повседневная пища. Обычно раза два в неделю я варил большую кастрюлю супа или борща, которой хватало мне на три, а то и на четыре дня. Суп варился из картошки, капусты, свеклы, лука и бараньих костей - или любых других продуктов, которые удавалось достать – лишь бы было погуще. Потом я добавлял в него столько сала, чтобы жир на поверхности был в палец толщиной. Одну тарелку супа я съедал утром, перед работой, а к моему вечернему приходу бабушка разогревала вторую.

На работу я брал с собой кусок сала размером с ладонь, селедку, луковицу или соленые помидоры с ломтем черного хлеба. Так тоже было принято. Часто можно было видеть, как какой-нибудь рабочий в гараже вытаскивает из кармана луковицу и ломоть хлеба и обедает; это был весь обед. Я по-прежнему чаще пил кипяток, чем чай или кофе, и хорошо, если раз или два в неделю ел мясо.

По воскресеньям у нас был выходной, но, конечно, в СССР этот день в основном утратил свой религиозный смысл. Сегодня воскресенье – это день, когда больше всего ходят по магазинам, и улицы полны людей, спешащих не в церковь, а в магазин, чтобы занять очередь. Но для меня воскресенье было возможностью остаться наедине с Богом. Дмитрий и его жена обычно еще рано поутру отправлялись по магазинам или в гости, а бабушка проводила день у соседей. Дом был целиком в моем распоряжении, и я мог служить мессу, не боясь, что мне помешают, и читать Библию столько, сколько пожелаю. А помимо духовной радости, по воскресеньям я наслаждался полноценным отдыхом.

Перенапряжение на работе, по правде говоря, опять начало на мне сказываться. Особенно уставали ноги и колени: ведь мне по семь часов в день приходилось простаивать на холодном бетоне; мои руки деревенели и уставали от постоянных усилий, которых требовал ремонт амортизаторов, и оттого, что они все время были в бензине. Я всерьез

начинал чувствовать, что старею. Я быстро утомлялся; в конце дня ощущал тяжесть в руках и ногах и одышку. Наверно, сказался и постоянный рацион из сала и черного хлеба, лишенный фруктов, овощей и молока. Как бы то ни было, я ощущал это все сильнее и сильнее. Каждое утро, кроме воскресенья, я делал перед завтраком во дворе получасовую зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.

Но не только состояние собственного здоровья вызывало у меня беспокойство. Мне все больше докучала слежка МВД. Честное признание Осипа в том, почему он попросил меня переехать, было не единственным симптомом. Вскоре после переезда к Дмитрию я получил анонимное письмо с предупреждением не ходить в определенные дома и не навещать определенных людей – «или вернетесь туда, откуда пришли». Я также получил письмо от бывшего зэка, с которым давно переписывался, с убедительной просьбой перестать писать, «потому что мне сделали предупреждение».

Однажды на работе ко мне подошел другой механик и сказал мне, что не так давно МВД допрашивало его на тему его общения со мной. Но мало того, сказал он, они просили его сотрудничать с ними, наблюдая за мной. Он честно рассказал мне о случившимся, потому что хорошо ко мне относился, и предупредил меня, чтобы я был начеку. По иронии, вскоре после того как он отошел, один человек, который видел, как мы разговариваем, украдкой подошел ко мне и сказал, чтобы я был осторожен, потому что ему кажется, будто этот малый за мной шпионит.

Ясно, что по той или иной причине они вновь усилили контроль. Возможно, дело было в моих письмах в посольство или в тех посланиях, которые я регулярно получал от своих сестер из Америки. Как бы то ни было, ясно было одно: МВД просто не может поверить, что я всего лишь один из «ударников коммунистического труда»; они предупредили меня, чтобы я не занимался пастырской работой, и пристально за мной следили.

Однажды утром, когда я зашел в гараж, меня остановил старик лет семидесяти с лишним. Он был среднего роста, с военной выправкой и походкой, обветренным лицом, широким лбом и волнистыми седыми волосами. Он сказал, что ему нужен механик. Я направил его к начальнику. Во время разговора он заметил, что я говорю с акцентом, и спросил не возражаю ли я, если он задаст мне несколько вопросов. Я пожал плечами.

«Вы не поляк?» - спросил он первым делом. Я поколебался, но потом кивнул. «Мои родители были поляки, - сказал он, - но я забыл язык. Как бы то ни было, я очень рад с вами познакомиться. Моя фамилия Дутов». В ответ я тоже представился. «Вы здесь работаете?» - продолжал он. Я сказал, что да. «Что ж, тогда, возможно, вы могли бы мне помочь. Видите ли, я работаю в абаканском музее и потерял ключ от одной из витрин. Я хотел бы знать, не может ли кто-нибудь изготовить мне другой».

Я сказал ему, что могу, но не сейчас. (Если бы меня застали за «левой» работой, по софроновским новым правилам, меня лишили бы зарплаты за весь остаток дня). Мы побеседовали еще немного, и перед уходом он сказал мне, что хотел бы еще как-нибудь со мной увидеться. Тогда я оставил ему свой адрес. После этой случайной встречи мы стали хорошими друзьями.

Со временем я узнал, что он археолог и проработал на Дальнем Востоке более пятидесяти лет, откапывая захоронения первобытных народов. В Абакане он нашел интересные останки людей, хакасов, которым было 3000 лет. Я также узнал, что Дутов считается *самым* большим авторитетом в области сибирской археологии; каждый год он выступал с лекциями в Москве, Ленинграде и других крупных университетских городах, рассказывая о своих последних находках.

Дутов говорил, что некоторые из этих находок поразительно похожи на находки археологов в Китае и Японии. Иногда я помогал ему, переводя его русские статьи на английский язык для публикации в различных международных журналах. Он также состоял в постоянной переписке с китайским профессором археологии из Кембриджа. Китаец знал английский язык, но не знал русского, поэтому я переводил для него письма профессора Дутова и, наоборот, переводил на русский ответы китайца, приходившие из Кембриджа.

Мне также удалось оказать ему одну необычную услугу благодаря иезуитам средней школы Гонзага в Вашингтоне. Среди ссылок на источники профессору часто встречался *Handbuch der Archeologie* Мюллера, но он сказал мне, что во всей России есть лишь несколько экземпляров этой книги, в больших университетских библиотеках. Я написал иезуитам в школе Гонзага, которые уже прежде посылали мне посылки, и им удалось достать экземпляр книги. Профессору Дутову это показалось почти чудом, и он никогда не забывал об этой моей услуге.

За несколько месяцев, прошедших после нашего знакомства, мы стали с ним довольно близки. Он знал, что я священник, но не мог понять, почему я не женюсь. Он даже нашел мне идеальную невесту, его подругу лет сорока пяти, у которой была своя квартира и хорошая работа. «Тебе нужно, чтобы дома тебя кто-то ждал, - говорил он, - чтобы кто-то заботился о тебе сейчас и в старости. Сейчас у тебя, может быть, все в порядке: ты сильный, у тебя хорошая работа. Но пройдет лет десять-пятнадцать, что ты будешь делать?»
Я только посмеивался в ответ. «Я о себе позабочусь», - говорил я. «А что, если не сможешь?» - «Тогда Бог позаботится». – «Ах, опять ты со своим Богом!» (Профессор всегда утверждал, что он атеист). После этого он забывал о женитьбе и затевал спор на тему религии: он был мастак поспорить. Нам было весело вместе, даже когда мы спорили, и он сказал мне, что я единственный настоящий друг, который у него когда-либо был. Он даже звал меня с собой в некоторые археологические экспедиции под Абакан, но у меня никогда не получалось с ним поехать.
Где-то в апреле 1963 года, придя домой с работы, я обнаружил письмо от моей сестры Хелен. Она писала, что наконец получила визу на поездку по Советскому Союзу – в Ленинград, Москву, Киев, Одессу, Львов. Тур начнется в Москве 19 июня, и она спрашивала, не могу ли я встретиться там с ней в этот день. Поскольку было время ужинать, я прочел письмо бабушке, потом Дмитрию и его жене, когда они пришли домой. Бабушка была вне себя от радости. Она то задавала мне тьму вопросов (на которые я в основном не мог ответить), то издавала восклицания типа: «Как добр Господь Бог, что позволяет тебе перед смертью повидаться с сестрой!»
Во время мессы в тот вечер я без конца отвлекался и начинал думать об этой новости. Я лег спать гораздо позже, чем обычно, но уснуть не мог. Чем больше я об этом думал, тем более затруднительным делом представлялась мне поездка в Москву. Отправиться в гостиницу средь бела дня и пристать к группе американских туристов – как получу я на это разрешение и от кого? Всю ночь я ворочался с боку на бок, а утром встал еще более усталый, чем лег.
На следующий день, придя на работу, я отправился к Софронову. «А, Владимир Мартынович, - сказал он, когда я вошел к нему в кабинет. – Что у вас случилось? Вы плохо выглядите». – «Со мной все в порядке, товарищ начальник, - сказал я, - но у меня проблема». – «Ну, ну, в чем же дело?» - «Вчера я получил письмо из Вашингтона…» - «Откуда?» -

«От моей сестры, из Америки. Она получила визу, чтобы приехать ко мне сюда, в Россию, в Москву. Но вам известно, что мой отпуск, по расписанию, уже прошел. Могу ли я взять отпуск еще раз?»
Товарищ Софронов, по правде говоря, был очень обеспокоен всей ситуацией. Он просто не знал, что делать. Мы немного поговорили об этом, и в конце концов он сказал, что не может сам принять решение. Однако он обещал, что обсудит этот вопрос с «комитетом» и вскоре даст мне окончательный ответ. Весь следующий месяц я спрашивал его об этом чуть ли не каждое утро. Он же ничего мне не отвечал. Оставалось только ждать. Я не мог ответить Хелен, пока не буду знать окончательный ответ.
Однако я принял решение, что в худшем случае просто уволюсь первого июня из АТК и поеду на месяц в Москву. Потом, если меня не будет разыскивать милиция, я вернусь и постараюсь найти другую работу. Это было рискованно, я знал это. Если я уволюсь, в моем паспорте будет стоять штамп «безработный». Это навлечет на меня лишние подозрения московских властей, и тогда останется еще меньше шансов, что они позволят мне свободно видеться с сестрой. Но чем дольше дожидался я ответа Софронова, тем тверже становилась моя решимость поехать увидеться с Хелен, пускай даже всего на один день. (Мысль, что я могу поехать в Америку – с ней или вообще когда-нибудь, - даже не приходила мне в голову).
К середине мая я все еще не получил от Софронова окончательного ответа. Я понимал, что моя сестра, вероятно, уже беспокоится, поэтому я решил действовать. Я подошел к Софронову, когда тот стоял у проезда, выпуская машины. «Товарищ Софронов, - сказал я, - мои в Америке вот уж месяц дожидаются ответа. Как они должны это понимать? Я решил обратиться куда-нибудь в другое место. Может быть, там мне дадут четкий ответ по поводу моей поездки в Москву». – «Нет, нет, - сказал он. – Послушайте, сегодня я не могу вам ничего сказать. А завтра я вызову вас и скажу вам все окончательно».
Казалось, этот день никогда не кончится. Даже простейшие вещи я делал с трудом. Иногда я собирал амортизатор по два-три раза, прежде чем мне удавалось вставить все запчасти на свои места. Дома в тот вечер я мог думать только о том, каков же будет «окончательный ответ» Софронова.
На следующее утро, едва придя на работу, я направился прямиком к Софронову. Он сказал мне прийти в девять утра. Я пошел в мастерскую, но не потрудился даже надеть свою рабочую одежду. Ровно в девять я

пошел в кабинет Софронова. «Товарищ Чишек, - сказал он, - мне пока что не удалось собрать весь комитет. Вам придется подождать до одиннадцати». Я вернулся в мастерскую и увидел, что там собралась толпа. К тому времени почти все на АТК-50 уже знали о том, что моя сестра хочет приехать. Когда я рассказал им, что сказал Софронов, они разразились смехом. Одни фыркали по поводу того, что он нарочно тянет время, другие предсказывали, что я никогда не получу окончательного ответа – по меньшей мере, до тех пор, пока моя сестра не приедет в Москву и не уедет обратно.

Я надел рабочую одежду и попытался работать, но, как и накануне, не мог сосредоточиться. В 10.45 я умылся, переоделся и снова пошел в кабинет. Я был удивлен, увидев, что там вместе с Софроновым заседают еще четыре человека: председатель профсоюза, начальник команды техобслуживания автобусов, начальник команды техобслуживания такси и начальник отдела труда.

Софронов начал очень торжественно: «Товарищ Чишек! Как правило, мы не даем второй отпуск никому из рабочих. Однако в вашем случае, принимая во внимание то, что вы очень давно не видели своих родных, а также все ваши трудовые заслуги, комитет решил освободить вас от работы на АТК-50 на двенадцать дней. Если вы полетите в Москву самолетом, вы сможете провести там десять полных дней. Если вы поедете поездом, у вас останется только пять дней. Но уж это, конечно, дело ваше».

Он сделал паузу и посмотрел на меня. Я пробормотал слова благодарности ему и комитету. «Однако, - сказал он, - вы должны понять, что это дело серьезное. Давая вам подобное разрешение, мы ставим себя в опасное положение. Нам некем заменить вас, но это мы как-нибудь уладим. Но ваша сестра – американка, а вы знаете американцев, вам известно, что за сказки они рассказывают, поэтому вы должны быть очень осторожны в том, что будете ей говорить. В противном случае американские газеты все, как всегда, преувеличат, и вы пострадаете – и мы тоже, понимаете?» Все пятеро уставились на меня.

Я посмотрел на других, но заговорил, обращаясь к Софронову: «Но вы должны понять и *мое* положение. Все вы знаете меня, и моя репутация вам известна. Я буду стараться, но вам остается только доверять мне». Они, казалось, остались довольны. Софронов спросил остальных, хотят ли они что-нибудь сказать, но они только пожали плечами. Я снова поблагодарил их за разрешение и ушел. Весь остаток дня я еле мог

работать, радостно болтая с друзьями и принимая их поздравления. В тот вечер я поведал бабушке, Дмитрию и Елене, Осипу и Вале ту новость, которой они так ждали. Я с нетерпением ждал конца ужина (бабушка никак не могла наговориться), чтобы написать Хелен.

Но, прежде чем взяться за перо, я совершил мессу. С того вечера я стал совершать службы за исполнение воли Божией. Я умышленно не молился о том, чтобы увидеться с сестрой, но только о том, чтобы исполнять Его волю и то, что послужит к лучшему. При всем своем волнении и воодушевлении, теперь после всех лет, проведенных под Его защитой я не хотел начать вмешиваться в Его Промысел…

15 июня миновало, но от Хелен я больше не получал никаких вестей. Я проверял почтовый ящик каждый день, но писем не было. Конечно, было вполне возможно, что мое письмо или ее ответ где-нибудь задержали, поэтому я приготовился к отъезду в Москву. Я решил, что в Москву поеду поездом, а назад в Абакан, возможно, полечу. Поезд шел три дня, но из поезда я смог бы налюбоваться на страну, которой никогда не видел. Кроме того, что, быть может, важнее, это дало бы мне возможность отдохнуть и собраться с мыслями, чего я не смог бы сделать в самолете.

Я взял билет на воскресенье, 16 июня. В тот день в девять утра я вышел на улицу и как раз закрывал ворота, когда увидел молодую девушку, которая бежала мне навстречу по улице и кричала: «Чишек здесь проживает?» Я был так удивлен, что в первый момент даже не знал, что ответить. «Да». – «А у меня для него телеграмма». – «Я и есть Чишек». – «Никогда еще не носила таких странных телеграмм. Распишитесь, пожалуйста». Я сказал, что сперва хочу увидеть телеграмму, чтобы убедиться, что она действительно для меня. Я открыл ее – и там оказался набор цифр! Единственным нормальным словом был пункт отправления – «Вашингтон». Я понял, что это от Хелен. «Ну, мне это ни о чем не говорит, - сказал я девушке. – Я не могу прочесть этот шифр, а телеграмма очень важная. А я сегодня должен уехать».

Бедная девушка сказала, что она всего лишь разносит телеграммы. Она может только дать мне имя своего начальника в местном отделении связи. Я поспешил на почту, но и начальник не мог прочесть телеграмму. «Понимаете, - сказал я, - это очень важно. Вы можете сделать что-нибудь?» Начальник пошел к телефону, сделал несколько звонков, потом, наконец, дал мне имя женщины на главпочтамте в центре города, с которой нужно было связаться.

Я сел в автобус и поехал на почтамт, ощущая, как во мне растет тревога и раздражение. Я показал телеграмму той женщине и сказал: «Взгляните сюда! Что все это значит?» Она позвонила наверх, в отдел телеграфа. Пришла молодая девушка, посмотрела на числа и улыбнулась. «Подождите, - сказала она, - подождите полчасика и получите перевод». Менее, чем через полчаса она вернулась, на этот раз озадаченная. Она спросила меня, понимаю ли я, что написано в телеграмме.

Она был по-английски: «Неожиданная задержка. Буду держать в курсе. Хелен». Телеграмма была от 13 июня. Она шла до меня три дня. Я сказал девушке, что все понимаю, расписался и ушел. Я был озадачен, но теперь оставалось только дожидаться вестей от Хелен. Поэтому я с нетерпением ждал письма, но сам не писал: я боялся, что наши письма пересекутся, и это только осложнит дело, потому что она будет предлагать одно, а я другое.

Пришло 19 июля. От Хелен писем не было. Я решил, что что-то случилось. Прошел почти месяц, прежде чем я наконец все-таки получил письмо, но оно было от сестры Евангелины. Она писала, что решила приехать в Москву вместе с Хелен, но поскольку у нее были проблемы с визой, им пришлось отложить поездку. Она прибавляла, что известит меня о времени их приезда.

В тот вечер, когда все мы – Осип, Валя, Дмитрий, Елена, я и бабушка - смотрели телевизор, я сказал, что приедут две моих сестры и что поездку пришлось отложить, потому что моя вторая сестра не может получить визу. Осип винил американское правительство. Он говорил, что оно не хочет, чтобы мои сестры приезжали в Россию. Я пытался убедить его, что задержка произошла в Москве, что это советское посольство в Вашингтоне отказывает им в визе. Мы начали спорить, а остальные говорили нам, чтобы мы замолчали и смотрели телевизор.

Последовала пауза, после чего Осип стал рассуждать о том, что мои сестры, должно быть, приезжают неспроста. «Обе хотят приехать, - сказал он, - значит, это не может быть простая поездка. Они, наверно, попытаются тебя вызволить». Дмитрий был настроен скептически. Он редко участвовал в разговорах о политике и правительстве, но сказал, что моим сестрам никогда меня не вызволить. «Возможно, - сказал он уныло, - когда-нибудь, очень нескоро, если нашему правительству *вдруг* потребуется обменять кого-то на кого-нибудь из наших, они еще, *может быть*, и выпустят тебя». Осип рассмеялся, и на этом разговор

закончился. Но я запомнил его, потому что Дмитрий крайне редко говорил о подобных вещах.

Глава пятая.
Возвращение домой

КГБ сбивает меня с толку

Солнечным сентябрьским днем, когда было уже холодно, хотя солнце все еще пригревало, я был на работе на АТК-50 и совершенно не думал о своих сестрах. Теперь, когда лето прошло, возможность их приезда казалась очень отдаленной. Я слушал рассказы Василия о его похождениях и ждал конца смены, потому что очень устал. В начале четвертого пришла секретарша Софронова. Василий, у которого был отличный нюх на неприятности, пробормотал мне: «Что-то стряслось!» Секретарша улыбнулась. «Владимир Мартынович, - сказала она, - товарищ Софронов просит вас немедленно явиться к нему в кабинет. Пожалуйста, отложите свои инструменты, переоденьтесь и поскорее приходите». Я был удивлен, но пока я колебался, Василий сказал с полной уверенностью: «Новости из Москвы про твоих сестер».

Когда я пришел в кабинет к Софронову, перед столом стояло трое рабочих. Рядом с Софроновым за столом сидел человек в штатском, который уставился прямо на меня, когда я открыл дверь. Мне было достаточно одного внимательного взгляда, чтобы понять, кто это: гебешник. Он был в штатском, но после всех этих лет эту породу я не мог спутать ни с чем. Софронов поднял глаза попросил меня подождать несколько минут, пока он не закончит с другими тремя. Когда те вышли, Софронов сказал: «Владимир Мартынович, этот человек пришел к вам. У меня есть другие дела, так что, если не возражаете, я оставлю вас наедине». С этими словами он распрощался с гебистом и ушел.

Гебист был молодым человеком лет тридцати, среднего роста, и так любезен в общении, что казался почти простым. Он протянул мне руку и сказал прямо: «Я из КГБ. Если вы присядете на минутку, я расскажу вам, почему я здесь. Наш начальник, генерал (имени я не уловил), приехал сюда из Красноярска и хотел бы увидеться с вами прямо сейчас. Быть может, в четыре пополудни, в гостинице на Октябрьской? Он бы предпочел увидеться с вами там, чтобы вам было приятнее. Если бы вы пришли в КГБ, вас могли бы увидеть, но в гостинице никто не обратит на вас внимания. В четыре я буду ждать вас на улице возле гостиницы и отведу вас к нему».

Несмотря на его вежливость, последние слова прозвучали, как приказ. Было уже 3.30, а следующий автобус до нас уходил в четыре. Поэтому я сел на автобус до центра, а оттуда пошел пешком. Бабушка удивилась моему раннему приходу. Я спросил ее, не было ли писем (я думал, что, быть может, КГБ всполошилось из-за этого). Она сказала, что не было. Тогда я сказал ей, что у меня встреча, и ужинать я буду позже. Я оделся, побрился и вышел на рыночную площадь, где сел на автобус до почты. Когда я вышел из автобуса, было почти пять.

Я вернулся на один квартал, отделявший гостиницу от почты, и увидел гебиста, нервно меряющего шагами тротуар. Он не видел меня, потому что ожидал, что я появлюсь с другой стороны. «Здравствуйте», - сказал я. Он был, казалось, ошеломлен, потом узнал меня, и на его лице отразилось облегчение. «Они уже здесь, - сказал он. – Пройдемте прямо наверх».

Когда мы шли через вестибюль, люди оборачивались. Большинство из них, так же, как и я, сразу узнают гебистов - в форме или без. Мы поднялись на второй этаж и вошли в двухкомнатный номер. Там уже ждали двое, и один из них сердечно меня приветствовал: «Владимир Мартынович! Входите же, входите!» Это был человек постарше, в темном костюме, почти лысый, но загорелый и крепкого сложения. Он обменялся со мной рукопожатием и сказал: «Я генерал (имя я опять не уловил), а это Виктор Павлович». Я пожал руку Виктору Павловичу, молодому человеку в белом костюме со светлым, худым лицом, длинным носом и голубыми глазами.

Говорил в основном генерал, который был чрезвычайно радушен. «Ну, как у вас дела?» - «Хорошо». – «Как себя чувствуете? Здоровье в порядке?» - «Да, - сказал я, - я хорошо себя чувствую». – «Где вы сейчас живете?» Я был уверен, что он знает, но поддержал его игру и сказал ему. Потом, незамедлительно, последовали и все остальные обычные гебистские вопросы: зарплата, сотрудники, добр ли ко мне начальник, профсоюз и т.д. Я отвечал ему на все вопросы, что у меня все в порядке.

«Да, - сказал он наконец, - мы слышим отличные отзывы о вашей работе. Ваши сотрудники о вас высокого мнения. Насколько я понимаю, вы получали премии и грамоты. Теперь же, принимая все это во внимание, мы хотели бы оказать вам услугу. Помните свое прошение о выездной визе в Соединенные Штаты, которое вы нам посылали?» При этих словах я насторожился. Меня уже не впервой вызвали по поводу этих петиций.

«Я написал четыре или пять», - сказал я. «Ну так вот, мы недавно просматривали дела и на них наткнулись. До сих пор у нас не было возможности удовлетворить подобную просьбу. Но теперь все обстоит иначе. Забудем прошлое. Сегодня есть сегодня». – «Да, - сказал я. – Все это очень неприятно». – «Владимир Мартынович, не будем сейчас об этом. Вы другой, мы другие. Мы знаем, что вам хотелось бы увидеть родственников, и в эти новые времена мы могли бы кое-что для вас сделать». – «Это мило», - ответил я.
Затем генерал решил немного прощупать почву. Он спросил меня, что я думаю о местной жизни, о коммунизме, о системе, о техническом прогрессе, текущих событиях, общественной жизни и т.д. «Я живу здесь вот уже двадцать три года, - сказал я, - и вы не слышали от меня ни единой жалобы. Кроме того, можете спросить всех, с кем мне приходилось жить. Правила есть правила, и я им следую, где бы я ни был».
Что-то меня беспокоило, но я не мог понять точно что. Он что-то вынюхивал: я прошел слишком многое, чтобы не понять этого. И все же я не мог разобрать до конца, что же ему надо. Мы говорили часа три и, насколько я понимал, не пришли ни к чему. Генерал хотел, казалось, проверить все и в то же время говорил ни о чем. В некотором смысле он был как боксер, пытающийся найти уязвимое место соперника, – и в то же время все время оставался радушным, очень милым и очень понимающим, как бы коротки и резки ни были мои ответы.
Однако в конце концов генерал сказал, что ему пора идти. «Мне бы хотелось увидеться с вами завтра, - сказал он, - но если я не смогу, здесь будет Виктор Павлович. Как насчет половины пятого здесь же, в гостинице? Почему бы вам не прийти как есть, прямо с работы. Переодеваться необязательно. Никто в гостинице не будет обращать на вас особого внимания». Мы встали, снова обменялись рукопожатиями, и я ушел.
На следующий день на работе все хотели знать, что случилось и почему меня вызывали. Некоторые девушки из дирекции сказали мне, что не спали всю ночь: они знали, что человек в кабинете Софронова был из КГБ. «Мы боялись, что вас куда-нибудь отправят, - сказала одна из девушек. – Боялись, что вы больше не вернетесь». – «Что ж, - смеялся я, - как видите, я здесь!» - «Да, но что случилось? Что они сказали?» - «Кажется, это касается моих петиций о возвращении в Соединенные Штаты; они считают, что я, быть может, смогу поехать домой. Я,

разумеется, в это не верю. Я думаю, это как-то связано с моими сестрами».

Весь день напролет - в мастерской, по дороге на склад, где бы я ни появился, - и рабочие и служащие забрасывали меня вопросами: все хотели знать, что со мной случилось. «Владимир Мартынович, - сказал один из механиков, - вся проблема в нашем государстве». – «Не сомневаюсь», - сказал я. «Вам трудно будет чего-то добиться, не идя на компромисс, - сказал другой, - но вы не сдавайтесь!» К полудню слухи разнеслись уже по всей АТК, и все желали мне удачи.

После работы я быстренько умылся и пошел на остановку вместе с Василием. Мы говорили о вчерашней беседе, но я не сказал ему, что опять иду беседовать с ними. «Что ж, удачи!» - сказал Василий, садясь на автобус. «Тебе того же», - ответил я. Проезжая на автобусе мимо гостиницы, я увидел Виктора Павловича, прохаживающегося возле двери. Проехав еще квартал, я сошел с автобуса и пешком вернулся назад. Он читал вывеску, когда я подошел к нему со спины. «А, вы уже здесь! - сказал он огорошено. - Прекрасно!»

Он поспешил в гостиницу, а я пошел за ним следом. Я чувствовал себя неловко в моей рабочей одежде, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж и шли по коридору к тому же двухместному номеру. «Ну, как вы сегодня, Владимир Мартынович?» - сказал он, когда мы сели. «В порядке», - ответил я без особого энтузиазма. Виктор сказал мне, что генерал сегодня прийти не смог; он надеется, что я ничего не буду иметь против. Я пожал плечами. Тогда он заговорил о том, какое высокое мнение составил обо мне генерал и как сильно они хотят помочь мне – и что я должен за это помочь им. (Вот оно! Я почувствовал, как у меня мурашки пробежали по коже. Я даже не ответил).

Виктор принялся говорить о самых разных вещах. Он говорил о коммунизме и о том, как много он принес пользы, какому способствовал прогрессу. Чем больше он разглагольствовал, тем меньше я ему отвечал; наша беседа скоро приняла вид монолога. Он, должно быть, понял это, потому что резко сменил тему. «Знаете ли, Владимир Мартынович, более чем вероятно, что мы пошлем вас в Москву. Вы сможете увидеть пользу коммунизма, сможете поехать, куда захотите, увидеть все, что только пожелаете». – «Что ж, да, было бы неплохо. Думаю, что с удовольствием посмотрел бы на европейскую часть России».

«Что ж, знаете ли, когда вы окажетесь в Москве, вы сможете увидеть все достопримечательности, все исторические памятники. Это такой город! Там есть даже католическая церковь, и вы сможете посещать ее, если пожелаете, или ходить туда на исповедь. И вам не нужно бояться: мы против не будем». Когда он сказал это, меня внутренне передернуло. Теперь я понимал, куда он заводит разговор на этот раз: он пытался надавить на меня, как в старые добрые времена. Нет, они не хотят, чтобы я шпионил за московским католическим священником, но было бы «хорошо», если бы я сообщал им о своих «впечатлениях».

С того момента я был напряжен и подавлен. Мое напряжение росло, и вскоре я был почти физически болен. Виктор, казалось, ничего не замечал; он все продолжал непринужденно болтать о других священниках. «Вы знаете их, - сказал он почти нахально, - у вас, наверное, есть их адреса. Вам должно доставить большое удовольствие сходить к ним в гости». – «Адреса? – перебил я. – Не уверен…» У меня была записная книжка в ящике, дома у Дмитрия. Если они ее уже видели, я не мог бы отрицать, что она у меня есть; если же они ее не видели, мне не хотелось, чтобы они смотрели.

Потом он как-то переключился на Норильск. «Кого вы там знаете?» Это было как удар ножом в сердце. Я был уверен, что он знает, с кем я там переписываюсь и с кем был знаком, когда там работал. Я отбарабанил несколько имен, которые были знакомы ему наверняка. «Да, да, их я помню», - сказал он и принялся перечислять других людей, дела, время, места, даты и даже суммы, которые я получал. «Поймите, мы не возражаем. Мы знаем, что вы называете это жалованием и что денег вы не просили. Видите, какие мы понимающие?» (Я видел, как же. Я видел, как неотступно за мной все это время следили!)

Я был так взбешен, что почувствовал, как у меня сжимаются челюсти. Потом мы снова стали говорить о моей поездке в Москву, в Ленинград и так далее. Он сказал мне, что нет нужды брать с собой все вещи, что я могу ехать налегке. Он не видел, почему бы мне не оставить почти все свои вещи в Абакане (как же!). Наконец он, кажется, заметил, что я зол.

«В чем дело, Владимир Мартынович? – сказал он. – Вы больны?» - «Нет, устал». – «Что ж, жаль, мне действительно очень жаль. Вижу, уже поздно; я и не думал, что продержал вас так долго. Думаю, нам непременно нужно продолжить этот разговор, но не сегодня. Может быть, встретимся с вами как-нибудь еще разок и поговорим обо всем более определенно. Я позвоню».

Чтобы «облегчить мне дело», Павлович решил, что перед нашей следующей встречей он просто пошлет мне почтовую открытку из своей конторы в Красноярске. Это будет означать, что на следующий день он будет в Абакане, в гостинице, и хотел бы там меня видеть. Я кивнул и вышел из комнаты. Чем больше я обдумывал наш разговор, тем больше приходил в ярость. Это были не только мои неприятности; я думал обо всех людях, которых он упомянул и за которыми явно следили из-за меня. После всех этих лет все начиналось с начала!

Когда я вернулся, дом был пуст. Печь на кухне была затоплена, но бабушки не было. Памятуя о том, что сказал Павлович насчет адресов, я решил воспользоваться случаем. Я немедленно пошел в свою комнату, собрал все свои письма и адреса – все, что связывало меня с кем-либо другим, - и сжег их в печи. Если что-то случится со мной, то, по меньшей мере, в это не будет замешан никто другой.

Потом пришла бабушка вместе с Осипом и Валей. Когда я не вернулся в положенное время с работы, бабушка обеспокоилась и поспешила к ним, чтобы посоветоваться с Осипом. Они поняли, что что-то неладно, и как только увидели, что я дома, тут же пришли. Они были так взволнованы, а я так подавлен, что не смог рассказать им, что случилось. «Ну, - сказал я, - меня вызывали…» - «Кто?» - «КГБ, наверно; я точно не знаю. Во всяком случае, они сказали, что собираются мне помочь, оказать мне услугу, возможно, даже отправить меня в Москву, но вещи я могу оставить здесь!»

И тут словно плотину прорвало: догадки полились рекой. Мои сестры уже в Москве; они были в Кремле, видели Хрущева. Наверно, я поеду домой. Да нет же, иначе мне не сказали бы оставить свои вещи здесь. Может быть, я просто поеду встретиться с сестрами, но тогда почему мне не сказали, где они и когда я смогу их увидеть? Я почти не слушал их и почти не притронулся к ужину. В конце концов я извинился, вышел из-за стола и пошел спать.

Но я не спал. Такой плохой ночи у меня еще не было ни в Абакане, ни даже, наверное, в тюрьме. Я не мог спать; не мог дышать. Что бы я ни делал, я все время думал о том, как Виктор Павлович перечислял имена всех тех, кому я помогал и с кем работал. Это было похоже на дурной сон, да только я не спал.

Наконец я принял решение, что в следующий раз, когда меня вызовут, я отвечу им коротко и ясно: «Пожалуйста, больше ни о чем меня не спрашивайте! Я не хочу от вас никаких одолжений, поэтому и вы меня ни о чем не просите. Просто оставьте меня в покое!» Я им совершенно

не верил. В то, что они «помогут» мне, я верил не больше, чем в то, что я – Никита Хрущев. Я не хотел больше никаких свиданий, не хотел слышать никаких имен, не хотел больше слежки за людьми. Меня тошнило от всего этого. Я решил раз и навсегда, что так им и скажу.

На следующий день на работе я все время ожидал, что меня вызовут. Софронов в кои-то веки, казалось, не знал, что происходит. Встречая меня на работе, он только в очень общих словах спрашивал, как у меня дела и когда я еду на встречу с сестрами. Он заверил меня, то у меня по-прежнему остается право взять двенадцать дней отпуска. С другой стороны, он совсем не упоминал КГБ или то, что гебисты меня вызывали. Сотрудники, как кажется, связывали все происходящее с приездом моих сестер.

Прошла неделя. Я по-прежнему ожидал очередного вызова. Не то чтобы я так сильно беспокоился по поводу КГБ, но я надеялся услышать что-нибудь о сестрах. Я уже начал думать, что те «беседы» могли быть подготовительными мероприятиями (чтобы посмотреть, как я настроен) перед приездом моих сестер. И все же я не решался писать им теперь, тем более, если их приезд осенью был все еще возможен. Я не хотел рисковать.

В середине месяца я получил почтовую открытку из Красноярска с просьбой явиться на следующий день по какому-то делу, касающемуся моего паспорта. Я знал: это значит, что завтра я должен встретиться с Павловичем в гостинице. На следующий день по дороге в гостиницу я непрестанно думал о своем решении. Я твердо решил еще раз выслушать, что они мне скажут, а потом заявить им прямо и решительно, что меня все это не интересует.

Подойдя к гостинце, я снова увидел, как Павлович читает вывеску в одном из окон. Он сердечно приветствовал меня, и мы вошли. На мне снова была только рабочая одежда, и я казался себе жалким, когда шел по вестибюлю гостиницы. Когда мы вошли в номер, посреди комнаты стоял другой гебист. Павлович представил его как Александра Михайловича. Я тепло приветствовал его: теперь, когда решение было принято, я чувствовал себя почти хозяином положения. Павлович даже отметил мое хорошее расположение духа. Я ответил, что сегодня хорошо себя чувствую.

Когда мы сели, Павлович снова начал объяснять свое предложение, что и на этот раз не обошлось без туманных намеков на «услуги», которые мы должны друг другу оказать. Александр молчал, я говорил мало. Когда Виктор наконец остановился, он бодро спросил меня: «Ну, что вы

думаете, Владимир Мартынович?» Я сказал прямо: «Не верю ни единому вашему слову!»
У Павловича был такой вид, словно его ударили кинжалом. «Как? Почему?» - «Потому, - ответил я, - что я знаю вашего брата слишком хорошо, чтобы вам верить. Уж слишком часто вы меня вызываете и слишком много обещаете. Ничего никогда не происходило и теперь не произойдет». – «Но Владимир Мартынович! Вы же видите, как все теперь изменилось! Мы больше не такие, как все думают, мы совершенно другие люди!» - «Я скажу вам, в чем проблема, - сказал я. – Я пять лет провел у энкаведешников на Лубянке. Чего только они не обещали! А что все это означало? Пятнадцать лет в тюрьмах и лагерях! Так что теперь, что бы вы ни говорили, я не могу справиться с этим чувством. Это часть меня самого. Я просто не могу вам верить».
«Да, но времена ведь изменились!» - настаивал Виктор. Мы сидели в этом гостиничном номере еще три часа, и все это время они пытались убедить меня, что они переменились, а я старался объяснить им, что даже если это так, для меня психологически невозможно им доверять. Наконец я встал. «Можете говорить все, что угодно, о переменах. Я не верил вам, когда пришел сюда, и не верю сейчас. Вы ничем не сможете изменить моих чувств, независимо от того, что еще вы там измените. Слова здесь бессильны. Мне жаль, но это так».
С этими словами я ушел. Они меня не остановили. О новой встрече они также ничего не сказали. Поэтому я понял, что, хорошо это или плохо, но этим все и закончится. Дома и на работе, когда кто-нибудь спрашивал меня о сестрах или о поездке в Москву, я отвечал то же: я покончил со всеми разговорами; я отказался заключать сделки. Теперь я не знал, чего мне ждать.
Сентябрь сменился октябрем, но никаких вестей не было – ни от КГБ, ни от сестер. Я снова погружался в повседневные заботы. Постепенно я вообще перестал обо всем этом думать. Однажды в четверг после работы я пошел в магазин, чтобы запастись продуктами и приготовиться к зиме. Когда я распаковывал припасы, я в шутку сказал бабушке, что этого хватит мне на три недели. «Зачем? – сказала она. – Может, тебе все это не понадобится». Я засмеялся. «Это не испортится, - сказал я, - но думаю, пора уже оставить несбыточные мечты».
После ужина в тот вечер я сидел с бабушкой на кухне и разговаривал с ней, в пятидесятый раз слушая ее рассказы и снова чувствуя себя почти беззаботным. Елена отдыхала в гостиной, Дмитрий был еще на работе. Через некоторое время я взял газеты и пошел к себе. Было около восьми

вечера, поэтому я немного почитал газеты, чтобы расслабиться, потом духовную литературу, потом совершил мессу. Затем я снова взялся за чтение. Вдруг кто-то резко, громко постучал в кухонное окно!

Стучали так громко, что я испугался. Елена подскочила с тахты, на которой она отдыхала. Поскольку в доме спереди дверей не было, а ворота после наступления темноты запирались, люди часто стучали в окошко, чтобы привлечь наше внимание. Но в этом стуке было что-то настолько внезапное, настолько высокомерное и повелительное, что я был уверен: он предвещает беду.

Была где-то половина десятого. Я надел шапку и пальто и вышел во двор. «Кто там?» - спросил я. Мужской голос ответил: «Владимир Мартынович здесь живет?» Я почему-то не решался ответить на вопрос, поэтому опять спросил: «Кто там?» Человек за воротами снова не назвался, но просто спросил «Владимир Мартынович дома?» Я заподозрил, что это гебист, и хотел сказать: «Нет, его нет, приходите в другой раз». Но я знал, что только оттягиваю неизбежное, поэтому сказал: «Да, я дома». – «А, так это вы, Владимир Мартынович?» - «Да». – «Что ж, мы за вами приехали».

Ворота были по-прежнему заперты, и я не предложил их открыть. «Я устал, у меня был трудный день на работе, - сказал я, - и я никого не хочу видеть». – «Не могли бы вы открыть ворота?» Я подошел к воротам и отпер их. Он принялся со мной спорить. «У меня здесь машина, - сказал он, - вам не нужно будет никуда идти. Просто поедем в гостиницу и поговорим – обещаю, это будет недолго. Я отвезу вас туда и обратно».

Меня не слишком вдохновляла эта мысль, но я ничего не мог поделать. Уходя, я крикнул Елене, чтобы она не запирала ворота, потому что я ненадолго. Она ничего не ответила. Я не сказал ей, куда иду, но думаю, она догадалась. До гостиницы ехать было минут пять, и всю дорогу мы молчали. Мы снова поднялись на второй этаж, но - в совершенно другой номер.

На этот раз в комнате был лишь один человек, Александр Михайлович. Он очень сердечно предложил мне присесть и пообещал: «Я не буду задерживать вас долго, потому что уже поздно». Я сел у окна. «Это не займет много времени, Владимир Мартынович, потому что я просто должен сообщить вам некоторые вещи. Я хочу, чтобы завтра утром вы пошли к начальнику на АТК-50 и сказали ему, что хотите навсегда уйти с работы. Если он будет возражать, пусть позвонит по этому номеру (он протянул мне листок) и спросит Александра Михайловича. Я думаю,

вам также стоит отдать все свои долги, потому что вы уезжаете в Москву. Однако я бы советовал вам взять только то, что вы считаете необходимым, а остальное оставить здесь. Вы меня понимаете?»

События начинали развиваться стремительно. Я был несколько озадачен, но смог кивнуть. «Затем, в понедельник, - продолжал он, - купите билет на самолет до Красноярска, и я встречу вас там. Таким образом, у вас остается три дня, чтобы устроить все свои дела, и этого должно быть достаточно. Однако если у вас возникнут вопросы, звоните по этому номеру (он дал мне другой листок бумаги) или вот по этому, в Красноярске (он указал на второй номер на листке)». С этими словами он поднялся. «Думаю, это все, что я должен был сказать. Вопросы есть?»

Прежде чем я успел ответить, он сходил в гостиную в том же номере и вернулся с бутылкой пятизвездочного коньяка, двумя кусками торта и шоколадными конфетами. Он откупорил бутылку и наполнил два чайных стакана. Протягивая мне стакан, он сказал: «Старая русская традиция, по стаканчику, чтобы скрепить договор». Затем он поднял стакан, как будто собрался произнести тост, и сказал: «Удачи!» Я не спросил его, почему мне нужна удача. Мы выпили коньяк, и я съел чуть-чуть торта.

Он начал вновь наполнять стаканы и говорить о том, что мне надо «все закончить за три дня». Мы выпили еще. На этот раз я сказал: «Удачи!» Он наполнил стаканы еще раз. Мы подняли их, уже не утруждая себя пожеланиями «удачи», и осушили снова. «Что ж, - сказал он, - я, безусловно рад, что все идет так, как идет. Желаю вам всего самого наилучшего». С этими словами он стал опять наполнять стаканы, но я остановил его: «Нет, нет, мне больше не надо!»

Я встал и надел шапку и пальто. Он вышел проводить меня на улицу без верхней одежды. Я сказал ему, что дойду домой пешком, но он сказал: «Вот же машина». Когда я сел в автомобиль, он стоял на тротуаре, но я заметил, что водитель посмотрел на него, и он торжественно кивнул. Мое сердце оборвалось: взгляд и жест показались мне такими знакомыми! Оставалось только надеяться, что я ошибаюсь. Когда мы отъезжали, Александр стоял на обочине и провожал нас взглядом. Однако мы поехали прямо к Дмитрию и по дороге не обменялись ни словом. Когда я вышел из машины и снова оказался в безопасности, я поблагодарил водителя и поскорей зашел во двор и запер ворота.

Было почти одиннадцать вечера. Как только я вошел, ко мне с испуганным выражением лица подскочила Елена. «Вы не представляете

себе, что я пережила, - говорила она. – Я думала, вас забрали в тюрьму. Когда постучали, я сразу поняла, что это не к добру». Чтобы утешить ее, я все ей рассказал: я еду в Москву; я должен уволиться с работы, заплатить долги, взять только необходимые вещи и в понедельник быть в Красноярске.
Это было в четверг вечером. Елена была взволнована, да я и сам был немного не в себе. Я не мог понять, что все это значит и что я буду делать в Москве. Александр ничего мне об этом не сказал, сказал только, что я туда еду и что в понедельник мне надо быть в Красноярске.
На следующее утро на АТК-50 я без всяких затруднений договорился с Софроновым о своем увольнении. Вероятно, ему уже сообщили. Народ толпились вокруг, поздравляя меня и желая мне удачи. «Что бы ни случилось, не сдавайся, - сказал Василий, - и удачи тебе!» Остальные вторили ему в своих пожеланиях. Наконец, около трех пополудни, я получил расчет, окинул прощальным взглядом АТК, где я был награжден званием ударника и приобрел столько друзей, и отправился домой.
В воскресенье мы устроили небольшое прощальное застолье. У Дмитрия собралось человек пятнадцать: Осип и Валя, Дмитрий и Елена, профессор Дутов, еще несколько близких друзей и я сам во главе стола. Было много добрых пожеланий, много тостов за удачу; даже профессор, который никогда не пил, выпил стопку водки в мою честь. Бабушка тоже выпила за мой отъезд и вскоре начала плакать. Прежде чем вечер закончился, она улеглась на тахту, а после праздника мне пришлось нести ее в кровать.
В тот воскресный вечер я в последний раз совершил мессу в своей комнате у Дмитрия. Несмотря на то, что большую часть своих вещей я оставлял здесь, я не мог быть уверен, что вернусь. Я совершил мессу, вознося особое благодарение за моих друзей здесь – в особенности за тех, что смотрели телевизор в соседней комнате, - и препоручил будущее Богу. После мессы я вернулся в гостиную и присоединился к смотревшим телевизор, но в тот вечер мы больше разговаривали, чем смотрели.
На следующее утро, в понедельник, 2 октября, все домочадцы Дмитрия встали рано. Я обещал, что пришлю хотя бы открытку, где бы ни оказался, а они обещали переслать мои вещи туда, где я обоснуюсь – если это будет не Абакан. Я собирался сесть на автобус до аэропорта около девяти, чтобы иметь в запасе побольше времени, но незадолго до

этого к дому подкатила машина, опять гебистская. Елена с бабушкой тут же всполошились. Они впали в настоящую панику, когда гебист велел мне пройти с ним без всяких предварительных слов и прочих обычных формальностей.

Александр Михайлович ждал в машине, чтобы убедиться, что все в порядке и что у меня с собой достаточно денег. «Можно взглянуть на ваш билет?» - сказал он. Я протянул ему билет, и он внимательно его осмотрел. «Что ж, придется его поменять. Вы полетите в Москву не сегодня в пять вечера, а во вторник утренним рейсом в 7.15, чтобы, когда вы прилетите, в Москве уже было светло». – «Прекрасно, - сказал я, - тогда я вылечу сегодня из Абакана последним рейсом, а не утренним».

«Нет, не вылетите, - сказал Александр. – Летите одиннадцатичасовым самолетом, а в полдень я встречу вас в Красноярске и покажу вам город». С этими словами он сел обратно в машину и укатил. Елена и бабушка вздохнули с облегчением, когда я вернулся в дом. Я объяснил им, о чем со мной говорили. Теперь было уже почти девять, и я сказал им, что пора бы нам уже выходить.

Я осмотрелся вокруг, гадая, вижу ли все это в последний раз или еще когда-нибудь вернусь. Бабушка опять плакала. Она не пошла с нами на остановку, но в слезах вернулась в дом. Дмитрий и Елена, Осип и Валя проводили меня до рынка, откуда каждый час уходил автобус до аэропорта. Мы говорили мало. Профессор Дутов ждал нас на остановке. Когда подошел автобус, я торопливо распрощался с обеими семьями. Почти у всех на глазах были слезы. У меня тоже. Профессор взял на работе отгул на полдня, чтобы в целости и сохранности проводить меня, поэтому он сел в автобус вместе со мной.

Он провожал меня до самого трапа, мрачный, чуть ли не в слезах. «Желаю вам всего самого лучшего, Владимир Мартынович, - сказал он, - но мне очень жаль вас терять». Я снова пообещал написать, затем быстро отвернулся и пошел по трапу в самолет. Без нескольких минут одиннадцать заработали моторы, к одиннадцати мы тронулись с места. Я в последний раз взглянул на профессора в иллюминатор и помахал ему рукой. Когда самолет взлетал, мы пролетали над АТК-50 и над Абаканом. Я ощутил комок в горле, который никак не был связан со взлетом, потом откинулся в кресле, исполненный воспоминаний.

Почетный гость

Через пятьдесят пять минут, которые пролетели, как пять, мы были уже в Красноярске. Когда я сошел с самолета, Александр уже ждал меня. Он уже забронировал для меня номер в соседней гостинице при аэропорте, поэтому я забрал в аэропорту свой багаж, и мы пешком отправились в гостиницу. Я расписался в регистрационной форме, мне выдали ключи в обмен на паспорт, и я быстро спрятал ключ в карман, чтобы Александр не потребовал его у меня.

«У меня дела, - сказал он, - так что, надеюсь, вы найдете, чем себя занять. Знаю, я обещал показать вам город, но обстоятельства изменились. Но пройдемте со мной обратно в аэропорт, и я покажу вам, как поменять билет на завтрашнее утро. По крайней мере, этот вопрос будет решен. Потом увидимся с вами вечером…» - «Я думаю сходить в кино», - перебил я. «Постараюсь найти вас после работы, - продолжал он, - но если не получится, я вернусь завтра утром и провожу вас».

В аэропорту он отнес мой билет к стойке, и вскоре все было готово. Потом мы пожали друг другу руки, и он ушел; я стал наблюдать за ним, чтобы убедиться, что он действительно уходит. Он сел в машину, его водитель увез его, и я вздохнул с облегчением. Я перешел дорогу и сел в автобус, который шел по бывшему проспекту Сталина (теперь переименованному в проспект Мира) до улицы Горького. Там я пересел в другой автобус и поехал на холм, в Николаевку, в свой старый приход.

У Розы никого не было, но я решил подождать. Сначала я увидел Розиного брата: он шел домой с работы; затем пришла и она сама. Они были удивлены и очень обрадованы моему появлению и спрашивали, почему я не написал и не предупредил, что приеду. Я сказал им, что я здесь проездом в Москву, где предполагаю – и надеюсь – увидеться со своими сестрами. Мы немного поговорили об этом, потом о былых временах в приходе. Было уже очень поздно, когда Роза вдруг вспомнила, что надо готовить ужин, поэтому на автобус я сел только в одиннадцать вечера. Александра в гостинице не было, и записки он тоже не оставил.

Наутро я встал рано, чтобы не опоздать на свой семичасовой рейс. Несмотря на столь ранний час в здании аэропорта уже было полно народу. В последнюю минуту я решил быстро послать открытку своим друзьям в Абакане, чтобы сообщить им, что я в пути. Александра все не было, но за десять минут до вылета он явился, поприветствовал меня, проводил до трапа, любезно со мной распрощался и пожелал мне

счастливого пути. Я сел в самолет и стал наблюдать за Александром в окно. Он не ушел, пока самолет не взлетел.

Взлет показался мне невероятно стремительным. Когда я взглянул в окно, то увидел только облака, которые простирались далеко внизу. Я был слегка разочарован, потому что надеялся немного посмотреть страну. Закрыв глаза, я помолился, потом прочел розарий; но в моей голове теснились разные мысли, и я пытался как-то их упорядочить. Кто встретит меня в Москве – КГБ или мои сестры? Возможно, это объяснялось опозданием, но Александр ни слова не сказал о Москве: где я приземлюсь, кто встретит меня, куда мне идти. А если никто меня не встретит, думал я, что мне делать тогда? Стоит ли попробовать сходить в американское посольство, или это слишком рискованно? И вдруг я сам над собой рассмеялся. Самое время беспокоиться, после того как Бог заботливо оберегал и защищал меня столько лет!

Незадолго до полудня нас накормили завтраком – прямо в воздухе! Нам дали две маленьких булочки, масло, мясо, соус, жареную картошку, зеленый горошек, маленький кусочек какого-то желе на десерт, несколько кусочков сахара, кофе или чай на выбор и две маленьких мятных конфетки в завершение трапезы. Более трех лет я питался борщом два раза в день и был счастлив, если на обед мне удавалось съесть кусок хлеба с колбасой. А теперь молоденькая девушка принесла мне на подносе все это пиршество, в то время как мы неслись высоко над землей в сторону Москвы!

Не успел я закончить трапезу, как объявили, что через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту Внуково города Москвы. Было около часу дня. Когда мы приземлились, на взлетном поле шел ремонт; все было настолько перекопано, что поле не производило особого впечатления; удивляло только количество самолетов на нем. Я сошел по трапу вслед за толпой, тревожно озираясь вокруг. Здание аэропорта было очень современным, все из стекла, но я едва это заметил, потому что все высматривал, не встречает ли меня кто. Я никого не увидел и не стал никого выспрашивать.

Я немного подождал, но через пятнадцать минут понял, что предоставлен самому себе. Я взял свои сумки и двинулся к выходу. И тут я заметил, как мне навстречу через зал ожидания спешат два человека в пальто, но один из них был без шляпы. Это был Виктор Павлович! Они побежали к трапу красноярского самолета, осмотрелись, никого не увидели и принялись спорить. Я не смог сдержать улыбки. Они уже собрались уходить, так что я решил подойти и поздороваться.

Виктор был не в настроении шутить, но представил меня другому человеку, некоему товарищу Кузнецову, который был чрезвычайно любезен. «Пройдите с ним, Владимир Мартынович, - сказал Виктор, - он о вас позаботится». («Уж это точно, - подумал я, - но в каком смысле?») Кузнецов предложил понести мою сумку; я схватил ее сам. Мы шли с ним мимо череды такси, пока не дошли до «Волги», которая ждала нас с шофером и с заведенным мотором. «Вот и мы», - сказал Кузнецов.

Кузнецов очень старался мне угодить. Он рассказал мне, что аэропорт Внуково находится примерно в 25 милях от Москвы, и предложил дор***о***гой немного посмотреть город. Куда бы мы ни ехали – а об этом Кузнецов ничего не сказал, - тревожиться было все равно бессмысленно, поэтому я постарался расслабиться и наслаждаться дорогой.

Мы проехали мимо высоких многоквартирных домов, советских «небоскребов». Я был впечатлен, потому что давно не видел ничего подобного: ничто в Абакане и Красноярске даже близко не могло сравниться с ними. Мы увидели университет имени Ленина, целый громадный комплекс высотных зданий, и Кузнецов попросил водителя остановиться, чтобы мы могли немного погулять по его территории.

Некоторое время мы ехали вдоль берега Москвы-реки по широкому и красивому проспекту, потом по другим улицам, не столь широким и просторным. И все-таки во всей Сибири не было таких дорог, как те, по которым мы колесили в то утро. Два часа или больше мы, казалось, просто разъезжали по городу. У меня возникло какое-то странное чувство, когда я задумался над тем, что за два часа увидел больше, чем за все свое прошлое, пятилетнее, пребывание в Москве. Тогда я видел только ее тюрьмы да вокзалы и, всего однажды, ее улицы, заваленные обломками разрушенных бомбежкой зданий. Теперь же я видел места, о которых слышал от заключенных на Лубянке, но которые тогда были для меня всего лишь названиями. Саму Лубянку я не видел, хотя если бы увидел, меня бы это и теперь не удивило. Несмотря на свою решимость получать удовольствие от экскурсии, я не мог совладать с мыслями о том, куда же мы все-таки едем.

В конце концов мы остановились у парадного входа в гостиницу «Москва». Мы вошли и Кузнецов направился прямо в регистратуру. Там он стал спорить с девушкой по поводу комнаты. Я понял, что у них нет в точности такой комнаты, как хочет он. «Идите и выясните, - сказал он наконец девушке. – И чтобы нашли мне номер!» Некоторое

время спустя она вернулась и сказала: «Вот лучшее, что мы можем вам предложить: номер с душем». Кузнецов обернулся ко мне и спросил извиняющимся тоном: «Вас это устроит?» Я рассмеялся. «Я, знаете ли, хотел снять вам номер с ванной и гостиной, - сказал Кузнецов, - но, похоже, такие номера уже все заняты».

Я расписался, сдал свой паспорт, получил ключ. Мы поднялись на лифте на пятый этаж; здесь было чисто и просторно; полы сплошь были устланы коврами. Когда мы подошли к номеру, Кузнецов открыл дверь, словно вышколенный коридорный, и сказал: «Мы пришли». Затем он стал показывать мне номер. Он показал мне душ. Душ протекал. Здесь была большая кровать, мягкие кресла, радио и даже телевизор. Через дорогу из моего окна видно было здание какого-то министерства, а внизу пролегал широкий проспект.

Наконец Кузнецов дал мне свой номер телефона и сказал: «Почему бы вам не вздремнуть или не принять душ. Потом сходите поесть, а я вернусь к вам в пять». Однако он по-прежнему молчал о том, почему я здесь и куда мы поедем, когда он вернется в пять. Когда он ушел, я немного расслабился. Я решил не ложиться – по правде говоря, я был слишком возбужден, - но вместо этого сходить на прогулку и где-нибудь перекусить.

Я вышел через парадный вход, и прямо передо мной были стены Кремля, Красная площадь, напротив - ГУМ и высокие купола собора Василия Блаженного. Мне стало прохладно, потому что на мне был только плащ; но я пошел куда-то, смешавшись с толпой. Однако, куда бы я ни приходил, повсюду, казалось, стояли очереди, поэтому в конце концов я вернулся в гостиницу, чтобы поесть.

Когда я закончил обедать, была половина пятого, поэтому я поспешил наверх, в свою комнату. Не успел я открыть дверь, как зазвонил телефон. «Где же вы были? – сказал Кузнецов. – Я никак не мог до вас дозвониться». – «Ел». – «Хорошо, - сказал он, - спускайтесь в вестибюль в пять часов ровно». Я положил трубку и пошел умываться с щекочущим чувством предвкушения, что вот сейчас-то наконец что-то случится.

Однако, когда я встретил Кузнецова в вестибюле, он сказал: «Я купил билеты в Московский драматический театр. Я подумал, что вы будете не против туда сходить». – «Хорошо, - сказал я, - идемте». Кузнецов вызвал меня пораньше, чтобы мы могли не спеша погулять и посмотреть город. Мы, словно туристы, бродили по широким проспектам, и меня поразило движение. На большинстве оживленных

перекрестков были подземные пешеходные переходы, поэтому движение продолжалось непрерывно.
Вдруг Кузнецов сказал: «Вот мы и пришли». Я огляделся. Мне показалось, что мы стоим перед многоквартирным домом. Однако на нем красовалась афиша: «Московский драматический театр. Сегодня: “Мария Стюарт”». Кузнецов отвел меня в небольшой ресторанчик на одном из верхних этажей, где мы выпили бутылку пива с икрой, потом еще одну.
Прозвенел звонок, и мы спустились на второй этаж, в зрительный зал. Игра показалась мне прекрасной – особенно понравилось мне, как играла актриса, исполнявшая роль Марии Стюарт, - а постановка искусной. Я провел вечер необычайно приятно и по пути в гостиницу сказал об этом Кузнецову. Казалось, он был искренне счастлив это слышать. Он не стал заходить со мной в гостиницу, но сказал, что вызовет меня утром, в девять часов.
Я поднялся в свой номер и сел немного посмотреть телевизор, но не мог сосредоточиться на телепередачах. Я все время думал: «Что они затевают? Что происходит? Все это очень мило, но с какой стати? Что все это значит?» Весь день, всякий раз входя в вестибюль гостиницы, я смотрел по сторонам, надеясь увидеть своих сестер. «Возможно, - рассуждал я, - сегодня было уже поздно назначать нашу встречу; быть может, я увижу их завтра, в девять утра». Потом я принял душ и лег спать. Еще раз поломав голову над теми же вопросами, я наконец уснул.
Кузнецов был в моем номере в девять часов ровно и спросил меня, как мое самочувствие. «Думаю, нам следует пойти в Большой сегодня вечером, - сказал он. – Я думаю, вам понравится. А сейчас давайте сходим на прогулку». Я надел пальто и собрался идти за ним в полной уверенности, что он задумал нечто большее, нежели просто прогулку и поход в Большой, и мы идем в какое-то особое место. Потом, когда мы вышли из гостиницы, Кузнецов сказал: «Идемте в Кремль». Мы вошли в Спасские ворота, потом прошли мимо мавзолея Ленина с его длиннейшей очередью.
Кузнецов принялся показывать мне все здания: Дворец съездов, Оружейную палату и так далее, рассказывая мне историю и объясняя предназначение каждого, но я слушал в пол-уха. На площади было полным-полно туристов, и я все высматривал американцев, прежде всего, своих сестер. Но высмотреть никого не удалось. Наконец я сказал Кузнецову, что хотел бы увидеть какие-нибудь красивые православные

храмы Кремля. Он идти не хотел, но сказал мне, что я могу пойти их посмотреть.
Я прошелся по храмам, торопливо переходя от одного к другому, чтобы Кузнецов не начал нервничать, но мне было приятно видеть, как заботливо их содержат. И только по временам я чувствовал боль при мысли о том, что Бога настолько основательно вытеснили из этих зданий, что теперь это не более чем достопримечательности для туристов, словно какой-то особый вид музеев искусства. Кузнецов терпеливо ждал меня, когда я вернулся. Он был очень приятным спутником: умным, спокойным и обходительным.
Пригревало солнышко, поэтому мы прошлись по кремлевским садам. Стоял октябрь, и цветов было немного, но газоны были очень ухоженные и все равно красивые. «Может, пообедаете?» - сказал Кузнецов, когда кремлевские часы пробили двенадцать. (Эти кремлевские часы прозвучали для меня эхом: я слушал их на протяжении пяти лет. Теперь, стоя на солнышке, на Красной площади, я слушал их вновь). «Да, - сказал я, - я уже голоден».
«Ладно, - сказал Кузнецов. – Вы идите, куда хотите, и встретимся в три часа. Хорошо?» Я кивнул, и он удалился, оставив меня стоять на Красной площади. Я уже начинал спрашивать себя, случится ли вообще хоть что-нибудь. Я почувствовал соблазн избежать встречи с Кузнецовым во второй половине дня, но я не хотел пропустить то событие, которое могло оказаться «целью» моей поездки. Если бы он хотя бы намекнул мне, что все это значит!
Когда я закончил обед в гостинице, Кузнецов ждал меня в вестибюле. «Где вы были?» - «В ресторане. Мне потребовалось больше часа, чтобы получить столик». – «Что ж, пойдемте. Машина ждет». Я сразу подумал, что вот теперь-то что-то случится. Но мы просто немного покатались по городу, и Кузнецов показывал мне достопримечательности. Мои мысли были далеко. Когда стало ясно, что никуда мы не едем, я снова вернулся к своей загадке. Я жил в лучшей из гостиниц, и мне изо всех сил старались угодить, но каким бы приятным ни был Кузнецов, это был все равно надзиратель. Почему?
Они просто стараются занять меня, пока не приедут мои сестры? Их задерживают? Это должно быть как-то связано с моими сестрами, иначе чем объясняется эта задержка? Если мы ничего и никого не ждем, почему нам просто не поехать в КГБ и не покончить со всем этим сразу?
Наконец мы поехали назад в гостиницу. «Увидимся в семь», - сказал Кузнецов и выпустил меня из машины.

Я встретил его в вестибюле в семь. Он принялся просить у меня прощения, потому что ему не удалось достать билеты в Большой. Вместо этого мы пошли во Дворец Съездов, «стеклянный дворец», как его называют. Там все огромное и блестящее, мраморные стены, эскалаторы, каждое место – настоящее произведение искусства, даже уборные. Когда «стеклянный дворец» не используется для съездов партии, там проходят выставки и представления. Тем вечером там шел концерт народной музыки.
Прежде всего, мы поднялись на последний этаж, где был огромный танцевальный зал. Сейчас пол был уставлен столиками с бутербродами, печеньем, конфетами, горячими блюдами и напитками всех народов СССР. Кузнецов предложил мне отведать настоящее русское блюдо: круглый цилиндрический горшочек с грибами, луком и перцем в сметанном соусе *a la mode Russe*, который подается с черным хлебом и чашечкой горячего кофе. Это было великолепно. Потом мы пошли в сам зал заседаний, громадное помещение с шикарными кожаными креслами и наушниками возле каждого сиденья для синхронного перевода.
Зал не был полон, что неудивительно, потому что это гигантское помещение. Сцена была тоже колоссальная. Многие зрители были в национальных костюмах – азиаты и африканцы, - а за нашей спиной, к моему удивлению, сидела группа американцев. Однако мое удивление скоро перешло в досаду, потому что они не переставали болтать и смеяться на протяжении всего представления. Мне хотелось обернуться и сказать им, чтобы они вели себя прилично, но поскольку рядом со мной сидел Кузнецов, я с ними даже не заговаривал.
Программа русских и грузинских народных песен и танцев показалась мне несколько однообразной. Самому Кузнецову стало скучно, и мы ушли, не дожидаясь окончания концерта. Кузнецов, казалось, вовсе не торопился доставить меня назад в гостиницу, но в конце концов мы пришли туда и, прощаясь со мной у входа, он сказал: «Завтра ожидайте меня. Я приду около полудня. Утром у меня кое-какие дела». Я пошел к себе в номер, еще более озадаченный, чем прежде.
На следующее утро я чувствовал себя так, словно меня посадили под замок. Я смотрел в окно, ходил взад-вперед по комнате, потом спустился вниз, чтобы прогуляться по вестибюлю. Наконец, я написал несколько открыток в Абакан и Красноярск. Я вернулся в свою комнату около десяти и застал телефон звонящим. «Где вы были? – спрашивал Кузнецов. – Я звонил и звонил». – «Я был внизу, в вестибюле, - сказал я.

– Устал сидеть на месте». – «Я сейчас буду, - сказал он. – Позвоню вам из вестибюля».
Но из вестибюля он не позвонил. Не успел я оглянуться, как он уже был у дверей моей комнаты. Он подошел и сел на кровать. «Я должен сказать вам кое-что, Владимир Мартынович», - сказал он. («Вот оно! Наконец-то!» – подумал я). «Я хочу, чтобы завтра к полудню вы избавились от всех своих денег, оставив себе только 90 рублей. Мне не важно, что вы с ними сделаете, что будете покупать и как будете их тратить, но избавьтесь от всех денег, кроме 90 рублей. Завтра в час я встречусь с вами здесь, так что ожидайте меня».
Он не объяснил, почему и какое отношение имеют деньги к причине моего приезда в Москву. Поскольку он не пожелал ничего разъяснять сам, и я не стал спрашивать: так безопаснее. Я согласился избавиться от денег и встретиться с ним на следующий день в час дня. На том он и ушел. Я подсчитал, что в моем распоряжении примерно двадцать четыре часа свободного времени.
Вспомнив вывески на Красной площади, в которых говорилось, что мавзолей Ленина открыт только с одиннадцати до двух, я решил не обедать и устремился в Кремль. Было около половины двенадцатого, но когда я занял очередь, она была уже длиной в несколько кварталов. Когда мы медленно двигались вдоль кремлевской стены, я заметил могилы известных старых коммунистов, похороненных там, в том числе и нескольких американцев. На многих могилах были мраморные бюсты и украшения. Там похоронен и Иосиф Сталин под простой, ничем не украшенной, плоской плитой, на которой значится только его имя и даты рождения и смерти. Однако кто-то положил на его могилу венок из живых цветов.
Когда мы приблизились к дверям мавзолея, я услышал, как солдаты тихо, нараспев дают указания: «Пожалуйста обнажите головы. Не разговаривайте. Фотографировать строго воспрещается. Пожалуйста, идите быстро и будьте осторожны на ступеньках». Войдя в двери, мы спустились примерно на два лестничных марша вниз, повернули влево, прошли по коридору, потом снова повернули направо и вошли в круглый мавзолей. Внутри было сумрачно. Здесь все, казалось, было сделано из черного, сероватого мрамора, и повсюду ощущался запах цветов или благовоний.
Когда входишь в мавзолей, стеклянный гроб Владимира Ильича Ленина находится у тебя над головой. Посетители поднимаются по лестнице в четырнадцать или пятнадцать ступеней, затем медленно, но не

останавливаясь проходят по полукруглой платформе, глядя на тело немного сверху вниз. Ленин облачен в темный, возможно даже черный, костюм, и верхняя часть его тела освещается специальным прожектором, который озаряет его лицо слабым, но очень четким светом. Цвета сохранены великолепно. Даже его рыжеватые усы и борода кажутся жесткими и отливают живым красноватым оттенком, и света достаточно для того, чтобы на безупречно гладком мраморе стен играли цветные отражения. Все люди притихали, обходя гроб и подходя к ступенькам с другого края платформы, которые ведут к выходу из мавзолея. Я помолился. «В конце концов, он был человек, - подумал я, - и, быть может, ему нужно больше молитв, чем он здесь получает». Когда я вышел из мавзолея, повсюду были фотографы и туристы. Был там и молодчик, который специализировался на фотографиях «Вы у мавзолея Ленина», поэтому я сфотографировался перед мавзолеем. К сожалению, потом я забыл забрать снимок.

Была почти половина второго, а у меня было 400 рублей, от которых мне нужно было каким-то образом избавиться. Перейдя Красную площадь, я оказался в ГУМе (Государственном универсальном магазине), известном московском универмаге, который открыт до полуночи. Здание ГУМа занимает целый квартал, но там было не протолкнуться. Здесь есть три открытых двора под застекленными крышами, окруженных со всех сторон балконами. С этих балконов видны все магазины: это что-то вроде трехэтажного, двенадцатистороннего Риальто. Над каждым отделом – вывеска, гласящая, какие товары продает данная секция. Теоретически, в ГУМе продается все.

Я обошел магазин этаж за этажом, галерею за галереей. Я искал, среди прочего, рубашки. Но даже здесь, в Москве, я не мог найти рубашку нужного размера и желаемого цвета и качества. Поскольку мне нужно было потратить все свои деньги, цены меня не волновали. И все равно я не мог найти то, что мне было нужно. Первым делом я купил маленький чемодан, лучший, какой только можно было купить за деньги. «Лучший» чемодан представлял собой ящик из ДСП 24x36x12 дюймов, обтянутый коричневой искусственной кожей, с яркими и блестящими стальными пластинами на всех углах, чтобы не обтрепались. Как будто только что из американского магазина 1920-х!

Я также купил несколько лезвий. Это были первые новые лезвия, которые мне удалось купить в России. Затем я купил пару коричневых полуботинок, двухстороннее чехословацкое пальто, клетчатое внутри и

горохового цвета снаружи; часы «Москва» в шестнадцать камней; фотоаппарат, тоже «Москва», сделанный в Восточной Германии. Я купил кое-какие подарки для друзей в Абакане и множество мелочей, таких, как пилки для ногтей, маникюрные щипчики и тому подобное, просто для того, чтобы спустить деньги. Четырежды я обошел весь ГУМ сверху донизу, пока не обессилел окончательно.

Я вышел из ГУМа и увидел, как люди встают в очередь в другой магазин. По русскому принципу: если стоит очередь, значит что-то дают, - я подошел и тоже занял очередь. Однако когда я попал в магазин, оказалось, что там продают женские капроновые чулки. «Ах, - сказал я, - если б я знал…», - и собрался было уходить, но тут женщина, стоявшая за мной, меня остановила. «Не уходите, - сказала она. – Пожалуйста, подождите. Осталось совсем немножко, а тут отпускают не больше двух пар в одни руки. Пожалуйста, постойте в очереди и возьмите две пары для меня». Я сказал ей, что у меня мало времени, но она упрашивала, пока я наконец не согласился подождать и купить ей две пары чулок по пять рублей за пару.

Я ринулся обратно в ГУМ. У меня все еще оставались лишние деньги, поэтому я еще раз обошел магазин сверху донизу. Что бы я ни спрашивал, у них никогда не оказывалось нужного размера и качества. Например, я попросил рыбий жир. «Нету», - ответили мне. Я спросил продавщицу, где я могу его достать. Она направила меня в центральную аптеку всего в одном квартале от ГУМа. Я пошел туда и снова услышал: «Нету!» (а это была Москва!) Наконец, я вернулся в гостиницу.

Теперь, когда я закончил бегать, у меня появилось время подумать. Но чем больше я думал, тем меньше понимал. Что должно произойти завтра в час дня? Где мои сестры? И при чем тут деньги? Если меня собираются куда-то сослать, зачем я должен покупать все эти вещи? Какой бы ответ ни приходил мне в голову, что-то в нем всегда было не так. Наконец я уснул, озадаченный, как никогда.

Благословение для России

На следующее утро к девяти часам я начал ощущать напряжение. У меня все еще оставались деньги, поэтому я пошел в ресторан при гостинице и заказал все самое лучшее. Но я так сильно нервничал, что не мог есть. Я вернулся в комнату и начал паковать чемоданы. Я накупил так много вещей, что не мог их закрыть. Зазвонил телефон. Это был Кузнецов, он проверял на месте ли я. «Я сейчас поднимусь», -

сказал он. Кузнецов спросил меня, как идут дела. Я сказал, что почти все уже сделал, вот только не могу закрыть чемоданы.
«Пока вы их не заперли, не осталось ли у вас каких-нибудь русских документов?» Я ответил, что мой паспорт внизу, в регистратуре. «Да, но помимо паспорта?» Мы перерыли весь мой багаж, и я откопал свою трудовую книжку, профсоюзное удостоверение, удостоверение личности, даже несколько грамот и дипломов за отличную работу, в том числе и удостоверение ударника. Он забрал их все (я не спросил почему), потом помог мне закрыть чемоданы и новую дорожную сумку.
«Готовы?» - сказал он. Он оглядел комнату и сказал: «Убедитесь, что ничего здесь не оставили». Я тоже огляделся и сказал: «Я готов». – «Тогда идемте», - сказал он.
Он взял дорожную сумку, а я – чемодан; мы сели в лифт и спустились в вестибюль. Я оплатил счет и сдал ключ в обмен на свой паспорт. Кузнецов забрал и его. Когда мы вышли на тротуар, к нам подкатила «Волга». Кузнецов положил мой чемодан и сумку в багажник, пока я садился в автомобиль. Потом он дал водителю кое-какие указания, и мы поехали.
Дорогой я узнавал некоторые места, но не мог понять, куда же мы едем. Наконец мы приехали в международный аэропорт – это было не Внуково – и подъехали прямо к зданию аэровокзала. Кузнецов отправился туда, а нам велел ждать; через несколько минут он вернулся и попросил водителя припарковаться у обочины. В машину он не садился, а все время нервно ходил возле нее взад-вперед. Несколько раз он входил в здание и выходил оттуда снова. Я начал подозревать, что мои сестры здесь или скоро здесь будут.
С этой мыслью я начал смотреть на прибывающие самолеты, на которых были нарисованы флаги разных государств, высматривая среди них американский. В аэропорту началось некоторое смятение, когда прилетела команда итальянских футболистов, но даже это не смогло отвлечь меня от моего бдения. Чем дольше мы ждали, тем сильнее нервничал Кузнецов. «Давайте пойдем в кафетерий, - сказал он, - и выпьем немного кофе». Мы с водителем вышли и пошли за ним в здание; в кафетерии не оказалось кипятку, поэтому мы вышли снова.
Мы еще немного постояли рядом с «Волгой» - чем больше нервничал Кузнецов, тем больше это взвинчивало меня, - потом он заметил машину, мчащуюся по дороге, ведущей к зданию аэровокзала. Кузнецов велел нам сесть в машину. Он сам сел за руль и задним ходом поставил нашу машину подле другой, когда та остановилась. Человек на заднем

сидении второй машины казался нерусским (впоследствии это оказался Мартин Макинен), но в тот момент я не обратил на это особого внимания. Я высматривал только своих сестер.

Мы с Кузнецовым вышли из машины. Когда мы выходили, он тихо сказал: «Владимир Мартынович, если желаете остаться, оставайтесь с нами. Там вам может прийтись нелегко». Я был потрясен как его сочувственным тоном (он говорил, словно человек, который вот-вот потеряет друга), так и самими его словами. Они поразили меня своей странностью. На минуту мне пришло в голову, что, быть может, он говорит о моем возвращении домой, но я отбросил эту мысль.

«Если хотите, - продолжил Кузнецов, не услышав моего ответа, - просто скажите. Мы можем все отменить. А если уедете, но вдруг пожелаете вернуться, просто дайте мне знать». Я опять посмотрел на него, не зная, что ответить, потому что не знал точно, что он хочет этим сказать. Поэтому я промолчал. Между тем гебист доставал мои сумки из багажника. Потом мы с Кузнецовым вошли в здание аэропорта и прошли по коридору в небольшой кабинет.

Там уже собралось несколько гебистов. Они улыбались друг другу, но со мной говорили мало. Один из них сказал, что принес мои чемоданы. Я кивнул. Макинен вошел и сел на скамейку рядом со мной. Я не имел представления, кто он такой, и мы совсем не говорили друг с другом. Кроме того, я был совершенно сбит с толку. Я уже начал спрашивать себя, возможно ли, что меня отправляют домой. Голова у меня шла кругом, но я отказывался в это поверить.

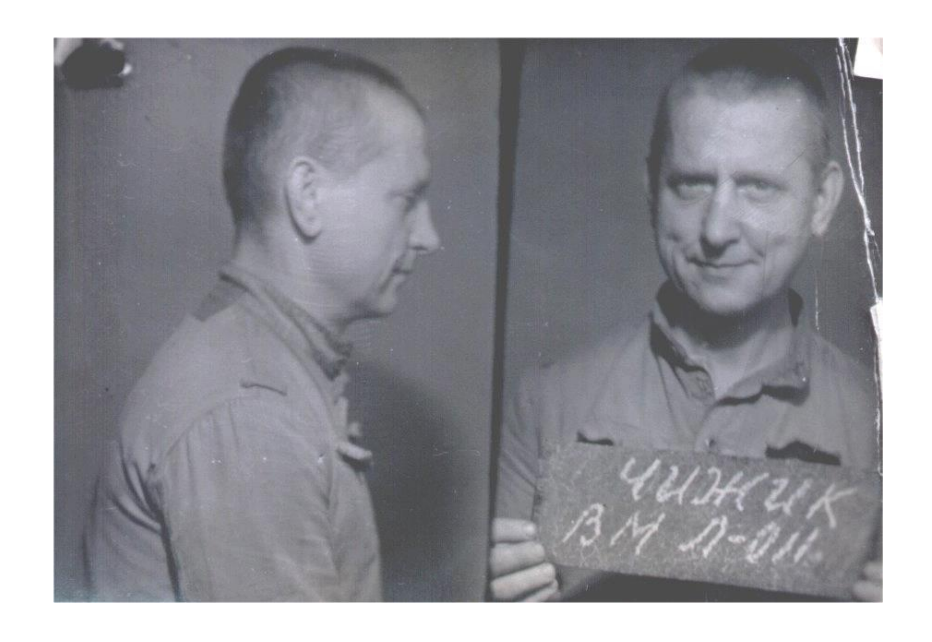
Вдруг Кузнецов сказал: «Идемте». Я потянулся за чемоданами, но он сказал мне не беспокоиться. Мы прошли по коридору в другую комнату; к тому времени было почти четыре часа дня. Там уже было два улыбающихся гебиста, и они попросили нас присесть. Макинен сел на кушетку, а я - на стул. Затем вошли еще двое, нерусских, судя по виду. Один из них сразу пожал руку Макинену, потом развернулся ко мне. «О. Чишек, - сказал он, - рад с вами познакомиться».

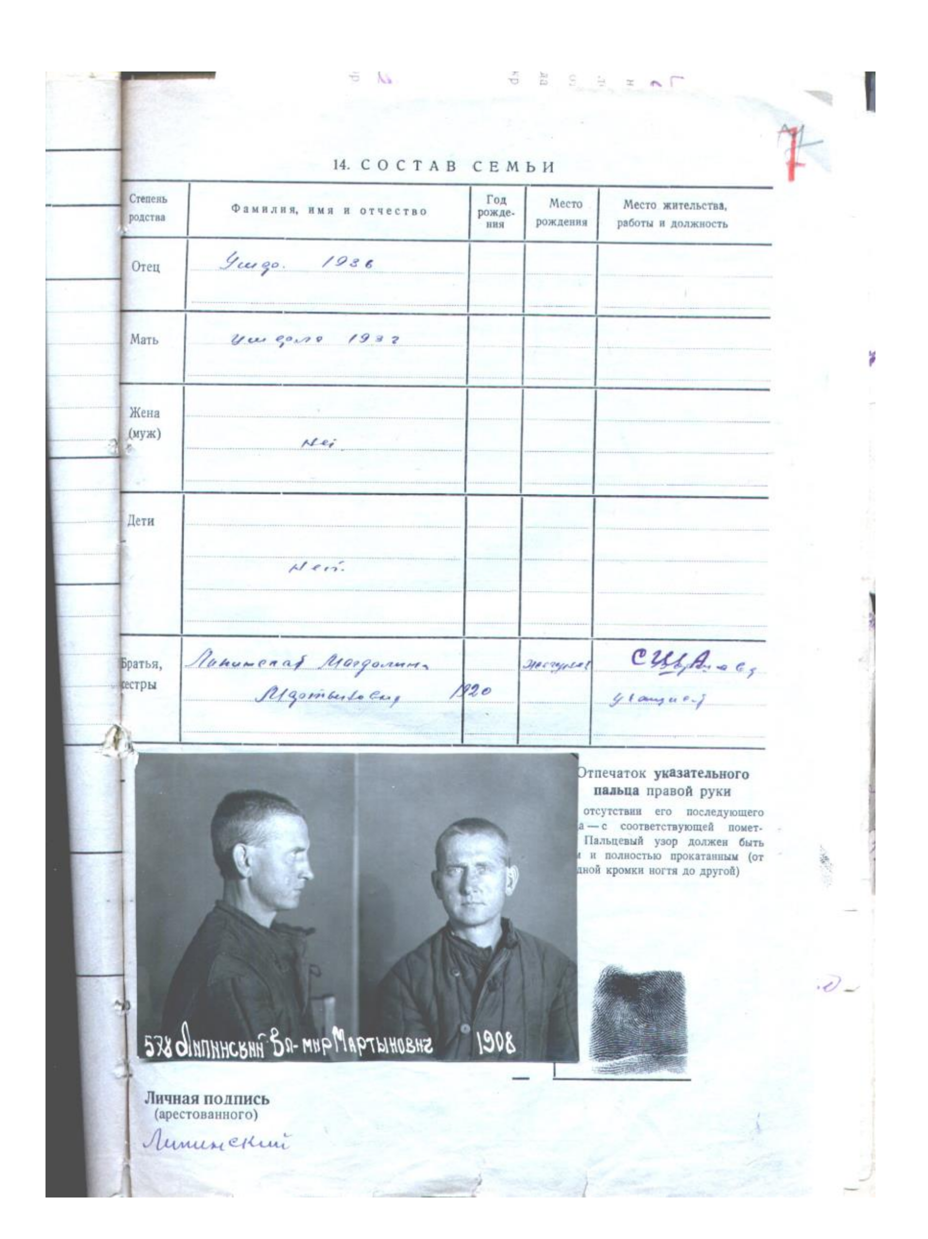
Я был поражен. Потом я улыбнулся и поблагодарил его за приветствие. Впервые за многие годы кто-то назвал меня «отцом». В Сибири даже те, кто знал, что я священник, никогда не пользовались этим словом; они называли меня только Владимиром Мартыновичем или дядей Володей. Этот человек назвался мистером Керком из американского консульства в Москве. Он спросил, как у меня дела, потом опять обернулся к Макинену, чтобы обменяться парой слов с ним. Он закурил и, казалось, нервничал.

Я ничего не понимал. Кузнецов нервничал, Керк нервничал – но по какому поводу? Одно мгновение все стояли молча, словно на поминках. Потом Кузнецов сказал: «Ну что, может, покончим со всем этим?» - «Хорошо, - сказал Керк, - давайте покончим со всем этим». Они пожали друг другу руки. Потом мистер Керк обернулся ко мне. «О. Чишек, не могли бы вы подойти ко мне?» Я подошел к столу, и мистер Керк вынул из внутреннего кармана своего пальто какой-то документ. «Распишитесь здесь, пожалуйста». Он протянул мне ручку, и я расписался; я был настолько сбит с толку, что даже не догадался посмотреть, что я подписываю.
«Теперь, о. Чишек, - сказал мистер Керк, - вы американский гражданин». – «В самом деле?» - спросил я, ошеломленный. «Да, - сказал он, - вы снова американский гражданин». – «Это сказка какая-то», - пробормотал я. «Да, это сказка, но хорошая, - улыбнулся мистер Керк, - и правдивая». Все это было слишком неожиданно. Я как-то сразу ощутил свободу и вольность. У меня было такое чувство, как будто какой-то огромный груз вдруг упал с моих плеч, и мой позвоночник распрямился, словно пружина. Мне хотелось петь. Мистер Керк обернулся к Макинену; другой американец из консульства обменял мои девяносто рублей на сто долларов, пока Макинен подписывал какие-то бумаги.
На самом деле, у меня в кармане было целых девяносто три рубля, поэтому молодой американец вернул мне три рубля вместе с моими ста долларами. Потом я познакомился с Макиненом и узнал, кто он такой. Мы стали разговаривать и поздравлять друг друга, и вдруг все присутствующие принялись говорить и улыбаться. Размахивая своей трешкой, я пригласил всех бывших в комнате в кафетерий. Кузнецов и мой водитель из КГБ засмеялись.
Мы спустились в кафетерий, смеясь и разговаривая, и говоря одно и то же снова и снова. Все заказали чай, и я торжественно выложил свои три рубля на стол. Они были последними, и мне было не жаль с ними расставаться. Однако не успели мы приняться за чай, как к нашему столику подбежал гебист. «Быстрее, - сказал он. – Не хватало еще после всего этого опоздать на самолет!» Он открыл боковую дверь кафетерия, и мы вышли из здания аэропорта к трапу самолета.
Это был большой реактивный самолет компании ВОАС. Капитан-англичанин встретил нас у подножья трапа. «О. Чишек! Мистер Макинен! Могу я взглянуть на ваши билеты?» Мой билет был в первый класс, а Макинена – в туристический, но капитан провел нас в другую

дверь и посадил рядом. Я посмотрел на Макинена, он – на меня, а потом мы оба стали смотреть в окно.

Там был мистер Керк с Кузнецовым и еще несколькими гебистами. Когда самолет тронулся, мы с Макиненом стали махать им, но они не махали нам в ответ. Вдруг самолет стал набирать скорость. Я перекрестился, а когда самолет оторвался от земли, посмотрел в окно. Взлетая, самолет сделал большой круг. Вдалеке виднелись башни Кремля! Медленно, бережно я осенил крестным знаменьем ту землю, которую теперь покидал.





14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень родства	Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Место рождения	Место жительства, работы и должность
Отец	Умер. 1936			
Мать	Умерла 1932			
Жена (муж)	Нет			
Дети	Нет.			
Братья, сестры	Липинская Магдалина Мартыновна	1920	[illegible]	США [illegible]

Отпечаток **указательного пальца** правой руки

[illegible] отсутствии его последующего [illegible]а — с соответствующей помет-[illegible] Пальцевый узор должен быть [illegible] и полностью прокатанным (от [illegible]дной кромки ногтя до другой)

Личная подпись
(арестованного)

Липинский